
А. Б.
ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР
ВБЛИЗИ
ТОЛСТОГО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ



ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
С. Н. Голубова, В. В. Григоренко, Н. К. Гудзия,
С. А. Макашина, Ю. Г. Оксмана

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1959

А. Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР



ВБЛИЗИ ТОЛСТОГО

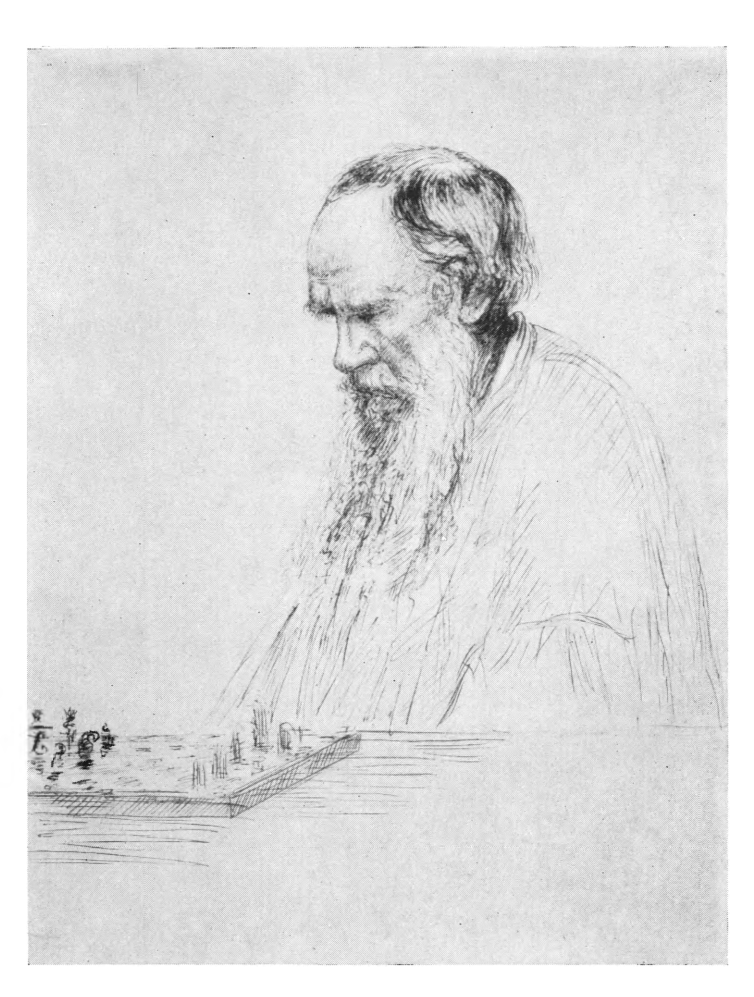
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1959

ПРЕДИСЛОВИЕ

К. Н. Ломунова

ПРИМЕЧАНИЯ

В. С. Мишина



Л. Н. Толстой
Рис. Т. Л. Сухотиной

ПРЕДИСЛОВИЕ

I

Автор книги «Вблизи Толстого» народный артист СССР Александр Борисович Гольденвейзер широко известен как талантливый музыкант и заслуженный педагог — воспитатель яркой плеяды пианистов.

В облике А. Б. Гольденвейзера счастливо сочетались пианист, педагог высокой культуры и неутомимый общественный деятель.

Еще в студенческие годы, у себя на квартире, он собирал молодых московских музыкантов. В домашнем кружке они исполняли свои произведения и знакомились с новинками музыкального искусства. Кружок Гольденвейзера, существовавший два десятилетия (1890—1910), посещали С. Рахманинов, Ф. Шаляпин, А. Аренский, С. Танеев и другие видные композиторы и артисты.

А. Б. Гольденвейзер был выбран секретарем ежегодных собраний музыкальных деятелей. Эти собрания назывались «рубинштейновскими обедами» и посвящались памяти основателя московской консерватории Николая Рубинштейна.

А. Б. Гольденвейзер всегда выступал горячим поборником приобщения к музыке широких народных масс. Многие годы он устраивал в Москве бесплатные концерты для рабочих, привлекая к участию в них крупные артистические силы. С 1906 по 1917 год, работая в Московской Народной консерватории, он ревностно служил делу музыкального образования.

Особенно энергично развернулась организаторская деятельность А. Б. Гольденвейзера после Великой Октябрьской социалистической революции. Он горячо откликнулся на призыв советского правительства принять участие в строительстве новой культуры. Гольденвей-

зер был первым председателем Музыкального совета, созданного в 1917 году по инициативе наркома просвещения А. В. Луначарского. В 1919—1921 годы он руководил сектором концертной работы Московского отдела народного образования. «В эти годы, — вспоминает А. Б. Гольденвейзер, — мы организовывали при участии лучших артистических сил Москвы многочисленные бесплатные концерты и циклы концертов на фабриках, заводах, в клубах, казармах, учебных заведениях и т. д.» [1].

В 1922—1924 и 1939—1942 годы А. Б. Гольденвейзер возглавлял Московскую консерваторию в качестве ее ректора. Сам он является воспитанником этой консерватории, которую окончил сначала по классу фортепьяно (1895 г.), а затем — по классу композиции (1897 г.). С 1906 года и до настоящего времени А. Б. Гольденвейзер — профессор Московской консерватории. Он сыграл выдающуюся роль в развитии школы советского пианистического искусства.

Как композитор А. Б. Гольденвейзер является учеником С. И. Танеева, А. С. Аренского и М. М. Ипполитова-Иванова. Среди его сочинений — оперы на тексты А. С. Пушкина и И. С. Тургенева («Пир во время чумы», «Певцы», «Вешние воды»), кантата «Свет Октября», квартеты, трио, симфонические сюиты на темы русских народных песен, пьесы для фортепьяно, романсы. Всем музыкантам-исполнителям хорошо известны его редакции фортепьянных произведений композиторов-классиков.

А. Б. Гольденвейзер — доктор искусствоведческих наук. Он — автор многих статей по вопросам музыкальной культуры.

Всю свою жизнь А. Б. Гольденвейзер посвятил музыке. Когда же и каким образом возникла его книга «Вблизи Толстого»? Что связывало музыканта А. Б. Гольденвейзера с великим писателем, каковы были их взаимоотношения?

В статье «Мой творческий путь» А. Б. Гольденвейзер пишет: «В январе 1896 года счастливый случай ввел меня в дом Л. Н. Толстого. Постепенно я стал близким к нему человеком до самой его смерти. Влияние этой близости на всю мою жизнь было громадно. Как музыканту, Лев Николаевич впервые раскрыл мне великую задачу приближения музыкального искусства к широким массам народа» [2].

А. Б. Гольденвейзер впервые переступил порог знаменитого дома Толстого в Хамовниках еще будучи студентом консерватории. И с первой же встречи он подпадает под влияние могу-

---

[1] «Советская музыка», 1936, № 3, стр. 90.

[2] Там же, стр. 88.

чей личности писателя, уже пережившего крутой перелом в своем мировоззрении, открыто заявившего о своем разрыве с идеологией господствующих классов и переходе на сторону угнетенного народа.

Толстой был первым, кто раскрыл перед ним, тогда еще совсем юным музыкантом, великую и благородную задачу приближения музыки к широчайшим народным массам. Под прямым влиянием Толстого автор книги посвятил этой цели всю свою сознательную жизнь. «По его (Толстого) совету и при его содействии и участии, — пишет А. Б. Гольденвейзер, — мною в конце 90-х годов были организованы концерты в чайных обществах трезвости в Москве. Лев Николаевич дал мне мудрый совет: в таких концертах следует играть музыку ясную, удобопонятную, но *самую высококачественную и в наилучшем исполнении.* К сожалению, подавляющее большинство концертов для рабочих слушателей устраивалось обычно кое-как; исполнялось в них что попало и как попало, в результате чего они часто не воспитывали, а развращали слушателя» [1].

Встречаясь в ту пору с людьми искусства, Толстой сурово укорял их за оторванность от народа, за превращение искусства в забаву для праздных, пресыщенных снобов из богатых классов общества. Служение народу — таково было главное требование, с которым Толстой обращался к писателям, художникам, музыкантам, артистам и в своих статьях об искусстве, и в письмах, и в личных беседах.

Мысль Толстого о том, что искусство должно быть близким народу, нашла у молодого музыканта живой и горячий отклик. Отличавшийся с молодых лет кипучей энергией, А. Б. Гольденвейзер пытался осуществить ее на деле. Но лишь после Великого Октября, провозгласившего: «Искусство — народу!» — он смог в полную меру своих сил отдаться решению этой великой задачи.

Такова роль Толстого в жизни автора книги. А что сам он внес в жизнь великого писателя? Толстой с детства страстно любил музыку и сохранил эту любовь до конца дней. Можно смело сказать, что из всех музыкантов, современников великого писателя, никто не играл для него так часто и много, как А. Б. Гольденвейзер. Он доставил Толстому в его яснополянском уединении многие часы высокой радости, часы наслаждения музыкой. Он играл любимые Толстым произведения классической музыки, он знакомил его с новыми сочинениями композиторов-современников. Проникновенное мастерство Гольденвейзера нередко вызывало Толстого на размыш-

---

[1] «Советская музыка», 1936, № 3, стр. 88.

ления о природе музыкального искусства и заставляло искать свое определение сущности музыки.

А. Б. Гольденвейзер часто делил с Толстым часы его досуга — за шахматной доской, на прогулках в лесу и в поле. Достаточно сказать, что он сыграл с Толстым около семисот партий в шахматы! В продолжение пятнадцати лет он был частым гостем Ясной Поляны и московского дома писателя.

Толстой испытывал к даровитому пианисту чувство глубокой благодарности и неизменной симпатии. Он относился к нему с большим доверием и нередко «открывал душу», делился своими мыслями, чувствами, переживаниями, подчас интимного характера. Он знал, что Гольденвейзер любит его искренней, горячей любовью и на него можно положиться, как на преданного друга. Если в записях о первых посещениях дома Толстого автор дневника сетует на то, что им здесь интересуются только в те минуты, когда он сидит за роялем, то позднее эта жалоба слышится все реже, а затем и вовсе исчезает. Летом 1908 года Толстой сказал Гольденвейзеру: «Я рад вам всегда и без музыки или шахмат».

Попав впервые в дом Толстого случайно (его привезла известная певица и представила как начинающего пианиста), Гольденвейзер не предполагал, что он будет частым гостем у Толстых и еще менее думал о том, что писатель обратит на него внимание и сблизится с ним. И уж совсем не думал он тогда записывать свои впечатления о пребывании в доме Толстого. Эта мысль пришла к нему позднее.

Записи Гольденвейзера, сделанные в первый год его знакомства с Толстым, очень коротки и касаются главным образом одной темы — высказываний Толстого о музыке и композиторах. В последующие годы и содержание записей и самый объем их постепенно расширяются.

В предисловии к первому изданию книги автор указывает с сожалением на то, что он «далеко не всегда и не все записывал» и вплоть до 1908 года его записи о встречах с Толстым носили отрывочный характер. В 1908 и 1909 годах он стал записывать значительно больше, а в 1910 году его записи приобрели такую полноту, что по своему объему превысили все записанное автором за предыдущие четырнадцать лет его общения с Толстым.

Можно пожалеть, что записи о встречах с Толстым велись автором книги столь «неравномерно». Но главное, разумеется, в содержании и самом характере материалов дневника. Здесь также есть своя и очень большая «неравномерность» и диспропорция. Записи за 1910 год посвящены, в сущности, одной теме — семейной драме писателя, необычайно обострившейся в последний год его жизни. Эта

тема заслонила все остальные. Здесь редко встречаются записи высказываний Толстого по общественно-политическим, философским, нравственным, литературно-эстетическим и другим вопросам. Записи за 1896—1908 годы свободны от такой «однотемности». Они поражают читателя прежде всего своим разнообразием и, можно сказать, пестротой. Здесь мы находим и необычайно интересные, значительные суждения Толстого по острейшим общественно-политическим вопросам эпохи, по литературно-эстетическим и философским проблемам, и тут же — незначительные мелочи яснополянского быта, и яркие характеристики самых разных посетителей Толстого, и рассказы о «перепалках» жены писателя Софьи Андреевны с младшей дочерью Александрой Львовной и «толстовцами». В предисловии к первому изданию дневника автор указывает, что записывал он главным образом слова Толстого и события его жизни и при этом старался избежать подбора того, что казалось бы ему «с той или иной точки зрения значительным или интересным», не заботился ни о плане дневника, ни даже о связности между отдельными записями.

Быть может, именно такой «безотборочный» рассказ о жизни Толстого в Ясной Поляне и создает живую и правдивую картину пестрого и переменчивого яснополянского быта 90-х и 900-х годов. Автор как бы предлагает читателям самим оценить, что здесь было хорошего и плохого, и отделить важное и значительное от преходящего и пустяшного.

Толстой, по-видимому, не догадывался о существовании дневника Гольденвейзера и не относился к нему как к своему летописцу. Если бы Толстой узнал, что Гольденвейзер ведет записи его слов, — и в последние годы довольно подробные, — он, возможно, был бы менее «открыт» для автора дневника.

В мемуарной литературе, посвященной Толстому, дневник Гольденвейзера выделяется, если можно так сказать, своей продолжительностью: он охватывает пятнадцать лет жизни и творчества великого писателя. В дневнике Н. Н. Гусева запечатлены два года, а в дневнике В. Ф. Булгакова — один год жизни Толстого. «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого велись в течение шести лет, но опубликованы лишь в небольшом объеме.

Изданная впервые в 1922 году книга А. Б. Гольденвейзера уже давно стала библиографической редкостью.

Готовя книгу для переиздания, автор оставил нетронутым основной текст дневника, ограничившись лишь восстановлением тех купюр, которые он вынужден был в свое время сделать главным образом потому, что его дневник «затрагивал» отдельных в ту пору здравствовавших лиц из окружения Толстого.

В новое издание автор включил выдержки из писем, полученных им в 90-е и 900-е годы от членов семьи писателя.

В отдельных записях А. Б. Гольденвейзер сделал необходимые уточнения, но он решительно не захотел дополнить свой дневник «вставками» и «прибавками», к чему так склонны многие мемуаристы, — заботясь более всего о том, чтобы его книга и в новом издании отвечала главной цели, которую ставил перед нею автор, — «быть документом».

II

Книга «Вблизи Толстого», разумеется, не может заменить летописи жизни и творчества писателя за 1896—1910 годы, но зато в ней содержатся ценнейшие материалы, относящиеся к биографии и творчеству не только позднейших, но, пожалуй, и всех предыдущих десятилетий его жизни. Эти материалы (их можно назвать воспоминаниями о прошлом), разбросанные по всей книге, столь обширны, что могли бы составить большую самостоятельную главу.

Так, не может не привлечь внимания рассказ сестры писателя Марии Николаевны о появлении в печати первой повести Толстого «Детство».

Книжку «Современника» с повестью «Детство», напечатанной без подписи автора, привезли в деревню, где жила Мария Николаевна. Когда начали читать повесть вслух, Мария Николаевна и ее брат Сергей Николаевич были поражены:

«Да ведь это он нас описал! Кто же это?»

«Подозрения» сначала пали на старшего брата, Николая Николаевича, увезшего на Кавказ младшего из братьев, «Лёвочку», и имевшего пристрастие к литературе.

Позднее Лев Николаевич написал родным о своем авторстве, и все недоумения рассеялись.

Необычайно интересен рассказ Толстого о прототипах героев повести «Детство», записанный Гольденвейзером 18 августа 1909 года. Он важен не только в биографическом отношении, но и для характеристики творческого метода Толстого — писателя, изображавшего живую, конкретную, близко знакомую ему жизнь и вместе с тем создавшего образы большого обобщения и глубокого смысла.

Волнительны воспоминания Толстого о его участии в обороне Севастополя, где он в качестве артиллерийского подпоручика командовал батареей на знаменитом Четвертом бастионе.

Среди воспоминаний Толстого о прошлом читатель отметит и красочный рассказ о знаменитом Федоре Толстом — «Американце», прославленном Грибоедовым в «Горе от ума», и не менее красочные

рассказы о таких русских литераторах 40-х годов, как В. П. Боткин, как славянофилы Шевырев и Погодин. «Я знал их хорошо. Это были совсем пустые люди», — сказал о последних Толстой.

Полны особого интереса рассказы Толстого о его встречах с писателями-современниками — Тургеневым, Герценом, Некрасовым, Гончаровым, Островским и другими. Они раскрывают не только взаимоотношения Толстого с собратьями по литературе, но и выясняют его художественные вкусы, его литературно-эстетические взгляды. В книге приведены многочисленные суждения Толстого о его предшественниках в русской литературе, а также его оценки многих произведений выдающихся соотечественников.

«Если бы меня спросили, кого из русских писателей я считаю наиболее значительными, — заметил Толстой в беседе с Гольденвейзером 9 августа 1901 года, — я назвал бы Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена, которого наши либералы забыли, Достоевского, которого они совсем не считают. Ну, а затем Грибоедова, Островского, Тютчева».

В той же беседе Толстой сказал, что он любил Тургенева как человека, но ни ему, ни Гончарову не придавал большого значения как писателям. Внимательный читатель заметит, что эти слова противоречат другим высказываниям Толстого о Тургеневе и Гончарове, приводимым Гольденвейзером и, главное, содержащимся в дневниках и письмах самого Толстого.

Когда Тургенев умер, Толстой хотел выступить с речью на собрании, посвященном его памяти. «Мне хотелось, — говорил он, — ...вспомнить и рассказать все то хорошее, чего в нем было так много и что я любил в нем». Власти испугались выступления Толстого и запретили собрание.

В письме к А. Н. Пыпину от 10 января 1884 года Толстой подробно изложил содержание своей несостоявшейся речи о Тургеневе. «Главное в нем, — писал Толстой, — это его *правдивость*... воздействие Тургенева на нашу литературу было самое хорошее и плодотворное»[1]. Здесь выражена как бы *итоговая* оценка Тургенева, к которой Толстой пришел, взвесив все, что сделал для русской литературы автор «Записок охотника», «Дворянского гнезда» и других замечательных произведений. В письме к Пыпину Толстой, по его признанию, выразил свои самые задушевные мысли о Тургеневе. Отдельные высказывания Толстого о Тургеневе, как и о других писателях, записанные мемуаристами, нельзя принимать безоговорочно.

---

[1] Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 63, стр. 149—150. (В дальнейшем все неоговоренные ссылки как в статье, так и в примечаниях даются по этому изданию.)

Из дневников и писем молодого Толстого видно, что он также высоко ценил романы Гончарова «Обыкновенная история» и «Обломов». В середине 80-х годов Толстой пригласил Гончарова к участию в издательстве «Посредник», созданном по его инициативе для издания книг, нужных и доступных миллионам читателей из народа.

А. Б. Гольденвейзер в записи от 10 августа 1909 года приводит отрицательное суждение Толстого о Салтыкове-Щедрине: «Я никогда не мог читать его». Оно явно противоречит письму Толстого к Салтыкову-Щедрину от 1—3 декабря 1885 года. Приглашая его, как и Гончарова, Островского, Лескова и других литераторов-современников, к участию в издании книг для народа, Толстой писал Щедрину: «У вас есть все, что нужно, — сжатый, сильный, настоящий язык, характерность, оставшаяся у вас одних, не юмор, а то, что производит веселый смех, и по содержанию — любовь и потому знание истинных интересов жизни народа... Вы можете доставить миллионам читателей драгоценную, нужную им и такую пищу, которую не может дать никто, кроме вас» [1].

Летом 1883 года Толстой беседовал о Щедрине со своим единомышленником Г. А. Русановым. Последний сказал тогда, что Щедрин — «любимый писатель современной молодежи», что «он касается политики, злобы дня» и поэтому «молодежь любит его больше остальных писателей».

«И он вполне стоит этого... Щедрина я люблю, он растет...» [2]

Между беседами Толстого о Щедрине с Русановым и Гольденвейзером прошло более четверти века, и, быть может, Толстой изменил свое отношение к автору «Господ Головлевых»? Но в дневнике Гольденвейзера отмечено, что Толстой перечитывал этот роман осенью 1901 года и он ему понравился.

Выходит, что сказанное Толстым о Щедрине осенью 1909 года вовсе не выражает его «постоянного» отношения к великому сатирику.

Так обстоит дело с отрицательными суждениями Толстого о Тургеневе, Гончарове и Щедрине, приводимыми в книге. Очевидно, что в них высказано не *все* отношение Толстого к этим писателям и, что особенно важно, не выражено *главное* в его отношении к ним.

Толстой очень любил и ценил Чехова, но огорчался, не находя у него «определенного миросозерцания». Гольденвейзер замечает: «В этом отношении Лев Николаевич отдает предпочтение Горькому».

---

[1] Т. 63, стр. 308.
[2] «Толстовский ежегодник», 1912, стр. 55.

Запись эта сделана Гольденвейзером 29 апреля 1900 года, через четыре месяца после первой встречи Толстого и Горького. Спустя два месяца автор дневника записывает: «Льву Николаевичу очень нравится Горький как человек. В его сочинениях, однако, он начинает разочаровываться». Толстой укоряет молодого Горького за нарушение «чувства меры» в описаниях природы и изображении психологии героев.

В записях, сделанных автором дневника позднее, приведены отрицательные оценки, которые дал Толстой пьесе «Мещане», поэме «Человек», «Исповеди», отдельным рассказам Горького. Но все эти оценки «перевешивает» то, что Толстой сказал о Горьком летом 1902 года: «Мне все-таки импонирует, что Европа его так переводит, читает. Несомненно, что-то новое в нем есть. Главная его заслуга в том, что он стал в натуральную величину писать мир заброшенных оборванцев, босяков, о котором прежде почти не говорили. Он в этом отношении сделал то же, что в свое время сделали Тургенев, Григорович по отношению мира крестьянского...»

Высоко оценив те произведения Горького, в которых изображен «мир заброшенных» (ранние рассказы, пьеса «На дне»), Толстой не смог оценить его произведений, вводивших в русскую и мировую литературу образы новых героев — пролетарских революционеров (пьесы «Мещане», «Враги», роман «Мать»). Идеолог патриархальной деревни, Толстой не понял и не принял революционной направленности творчества Горького. Однако для Толстого Горький оставался всегда «настоящим человеком из народа», каким он увидел молодого писателя в их первую встречу в январе 1900 года. До конца дней Толстой не утратил интереса к творчеству Горького, видя в нем большого художника, вышедшего из народных низов и сохраняющего с ними неразрывную связь.

По дневнику А. Б. Гольденвейзера можно составить представление о широте *личных* связей Толстого с деятелями русской литературы и искусства. Своей жизнью и творчеством он связал *два века* русской культуры. Войдя в литературу в самом начале 50-х годов прошлого века, Толстой шестьдесят лет оставался в ее первых рядах.

Однако не воспоминания о прошлом составляют главное содержание книги «Вблизи Толстого», а жизнь писателя с той поры, когда с ним встретился автор дневника.

В дневнике А. Б. Гольденвейзера нашли отражение такие события, как выход в свет «крамольного» романа «Воскресение», отлучение Толстого от церкви, поездка заболевшего писателя в Крым и его встречи с народом в Харькове, Севастополе, празднование 80-летия со дня рождения Толстого, последний его приезд в Москву,

стихийная демонстрация народной любви и уважения к писателю во время проводов на Курском вокзале.

Большую часть этих событий автор видел своими глазами, во многих из них принимал близкое участие, и они даны в книге как свидетельства очевидца, записанные по горячим следам.

В дневнике А. Б. Гольденвейзера отразились такие исторические события, к которым великий писатель и мыслитель относился с особым вниманием и интересом. Мы имеем в виду прежде всего первую народную революцию в России. Гольденвейзер приводит отклики Толстого по поводу восстания на броненосце «Потемкин», декабрьского вооруженного восстания в Москве, разгрома восставшими крестьянами помещичьих усадеб, поражения революции и разгула реакции в стране.

Дневник Гольденвейзера дает много материалов для характеристики общественно-политических взглядов «позднего» Толстого, для понимания его противоречивой позиции в бурные годы первой русской революции.

III

Толстой уже давно видел, что буржуазная и дворянская Россия неудержимо идет к революционному взрыву, что ее господствующие классы живут на вулкане народного горя и гнева и что «развязка» и «расплата» за «великий грех», содеянный ими перед своим народом, неминуемо близятся.

Открытый и убежденный враг самодержавного строя и капитализма, наносивший им разящие удары силою слова, к которому прислушивался весь мир, Толстой ждал революции, видел ее неизбежность. Когда революция пришла, великий писатель, не поняв ее смысла и значения, отстранился от нее.

Противоречия во взглядах Толстого не были противоречиями его личной мысли, а, как пишет Ленин, отражали в высшей степени сложные условия пореформенной русской жизни. Идеолог старой России, Толстой выразил не только сильные, но и слабые стороны крестьянства, находившегося во власти патриархальной идеологии вплоть до кровавых уроков, полученных им после поражения революции. «Протест миллионов крестьян и их отчаяние — вот что слилось в учении Толстого», — говорит В. И. Ленин [1].

Кровавое подавление революции потрясло Толстого, пригвоздившего царских опричников к позорному столбу в знаменитом своем «Не могу молчать!». Патриархальная деревня в годы, последовавшие за поражением революции, стала быстро излечиваться от иллюзий,

[1] В. И. Ленин, Сочинения, т. 16, стр. 302.

владевших ею веками. Крестьянские массы все смелее и активнее вступали на путь революционной борьбы. Проповедник непротивления злу насилием, Толстой относился к этому с осуждением. В предисловии к альбому художника Н. В. Орлова «Русские мужики», вышедшему в 1908 году, Толстой с грустью писал о том, что его любимый «смиренный, трудовой, христианский, кроткий, терпеливый народ», к несчастью, «так скоро научился делать и машины, и железные дороги, и революции, и парламенты...» [1].

В. И. Ленин отметил, что в этом «сожалении», которое Толстой высказал незадолго до своей смерти, выразились худшие стороны «толстовщины», которой 1905 год принес «исторический конец» — «конец всей той эпохе, которая могла и должна была породить учение Толстого — не как индивидуальное нечто, не как каприз или оригинальничанье, а как идеологию условий жизни, в которых действительно находились миллионы и миллионы в течение известного времени» [2].

В свете ленинской оценки учения Толстого как «идеологии условий жизни», в которых миллионы людей находились в пореформенную, но дореволюционную эпоху, становится понятной и противоречивость высказываний писателя о первой русской революции, содержащихся в его статьях, дневниках и письмах, в свидетельствах мемуаристов.

А. Б. Гольденвейзер приводит многие из высказываний Толстого, относящиеся ко времени назревания революции в стране, к годам ее подъема и спада. В начале декабря 1905 года Толстой говорил:

«Хотя мне это на том свете ни на что не пригодится, а все-таки я рад, что дожил до революции. Очень интересно это все!»

Все симпатии писателя были на стороне трудового народа. Но Толстой, верный доктрине своего вероучения, хотел, чтобы революция развивалась «мирным» путем, и осуждал революционеров за то, что они зовут народ на путь непримиримой борьбы.

В письме к А. Б. Гольденвейзеру от 11 ноября 1905 года Толстой говорит о своем стремлении остаться в стороне от схватки, стараясь «не согрешить ни делом, ни словом, ни мыслью, став на ту или другую сторону людей, борющихся насилием». Борющимися «сторонами» были тогда царское правительство, защищавшее интересы господствующих классов, и революционеры, возглавившие восставший народ. Раз оба борющиеся лагеря применяют насилие, надо людям, исповедующим учение любви, отойти в сторону, — учил Толстой. «Вот мое отношение к событиям, — заключает он письмо к Гольденвей-

[1] Т. 37, стр. 273.
[2] В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 31—32.

зеру. — А события важные и, я думаю, ведущие к добру, как и вся жизнь».

«Современное движение в России, — говорил Толстой в июле 1905 года, — движение мировое, важность которого еще мало понимают. Это движение, которое, как французская революция когда-то, может быть даст своими идеями толчок на сотни лет. Русский народ обладает в высшей степени способностью к организации и самоуправлению».

В этих словах выражено главное в его отношении к первой революции в России. И сколько бы мы ни находили в статьях и письмах Толстого, а также и записях мемуаристов «осуждающих слов» в адрес революционеров, главное состояло в том, что он, несмотря на все свои заблуждения, видел, что революция несет с собой рождение новой жизни. Писатель верил, что русская революция по своим последствиям будет иметь возможно большее значение, нежели французская революция 1789 года.

На многих страницах книги «Вблизи Толстого» перед нами во всей своей силе выступает Толстой — суровый обличитель царского самодержавия, казенной церкви, всего помещичье-буржуазного строя. С глубоким возмущением говорит он о действиях царского правительства, старавшегося наладить «порядок» при помощи виселиц и пулеметов.

«Наше правительство теперь как дикий зверь, которого повалили вверх ногами и он отбивается всеми лапами во все стороны без всякого смысла». В другом месте писатель называет царский режим «пакостным правительством».

Толстой очень тяжело переживал дни столыпинской реакции, последовавшей за поражением революции. Он говорил в июле 1908 года:

«Подумать только, что делается теперь по всей России! Боже мой, боже мой, эти казни, эти тюрьмы, эти остроги, эти изгнания! И воображают, что они что-то изменят!»

В октябре 1908 года Гольденвейзер записал короткий, но весьма значительный разговор Толстого и его сына Андрея Львовича. Последний сказал, что в России скоро снова начнется революция. И вот что ответил Толстой: «Да она и не прекращалась! Ненависть с обеих сторон все растет».

И как художник и как мыслитель Толстой видел, что температура в котле классовой борьбы снова быстро нарастает и дело неминуемо подойдет к новому революционному взрыву.

Не подлежит сомнению, что Толстой считал справедливыми цели революции. Он верил, что революция принесет благо трудовому

народу. Но, подобно Константину Левину из романа «Анна Каренина», он мечтал о бескровной, мирной революции, сначала в одном уезде, потом в губернии, затем в целой стране и, наконец, во всем свете. И не только мечтал о ней, но искал путей для ее осуществления.

В августе 1907 года Толстой сказал Гольденвейзеру:

«Так ясно вижу, как можно было бы *успокоить революцию осуществлением проекта Генри Джорджа,* что непонятно и удивительно, как люди этого не видят» (курсив мой. — *К. Л.*).

Проект американского буржуазного экономиста Г. Джорджа о введении «единого налога» на землю казался тогда Толстому единственным средством решения земельного вопроса — главного, по его мнению, вопроса всей русской жизни.

«Земледельческие классы — это ноги, на которых стоит все туловище народа», — говорил Толстой. Отняв у крестьян землю, помещики совершили «великий грех» перед народом. Справедливо было бы заставить помещиков искупить свой грех и вернуть землю крестьянам. Но Толстой хорошо знал российское дворянство и не рассчитывал на то, что оно поступится своими интересами. «Единый налог» на землю сделал бы, по мысли Толстого, невыгодным для помещиков владение тысячами десятин, вследствие чего они вынуждены были бы добровольно отказаться от громадных земельных наделов. Ну, а если народ получит землю, полагал Толстой, он «успокоится» и не станет участвовать в революционных схватках.

Вот почему, преодолевая внутреннее отвращение, Толстой пытался убедить царское правительство осуществить проект «единого налога» на землю. Гольденвейзер свидетельствует: «Я знаю, что Лев Николаевич все-таки писал Столыпину. Разумеется, письмо не имело никаких результатов».

«Я рад, что писал царю, а потом Столыпину, — говорил Толстой. — По крайней мере я все сделал, чтобы узнать, что к ним обращаться бесполезно».

И, однако, до конца дней Толстой продолжал обращаться к правящим классам с призывами «одуматься» и перестать грабить, обманывать и развращать трудовой народ. Писатель видел, что его призывы остаются без ответа, и горько жаловался на бессердечие и эгоизм «власть имущих», заботившихся лишь о своих выгодах. Говоря об экономической отсталости царской России, писатель обвинял правителей. «Я думаю, — говорил он, — что главная причина заключается в подлости нашего дворянства и вообще высших классов».

В мае 1909 года Гольденвейзер записывает: «Ужасаясь на Столыпина и нравы высших чиновников, Лев Николаевич сказал: «Что

это за среда ужасная! Я ее знаю. Когда я вырасту большой, я напишу повесть из этого быта».

Такой повести Толстой не написал, но в своих произведениях, написанных ранее, он показал людей этой среды во всем их блеске. Достаточно вспомнить сановника Каренина из романа «Анна Каренина», сенаторов, полицейских и судейских чиновников из романа «Воскресение».

С беспощадной резкостью Толстой осуждал церковь, видя в ней служанку правящих классов.

«Какое это ужасное зло — церковно-религиозный обман. Хуже виселиц и тюрем!» — говорил писатель.

В мае 1909 года газеты напечатали указ синода об открытии мощей Анны Кашинской. Толстой сказал по этому поводу: «Никакое несчастье, страдание не может меня заставить желать смерти, а когда я вижу, что теперь, в двадцатом столетии, могут всенародно делаться такие гадости и глупости, единственное, что остается, — умереть».

С каким достоинством и уверенностью в своей правоте отвечал Толстой святейшему синоду, отлучившему его от церкви! Какими мелкими и ничтожными людьми выглядят апостолы церкви, подобные тамбовскому епископу Иннокентию, требовавшему у совета министров расправы с Толстым!

Врагами Толстого были не только архипастыри православной церкви и не только столпы самодержавия, а и представители так называемой общественности, мечтавшие о конституционной монархии, о буржуазных «свободах».

В годы реакции Толстой зло высмеивал думских деятелей, «сотрудничавших» с царским правительством. Он говорил: «Россией управляет шайка грабителей. Как можно участвовать в таком правительстве?»

Представители буржуазной интеллигенции — либералы, «веховцы» и иные — не встречали у Толстого никакого сочувствия. Он видел всю ограниченность и беспочвенность их «деятельности».

В августе 1908 года Толстой поделился с автором книги важным заключением, которое он вынес из своих каждодневных встреч с крестьянами:

«В народе идет пробуждение, и удержать его ничем нельзя. Прежде в народе смотрели, что господа, им так и подобает жить господами, а теперь увидали, что все это не так просто и что вовсе им так не подобает жить. И озлобление все растет на моих глазах».

Какой же выход указывал Толстой, видя, как все более обостряются классовые противоречия в стране?

«Надо исправить стародавнюю несправедливость владения землею», — таков лейтмотив множества высказываний Толстого, относящихся к годам первой русской революции.

«Есть одно — что земля не может быть предметом собственности, как человек не может быть предметом собственности. Да так и выходит: если земля собственность, то и человек, который на этой земле, — тоже собственность». Рабство крепостничества, земельное рабство и «рабство нового времени», капиталистическое, — таковы, по мнению Толстого, три главные формы закабаления народа, с которыми необходимо бороться. При этом капиталистическое рабство писатель считал производным от земельного. Он говорил: «Капитализм — это последствие накопления земельной собственности».

В дневнике Гольденвейзера читатель найдет много подобных записей, показывающих, с какой настойчивостью Толстой стремился «дойти до корня», выясняя причины бедствий народных масс, и как патриархально-крестьянская идеология, воспринятая писателем после перелома в мировоззрении, обусловливала собой и сильные и слабые стороны его взглядов. Их сила заключалась в беспощадном, бескомпромиссном обличении и отрицании эксплуататорского строя. Их слабость нашла выражение в непонимании действительного пути исторического развития, в стремлении повернуть историю вспять — к патриархальной старине. Толстой упорно закрывал глаза на то, что в городах быстро вырастал новый общественный класс — пролетариат, историческую миссию которого он до конца своей жизни так и не осознал.

Толстой не знал верных путей освобождения народа, но самые заветные его помыслы были устремлены к тому, чтобы добиться освобождения людей труда от всех форм угнетения. *«Труд должен быть не рабским, а свободным, и в этом все»,* — говорил он (курсив мой. — *К. Л.*).

Осуждая капиталистическое «рабство нового времени», Толстой выступает страстным критиком империализма, сурово обличает разбойничьи колониальные захваты, политику грабительских войн, которую проводили империалистические державы. Книга А. Б. Гольденвейзера сохранила много острейших высказываний писателя на эти темы.

В начале 1900 года, говоря о пылавшей тогда англо-бурской войне, Толстой осудил английских империалистов, снискавших «всеобщую ненависть». «Я не доживу, — сказал писатель, — но мне кажется, что могущество Англии сильно пошатнется». Он предвидел близкий крах системы колониализма и в своих статьях, письмах, высказываниях наносил ей могучие удары.

А. Б. Гольденвейзер описывает, с каким волнением восьмидесятилетний Толстой готовил свой доклад для Стокгольмского конгресса мира, на который он собирался поехать в 1909 году. Позднее писатель говорил, что устроители конгресса испугались его приезда и под благовидным предлогом отложили конгресс.

В пору возникновения русско-японской войны Толстой указывал, что «сознание зла, ненужности, нелепости войны все более проникает в общественное сознание», и выражал надежду, что скоро придет время, «когда войны станут невозможны — никто не станет воевать».

Особенно радовало Толстого, что осуждение войны выражают все более открыто трудящиеся классы, на своих плечах выносившие все тяготы войн. «Взгляд на войну как на зло, — говорил писатель, — все более проникает в сознание народа».

В эти годы Толстой обращается к народным массам с призывами обуздать зачинщиков войн, рассадить их по «смирительным заведениям», предложить им самим идти «под ядра и пули».

С большим вниманием следил Толстой за пробуждением народов Востока, высказывал им свои симпатии. С глубокой скорбью он говорил об Индии, «где народ погибает, миллионы ежегодно умирают от голода под гнетом англичан». Толстой с гневом клеймил английских и иных колонизаторов и верил, что придет день, когда народы Азии и Африки сбросят ярмо порабощения. Его восхищало трудолюбие китайцев, их «необыкновенное умение работать»; он находил, что всем европейским народам есть чему у них поучиться.

Великий гуманист отвергал человеконенавистнические идеи философии Ницше, служившие «оправданием» расизма, колониального гнета, империалистических войн. В июле 1906 года он говорил: «Я повторяю последнее время старые мысли... и нахожу в них новое. Я как будто глубже в них проникаю. Например, слова: «Все люди, все человеки». Я с особенной ясностью вижу теперь, до какой степени все люди: японцы, китайцы, русские, кафры — все одинаковы. Везде те же страсти, те же слабости, те же стремления».

Эти «старые мысли» легли в основу демократических и гуманистических традиций русской и мировой прогрессивной литературы, традиций, которые Лев Толстой утверждал и развивал в новых, очень сложных исторических условиях.

IV

Противоречивыми были не только общественно-политические, но и философские, морально-этические, эстетические взгляды Толстого. Противоречивым было также его отношение к науке. В решение

серьезнейших научных вопросов Толстой привносил религиозный элемент и нередко приходил к самым парадоксальным выводам.

Так, например, критикуя революционеров за атеизм, Толстой дал такое определение сущности социалистического учения: «Они говорят о социализме, забывая, что социализм — это только одна сторона христианства — экономическая».

В этом стремлении связать социализм с религией проявилось одно из сильнейших заблуждений Толстого-мыслителя.

В книге «Вблизи Толстого» приведено много высказываний писателя, содержащих прямые нападки на материализм (как философское учение). В этих нападках он доходил до того, что, например, материалистическое учение Дарвина ставил в один ряд с проповедью Моисея.

В 90-е и 900-е годы Толстой проявляет острый интерес к теории научного социализма. В эту пору он не только читает книги и статьи о марксизме, но и штудирует «Капитал» Маркса. Хранящиеся в яснополянской библиотеке два издания «Капитала» (немецкое — 1883 г. и в русском переводе — 1898 г.) имеют на своих страницах пометы Толстого.

Из высказываний Толстого об основоположнике научного социализма можно увидеть, что он сочувственно относится к Марксу — беспощадному обличителю капитализма и всех других форм порабощения человека. В то же время он не принимает в учении Маркса его материалистических философских основ, утверждения революционной борьбы как единственного пути общественного переустройства.

В книге «Вблизи Толстого» рассказывается, с каким огорчением писатель сетовал на Г. Джорджа за проявленное им неуважение к Марксу. «В книге Генри Джорджа «Прогресс и бедность», — говорил Толстой, — не упоминается вовсе имя Маркса, а в недавно вышедшем посмертном его труде едва уделено Марксу восемь пренебрежительных строк...» Сам Толстой поступил иначе. В эту пору он писал трактат по рабочему вопросу «Рабство нашего времени». Говоря о том, как добываются в буржуазном обществе свободные рабочие руки, Толстой приводит яркую характеристику способов первоначального капиталистического накопления, данную Марксом в «Капитале». А. Б. Гольденвейзер свидетельствует, что эпиграфом к своему трактату Толстой хотел «взять изречение Маркса о том, что с тех пор, как капиталисты стали во главе рабочих классов, европейские государства потеряли всякий стыд».

Философские взгляды Маркса не находили у Толстого сочувствия. В дневниках и записных книжках последних лет жизни писателя можно встретить записи, где выражено его несогласие с Марксом

в решении коренного вопроса философии — отношения мышления к бытию. Так, летом 1908 года Толстой записывает: «Маркс говорит: бытие...» И далее следует длинное полемическое рассуждение (т. 56, стр. 342).

И такие записи в книге «Вблизи Толстого», как: «Начало всего есть сознание, а никак не материя», — есть прямая полемика Толстого с Марксом и сторонниками его учения.

Из «нападок» Толстого на материализм все же не следует, что он был убежденным и последовательным идеалистом. И в книге «Вблизи Толстого» можно найти целый ряд высказываний писателя, в которых отчетливо выражено признание материальности мира. Например, большое философское рассуждение о взглядах Канта, Шопенгауэра, Спинозы, религиозных учителей завершается признанием: «Я сознаю себя духовным существом, но я отделен от всего остального мира известными пределами, которые и суть материальный мир». Признание реальности материи содержится в том определении пространства и времени, которое Толстой сделал и в сентябре 1907 года, и в других своих беседах по философским вопросам.

И было бы удивительным, если б такой могучий художник живой жизни, страстно влюбленный в ее краски, звуки, в ее бесконечно разнообразное движение, принял бы философию абсолютного идеализма!

Отдав дань блужданиям мысли по лабиринтам идеалистических теорий, Толстой в конце концов пришел к выводу, что мир, в котором мы живем, есть «не шутка», а единственный реальный мир, и надо все сделать для того, чтобы жизнь в этом мире стала прекрасной, достойной человека.

В книге «Вблизи Толстого» мы находим богатейшие материалы, ярко характеризующие литературно-эстетические взгляды писателя. Заметим, что Гольденвейзер познакомился с Толстым в то время, когда он завершал свой многолетний труд над трактатом «Что такое искусство?», и многие из записанных автором дневника суждений Толстого по вопросам искусства очень близки к тому, что он говорит в своем эстетическом трактате.

Известно, что в трактате «Что такое искусство?» Толстой подкрепляет свою критику современного «господского», оторванного от народа искусства примерами из творчества главным образом западноевропейских писателей, художников, композиторов. В книге Гольденвейзера, как, впрочем, и у других мемуаристов, мы находим много примеров, взятых Толстым из творчества русских мастеров искусства и литературы. И, что особенно важно, здесь приведены высказывания Толстого о произведениях, появившихся значительно позднее того, как вышел в свет его трактат «Что такое искусство?».

Мы видим здесь, как Толстой применяет свои эстетические принципы к оценке новых явлений искусства и литературы. И в то же время мы видим, с каким вниманием, с какой жадностью следил Толстой за всем новым, что появлялось в русском и зарубежном искусстве.

Поразительны добросовестность и объективность, с которыми Толстой старался оценить новые художественные произведения.

«Я все боюсь, что это стариковская черта — признавать все только свое старое. Но вот и в литературе, хотя бы у нас: после Гоголя, Пушкина — Леонид Андреев». Из этих слов Толстого, из многих его оценок различных художественных произведений читатель легко увидит, что все симпатии писателя были отданы великим реалистам.

Утверждая в своем творчестве традиции Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Толстой ставил за образец их произведения, противопоставляя наследие писателей-классиков заумному словотворчеству декадентов, символистов и всех других представителей модернистского искусства.

Но, будучи сам величайшим новатором в искусстве слова, утверждая, что главное для художника в том, чтобы «сказать что-нибудь свое, новое», Толстой не мог, разумеется, звать молодые силы искусства к простому наследованию традиций, к ученическому копированию образцов. «Настоящее искусство, — утверждал он, — есть всегда искусство своего времени». Эта мысль проходит через все важнейшие высказывания Толстого об искусстве.

Именно поэтому многие оценки и прошлого и современного Толстому искусства, а также оценки отдельных художественных произведений, сделанные писателем, сохраняют свою силу и значение.

Разве могучая толстовская критика декадентства хоть сколько-нибудь утратила свое значение? Разве и ныне не помогает она прогрессивным силам искусства бороться против самой современной формы декадентства, каким является абстрактное искусство? Достаточно поставить эти вопросы, чтобы по достоинству оценить те страницы дневника Гольденвейзера, где приводятся полные блеска и остроумия нападки Толстого на всевозможные подделки под искусство, на тех, кто считает, что «в искусстве все дозволено», на литературу нат-пинкертонов и шерлоков-холмсов, на декадентские пьесы Метерлинка, на «пугающие» читателя сочинения Леонида Андреева, на «православных декадентов» Мережковского и Розанова и многое другое.

Толстого возмущала беспринципность буржуазной литературы, отсутствие в ее представителях убежденности в своих взглядах, искренности и правдивости. «Я всегда буду высказывать свои мысли,

если я верю в то, что я говорю... Но я не могу говорить не то, что думаю». В этих словах весь Толстой, с его непрестанным исканием истины, с его непреклонной убежденностью, искренностью и стремлением говорить читателям всю правду и только правду, как он ее понимал.

V

Исключительно интересны те страницы дневника А. Б. Гольденвейзера, где рассказывается о творческой работе Толстого над своими произведениями.

Октябрь 1898 года. Идет к концу девятый год работы Толстого над «Воскресением». А. Б. Гольденвейзеру посчастливилось стать одним из первых читателей романа. «Вчера утром, — записывает он 14 октября 1898 года, — я вернулся из Ясной Поляны, где провел три дня. Я, между прочим, прочитал новую повесть Льва Николаевича «Воскресение». Вторую, еще не отделанную половину я читал в набросках, написанных на маленьких отдельных листках. *Некоторые места были написаны только утром того дня, когда я читал»* (курсив мой. — *К. Л.*).

Вручая Гольденвейзеру папку, «всю полную исписанной большей частью на разной величины кусках бумаги», Толстой сказал:

«Вот здесь все. Прочтите, если что разберете. Конец еще только набросан».

Автор дневника был поражен тем, с какой простотой Толстой говорил о своем произведении, вскоре приковавшем внимание всего мира. Близко общаясь с писателем, Гольденвейзер был свидетелем необычайного творческого подъема, с которым семидесятилетний Толстой завершал свой труд над романом. «За последнее время, — свидетельствует автор дневника, — Лев Николаевич почти всегда бывал в удивительном настроении какого-то просветления, какой-то необыкновенной молодости всего существа».

Понимал ли тогда автор дневника, какое счастье выпало на его долю, оценил ли доверие, с которым великий художник открыл перед ним двери своей творческой лаборатории? Ему минуло тогда всего двадцать три года. Непосредственность и искренность, с которыми он выражал свои впечатления от прочитанного, были дороги писателю. Как ни далек был молодой пианист от литературного творчества, он, читая рукописи Толстого, уловил самое главное: создание произведения есть огромный труд, где все подчинено художественному выражению большой идеи, глубоких мыслей о людях и жизни.

«Я попал в самое «святое святых» его работы, — пишет Гольденвейзер. — Я видел, как очищает, уясняет свою глубокую психологи-

ческую работу Лев Николаевич, как часто маленькая перемена одного штриха влечет за собой полное изменение целого эпизода, как иногда простая перестановка двух отрывков освещает более ярким светом всю картину».

Особенно поразила его своей художественной силой сцена встречи в тюрьме героев романа Катюши Масловой и Нехлюдова. Гольденвейзер дает пересказ самой ранней редакции этой сцены. В окончательном тексте романа она претерпела большие изменения и стала еще сильнее.

Летом 1899 года, гостя в Ясной Поляне, А. Б. Гольденвейзер принял участие в работе над корректурами «Воскресения». Роман в то время печатался в журнале «Нива», готовилось его отдельное издание в России и за границей. Просматривая наборные корректуры, присылавшиеся редакцией «Нивы», Толстой испещрял их поправками и добавлениями. Они вносились на чистые гранки, и тут же готовились еще два экземпляра гранок — один для «Нивы», другой посылался в Англию, к В. Г. Черткову, для заграничного издания.

«Это интересная, но кропотливая и трудная работа, — рассказывает А. Б. Гольденвейзер. — Сплошь да рядом вместо одной печатной гранки приходится переписывать заново три-четыре длинных страницы. Часто поправки бывают написаны так тесно, что разбирать их приходится с помощью лупы. *Кто не видел этой невероятной работы Льва Николаевича, этих бесчисленных переделок, добавлений и изменений иногда десятки раз одного и того же эпизода, тот не может иметь о ней даже отдаленного представления»* (курсив мой. — *К. Л.*).

В архиве писателя сохранилось более семи тысяч листов рукописей и корректур «Воскресения», большая часть которых служит превосходной иллюстрацией к свидетельству А. Б. Гольденвейзера; они действительно испещрены множеством поправок, сделанных Толстым. И редакторы, и помощники писателя, переписывавшие его рукописи, державшие корректуры, нередко жаловались ему на то, что он «замучил» их, бесконечно переделывая, исправляя написанное. И вот что отвечал Толстой:

«Я не понимаю, как можно писать и не переделывать все множество раз. Я почти никогда не перечитываю своих уже напечатанных вещей, но если мне попадется случайно какая-нибудь страница, мне всегда кажется: это все надо переделать, вот как надо было сказать...»

Эту поистине безграничную требовательность к писательскому труду Толстой пронес через всю свою жизнь. Будучи столь требовательным к самому себе, он имел моральное право не менее строго судить о работе и других писателей и художников.

Как и другие мемуаристы, Гольденвейзер много пишет о любви Толстого к труду. Ни возраст, ни болезни, ни преследования со стороны «власть имущих», ни разлад в семье — ничто не могло оторвать писателя от любимого творческого труда, до конца дней поглощавшего все его силы.

Тяжело заболев, Толстой, по совету врачей, осенью 1901 года уехал в Крым и провел там более девяти месяцев. Жена и дочери писателя нередко писали Гольденвейзеру из Гаспры, сообщая о ходе болезни Толстого. Слова «работает», «много работает», «снова работает» встречаются почти в каждом из их крымских писем, отрывки из которых приводятся в дневнике.

И сам Гольденвейзер, приехав в Гаспру, был более всего удивлен тем, как мало считается Толстой с болезнью. 3 января 1902 года автор дневника с тревогой отметил ухудшение в состоянии здоровья Толстого. «Он слишком много работал эти дни над очень волнующей его работой (письмо к царю) и переутомился. У него сделались перебои (сердца), и вчера он не вставал с постели».

Но как только болезнь немного «отпустила» Толстого, он немедленно снова принялся за работу.

В книге «Вблизи Толстого» даны драгоценные свидетельства о творческой истории таких произведений, как драма «Живой труп», повесть «Хаджи Мурат» и многие, многие другие. Толстой предстает здесь перед нами буквально переполненным художественными замыслами, с поразительной быстротой и обилием рождающимися в его творческом сознании.

«Я вот умирать собираюсь, а у меня пропасть сюжетов, и нынче еще новый сюжет. У меня их целый длинный список...» — говорил Толстой летом 1903 года.

Летом 1905 года, рассказав о том, что ему хотелось бы написать целую серию рассказов для подготовлявшейся им книги «Круг чтения», Толстой прибавил: «Жить остается только одну минуту, а работы на сто лет».

На восемьдесят первом году жизни, после поездки в деревню Телятинки к крестьянину Андрею Маслову, «тип и судьба которого нужны были Льву Николаевичу для его художественной работы», писатель сказал: «Я весь полон своей работой».

Записи Гольденвейзера убедительно говорят о том, что свою творческую работу Толстой подчинял тем же высоким требованиям, которые он обращал ко всем другим писателям и художникам. Так, например, он говорил:

«Самое главное, чтобы был *свой* суд. Я пробовал последнее время несколько раз писать художественные вещи, но не могу, потому что нет нужного страстного отношения к работе», «писать надо

только тогда, когда каждый раз, что обмакиваешь перо, оставляешь в чернильнице кусок мяса».

Вспоминая Пушкина, которого он называл своим отцом и учителем, и выражая пушкинское и свое собственное отношение к творческому труду, Толстой говорил: «Лучшие писатели всегда строги к себе».

Толстой любил повторять пушкинский афоризм: «Слова поэта суть уже его дела», и подчеркивал: «Писанье мое есть весь я», — указывая тем самым, что в свои произведения он вложил все лучшее, что имел.

VI

Действительно, могучая творческая личность Толстого — художника и мыслителя — полнее всего воплотилась в его великих произведениях. И в них надо искать черты своеобразия его неповторимой писательской индивидуальности.

Однако не напрасно говорят: он был человек, и ничто человеческое не было ему чуждо! Знаменитый литературный портрет Льва Толстого, созданный Горьким, именно с этой — в широком смысле слова человеческой — стороны освещает личность гениального художника. Каждый из мемуаристов, и в их числе А. Б. Гольденвейзер, вносит в наше представление о Толстом-человеке новые черты и черточки, дополнительные детали и подробности, помогающие полнее представить его сложный облик.

Здесь прежде всего обращают на себя внимание многие признания, сделанные Толстым в дружеской беседе и с разных сторон раскрывающие его характер, богатство его натуры, многосторонность и разнообразие интересов и вместе с тем большую целеустремленность.

Толстой, например, говорил о себе: «Я всю жизнь учился и не перестаю учиться, и вот что я заметил: учение только тогда плодотворно, когда отвечает каким-нибудь моим запросам». И тут же он приводит примеры своих занятий по открытому им самим методу.

Всегда ищущий, всегда, по выражению В. Г. Короленко, «кипящий мыслью», Толстой очень боялся впасть в догматизм, в сектантскую узость и доктринерство. Беседуя с Гольденвейзером за полтора года до кончины, писатель осуждал «пашковцев» за то, что они «впадают в сектантство, в узкий догматизм», и прибавил:

«Я все думаю, нет ли и во мне этого».

А когда писатель обнаруживал у себя подобный «грех», он старался от него избавиться. Работая над книгой «Круг чтения», Тол-

стой вдруг почувствовал, что в ней много педантизма, нарочитости в подборе материалов. «Я совсем недоволен этой работой, — заявил он. — Я теперь безжалостно все выбрасываю».

Когда один из музыкантов, разделявших взгляды Толстого, сказал писателю, что хотел бы устроиться в общине с единомышленниками, тот ответил:

«Зачем община? Не надо отделяться от всех людей... Сколько людей устраивались общинами, и из этого ничего не выходило. Сначала вся энергия уходила на внешнее устройство жизни, а когда устраивались, начинались ссоры, сплетни, и все распадалось...»

Толстому претил сектантский характер «толстовских» земледельческих общин, и он хорошо знал, как печален был опыт многих из них.

В дневнике Гольденвейзера читатели найдут яркие подробности, живо рисующие активную, волевую натуру Толстого, его жизнелюбие и жизнерадостность. Рассказывая о своих «сражениях» с Толстым в шахматы, Гольденвейзер подчеркивает, что его партнер всегда старался вести игру в атакующем, стремительном стиле и никогда не был равнодушен к результатам игры.

Толстой страстно любил все проявления жизни, любил природу, движение, смену впечатлений. Только что горячо поспорив о поэзии и красоте и высказав их «отрицание», он тут же мог залюбоваться тем, как просвечивает месяц сквозь листья дикого винограда.

Оптимистический характер Толстого проявился во многих его отзывах о писателях, художниках, музыкантах. Гольденвейзер рассказывает:

«Лев Николаевич восхищался Гайдном; между прочим, он сказал:

— Едва ли не самое ценное для меня свойство Гайдна — его жизнерадостность; а то теперешний какой-нибудь напьется, испортит себе желудок, а потом говорит, что жизнь — зло».

Гольденвейзер рассказывает, как встретившись с цыганами, Толстой весь преобразился и, глядя на них, «сам невольно начал приплясывать и одобрительно вскрикивать». Его могли глубоко заинтересовать самые неожиданные вещи, увлечь такие вопросы, которые, казалось бы, страшно далеко отстоят от его занятий. «Лев Николаевич проявляет интерес к самым разнообразным вещам», — отмечает Гольденвейзер 1 сентября 1908 года и рассказывает, что в этот день у Толстого был слепой; после его ухода писатель долго расспрашивал доктора Д. П. Маковицкого о способах лечения слепоты.

До глубокой старости Толстой сохранил в себе редкую способность с детской непосредственностью относиться к таким «малень-

ким» радостям жизни, как незамысловатая игрушка, шутка, игра в городки или искусство делать из бумаги «японских петушков». В день рождения писателя Гольденвейзер подарил ему механическую чинилку для карандашей. «Она ему была приятна. Он по-детски любит такие вещи».

Толстой радовался сам всем «впечатлениям бытия» и умел одарить своей радостью окружающих.

Но автор книги «Вблизи Толстого» скоро увидел, что не все из людей, окружавших писателя, приносили ему радость. Описывая ближайшее окружение Толстого, он затрагивает столь «больную» тему, как семейная драма писателя.

А. Б. Гольденвейзер приводит несколько горьких признаний Толстого о разладе с женой и некоторыми из своих детей, о душевных страданиях, вызванных тем, что он вынужден жить в барской усадьбе, вопреки его убеждениям, высказанным во всех произведениях, написанных им после перелома в мировоззрении.

Слушая в своем доме «помещичьи» разговоры, которые вели его семейные с гостями-дворянами, Толстой жаловался: «Как ужасно мне теперь слушать все эти разговоры, видеть всё это! Это так противоречит моим мыслям, желаниям, всему, чем я живу... Хоть бы они пожалели меня!»

Это сознание невозможности жить в семье, не поступаясь своими убеждениями, все больше и больше тяготило писателя. И по дневнику Гольденвейзера можно было бы проследить, как все более назревает ощущение неизбежности разрыва Толстого с семьей, желание навсегда уйти из Ясной Поляны. В июне 1908 года Толстой сказал Гольденвейзеру: «Мне эти дни невыносимо тяжело... Я просто не могу больше жить так. Эта прислуга, роскошь, богатство, а там (в деревне. — *К. Л.*) — бедность, грязь. Мне мучительно, невыносимо стыдно... Просто не могу больше так жить, — повторил он».

Гольденвейзер был близок Толстому, пользовался большим его доверием, и естественно, что в назревавшей драме он уже не оставался просто наблюдателем, который видел бы все стороны дела и мог судить о нем с полной беспристрастностью. Да и надо ли было «судить»? И разве не ясно теперь, почти полвека спустя после кончины Толстого, что в яснополянской драме тяжело пострадали «обе стороны», что причиной драмы была не «злая воля» жены писателя, как тогда казалось многим, и в том числе автору дневника, а та ломка старых устоев, которая проходила по всей России и властно врывалась повсюду, нередко разделяя людей на два противоположных лагеря, вызывая между ними острую борьбу. Она врывалась и в дворянские семьи, внося в них разлад и смятение. Семья Толстого в этом смысле не представляла собой исключения.

Такова общественно-историческая основа яснополянской драмы. А форма, в какой она протекала, зависела уже от ее конкретных участников, от личности и характеров Толстого и его жены. Свидетельства мемуаристов, в том числе и Гольденвейзера, и сосредоточены лишь на описании внешней стороны семейной драмы писателя, не дают объяснения ее глубоких причин.

Мемуаристы полагают, что, покидая Ясную Поляну, Толстой уходил от жены и семьи. А в дневниках и письмах его с полной определенностью выражено желание «уйти от всех», в том числе и от единомышленников, замучивших писателя своими не в меру «ортодоксальными» требованиями, иссушающими ум и сердце бесконечными спорами о «принципах» толстовского вероучения. И от семьи, не разделявшей его новых взглядов, и от окружения своего писатель хотел уйти к народу, с которым он мечтал провести свои последние годы, зажить давно манившей его простой крестьянской жизнью.

Знакомясь с книгой «Вблизи Толстого», читатель получит возможность отчетливее представить себе живой образ писателя, пережить радость общения с тем, кого Горький называл «самым сложным человеком среди всех крупнейших людей XIX столетия».

К. Ломунов

ВБЛИЗИ ТОЛСТОГО

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Выпуская в свет дневник, посвященный моему почти пятнадцатилетнему общению со Львом Николаевичем Толстым, я считаю необходимым прежде всего сказать, какую цель преследовал я, ведя свои записи, и как я записывал.

Записывал я главным образом слова Льва Николаевича, а частью и события его личной жизни, стараясь избежать отбора только того, что казалось мне с той или иной точки зрения значительным или интересным, и не заботясь о каком-либо плане или даже о связности отдельных записей между собою.

От этого мой дневник, разумеется, ни в какой мере не является «литературой». Его цель — быть документом.

К сожалению, я далеко не всегда и не все записывал. Сравнительно больше я стал записывать только с 1908 года. В 1909 году записей уже довольно много, и только последний год жизни Льва Николаевича, 1910, записан мною почти со всей доступной мне полнотой.

Благодаря этому получилась чрезвычайная неравномерность: первый том дневника обнимает собою длинный период с января 1896 года по 1 января 1910 года; второй же — заключает в себе записи и материалы только за один 1910 год.

Записывал я обычно так: я всегда имел при себе ка-

рандаш и небольшие листки бумаги, на которых сейчас же, отойдя в сторонку или незаметно под столом, иногда даже в кармане, сокращенно записывал слова Льва Николаевича и реплики других. Думаю, что Лев Николаевич ни разу не заметил, что я записываю.

Раза два, впрочем, когда мне хотелось проверить точность своей записи, мне случалось прочитывать Льву Николаевичу записанную мною мысль, и я счастлив, что в этих случаях не встретил с его стороны никаких замечаний или поправок. Лев Николаевич вполне мог думать, что это были случайные записи заинтересовавших меня его мыслей и, по-видимому, никогда не знал, что я записываю более или менее систематически. Со временем у меня выработалась своеобразная техника сокращенных записей, благодаря которой мне удавалось иногда воспроизводить более или менее продолжительные и сложные беседы.

Записанное, обыкновенно в тот же день, иногда сейчас же после записи, а иногда придя домой, я прочитывал и дописывал яснее и наконец, спустя некоторое время, переписывал в тетради; причем в тех случаях, когда почему-либо запись не была мною разобрана сейчас же, я уже не мог ее восстановить... В некоторых случаях, особенно в более ранние годы, я на отдельных записях не отмечал дат, потому они и датированы мною позже и только приблизительно.

Слова Льва Николаевича я старался записывать, сохраняя особенности его устной речи, не сглаживая естественные в разговоре синтаксические неправильности, повторения, необычную расстановку слов. От этого некоторые записи иногда не сразу понятны, но зато хочется надеяться, что мне удалось хоть кое-где сохранить живую речь Льва Николаевича, часто совсем непохожую на его своеобразный писательский стиль.

Иногда я отмечал и особенности произношения Льва Николаевича, делаемых им ударений в словах и т. п., и жалею, что не делал этого чаще.

Записывая происходившее вокруг Льва Николаевича, я не мог избежать того, чтобы не касаться его отношений к жене, детям и другим лицам, с которыми он общался. Если при этом поневоле отпечатлевались такие черты, которые не всегда выставляют в благоприятном свете тех или иных лиц или их поступки, то произошло это не из желания моего сказать о ком-либо дурное, а потому, что я не считал возможным ретушировать выступавшую из моих записей картину отношений между Львом Николаевичем и окружавшими его людьми.

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Первый том моей книги вышел в самом конце 1922 года и с тех пор не переиздавался. Издание быстро разошлось и стало библиографической редкостью. В настоящем издании текст дневника печатается без изменений, но с рядом добавлений. В 1922 году были еще живы многие из упоминаемых в дневнике лиц, так что при издании пришлось исключить часть записей. Эти исключенные мною места в настоящем издании почти целиком восстановлены. Кроме того, в текст включен ряд писем ко мне членов семьи Толстого, дополняющих сведения о Льве Николаевиче в то время, когда я не был в доме Толстых.

Во второй половине 1929 года я, перечитывая свой дневник, записывал многое из того, что помнил о Толстом и его окружении, что не было отражено в дневнике. Этих добавлений — иногда коротких, в несколько строк, а иногда в несколько страниц — накопилось очень много. Часть этих добавлений печатается в подстрочных примечаниях от автора или в конце книги в разделе «Из поздних воспоминаний».

Яркие, смелые высказывания Толстого находятся в соответствии с его миросозерцанием. Я не счел возможным их сокращать или видоизменять. Современный читатель отстранит то, что противоречит его мировоззрению.

1896

В первый раз я был в доме у Льва Николаевича (в Москве, в Хамовническом переулке) 20 января 1896 года.

Мне тогда еще не минуло двадцати одного года. Привезла меня к Толстым одна известная в то время московская певица [1], бывавшая у Толстых. Привезла, разумеется, в качестве пианиста...

Когда человек имеет несчастье играть на каком-нибудь инструменте, петь, декламировать и т. п., то это является постоянным препятствием для непосредственного общения его с людьми. С ним не говорят, им не интересуются как человеком, его просят сыграть, спеть, прочесть... От этого чувствуешь себя среди людей трудно, неловко.

Неловко было и мне тогда и мучительно страшно. Меня представили. Я пробрался в гостиную, где, по счастью, оказались два-три знакомых лица. Льва Николаевича я еще не видал. Немного погодя он вышел. В блузе, руки за поясом... Поздоровался со всеми. Я не помню, говорил ли он тут со мной. Потом я играл. Играл плохо. Разумеется, из учтивости меня благодарили и хвалили, отчего мне стало невыразимо стыдно.

И вот тут, когда я стоял посреди большой комнаты, такой растерянный, не зная, куда деваться, не решаясь глаз поднять, Лев Николаевич подошел ко мне и просто, как только он умел говорить, заговорил со мной.

Между прочим, говоря о том, чтó я играл, он спросил меня:

— Какого композитора вы любите больше всех?

Я ответил:

— Бетховена.

Лев Николаевич посмотрел мне прямо в глаза и сказал тихо, как бы недоверчиво:

— Правда ли?

Похоже было, что я говорю, что̀ все говорят. А я правду сказал.

Лев Николаевич заметил, что едва ли не больше всех композиторов любит Шопена.

Он сказал мне:

— Во всяком искусстве, я это и на своем опыте знаю, трудно избежать двух крайностей: пошлости и изысканности. Например, Моцарт, которого я так люблю, впадает иногда в пошлость, но и поднимается зато потом на необыкновенную высоту. Недостаток Шумана — изысканность. Из этих двух недостатков изысканность хуже пошлости, хотя бы потому, что от нее труднее освободиться. Величие Шопена в том, что, как бы он ни был прост, никогда он не впадает в пошлость, и самые сложные его сочинения не бывают изысканны.

Я ушел тогда от Толстых со смутным чувством счастья, что увидал Льва Николаевича и говорил с ним, и какой-то горькой обиды за себя...

Меня звали бывать, но, вероятно, никогда бы я не решился по собственной инициативе пойти еще раз ко Льву Николаевичу.

Вскоре, 27 января, меня пригласила Татьяна Львовна[2] к ним на музыкальный вечер. Я пошел. Это было небезызвестное тогда в Москве трио сестер Редер.

После этого я как-то вечером рискнул пойти в Хамовники по собственному почину и затем стал там бывать.

Однажды вечером, идя по Хамовническому переулку к дому Толстых, я встретил Льва Николаевича, который шел гулять. Он позвал меня с собою. Мы пошли по Пречистенке. На улице было пусто и тихо. Прохожие, изредка попадавшиеся нам, почти все кланялись Льву Николаевичу. Незаметно Лев Николаевич вызвал меня на разговор о себе. Я увлекался тогда философией пессимизма, бредил Шопенгауэром. Наивно и глупо было, вероятно, все, что я говорил, но Лев Николаевич слушал меня внимательно и серьезно и говорил со мной, не давая мне почувствовать мою наивность.

Между прочим, Лев Николаевич сказал мне:

— Самая полная и глубокая философия — в евангелии.

Раз я встретил Льва Николаевича на улице. Он опять позвал меня с собою. Мы шли где-то около Новинского бульвара, и Лев Николаевич предложил сесть на конку. Мы сели, купили билеты.

Лев Николаевич спросил меня:

— Вы умеете делать японского петушка?

— Нет.

— А вот смотрите.

Лев Николаевич взял свой билет и очень ловко сделал из него довольно сложного устройства петушка, который, когда потянешь за хвост, трепещет крылышками *.

В вагон вошел контролер и стал проверять билеты. Лев Николаевич протянул ему, улыбаясь, петушка и дернул его за хвост. Петушок замахал крыльями. Контролер, однако, со строгим видом делового человека, которому некогда заниматься всяким вздором, взял петушка, развернул, просмотрел номер и разорвал.

Лев Николаевич взглянул на меня и сказал:

— Вот и петушка нашего испортили [3]...

Весною, уезжая в Ясную, Лев Николаевич и его семья очень радушно звали меня приехать летом туда. Я поехал и провел там с 6 по 16 июля, а в конце лета ездил еще раз. У меня, к сожалению, мало сохранилось записей от первой поездки и совсем не сохранилось от второй.

В Ясную я приехал 6 июля в двенадцатом часу ночи. Несмотря на поздний час, все еще довольно долго сидели за чаем. Сергей Иванович Танеев [4] сыграл сонату op. 26 (с вариациями) Бетховена. Первые части мне не очень понравились. Финал он сыграл превосходно.

Утром я встал рано, ходил со Львом Николаевичем купаться. Лев Николаевич ежедневно с утра до обеда работает у себя. Он, как мне показалось, был в хорошем настроении.

---

* Один такой петушок, сделанный в 1897 году Львом Николаевичем, до сих пор сохраняется у меня. (Все подстрочные примечания, принадлежащие А. Б. Гольденвейзеру, не оговариваются.)

Утром за кофе он сказал:

— Я себя чувствую так, будто мне девятнадцать — двадцать лет.

В Ясной тогда бывало шумно и весело. Почти все дети были дома. Женаты были только сыновья Сергей и Илья. Сергей Львович гостил в Ясной со своей женой Марией Константиновной, рожденной Рачинской. Не было только Андрея Львовича, отбывавшего воинскую повинность в Твери, и Льва Львовича, бывшего, кажется, за границей [5]. В Ясной лето проводил Сергей Иванович Танеев со своей няней Пелагеей Васильевной; с ним жил его, тогда еще совсем юный, ученик Ю. Н. Померанцев. Танеев каждый вечер играл со Львом Николаевичем в шахматы (я не решался заявить о том, что тоже умею). Иногда Танеев играл на фортепиано. На фортепиано играл несколько раз и я. Мы с Танеевым также на двух фортепиано исполняли вторую сюиту Аренского и в четыре руки первый квартет самого Сергея Ивановича. Молодежь увлекалась теннисом, веселилась. В теннис изредка играл и Лев Николаевич. Вечером делали далекие прогулки в лес. Лев Николаевич любил всегда выбирать «сокращенные» тропинки и заводил всех в чудные лесные места. Надо сознаться, что эти «сокращения» почти всегда очень удлиняли прогулки.

Однажды мы со Львом Николаевичем на прогулке сильно отстали.

Лев Николаевич предложил мне:

— Давайте догонять!

И с полверсты мы с ним, я — двадцати одного года, а он — шестидесяти восьми, бежали, как равные. В другой раз он еще более поразил меня своей физической свежестью: Михаил Львович делал на турнике какое-то очень трудное гимнастическое упражнение, которое ему плохо удавалось.

Лев Николаевич смотрел, смотрел, не вытерпел и сказал:

— Дай я попробую, — и к общему удивлению сразу сделал лучше сына.

В нескольких верстах от Ясной в маленькой деревушке Деменке жили Чертковы [6]. Владимир Григорьевич бывал в Ясной постоянно. За обедом он часто веселил

зеленую молодежь своими рассказами. Раз Лев Николаевич принял в этом участие. Задавали друг другу шуточные загадки.

Лев Николаевич спросил:

— Какая разница между печкой и щенком?

Никто не знал.

Лев Николаевич сказал:

— Когда в доме есть лишняя печка, ее не топят, а когда есть лишний щенок, его топят.

Жена Черткова, Анна Константиновна, всегда очень болезненная, бывала в Ясной довольно редко. У Анны Константиновны был небольшой, но прекрасного теплого тембра контральто. Она очень проникновенно пела сектантские духовные песни.

Татьяна Львовна и особенно Мария Львовна[7] каждый день с раннего утра работали на покосе. Возвращались они с работы усталые, но очень веселые. По праздникам Мария Львовна, немножко знавшая домашнюю медицину, лечила на деревне больных (врача тогда в Ясной и поблизости не было). Когда она возвращалась со своей медицинской практики, радостно было смотреть на нее, окруженную пестрой толпой ребят, одних — везших на себе тележку с медикаментами, других — просто провожавших ее домой.

Мария Львовна была совершенно некрасива, но в ней было высшее обаяние внутренней духовной красоты...

Когда я уезжал из Ясной и мне уже подали экипаж, Лев Николаевич взял меня под руку, отвел в сторону и сказал:

— Я все собирался сказать вам, — вот вы уже уезжаете, так я скажу: как бы вы ни были способны к музыке и как много сил и времени вы ни отдаете ей, помните, что прежде и важнее всего быть человеком. Нужно всегда помнить, что искусство — не все... По отношению к людям нужно стараться больше давать им и поменьше брать от них.

Потом он еще прибавил:

— Простите меня, что я это говорю вам, но мне не хотелось проститься с вами, не высказав того, что я думаю.

Вот что еще записано у меня из слов Льва Николаевича:

— *Личное я* — это то временное, что ограничивает нашу бессмертную сущность. Вера в личное бессмертие мне всегда кажется каким-то недоразумением.

1897

Москва, 6 января. Нынче я провел вечер у Толстых. Лев Николаевич был разговорчив. Разговор касался самых разнообразных тем, начиная с крестьян и кончая новейшим декадентским направлением в искусстве[1].

Лев Николаевич читал вслух отдельные места из новой драмы Метерлинка «Аглавена и Селизета». Отношение его к этой вещи резко отрицательное.

Лев Николаевич удивительно читает вслух: очень просто и в то же время замечательно выразительно. Удивительно еще его искусство передать в немногих словах содержание какого-либо рассказа или повести: ничего лишнего, а получается ясная, живая картина.

22 февраля. Был у Толстых. Лев Николаевич с Татьяной Львовной гостят в деревне у Олсуфьевых[2]. Лев Николаевич ездил в Петербург прощаться с Чертковым. Кроме Черткова, выслали еще Бирюкова и Трегубова.

28 марта. Был у Толстых. Там был С. Н. Булгаков-марксист[3]. Лев Николаевич был в ударе и очень горячо, страстно спорил с Булгаковым, яро отстаивавшим свои теоретические положения.

Диалектика Льва Николаевича одержала верх, и Булгаков аргументировал к концу все слабее и слабее.

Нынче я довольно много играл у Толстых на фортепиано *.

1 апреля. Был нынче у Толстых. Там был С. И. Танеев. По просьбе Льва Николаевича мы с Сергеем Ивановичем играли в четыре руки девятую симфонию Бетховена, которая ему очень понравилась.

19 апреля. Нынче была репетиция ученического консерваторского спектакля «Фераморс» Рубинштейна[4].

---

* В тот вечер я играл «Утешение» ре бемоль мажор Листа, Бетховена сонату ор. 57, Чайковского «Вариации», Листа этюд ре бемоль мажор и Шопена прелюдии до мажор (два раза, Лев Николаевич просил ее повторить), ля мажор и полонез ля мажор (играл в этом порядке).

На репетиции был Лев Николаевич. Я сидел рядом с ним.

22 апреля. Был у Толстых. Говоря о современном искусстве, Лев Николаевич сказал:

— Если бы импрессиониста попросили нарисовать обруч, он нарисовал бы прямую линию: ———, ребенок просто нарисует кружок, вот так: О (Лев Николаевич показал пальцем на столе). И ребенок более прав, потому что наивно изображает, что видит, а импрессионист изображает так, что это может быть и обруч, и палка, и что хотите; словом, не изображает характерных свойств явления, а только один признак, одну часть, и то не всегда самую характерную.

— Истинно одаренный сильный ум может искать средства для выражения своей мысли, и если мысль сильна, то он и найдет для выражения ее новые пути. Новые же художники придумывают технический прием и тогда уже подыскивают мысль, которую насильственно в него втискивают.

— Главное заблуждение в том, что люди ввели в искусство неопределенное понятие «красота», которая все затемняет и путает... Искусство — это есть, когда кто-нибудь видит или чувствует что-нибудь и высказывает это в такой форме, что слушающий, читающий или видящий его произведение чувствует, видит, слышит то же и так же, как и художник. Поэтому искусство может быть самое высокое, безразличное и, наконец, прямо мерзкое, но все-таки это будет искусство. Самая безнравственная картина, если она достигает своего назначения, есть искусство, хотя и служащее низким целям.

— Если я зеваю, плачу или смеюсь и заражаю этим другого, то это еще не есть искусство, так как я действую непосредственно самым фактом, но ежели, например, нищий, увидя, как слезы другого подействовали на вас и вы дали ему, на другой день заплачет притворно и вызовет в вас то же сострадание, то это уже будет искусство.

31 июля. Ясная Поляна. Нынче приехал сюда. Ехал из Тулы на извозчике. На шоссе встретил Льва Николаевича верхом на белой лошади (Тарпан), без шляпы. Картуз был заткнут за поясом. Лев Николаевич не заметил меня. Я остановил извозчика и подбежал к нему.

2 августа, 4 часа дня. Сейчас много говорил со Львом

Николаевичем об искусстве. Он рассказывал содержание своей статьи об искусстве, которую пишет и над которой продолжает постоянно работать и переделывать ее.

Между прочим, Лев Николаевич сказал:

— Искусство, сделавшись достоянием небольшого кружка богатых людей и уклонившись от своего пути, попало в тот тупик, в котором мы его сейчас видим.

— Искусство — выразитель чувств, и оно тем выше, чем больший круг людей оно может в себе объединить. Поэтому самое высокое искусство будет отражать в себе настроения религиозные в самом лучшем смысле этого слова, как наиболее общие и свойственные всем людям.

— Большинство так называемых произведений искусства есть более или менее ловкое соединение четырех элементов: 1) заимствование, например обработка какой-нибудь легенды в поэзии, какой-нибудь песни в музыке и проч. Или заимствования бессознательные, то есть сходства то с тем, то с другим помимо воли автора; 2) украшения: красивые сравнения, прикрывающие ничтожные мысли, фиоритуры, пассажи в музыке, арабески в архитектуре и т. п.; 3) эффекты: кричащие краски в живописи, нагромождение диссонансов, какие-нибудь резкие crescendo в музыке и проч. Наконец, 4) интерес, то есть желание поразить новизной оборота, новым соединением цветов и т. д. Вот этими четырьмя свойствами обыкновенно и отличаются современные произведения искусства.

— Внешними препятствиями для создания даже очень даровитыми людьми истинных произведений искусства являются: во-первых, профессионализм, то есть, что человек перестает быть человеком, а становится поэтом, художником и только и делает, что пишет картины, музыку и проч., — тратит по мелочам свое дарование и теряет способность критически относиться к своим произведениям. Вторым, тоже очень серьезным, препятствием является школа. Нельзя научить искусству, как нельзя научить быть святым. Истинное искусство всегда самобытно и ново и не нуждается в предвзятых образцах. Наконец, третье препятствие — критика, которая, как кто-то справедливо сказал, есть мысли дураков об умных.

— Я знаю, что мою статью большинство встретит как ряд парадоксов, но я убежден в своей правоте и в том, что мое мнение восторжествует.

Лев Николаевич, по-видимому, очень увлечен этой своей работой.

Он сказал:

— Я высказываю в ней много совершенно новых и противоречащих всему, что прежде в этом направлении говорилось, мыслей.

9 августа. Нынче вечером я уезжаю из Ясной Поляны, где провел почти две недели. Все это время прошло удивительно хорошо. Здесь собиралось интересное общество: художник Н. А. Касаткин[5], скульптор И. Я. Гинцбург[6], учитель Михаила Львовича М. Н. Соболев[7], всесторонне развитой и образованный человек.

Дни приблизительно шли так:

Утром после кофе все расходятся. Лев Николаевич берет свой ячменный кофе в чайничек и с чайничком в одной руке и несколькими кусками хлеба в другой направляется в свою комнату работать, откуда до обеда выходит очень редко. Касаткин и Гинцбург идут в мастерскую, где Гинцбург лепит Софью Андреевну, Льва Николаевича и барельеф головы Татьяны Львовны. Часов в одиннадцать в мастерскую приходит Татьяна Львовна позировать, а Касаткин в это время пишет этюд мастерской, работающего Гинцбурга и позирующую Татьяну Львовну. Соболев занимается до обеда с Мишей, а я ухожу писать и читать. Обыкновенно около часу дня я заходил в мастерскую, где завязывался какой-нибудь разговор. После обеда (в два часа дня) некоторые играли в теннис. Софья Андреевна позировала для Гинцбурга. Я часто занимался на фортепиано. Затем, когда приходил позировать Лев Николаевич, мы обыкновенно снова все собирались в мастерской, разговаривали, а раз или два Татьяна Львовна, а потом и сам Лев Николаевич читали вслух статью об искусстве.

Между чаем и ужином часто ходили гулять. Вечером после ужина Лев Николаевич иногда снова читал нам вслух свою статью. По этому поводу много говорили, спорили. Иногда в виде отдыха Гинцбург рассказывал и представлял комические сценки и рассказы, на что он великий мастер. Лев Николаевич при этом от души и по-детски смеялся. Потом отправлялись наверх пить

чай. Я играл почти ежедневно на фортепиано. Иногда мы еще успевали сыграть со Львом Николаевичем партию-другую в шахматы.

Теперь здесь всем очень тяжело: заболела тифом Мария Львовна. Ее сейчас привезли из Овсянникова.

(Запись без даты.) Летом 1897 года в Ясную приезжал знаменитый Ломброзо[8]. При нем я в Ясной не был, но из рассказов Льва Николаевича и других могу сказать, что на Льва Николаевича, относившегося всегда отрицательно к писаниям Ломброзо, он и в личном общении не произвел благоприятного впечатления. Чтобы показать, насколько поверхностно и легкомысленно отнесся Ломброзо к тому, что он наблюдал в Ясной, приведу один пример: у Льва Николаевича на башмаке была положена круглая заплатка, которая оторвалась, и Лев Николаевич, пока собирался снова отдать башмаки в починку, несколько дней ходил с круглой дырочкой на башмаке. В эти дни кто-то, кажется Софья Андреевна, сфотографировала Льва Николаевича, и дырочка ясно видна на снимке. У меня сохранилась такая карточка. Ломброзо, описывая свое пребывание в Ясной, говорит, что Лев Николаевич симулирует «опрощение» и, желая показать, что ходит в рваной обуви, сделал у себя на башмаке круглую дырочку, явно вырезанную нарочно.

1898

25 января. Москва. Провел у Льва Николаевича целый вечер. У него было трое молокан, едущих в Петербург по делу об отнятых у них детях[1]. У одного из них взяли единственного ребенка[2].

Лев Николаевич был один, Софья Андреевна больна, Татьяна Львовна в Петербурге, куда поехала хлопотать об молоканах. Кроме меня и молокан, в тот вечер никого не было. Мы сидели внизу в столовой, пили чай. Молокане были истовые, спокойные, серьезные. Пили чай вприкуску. Выпивши, опрокидывали чашку наполовину и клали тут же оставшийся сахар. На предложение выпить еще соглашались. Когда больше не хотелось, чашку опрокидывали кверху донышком и оставшиеся кусочки сахара бросали обратно в сахарницу.

Когда я пошел домой, Лев Николаевич вышел со мной, чтобы зайти на телеграф. Ночь была чудесная, небольшой мороз, градуса два-три, луна сквозь легкую дымку бегущих облаков, еле-еле падающий мягкий снежок. Зашли в телеграфное отделение в одном из переулков Остоженки, где Лев Николаевич написал и отправил телеграмму Татьяне Львовне по делу молокан[3]. Потом я проводил его до дому. Испорченный им телеграфный бланк с недописанной телеграммой я сохранил.

7 августа. Приехал в Ясную третьего дня.

Я живу здесь прекрасно. Гуляю, читаю, играю. Сегодня написал романс — правда, скверный — и задумал еще один. Прочел статью Льва Николаевича о голоде[4]. Мечтаю прочитать «Воскресение» и другую повесть «Отец Сергий», которую Лев Николаевич хочет напечатать в пользу духоборов[5].

Я встретил здесь интересный тип крестьянина, обладающего художественным дарованием. Он рисует, говорят, поет и подбирает песни на фортепиано, пишет стихи. Это — Вячеслав Ляпунов, еще молодой, но, к сожалению, чахоточный человек[6]. Его стихотворение «Пахарь» было напечатано в «Русской мысли». Лучшие два стихотворения — «Доктор» и «Сапожник».

Сегодня он был у меня (я помещаюсь в мастерской Татьяны Львовны, совсем как в отдельном доме. Там даже есть старое разбитое фортепиано). Мы сидели часа полтора и беседовали. Я ему довольно много играл, но серьезная музыка мало на него действует. Он мне читал некоторые свои стихи.

1 сентября. Двадцать восьмое августа провел в Ясной, где праздновалось семидесятилетие Льва Николаевича. Было много народу и очень шумно. Особенно значительного ничего не было. Провел я там только один день с утра до вечера.

3 сентября... Письмо от Татьяны Львовны

«Я с сегодняшней же почтой высылаю вам «Христианское учение»[7] посылкой. Хотите — возьмите его в полную собственность, оно стоит три рубля (это напечатано Сулержицким, и несколько экземпляров этого сочинения дано мне им на комиссию), либо, прочтя, верните мне рукопись, так как на нее много охотников.

Вы напрасно думаете, что если я не давала вам неизданных сочинений моего отца, то это было из недоверия

к вашему интересу к отвлеченным сочинениям; это неверно, — скорее у меня недоверие к человеческой аккуратности. У меня перебывало в руках несколько экземпляров сочинений отца, и все они зачитаны моими друзьями и знакомыми.

Спасибо за сведение о Мише[8], — мы еще от него ничего не имеем...»

14 октября. Вчера утром я вернулся из Ясной Поляны, где провел три дня. Я, между прочим, прочитал новую повесть Льва Николаевича «Воскресение». Вторую, еще не отделанную половину я читал в набросках, написанных на маленьких отдельных листках. Некоторые места были написаны только утром того дня, когда я читал.

За последнее время Лев Николаевич почти всегда бывал в удивительном настроении какого-то просветления, какой-то необыкновенной молодости всего существа. И какая при этом простота! Когда я, прочитав первую половину «Воскресения», попросил у него вторую, он дал мне папку, всю полную исписанной большей частью на разной величины кусках бумаги, и сказал:

— Вот здесь все. Прочтите, если что разберете. Конец еще только набросан.

Я попал в самое «святая святых» его работы. Я видел, как очищает, уясняет свою глубокую психологическую работу Лев Николаевич, как часто маленькая перемена одного штриха влечет за собой полное изменение целого эпизода, как иногда простая перестановка двух отрывков освещает более ярким светом всю картину.

Удивительна сцена, когда Катюша швыряет Нехлюдову фотографию и начинает в исступлении говорить ему все, что накипело у нее на сердце: и сто рублей, и желание спастись ею и обрести через нее духовное благо, как прежде она послужила его телу. Она кричит ему: «Ты противен мне, уйди, уйди, я видеть тебя не могу, ты весь мне противен, весь, весь: и плешь твоя, и твой поганый затылок, весь противен, ха, ха, ха!» — и ее истерический хохот и плач, как она упала на постель и вся тряслась от рыданий, а он долго стоял и, наконец, тихо, мягко положил ей руку на голову[9].

15 ноября. На днях Софья Андреевна дала мне прочесть небольшой, написанный Львом Николаевичем отрывок (начало повести) «История матери» [10].

Из писем Софьи Андреевны:

«18 ноября... Посылаю вам обещанные книги с надписью Льва Николаевича и очень прошу вас побывать у меня, захватив с собой переписанный вами отрывок, который я вам давала читать *. По поводу этого отрывка у меня есть к вам поручение от Льва Николаевича. Вчера вернулась вечером из Ясной Поляны, откуда на этот раз особенно жалко было уезжать...»

«10 декабря... Ничего не могу вам сказать, дорогой Александр Борисович, относительно вечера [11]. Ведь я в нем не принимаю никакого участия, а распорядительница, А. В. Погожева [12], уехала из Москвы на неделю, так что мне и спросить не у кого. Так как 19-го симфонический концерт, то Гржимали [13], вероятно, нельзя будет участвовать, может быть от этого и вам ничего не дали знать.

Если вам можно будет и дома у вас будет все благополучно, то мы были бы очень рады, если б вы побывали у нас в воскресенье вечером; завтра я не буду дома, а до той недели долго. Кстати, и Е. А. Лавровская [14] хотела быть и даже петь обещалась, но это не наверное...»

1899

11 мая. Говорили о Каткове [1]. Лев Николаевич высказал мнение, что Катков не был умен.

Софья Андреевна возмутилась и сказала:

— Всякий, кто думает не по-нашему, непременно глуп.

На это Лев Николаевич сказал:

---

* Софья Андреевна подарила мне выпущенное ею издание (в 14-ти томах) сочинений Льва Николаевича. Я сказал Софье Андреевне, что переписал для себя неизданный в то время художественный отрывок («История матери») Льва Николаевича, который она давала мне читать. Она попросила меня отдать ей переписанный мною экземпляр.

— Свойство глупых людей: когда вы им говорите что-нибудь, они никогда не отвечают на ваши слова, а всё продолжают говорить свое. Эта черта всегда была в Каткове. Поэтому-то я и говорю, что Катков был глуп. Вот и в Чичерине [2] есть доля этого, хотя разве их можно ставить приблизительно рядом? Впрочем, — прибавил Лев Николаевич, — следует уважать всякого человека. У китайцев среди добродетелей упоминается одна — уважение. Просто без отношения к чему-нибудь определенному. Уважение к личности и мнению всякого человека.

Говорили о древних языках и классическом образовании.

Лев Николаевич сказал:

— Когда я занимался и много читал по-гречески [3], я мог свободно понимать почти всякую греческую книгу. Я бывал на экзаменах в лицее и видел, что почти всегда ученик понимал только то, что он учил. Новые места были ему непонятны. И действительно, когда в гимназии выучено пятьдесят слов, то правил учили наверное шестьдесят пять. При этом ничего нельзя знать. Я всегда поражаюсь, как прочно завладевают людьми всякие суеверия. Такие суеверия, как церковь, царь, войско и проч., живут тысячелетия, и люди так к ним привыкли, что они не могут теперь казаться такими необъяснимыми. Но суеверие классического образования создалось у нас в России на моих глазах. Главное, что ни один из самых ярых сторонников классического образования не может представить ни одного разумного довода в пользу этой системы.

Потом Лев Николаевич прибавил:

— Есть суеверие возможности «школы» в искусстве. От этого и все консерватории, академии художеств. Впрочем, ненормальные формы, которые принимают теперь искусства, не корень зла, а одно из проявлений. Когда изменится религиозное понимание жизни, тогда и искусство найдет свои истинные пути.

Лев Николаевич еще вернулся к китайской добродетели «уважения» и сказал:

— Отсутствием этого китайского «уважения» страдают часто и очень выдающиеся люди. Например, в книге Генри Джорджа «Прогресс и бедность» [4] не упоминается вовсе имя Маркса, а в недавно вышедшем посмертном его труде [5] едва уделено Марксу восемь пре-

небрежительных строк, где говорится о туманности, запутанности и бессодержательности его сочинений.

— Кстати, о неясности и запутанности — она всегда почти служит указанием на отсутствие истинного содержания. Впрочем, есть одно большое исключение — Кант, который писал ужасно, а между тем составляет эпоху в развитии человечества. Он открыл во многом совершенно новые горизонты.

Нынче после обеда Лев Николаевич ездил верхом в Сокольники и вернулся уже совсем вечером. Тем не менее, когда я и бывшая в Хамовниках М. А. Маклакова стали прощаться, он сказал, что выйдет нас проводить.

М. А. Маклакова по дороге все ахала, что хочет в деревню.

Лев Николаевич перебил ее:

— Как я не люблю, когда так преувеличенно бранят город и говорят: на дачу, в деревню! Все зависит от человека, — и в городе можно общаться с природой. Вы не помните, — спросил он ее, — был у нас старый дворник Василий? Он всю жизнь жил в городе, вставал летом в три часа и наслаждался общением с природой у нас в саду гораздо больше, чем господа, проводящие в деревне вечера за картами.

— Кроме того, по сравнению с громадной важностью вопроса, как лучше и нравственнее провести жизнь, вопрос в городе или деревне не имеет никакого значения.

Лев Николаевич раньше, смеясь, сказал:

— Я как-то сказал, только вы не болтайте, я скажу вам по секрету: женщина вообще так дурна, что разницы между хорошей и дурной женщиной почти не существует.

— Впрочем, это не вышло *.

Лев Николаевич не любил небрежного обращения с русским языком и обычно останавливал, если при нем употребляли неправильные выражения. Почему-то мне запомнилось, что, когда в этот раз мы вышли втроем из ворот и пошли по переулку, стоявший около дома извозчик стал предлагать свои услуги и сказал:

— Поддержите коммерцию.

---

* «Не вышло» — выражение, принятое у Толстых по поводу неудавшейся остроты.

Лев Николаевич остановил его и сказал:

— Не надо говорить таких глупых слов, которых сам не понимаешь.

Помню, я раз как-то сказал про что-то: «Очень славно». Лев Николаевич мне заметил, что это нехорошее сочетание слов.

31 июля. Ясная Поляна. Я работаю вместе с Н. Н. Ге над корректурами «Воскресения». С чернового экземпляра Льва Николаевича поправки надо вносить на чистые гранки и приготовлять два таких экземпляра. Черновой остается дома, а чистовые посылаются — один Марксу для «Нивы», другой в Англию Черткову для английского издания.

Это интересная, но кропотливая и трудная работа. Сплошь да рядом вместо одной печатной гранки приходится переписывать заново три-четыре длинных страницы. Часто поправки бывают написаны так тесно, что разбирать их приходится с помощью лупы. Кто не видел этой невероятной работы Льва Николаевича, этих бесчисленных переделок, добавлений и изменений иногда десятки раз одного и того же эпизода, тот не может иметь о ней даже отдаленного представления.

Нынче Татьяна Львовна обещала дать мне прочесть повесть Льва Николаевича «Отец Сергий».

2 августа. С 27 июля я здесь (в Ясной Поляне).

Ко Льву Николаевичу приходил какой-то странный молодой человек, Кондратьев, который на мой вопрос о том, чем он занимается, ответил, что он «вольный сын эфира». Кондратьев говорил Льву Николаевичу, что хочет поселиться в деревне с народом.

Лев Николаевич, рассказывая это, сказал:

— Я, разумеется, не советовал ему этого. Обыкновенно из таких попыток ничего не выходит. Например, очень хорошие люди NN поселились так, купив небольшой участок земли. У них мужик срубил дерево, они не хотели судиться, и через некоторое время мужики, узнав об этом, вырубили весь их лесок. Мальчишки воровали горох, их не били и не гнали, пришла чуть не вся деревня и обобрала горох, и т. д.

— Не нужно искать прежде всего новых форм, так как обыкновенно вся энергия уходит при этом на внешнее устройство жизни. Когда же все внешнее сделано, становится скучно и делать нечего. Пускай всякий спер-

ва делает свое дело, если только оно не резко противоречит его миросозерцанию, и старается быть на своем месте все лучше, тогда он найдет и новые формы. Вообще все внешнее надо оставить, не стараться резко с ним бороться. Делай свое дело.

Нынче Лев Николаевич сказал про кого-то:

— Это «толстовец», то есть человек самого чуждого мне миросозерцания.

Вчера Лев Николаевич говорил о процессе творчества:

— Я не понимаю, как можно писать и не переделывать все множество раз. Я почти никогда не перечитываю своих уже напечатанных вещей, но если мне попадется случайно какая-нибудь страница, мне всегда кажется: это все надо переделать, — вот как надо было сказать...

— Меня всегда интересует проследить момент, начинающийся весьма рано, когда толпа довольна, а для художника кажется: они говорят — хорошо, а ведь тут только начинается работа!

Нынче Льву Николаевичу нездоровилось. Я подошел к нему, — он лежал в гостиной на диванчике. Он рассказал мне про книгу Веруса об евангелиях [6].

— Его конечный вывод — отрицание Христа как исторической личности. В первых по времени сочинениях Нового завета — посланиях апостола Павла — нет ни одного биографического сведения о Христе. Дошедшие до нас евангелия все создались от второго до четвертого века по рождестве Христовом. Из современных Христу писателей (Тацит, Светоний, Филон, И. Флавий и др.) ни один не упоминает о Христе, так что личность его — не историческая, а легендарная.

— Все это очень интересно и даже хорошо, так как позволяет не препираться больше, опровергая подлинность евангельских рассказов о чудесах, а делает евангельское учение словами не одного сверхчеловека, а суммой мудрости всех лучших нравственных учений, высказанных многими людьми и в разное время.

Лев Николаевич сказал мне еще:

— Может быть, благодаря моему болезненному состоянию, но я нынче минутами просто прихожу в отчаяние от всего, что делается на свете: новая форма присяги [7], возмутительный циркуляр об отдаче студентов в

солдаты [8], дело Дрейфуса [9], дела в Сербии [10], ужасы болезней и смертей на ртутных заводах Ауэрбаха [11]... Не могу вообразить, как человечество может продолжать так жить, видя весь этот ужас!..

— Меня всегда поражает, как мало ценят человека, хотя бы просто как дорогое полезное животное. Мы ценим лошадь, которая может возить, а человек может и сапоги шить, и на фабрике работать, и на фортепианах играть, а умирает пятьдесят процентов. Когда у меня были овцы-мериносы и смертность достигала пяти процентов, то я возмущался и считал, что пастух очень плох. А людей умирает пятьдесят процентов!

Я прочитал удивительную повесть Льва Николаевича «Отец Сергий».

9 августа. Москва. Вернулся я из Ясной 6-го вечером. Вот что у меня записано еще:

Говорили о женском вопросе. Разговор велся в полушутливом тоне.

Лев Николаевич сказал:

— Женщина, как христианка, равноправна. Женщина, как член современной, вполне языческой семьи, не должна добиваться какого-то невозможного равноправия. Современная семья — это маленькая лодочка, плывущая в бурю по необозримому океану. Она может держаться только, если управляется *одной* волей. Когда же сидящие в ней начинают копошиться, лодка опрокидывается и получается то, что мы видим теперь в большинстве семей. Мужчина, как он ни дурен, в большинстве случаев умнее женщины. Женщина — почти всегда вопиющий протест против всякого прогресса. Когда мужчина хочет разбить старое и пойти вперед, он почти всегда встречает энергическое сопротивление. Жена хватает его за фалды и не пускает. Как отдавали Ванечек и Саш отцы и деды в корпуса, так пусть и теперь. В женщине страшно развито большое зло — эгоизм семьи. Это страшный эгоизм, так как он во имя любви делает величайшие жестокости: пускай весь мир гибнет, но только пусть мой Сережа будет счастлив!..

Потом Лев Николаевич вспоминал наблюдаемые им в Москве сцены:

— Выходит от Минангуа [12] в бобровой шубе и с грустным лицом господин и за ним дама, а швейцар выносит коробки и подсаживает даму в сани.

— Я иногда люблю стоять у колоннады Большого театра и смотреть, как дамы приезжают к Мерилизу на дешевые товары. Я только две такие вещи знаю: это, когда бабы идут в Засеку за орехами, сторожа их лавят *, они тут же иногда рожают, а все-таки идут, и дам на дешевых товарах.

— А кучера дожидаются на морозе и разговаривают между собой: «Моя-то небось тысяч на пять нынче купила!»

— Я еще когда-нибудь напишу про женщин. Когда я буду уже совсем стар, и желудок мой совсем уж испортится, и я одним только краешком буду еще выглядывать на свет, тогда я высуну голову и скажу им: «Вот вы какие!» — и юркну поскорее совсем, а то заклюют...

В Ясной был доктор Е. Н. Малютин.

Лев Николаевич сказал ему:

— Я не понимаю этого всегдашнего отношения, что доктор непременно служит доброму делу. Нет профессии доброй самой по себе. Можно быть сапожником и быть добрее и лучше доктора. Почему вылечить кого-нибудь — добро? Иногда совсем наоборот. Дела человека хороши не сами по себе, а по чувствам, которые им руководили. Поэтому-то я и не понимаю стремления всех женщин непременно в доктора, в акушерки, в фельдшерицы. Точно как будто стоит только сделаться акушеркой, и уже все хорошо.

Лев Николаевич как-то сказал:

— Когда вам рассказывают про затруднительное, сложное дело, главным образом про чьи-нибудь гадости, отвечайте на это: вы варили варенье? или: хотите чаю? — и все. Много зла происходит от так называемых выяснений обстоятельств или отношений.

Я прочел повесть Льва Николаевича «Хаджи Мурат» **.

Письмо от Софьи Андреевны.

«31 сентября... (явная описка С. А. Надо 31 августа). Вы непременно заезжайте в Ясную Поляну, кого бы вы ни застали. Лев Николаевич, Н. Н. Ге, Андрюша, Миша,

* Лев Николаевич произносил по-старинному: лавят.

** Над повестью «Хаджи Мурат» Лев Николаевич после этого еще очень долго и много работал. Прочитанное мною было одним из первых вариантов.

Саша во всяком случае будут все время дома и вам будут рады.

Погода у нас теперь прекрасная; в Ясной Поляне стало и красивее и веселее; приезжайте с нами погулять и побеседовать.

Здесь Трубецкой[13], скульптор, и вылепил новый небольшой бюст Льва Николаевича...»

1 октября. Со вчерашнего дня я в Ясной Поляне. Здесь сейчас очень хорошо. Погода мягкая, почти ясная, но довольно холодная. Народу никого нет. Я опять переписываю «Воскресение», над которым Лев Николаевич много работает. Теперь первые главы третьей части.

Здесь в семейной жизни Толстых радостного мало, и для близкого человека это очень и очень заметно.

26 ноября. Москва. Большое горе причиняет мне серьезная, для меня в глубине души безнадежная болезнь Льва Николаевича[14]. В среду я заезжал узнать о его здоровье и получил очень неблагоприятные сведения.

7 декабря. Когда Лев Николаевич был болен (ему гораздо лучше теперь) и я в первый раз был у него в комнате, он как будто мне обрадовался, что мне было очень отрадно почувствовать. На столике у него лежал том Тютчева. В руках он держал английскую книгу «Империя и свобода»[15]. Как всегда бывает, он сразу заговорил о том, что читал.

— Вот замечательная книга! — сказал Лев Николаевич. — Он (автор) американец, следовательно сам англосаксонец, тем не менее он разоблачает так называемое просветительное влияние англосаксонской расы. Я не понимаю, как могут люди держаться этих предрассудков! Я понимаю какого-нибудь Магомета, проповедующего свое учение — средневековое христианство, крестовые походы. Каковы бы убеждения этих людей ни были, все-таки они шли, веря в то, что они знают истину и даруют это знание людям. А тут ведь ничего нет! Все делается во имя наживы!

Потом Лев Николаевич стал рассказывать про прочитанную им французскую брошюрку о продовольственных союзах рабочих[16].

— Отчего бы не завести у нас среди крестьян такие кассы взаимопомощи? Вот живое дело! Вот ты бы, чем так собак гонять, — обратился Лев Николаевич к сидев-

шему здесь Илье Львовичу, — занялся бы этим в деревне.

— Социалистические идеи стали трюизмом. Кто теперь может серьезно оспаривать идею о том, что всякий должен иметь право пользоваться результатами своего труда.

Разговор перешел на общину.

Лев Николаевич сказал:

— У мужика отнимают всё, облагают налогами, всячески давят его. Одно еще осталось у него хорошее — это община. Так тут-то все и принимаются бранить ее и на нее валить все беды крестьян, желая отнять у него и это последнее доброе начало. Как зло общины называют круговую поруку. Но ведь круговая порука — это общинное начало, примененное для фискальных целей. Если я хорошую вещь употреблю на злое дело, то это еще не доказывает, что вещь нехороша сама по себе.

Заговорили о Тютчеве. На днях Льву Николаевичу попалось в «Новом времени» его стихотворение «Сумерки»[17]. Он достал по этому поводу их все и читал больной.

Лев Николаевич сказал мне:

— Я всегда говорю, что произведение искусства или так хорошо, что меры для определения его достоинств нет — это истинное искусство. Или же оно совсем скверно. Вот я счастлив, что нашел истинное произведение искусства. Я не могу читать без слез. Я его запомнил. Постойте, я вам сейчас его скажу.

Лев Николаевич начал прерывающимся голосом:

— «Тени сизые смесились»...

Я умирать буду, не забуду того впечатления, которое произвел на меня в этот раз Лев Николаевич. Он лежал на спине, судорожно сжимая пальцами край одеяла и тщетно стараясь удержать душившие его слезы. Несколько раз он прерывал и начинал сызнова. Но наконец, когда он произнес конец первой строфы: «все во мне, и я во всем», голос его оборвался *.

---

* Лев Николаевич прочел тютчевское «Сумерки» тихим, прерывающимся голосом, почти шепотом, задыхаясь и обливаясь слезами. Он менее всего «декламировал», но и не произносил стихи как прозу; чтение было мерным, и ритм стиха, несмотря на прерывистость, ясно ощущался. После прихода Дунаева Лев Николаевич договорил стихотворение до конца.

Приход А. Н. Дунаева остановил его. Он немного успокоился.

— Как жаль, я вам испортил стихотворение, — сказал он мне немного погодя.

Он и не знал, как глубоко легло у меня на сердце это «испорченное» стихотворение...

Потом я играл на фортепиано.

Лев Николаевич просил не играть Шопена, сказав:

— Боюсь расплакаться.

Лев Николаевич просил что-нибудь Моцарта или Гайдна.

Он спросил:

— Отчего пианисты никогда не играют Гайдна? Вот вы бы играли. Как хорошо рядом с современным сложным, искусственным произведением сыграть что-нибудь Моцарта или Гайдна.

1900

30 января. Москва. Мне хочется рассказать про разговор Льва Николаевича с Деном [1] в тот вечер [2], когда был Шаляпин *.

Лев Николаевич работает теперь над статьей по рабочему вопросу — «Новое рабство» [3], и разговор касался рабочего вопроса.

Лев Николаевич сказал:

— Мы переживаем новую стадию развития рабства: рабство рабочего человека, страдающего под гнетом имущего класса.

Ни одно рабство не прекратилось только снизу, исключительно движением рабов. Мы видели это в Аме-

---

* Федор Иванович Шаляпин был у Льва Николаевича и довольно много ему пел. В тот вечер Лев Николаевич был дурно расположен, и мне казалось, что удивительное пение Шаляпина не произвело на него особенного впечатления. Среди гостей помню Игумнова. Шаляпин пел что-то Мусоргского, который никогда на Льва Николаевича не производил впечатления, «Судьбу» Рахманинова, показавшуюся ему фальшивой (слова Апухтина он назвал «отвратительными»), что-то Шуберта и Шумана и чудесную русскую песню «Ночь».

За исключением Шуберта, Шумана и песни, Лев Николаевич ко всему остался совершенно равнодушен. Шаляпин не был в этот вечер особенно «в ударе», но пел все-таки чудесно, и я думаю, что пение его мало дошло до Льва Николаевича, отчасти из-за выбора вещей, а главное из-за того, что Лев Николаевич был не в духе.

рике, у нас с крепостным правом. Так это должно совершиться и теперь. Только когда мы поймем, что иметь рабов *постыдно,* тогда только мы перестанем быть рабовладельцами и добровольно откажемся от эксплуатации рабочих классов.

От рабов не может исходить освобождение. Единичные рабы, освободившиеся от рабского гнета, делаются в большинстве случаев особенно грубыми теснителями и насильниками своих прежних собратий. Да и не может быть иначе. Как можно требовать от них, забитых, измученных, чего-либо иного? Только когда мы добровольно откажемся от постыдного пользования рабским трудом наших братьев, кончится рабство.

— Наука, поскольку она описывает и поясняет настоящее положение вещей, делает полезное и нужное дело. Но поскольку она начинает предписывать программы будущего, она делается несостоятельной.

— Все эти идеи восьмичасового рабочего дня и проч. только увеличивают, узаконивают зло. Труд должен быть не рабским, а свободным, и в этом все.

— Когда мужик встает до солнца и целый день трудится в поле, он не раб. Он общается с природой, он делает нужное ему дело. А когда он стоит на морозовской фабрике у станка всю жизнь, выделывая какие-нибудь ткани, которых он никогда не увидит и которыми ни он и никто из его среды пользоваться не будет, — тогда он раб и гибнет в рабстве.

— Железные дороги, телефоны и другие принадлежности цивилизованного мира, это все полезно, хорошо. Но если бы стоял выбор: или вся эта цивилизация — и для нее не сотни тысяч гибнущих людей, а только одна жизнь, которая должна неминуемо погибнуть, — или не нужно цивилизации, тогда бог с ней, с этой цивилизацией, с этими железными дорогами, телефонами, если они непременно обусловлены гибелью человеческой жизни!

21 февраля. 19-го и 20-го был у Толстых. 18-го Лев Николаевич ходил «под Девичье» [4] в балаган и потом в какой-то грязный трактир, где особенно много пьянства и разгула, — для наблюдений.

Лев Николаевич сказал:

— Я двадцать лет назад видел «под Девичьим» «Чуркина», которого сочинил какой-то золоторотец-про-

пойца, теперь смотрел «Стеньку Разина»[5] — и это все то же самое. Разбой, насилие представлены как подвиг и приветствуются толпой. И замечательно, что в то время как всякое слово в книжке, могущее внести свет в народное сознание, тщательно вычеркивается цензурой, такие представления допускаются с готовностью, — цензурует их квартальный. В течение двадцати лет этих «Чуркиных» и «Разиных» пересмотрело, наверное, миллион народу.

Говоря это, Лев Николаевич вспомнил, как ему пришлось быть в работном доме[6], когда священник толковал евангелие.

— Было прочитано место, где Христос говорит, что сказано: «Не убий, а я говорю вам: не гневайся напрасно», и т. д. Священник стал говорить, что не нужно только *напрасно* гневаться, а что когда начальство гневается — это так и должно быть. «Не убий» тоже не значит, что убивать совсем нельзя. На войне или при казнях убийство нужно и не грех. Это единственный случай для неграмотного человека вникнуть в смысл евангелия, так как в церкви все чтения или невнятно бормочутся дьячком, или орутся диким голосом дьякона, что делает их совершенно непонятными, — и вот в каком виде толкуется народу евангелие!

Много говорили о бурах и англичанах[7].

Лев Николаевич сказал:

— Я всегда считаю нравственные мотивы двигающими и решающими в историческом процессе. И вот теперь, когда так ясно выразилась эта всеобщая ненависть к англичанам, — я не доживу, но мне кажется, что могущество Англии сильно пошатнется. Я это говорю не из бессознательного русского патриотизма. Если бы восстала Польша или Финляндия и успех был бы на их стороне, мое сочувствие принадлежало бы им, как угнетенным.

Русский народ, беспристрастно говоря, пожалуй, самый христианский по своему нравственному складу. Это отчасти объясняется тем, что евангелие все-таки читается русским народом уже девятьсот лет; католические народы до сих пор его не знают, а другие узнали только после Реформации.

— Меня поразило, как в Лондоне[8] при мне вели по улице какого-то преступника и полиция должна была энергично охранять его от толпы, угрожавшей разорвать его на части. У нас, наоборот, конвой отгоняет подающих милостыню, деньги и хлеб. У нас преступники, арестанты — «несчастненькие». Но теперь, к сожалению, это начинает изменяться к худшему, и наше мерзкое правительство всеми силами старается возбудить ненависть к осужденным. В Сибири назначены даже денежные премии за убитого беглого каторжника.

18-го были именины Льва Николаевича.

Лев Николаевич рассказал:

— В этот самый день на Кавказе я наводил пушку, а в это время неприятельская граната ударила в обод колеса этой пушки, вогнула колесо, а мы все остались целы[9]. Это было дело, которое у меня описано в рассказе «Рубка леса». Потом уже вечером, страшно усталые, мы ехали, и опять раздались выстрелы, и как трудно было снова поднять свои уже опустившиеся нервы, чтобы быть бодрым в виду опасности. А потом на ночлеге у казаков был такой вкусный козленок, какого мы никогда не ели. И спать легли в одной хате восемь человек рядом на полу. А воздух был все-таки отличный, как козленок...

29 апреля. Как-то говорили о Шекспире. Лев Николаевич его мало любит.

Лев Николаевич сказал:

— Шекспира и Гете я три раза в жизни проштудировал от начала до конца и никогда не мог понять, в чем их прелесть.

По словам Льва Николаевича, Гете холоден. Из его сочинений ему нравятся многие лирические стихотворения и «Герман и Доротея». Драматических произведений Гете он не любит, а романы считает совершенно слабыми. О «Фаусте» Лев Николаевич не говорил.

Шиллера Лев Николаевич очень любит и говорит: «Это настоящий». Он любит у него почти все. Особенно «Разбойников» и «Дон Карлоса» (маркиз Поза), также и «Марию Стюарт», «Вильгельма Телля», «Валленштейна».

Тогда же дядя М. С. Сухотина, Александр Михайлович Сухотин, старик лет семидесяти с небольшим, прекрасно прочитал «Старые портреты» Тургенева. Лев Николаевич не помнил этой вещи и очень ею восхищался.

Он сказал:

— Только после всех этих новых, которых читаешь, действительно ценишь Тургенева.

Лев Николаевич с большой любовью вспоминал Тургенева. Между прочим, он сказал:

— Когда Тургенев умер, я хотел прочесть о нем лекцию[10]. Мне хотелось, особенно ввиду бывших между нами недоразумений, вспомнить и рассказать все то хорошее, чего в нем было так много и что я любил в нем. Лекция эта не состоялась. Ее не разрешил Долгоруков.

Говорили о Чехове и Горьком. Лев Николаевич, как всегда, очень хвалил художественное дарование Чехова. Огорчает его в Чехове отсутствие определенного миросозерцания. В этом отношении Лев Николаевич отдает предпочтение Горькому.

О Горьком Лев Николаевич сказал:

— Его знаешь из его произведений, какой он. Большой и очень существенный недостаток Горького — слаборазвитое чувство меры, а это чрезвычайно важно. Я указывал самому Горькому на этот недостаток, и как на пример обратил его внимание на злоупотребление приемом оживления неодушевленных предметов. Тогда Горький сказал, что, по его мнению, это прием хороший, и указал на пример из рассказа «Мальва», где сказано: «Море смеялось». Я ему возразил, что если в некоторых случаях этот пример может быть и очень удачным, тем не менее злоупотреблять им не следует.

Вчера Ушаков спросил Льва Николаевича про Громеку[11]. Лев Николаевич и Татьяна Львовна довольно много рассказывали о нем.

Лев Николаевич сказал:

— Это был симпатичный, страстный и талантливый человек. Он застрелился еще молодым человеком, говорят, вследствие душевного расстройства.

Татьяна Львовна сказала между прочим, что Громека был первым ее поклонником и сделал ей предложение, когда ей было шестнадцать лет.

Татьяна Львовна рассказала:

— Раз вечером на святках он попросил Сережу сыграть вальс и стал вальсировать со мной, а Лева и Маша вертели ореховые скорлупки со свечками и над нами подтрунивали. А потом он побежал для меня в одном сюртуке за снегом и столкнулся на лестнице со Львом Николаевичем. Потом он приходил с пистолетом к мама, и она его прогнала.

Лев Николаевич очень ценит критику Громеки.

Он сказал:

— Мне было дорого, что человек, сочувствующий мне, мог *даже* в «Войне и мире» и «Анне Карениной» увидеть многое, о чем я говорил и писал впоследствии.

Лев Николаевич сказал еще:

— Когда я написал рассказ «Чем люди живы», Фет сказал: «Ну, чем люди живы? Разумеется, деньгами!»

Я заметил, что Фет, вероятно, пошутил.

Лев Николаевич возразил:

— Нет, это было его убеждение. И как это часто бывает, то, чего люди очень упорно добиваются, того и достигают. Фету всю жизнь хотелось разбогатеть, и потом он и сделался богат. Его братья и сестры, кажется, посходили с ума, и все их состояние перешло к нему.

Татьяне Львовне в альбом Фет написал, что самый несчастный день его жизни был, когда он увидал, что разоряется.

11 мая. Недавно на Курском вокзале я провожал Льва Николаевича, уезжавшего в Пирогово, и испытывал тяжелое странное чувство, что больше его не увижу.

3 июля. Ясная Поляна. Приехал сюда нынче утром. Лев Николаевич нездоров. Вчера ему было очень плохо, а нынче несколько лучше. Лев Николаевич много работает, заканчивает «Рабство нашего времени». Чужих нет никого. Здесь только гостит Андрей Львович с женой [12] и ее сестра, Мария Константиновна Дитерихс. Софья Андреевна и Андрей Львович приедут нынче ночью от Татьяны Львовны.

Я нынче довольно много говорил со Львом Николаевичем.

Лев Николаевич сказал о теперешних событиях:

— Меня не столько ужасают эти убийства в Трансваале и теперь в Китае [13], как то открытое провозглаше-

ние безнравственных начал, которое так нагло делается всеми правительствами. Прежде они хоть старались лицемерно прикрываться якобы благими целями, теперь же, когда это стало невозможно, они открыто высказывают все свои безнравственные и жестокие намерения и требования.

Говорили об отмене ссылки [14]. Лев Николаевич считает это ухудшением.

— Вместо того чтобы человек мог снова устроить свою жизнь на новом месте, его сажают в острог: уже ассигновано шесть с половиной миллионов на расширение тюрем. И их опять сдерут с того же мужика, потому что больше взять неоткуда.

О судах Лев Николаевич сказал:

— Как нелепы наши суды, видно на каждом шагу. Например, дело тульского священника [15]. Каким образом тульский суд оправдал его, а после кассации орловский присудил к двадцатилетней каторге?! Если такие колебания возможны, чего стоят подобные решения? Действительно, это зависит от тысячи случайностей; настроение присяжных, поведение подсудимого, — подсудимый расплакался, и это впечатление заставило его оправдать. Настоящая игра в орлянку! Проще и легче было бы загадать: орел или решетка, и решать на этом основании дело. Для меня просто загадка, как порядочные люди могут судить?!

Говорили о деле С. И. Мамонтова [16].

Лев Николаевич сказал:

— Разумеется, его очень жаль: он старый, несчастный. А с другой стороны, когда посмотришь, что вот человек растратил двенадцать миллионов, — что ни говори, он проживал наверное сто — двести тысяч в год — и оправдан, а другой несчастный стащил какую-нибудь мелочь, и его осуждают. А тут все-таки были деньги на дорогих адвокатов. Это мне напомнило анекдот, который я прочел где-то в газете, как к одному адвокату пришел кассир, укравший двадцать пять тысяч, и просил его защищать. Адвокат спросил: «А есть ли там еще деньги?» Кассир сказал, что там есть еще двадцать пять тысяч. Тогда адвокат и говорит: «Возьмите остальные и дайте мне, тогда я вас буду защищать».

— И почему присяжные могут прощать? Простить

могут потерпевшие, а судьи, которых он не обидел, — им нечего прощать.

— Я говорил как-то с Н. В. Давыдовым[17] и сказал ему, что можно было бы отменить всякое наказание, но следствие все-таки производить и, доказав виновность, прийти к совершившему преступление и при всех сказать ему, что́ он сделал и какие есть доказательства его вины. Вполне вероятно, что он скажет: «Да убирайтесь вы к черту, мое дело!» Но все-таки я думаю, что эта мера чаще оказывала бы положительные результаты, чем современная система наказаний.

Говоря о правительстве, Лев Николаевич сказал:

— Удивляюсь, как это они меня до сих пор не посадят куда-нибудь?! Особенно теперь, после статьи о патриотизме[18]. Может быть, они еще не читали? Надо бы им послать.

Лев Николаевич опять говорил о своем отрицательном отношении к современной усложненной музыке.

Между прочим, он сказал:

— Я тоже искусился в теперешних диссонансах, но это все извращение вкуса. Современный композитор возьмет какую-нибудь, иногда и милую, музыкальную мысль и ворочает ее без конца и меры, соединяет с другими темами и когда, наконец, опять повторит просто, то хочется вздохнуть и сказать: слава богу!

Лев Николаевич говорил подробно о сонате Бетховена ре минор ор. 31 (я удивился, как он ее помнит). Речитатив первой части кажется ему претенциозным, основной мотив первой части — малозначительным. Во второй части он очень ценит «наивную» вторую тему, не любит нарастание с ломаной октавой то сверху, то снизу (боюсь, что все это оттого, что он слыхал эту сонату в недостаточно совершенном или грубом исполнении). Финал ему очень нравится, кроме шума в басовых регистрах (опять по вине грубого исполнения).

Вечером мы играли в шахматы. Все пошли спать, а Лев Николаевич остался со мной, и мы часа полтора говорили о многом. Что припомню, завтра запишу.

4 июля. Вчера Лев Николаевич сказал мне:

— Будда говорит, что счастье в том, чтобы делать другим как можно более добра. Как ни странно это при поверхностном наблюдении, но это несомненно так:

счастье возможно только при отречении от стремления к личному, эгоистическому счастью.

Потом Лев Николаевич улыбнулся и сказал:

— А вы вот на фортепианах играете! Но, разумеется, это лучше все-таки, чем многое другое, вы по крайней мере никого не должны судить или убивать.

Лев Николаевич сказал о газетах:

— В настоящее время газетный гипноз дошел до крайних пределов. Все вопросы дня искусственно раздуваются газетами. Самое опасное то, что газеты преподносят все в готовом виде, не заставляя ни над чем задумываться. Какой-нибудь либеральный Кузминский или тот же Кони возьмет утром за кофе свежую газету, прочитает ее, явится в суд, где встретит таких же, прочитавших такую же газету, — и заражение совершилось!

Лев Николаевич сказал еще:

— Мне вдруг стало необычайно ясно, что все зло в узаконениях, то есть не в том главное, что люди делают дурно, а в том, что насильно заставляют других делать дурное, признанное законным. До сих пор ни одно из самых крайних социалистических учений не обошлось без принуждения. Между тем только тогда не будет рабства, когда каждый будет свободен выбирать свою работу и время, на нее затрачиваемое.

— Люди всегда портят тем, что спрашивают: «Ну, мы освободим рабов, а дальше что? Как это устроится?» Я не знаю, как это устроится, но знаю, что существующий порядок есть величайшее зло, и поэтому должен стараться как можно меньше участвовать в поддержании этого зла. А что будет на месте этого зла, я не знаю и не должен знать. Откуда мы, обеспеченные классы, взяли на себя роль каких-то устроителей жизни? Предоставим освобожденным рабам самим устраиваться. Я знаю только, что скверно быть рабом и еще хуже иметь рабов, и поэтому должен избавиться от этого зла. Больше ничего.

Лев Николаевич хотел эпиграфом к своей новой работе «Рабство нашего времени» взять изречение Маркса о том, что, с тех пор как капиталисты стали во главе рабочих классов, европейские государства потеряли всякий стыд [19].

Лев Николаевич хвалил немецкую книгу Эльцбахера об анархизме [20], в которой излагаются теории семи анар-

хистов: Годвина, Прудона, Штирнера, Бакунина, Кропоткина, Тэккера и его, Толстого.

Лев Николаевич сказал:

— Я помню, на моей памяти, при начале социалистического движения слово «социалист» в России говорили только шепотом, и когда Иванюков[21] в начале восьмидесятых годов впервые открыто написал книгу о социализме, на Западе это было уже широко распространенное учение. Так же теперь большинство относится к анархизму, часто грубо отождествляя это учение с бросанием динамитных бомб.

О книге Эльцбахера Лев Николаевич сказал еще:

— В конце книги приложен алфавитный указатель слов, употребляемых этими семью анархистами. Оказывается, слово «Zwang» — принуждение, насилие — не встречается только при изложении моих взглядов.

П. А. Сергеенко сказал Льву Николаевичу про книгу Волынского о Леонардо да Винчи, что это очень хорошая книга[22].

Лев Николаевич заметил:

— Да, это, кажется, одна из тех книг, которые хороши тем, что их можно не читать.

Вчера Лев Николаевич сказал о врачах и вообще о науках:

— Как ничтожны и мало нужны все наши науки! Разумеется, точные науки: математика, химия и другие, хотя и очень неважны для улучшения нравственной жизни, но по крайней мере точны и положительны. А медицина хотя и знает многое, но это многое — ничто по отношению к тому, сколько нужно знать, чтобы действительно знать что-нибудь. А к чему все это?

Я возразил Льву Николаевичу, что если в теории и так, то на деле, когда кто-нибудь болен, всегда хочется ему помочь.

На это Лев Николаевич ответил:

— Часто бывает, когда кто-нибудь тяжело болен, — окружающие в глубине души желают ему умереть, чтобы освободиться, он им мешает.

Лев Николаевич сказал Софье Андреевне:

— Нам с тобой пора умирать, — и вспомнил стихи Лермонтова:

А там наследник в добрый час
Придавит монументом вас[23].

5 июля. Нынче Лев Николаевич гулял со мной и П. А. Сергеенко. Мы прошли в прекрасную казенную еловую посадку по левой стороне дороги на Козловку.

Лев Николаевич сказал:

— Я стараюсь любить и ценить современных писателей, но трудно это... Достоевский часто так скверно писал, так слабо и недоделанно с технической стороны, но как у него всегда много было что сказать! Тэн говорил, что за одну страницу Достоевского он отдал бы всех французских беллетристов.

— А техника теперь дошла до удивительного мастерства. Какая-нибудь Лухманова или Дмитриева так пишет, что просто удивление; где уж Тургеневу или мне, она нам сорок очков вперед даст!

Лев Николаевич недавно перечитал почти все небольшие рассказы Чехова.

Нынче он сказал о Чехове:

— У него мастерство высшего порядка. Я перечитывал его рассказы, и с огромным наслаждением. Некоторые, например «Детвора», «Спать хочется», «В суде» — истинные перлы. Я положительно все подряд читал с большим удовольствием. Но все-таки это мозаика, тут нет действительно руководящей внутренней нити.

— Самое важное в произведении искусства — чтобы оно имело нечто вроде фокуса, то есть чего-то такого, к чему сходятся все лучи или от чего исходят. И этот фокус должен быть недоступен полному объяснению словами. Тем и важно хорошее произведение искусства, что основное его содержание во всей полноте может быть выражено только им.

Лев Николаевич находит большое сходство в дарованиях Чехова и Мопассана. Последнего он предпочитает за большую в нем радость жизни. Зато Чехов чище Мопассана.

Сергеенко, не помню по какому поводу, вспомнил какой-то стих Лермонтова.

Лев Николаевич сказал:

— Вот в ком было это вечное, сильное искание истины! У Пушкина нет этой нравственной значительности, но чувство красоты развито у него до высшей степени, как ни у кого. У Чехова и вообще у многих теперешних писателей развилась необыкновенная техника реализма. У Чехова все правдиво до иллюзии, его

вещи производят впечатление какого-то стереоскопа. Он кидает как будто беспорядочно словами и, как художник-импрессионист, достигает своими мазками удивительных результатов.

Льву Николаевичу очень нравится Горький как человек. В его сочинениях, однако, он начинает разочаровываться.

Лев Николаевич сказал о нем:

— У Горького отсутствует чувство меры. У него есть какая-то развязность, которая неприятна.

«Мужика» Лев Николаевич считает очень слабой вещью. Начало рассказа «Двадцать шесть и одна» очень хвалит.

Лев Николаевич написал небольшое предисловие к роману Поленца «Der Büttnerbauer» [24].

По этому поводу он сказал:

— Читая этот роман, я говорил себе: «Отчего ты, дурак, не написал этого романа? Действительно, я этот мир знаю; а так важно отметить всю поэзию крестьянской жизни! Люди со своей культурой вырубят вот эту липу, этот лес, устроят мостовые, дома с высокими трубами и уничтожат бесконечную прелесть естественной жизни.

На мой вопрос, не начинал ли Лев Николаевич такого романа, Лев Николаевич сказал, что давно и несколько раз.

Лев Николаевич сказал о Григоровиче:

— Он теперь устарел и кажется слабым, но это важный и прекрасный писатель, и дай бог Чехову иметь десятую долю того значения, какое имел Григорович. Он принадлежал к числу лучших людей, начинавших важное направление. У него есть много и художественных достоинств. Например, в начале «Антона Горемыки», когда мужик приезжает домой и приносит сыну или внуку какую-то веточку — это трогательная подробность, характеризующая и старика и простоту и незатейливость той жизни.

О Тургеневе Лев Николаевич сказал:

— Это был типичный представитель людей пятидесятых годов, либеральный в лучшем смысле этого слова. Замечательна его борьба против крепостничества и потом его любовь к тому, что он описывает. Например, как он описывает в «Старых портретах» старика. Потом его чуткость к красотам природы.

Говоря о роли критики, Лев Николаевич сказал:

— Скажите вы оба, в чем, по-вашему, главное значение критики?

Мы оба высказали какие-то свои соображения.

Лев Николаевич сказал:

— Значение критики в том, чтобы отмечать все то хорошее, что есть в тех или других произведениях искусства, и руководить таким путем мнением публики, вкусы которой большею частью грубы и большинство которой не чутко к прекрасному. Насколько трудно быть критиком действительно хорошим, настолько легко самому бездарному и ограниченному человеку сделаться критиком; и насколько первые нужны, настолько вторые прямо вредны. Особенно бессмысленно и дешево обыкновение критиков высказывать по поводу чужих произведений все свои, мало имеющие с ними связи, мысли: это самая бесполезная болтовня.

7 июля. Лев Николаевич сказал как-то, что все людские пороки можно свести к трем главным категориям: 1) гнев, недоброжелательство, 2) тщеславие и 3) похоть в самом широком смысле этого слова. Последнее — наиболее сильное.

Как-то утром за кофе Лев Николаевич вздохнул и сказал:

— Да, трудно, трудно... Трудно оттого, что в высших сферах царят ложь и насилие, а в народе много тьмы. Вот у меня на днях были два сектанта из Тулы, беспоповцы. Один молодой, видно малопонимающий, а другой старик, который при разговоре надевал очки. Старик оказался умный, понимающий, говорил много дельного, как будто соглашался с моими религиозными взглядами, а все-таки, когда я предложил им напиться чаю, они отказались, потому что не захватили своей посуды.

По поводу войны [25] Лев Николаевич сказал:

— Ужасно, что это совершается таким страшным путем, но хотя и трудно предвидеть, но можно думать, что после войны произойдет более значительное, чем теперь, смешение европейцев с китайцами; и я думаю, что китайцы должны оказать самое благотворное влияние на нас хотя бы уже своим необыкновенным уменьем работать и на небольшом пространстве земли добывать

и растить больше и лучше, чем у нас на в десять раз большем пространстве.

Настоящее положение Европы Лев Николаевич сравнивает с концом римской империи. Китайцы исполняют, по его мнению, роль «варваров».

Лев Николаевич сказал нынче:

— Все наши поступки разделяются на такие, которые имеют цену перед лицом смерти, и такие, которые не имеют перед нею никакого значения. Если мне скажут, что я должен завтра умереть, я не поеду верхом; но если я должен сейчас умереть, а вот Левочка (сын Льва Львовича, который проходил в это время с няней мимо балкона) упадет и заплачет, то я подбегу и подниму его. Мы все находимся в положении пассажиров парохода, приставшего к какому-то острову. Мы сошли на берег, гуляем, собираем ракушки, но должны всегда помнить, что, когда раздастся свисток, все ракушки надо будет побросать и бежать поскорей на пароход.

Софья Андреевна, присутствовавшая при некоторых разговорах, все время спорила и чисто по-женски возражала Льву Николаевичу.

За прогулкой, когда Софья Андреевна сказала, что женщина в то время, как муж пишет романы или философские статьи, должна носить, рожать, кормить детей, — и так это тяжело, Лев Николаевич возмутился и с редкой для него резкостью сказал:

— Какие ты, Сонечка, ужасные вещи говоришь! Женщина, тяготящаяся и не желающая детей, — не женщина, а стерва!

Вечером мы сидели на балконе: Лев Николаевич, Сергеенко и я.

Лев Николаевич удивлялся женскому кривотолку и, обращаясь ко мне, сказал:

— Это мы с Петром Алексеевичем можем говорить, а вы не имеете права. Для этого надо иметь жену и дочерей. Второе, пожалуй, еще важнее. Дочери — это единственные женщины, которые совсем для человека не «женщины» и которых можно знать вполне от их начала. С сестрами не может быть таких отношений, потому что идешь рядом; является некоторое соревнование, и нельзя так знать всего человека.

Сергеенко советовался с Львом Николаевичем о том, как воспитать сына в половом отношении.

Лев Николаевич сказал ему:

— Эти вопросы так опасны, что лучше об них родителям не говорить с детьми совсем. Надо только наблюдать за влиянием окружающей среды. Иногда один гадкий, даже не совсем гадкий, а в этом отношении испорченный, мальчик может развратить целый круг мальчиков. Лучше всего, чтобы подрастающий юноша был побольше среди молодых девушек. Хотя среди теперешних барышень есть такие, что хуже молодых людей. Если тут возникнет поэтическое чувство к девушке, оно будет лучшей защитой от всякой грязи.

— Как я люблю так часто встречающееся в евангелии слово «посланник»! Действительно, мы все посланники. И, как послы, мы должны дорожить своим достоинством. Человек, предаваясь разврату, нарушает этим свое посланническое достоинство.

Потом Лев Николаевич сказал:

— Жизнь складывается так ужасно, — Лев Николаевич оглянулся (мы сидели на освещенном балконе, а кругом в саду была черная темнота) и сказал:

— Я не люблю говорить на балконе, мне все кажется, что кто-то подслушивает... Вот даже и на детей не можешь радоваться. Их воспитывают в кружевах — вырастут дармоеды и будут грабить народ. Это ужасно!

Раньше в разговоре Лев Николаевич привел чье-то, ему очень понравившееся, изречение:

— Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь.

12 июля. Вчера вернулся домой. В день моего отъезда на прогулке Софья Андреевна рассказывала, что они продали самарское имение, купленное когда-то Львом Николаевичем по семи и тринадцати рублей за десятину, за четыреста пятьдесят тысяч рублей. Таким образом, Андрею Львовичу, Михаилу Львовичу и Александре Львовне досталось по сто пятьдесят тысяч. Все эти дни шли разговоры о покупке сыновьями того или другого имения, об этих деньгах и т. д. В конце прогулки мы со Львом Николаевичем оказались немного впереди остальных. Вдруг он тяжело вздохнул.

Я спросил его:

— Что это вы, Лев Николаевич, так вздыхаете?

— Если бы вы знали, как тяжело мне все это слу-

шать! Всегда лежит у меня на совести, что я, желая отказаться от собственности, сделал тогда какие-то акты[26]. Мне теперь смешно думать, что выходит, как будто я хотел хорошо устроить детей. Я им сделал этим величайшее зло. Посмотрите на моего Андрюшу. Ну что он из себя представляет?! Он совершенно неспособен что-нибудь делать. И теперь живет на счет народа, который я когда-то ограбил и они продолжают грабить. Как ужасно мне теперь слушать все эти разговоры, видеть все это! Это так противоречит моим мыслям, желаниям, всему, чем я живу... Хотя бы они пожалели меня!..

Лев Николаевич замолчал и потом сказал:

— Что же это я вдруг стал вам жаловаться?..

В это время подошла Татьяна Львовна, разговор оборвался и перешел на другое.

Как-то вечером, во время прогулки, мы на полянке увидали издали человека, который над чем-то возился на земле.

— Вероятно, он собирает муравьиные яйца, — сказал Лев Николаевич.

И действительно, когда мы подошли к нему, это так и оказалось. Лев Николаевич стал его расспрашивать, и он подробно рассказал, как это делается. Он сказал, что ночь проведет на берегу реки, взял с собой чайник и чай — будет чай пить.

Когда мы отошли от него, Лев Николаевич сказал:

— Вот говорят, что народ стремится из деревни, а посмотрите — этот человек служит зимою самоварщиком на тульском заводе, а теперь, летом, достает здесь муравьиные яйца. Он весь изъеден, вся кожа с рук слезла от едкости этих яиц, а он радуется, мечтает, как будет чай пить и спать на траве ночью. Очевидно, тут важен не ничтожный заработок от продажи яиц, а для него дело просто «partie de plaisir» *.

За ужином Лев Николаевич рассказывал про этого человека и удивил меня изумительной передачей всех деталей его рассказа и движений. Но главным образом поразительно было для меня сопоставление этого рассказа Льва Николаевича с его же рассказом нака-

* увеселительная прогулка *(франц.)*.

нуне. Говорили что-то о бешеных собаках, Лев Николаевич сказал:

— Хотите, я расскажу вам про бешеного волка?

И Лев Николаевич рассказал, как накануне его отъезда с Кавказа он сидел поздно вечером с ребятишками, которые его очень любили. Вдруг в станицу забежал бешеный волк. Лев Николаевич побежал в хату за ружьем, а офицер, бывший тут, сказал, что ружье не заряжено. Лев Николаевич возразил, что в одном стволе есть заряд. Он перегнулся через забор и наткнулся прямо на волка. Лев Николаевич нажал курок, но офицер оказался прав: ружье было не заряжено и не выстрелило. К счастью, волк убежал[27]. Лев Николаевич передавал все подробности: слова Епишки («Ерошка» из «Казаков»), ребят, офицера. С одинаковым художественным совершенством и так же подробно Лев Николаевич рассказывал про нынешнего охотника за муравьиными яйцами и про случай, бывший с ним пятьдесят лет назад.

Лев Николаевич сказал как-то:

— Когда я пришел к миросозерцанию, отрицающему всякую церковь и какие бы то ни было церковные обряды, — тяжелой стороной была рознь в этом отношении с массой народа. И я понимаю, что страх совсем разойтись с народом может некоторых удержать от последнего шага в этом направлении.

Лев Николаевич читал дневник Бомонда[28], изданный его детьми после его смерти, и сказал по этому поводу:

— Это очень хорошая книга. Она мне очень полезна, несмотря на то, что Бомонд — евангелик, преданный своему вероисповеданию, постоянно говорит об искуплении и т. п. Удивительно, как часто люди, в сущности по убеждению настоящие христиане, не могут свободно признать это, а нуждаются в каких-то лесах. Как леса закрывают собою постройку, так их истинное миросозерцание скрыто за разными вероисповеданиями.

Лев Николаевич вспомнил и привел на память по-английски изречение Кольриджа[29], которое тут же перевел: «Тот, кто начнет с того, что полюбит христианство более истины, очень скоро полюбит свою церковь или секту больше христианства и кончит тем, что будет любить только себя».

Лев Николаевич сказал недавно:

— Основанием всякой школы следовало бы сделать учение величайших моралистов и мыслителей, как Лао-цзы, Сакия Муни, Конфуций, Сократ, Паскаль и др. А между тем, у нас часто твердо знают какие-нибудь греческие неправильные глаголы, а учения величайших людей остаются большинству совершенно неизвестными.

Лев Николаевич говорил с А. В. Цингером о трудности жить жизнью простого народа, о том, как обесценен труд.

Между прочим, говоря об усовершенствованных земледельческих орудиях, Лев Николаевич сказал:

— Нельзя преждевременно заводить дорогие усовершенствованные орудия. Вы знаете, был такой известный американский писатель Торо [30], который удалился от городской жизни и стал жить трудами рук своих. Когда ему друзья стали говорить, как это он живет в нескольких часах езды от прекрасного озера и никогда не соберется съездить туда, когда поездка по железной дороге стоит всего два доллара, Торо возразил им, что прекрасно чувствует себя и у себя дома, но если бы и решился отправиться на озеро, то *скорее* сделал бы это пешком, так как, чтобы отработать два доллара, ему нужно четыре дня, а пешком он сделает эту прогулку в два. Часто это рассуждение применимо и у нас, когда улучшение сельского хозяйства хотят начать с введения дорогих усовершенствованных орудий.

Лев Николаевич говорил о стихах:

— Когда в стихах говорится про любовь, цветы и т. п., то это сравнительно невинное занятие до шестнадцати лет. Но выразить важную, серьезную мысль в стихах почти невозможно, не исказив ее. Как трудно просто словами выразить свою мысль так, чтобы всякий понял именно то, что хочешь высказать. Насколько же это труднее, когда писатель связан еще размером и рифмой! Это удавалось, и то редко, только самым большим поэтам. За стихами часто прячутся совершенно ложные мысли.

Ко Льву Николаевичу приехал какой-то студент-поляк из Харьковского университета. Он написал статью о Льве Николаевиче в возражение Нордау [31]. Студент оказался бестолковым, совершенно незнакомым со взглядами Льва Николаевича.

Лев Николаевич все эти дни не совсем здоров и очень дурно настроен, так что после разговора со студентом он вышел к нам совершенно расстроенный и сказал:

— Нет, пора мне, право, умирать! Привяжутся к какой-нибудь одной мысли, выхваченной произвольно из целого, и твердят на все лады: непротивление, непротивление! Да чем я виноват?!

Софья Андреевна сказала мне:

— В биографии всегда искажают интимную жизнь знаменитых людей. Вот и из меня, наверное, сделают Ксантиппу. Вы тогда, Александр Борисович, заступитесь за меня.

Когда мы все гуляли, Софья Андреевна показала мне место, которое называется «пчельник», и сказала:

— Здесь когда-то действительно был пчельник. Лев Николаевич одно время увлекался пчелами и целые дни проводил на пчельнике. Иногда мы приезжали сюда с самоваром и пили чай. Раз как-то приехал Фет, и мы отправились ко Льву Николаевичу на пчельник. Была чудная ночь; мы долго сидели, а в траве было много светляков. Лев Николаевич сказал мне:

— Вот ты, Соня, все хочешь иметь изумрудные серьги; возьми двух светляков, вот и будут серьги.

После этого Фет написал стихотворение, в котором были такие два стиха:

В моей руке твоя рука — какое чудо!
А на земле два светляка, два изумруда *.

В другом месте Софья Андреевна показала мне поляну, где Лев Николаевич и Тургенев стояли на тяге, и она была с ними.

Софья Андреевна сказала:

— Это было в последний приезд Тургенева [32] в Ясную, уже незадолго до его смерти. Я спросила его: «Иван Сергеевич, почему вы ничего не пишете?» Он мне ответил: «Для того чтобы написать что-нибудь, мне всегда нужно было быть немного влюбленным. Теперь же я стар, влюбиться уж не могу, вот и писать перестал».

---

* Софья Андреевна неточно передала стихи Фета:

В моей руке — какое чудо! —
Твоя рука,
И на траве — два изумруда:
Два светляка!

П. А. Сергеенко и Татьяна Львовна уже довольно давно, наполовину в шутку, затеяли вместе написать драму. Драма эта никогда, разумеется, не будет окончена.

Лев Николаевич шутя сказал Татьяне Львовне:

— Когда вы окончите свою драму, дайте ее мне, я сделаю свои замечания.

Татьяна Львовна возразила:

— Ты ведь все равно не станешь читать, а тем более писать критику.

— Я поступлю как Вольтер, который, когда ему дал какой-то писатель свое произведение, возвратил по прочтении рукопись с благодарностью и сказал, что сделал на ней свои замечания. Автор обрадовался, взял рукопись, но не нашел на ней ни одного замечания. Тогда, обиженный, он опять пришел к Вольтеру. Вольтер сказал ему, что написал свое мнение в конце произведения. Действительно, в конце стояло по-французски: «Fin», а Вольтер зачеркнул «n» и осталось «Fi».

31 августа. Из Ясной вернулся Ив. Ив. Горбунов и передал мне просьбу Льва Николаевича расцеловать меня и благодарить за «тронувшее» его мое письмо.

9 ноября. Москва. На днях я был у Толстых. Лев Николаевич только что приехал в Москву.

Когда я пришел, мне сказали, что Лев Николаевич нездоров, но через несколько минут он вышел. Никого не было. Мы играли с ним в шахматы, а потом довольно много разговаривали.

Лев Николаевич пишет по поводу дел в Китае [33]. Он опять проводил параллель между теперешней европейской цивилизацией и Римом и сказал:

— Рим как при своем начале был шайкой разбойников, так до конца ею и остался. Все могущество его, так же как и современных культурных государств, заключалось в отсутствии чего-либо нравственно-недозволенного.

Какое религиозное учение ни взять, в нем можно найти прямые установления о том, чего не следует делать; например, в еврейском законе: «Не убий», «Не прелюбодействуй»... А в так называемых христианских государствах нет такого преступления, которое не покровительствовалось бы церковью. Хочешь развестись с женой — церковь это устроит. Убивать хоть и нельзя, но если это убийство называется казнью или войною, то

оно делается вполне законным. Кражи и все самые ужасные преступления допускаются в христианском обществе как справедливое и законное дело.

10 ноября. Я получил от Софьи Андреевны записку с приглашением прийти вечером, так как хотел быть С. И. Танеев и принести свою симфонию. Я пошел вечером в Хамовники, и мы с Сергеем Ивановичем играли в четыре руки его симфонию. Сочинения Танеева никогда не производили на Льва Николаевича впечатления.

27 декабря. Вчера вечером я был у Толстых. Застал там Льва Николаевича, Илью Львовича * и Андрея Львовича. Только что получилось известие о том, что Татьяна Львовна родила преждевременно мертвую девочку, а накануне узнали о смерти в Ясной Левочки, старшего, двух-трехлетнего сына Льва Львовича. Софья Андреевна уехала в Ясную. Настроение было грустное.

Лев Николаевич играл со мною в шахматы. Позже пришел Павел Сергеевич Усов, который тоже сыграл с Львом Николаевичем партию в шахматы. Завязался разговор. Лев Николаевич оживился. Я давно не видал его таким ярким, остроумным, горячим, как вчера.

Принесли почту. От Черткова сразу три письма. В одном из них довольно много мелко исписанных листков какой-то рукописи.

Лев Николаевич посмотрел и сказал:

— Должно быть, это какой-нибудь дамы... Хорошо бы, тогда, наверное, можно не читать.

Рукопись, однако, оказалась не дамской, так что Лев Николаевич отложил ее для прочтения [34].

---

* Илья Львович привез однажды ко Льву Николаевичу своего приятеля, фотографа Протасевича. Считая очевидно, что с Толстым нужно вести беседу на высокие темы, он задал Льву Николаевичу такой вопрос:

— Скажите, Лев Николаевич, есть бог или нет?

Лев Николаевич помолчал и спросил его:

— Вы видали когда-нибудь микроскоп?

— Видал.

— Что же вы в нем видели?

— Видел в капле воды инфузории.

— Что, если бы одну из этих козявок спросили, — сказал Лев Николаевич, — есть в Калуге фотограф Протасевич? Что бы она на это ответила?

После этого Протасевич больше вопросов Льву Николаевичу не задавал и приступил к фотографированию.

По поводу несчастья Татьяны Львовны Лев Николаевич сказал:

— Я не огорчаюсь, что у дочерей моих нет детей, я не могу радоваться внукам. Я знаю, что из них непременно вырастут дармоеды. Конечно, мои дочери очень желают, чтобы это вышло не так, но в той среде, где им придется воспитываться, избежать этого так трудно. Я всю жизнь окружен этим и, сколько ни борюсь, ничего не могу сделать. Теперь на праздниках я не могу видеть этих безумных трат кругом, этих визитов. Что это за ужасная нелепость!

Усов рассказывал, в каких случаях врач имеет право производить искусственные роды, убивая этим ребенка.

Лев Николаевич возразил:

— Это всегда безнравственно. Вообще, когда существуют разные средства, облегчающие больного, — кислород и т. д., то трудно воздержаться от пользования ими, но лучше было бы, если бы их не существовало. Все мы непременно умрем, а деятельность докторов направлена на борьбу со смертью. А ведь умереть что через десять дней, что через десять лет — все равно. Как ужасно, что от больного всегда скрывают, что он умрет! Мы все не привыкли прямо смотреть смерти в глаза.

Усов защищал деятельность докторов, считая ее полезной.

Лев Николаевич сказал:

— Вот почему я считаю деятельность докторов даже вредной: собирают людей в города, заражают сифилисом, чахоткой, держат в ужасных условиях, а потом тратят миллионы на устройство больниц и клиник. Что, если эту энергию употребить не на лечение, а на улучшение жизненных условий народа? В то время, когда множество здоровых, нужных крестьян заражаются всякими болезнями и надрываются непосильной работой, доживая до тридцати лет, вместо того чтобы жить до семидесяти, в это время всеми средствами медицины лечится какая-нибудь никому не нужная больная старуха, которой не могут уже помочь никакие средства.

— Все современные науки исполняют совершенно обратное своему назначению: богословие скрывает нравственные истины, юридические науки всячески затемняют понятие о справедливости, естественные науки

насаждают материализм, история скрывает истинную жизнь народа. Теория Дарвина совпадает с грубым рассказом Моисея [35]. Все споры о дарвинизме — это полемика с Моисеем.

— Всякий вырастающий у нас молодой человек проходит через страшное заражение, какой-то нравственный сифилис: сначала православие, а потом, когда он отрешится от этого, материалистическое учение. Все лучшие физиологи, как Крафт-Эбинг или Клод Бернар, прямо признают, что, как бы точно ни исследовали мы даже простую клеточку, в основании ее всегда будет лежать *X*, которого мы не знаем. Следовательно, вся совокупность организмов и все социальные условия жизни являются *X* в степени *X*. А если мы не можем познать клеточку до конца, то где же нам познать законы жизни людских обществ? А какой-нибудь тупица вроде Виноградова уверяет, что все это очень просто и что историческая наука может вывести какие-то непреложные законы, по которым совершается жизнь человеческая.

— Вы посмотрите на всех наших историков, что это за тупые, глупые люди. Например, Соловьев. Ведь это был невероятно тупой человек. А как только явится среди них талантливый — какой-нибудь Грановский, Костомаров, Кудрявцев, — и спросишь, что же они написали в конце концов? Оказывается, что ничего значительного, важного. Посмотрите, например, на Ключевского, ну что он сделал? Что он талантливо говорит или либеральничает по поводу Екатерины и говорит, что она была б..., так это мы и без него знаем. А вот этот еще, что мазурку танцует в «Московских ведомостях», Иловайский, — и это тоже историк!

— Чему учить? Я давно еще, когда занимался педагогией, пришел к заключению, что школьное преподавание должно состоять только из двух отраслей знания — языки и математика. Только здесь можно дать учащемуся положительные знания. Хотя бы посмотреть, как теперь на экзаменах какой-нибудь Василий Маклаков наболтает, ничего не зная, столько и так, что надует всякого экзаменатора. А в знании языков и математики не может быть никакого обману: или знаешь, или нет. Кроме того, в дальнейшем из этих основных знаний можно развить все науки. Из математики: астрономию,

физику, естественные науки. Из языков: историю, географию и т. д. А чему учат и кого учат у нас? Нынче я шел по улице. Идут пьяные, ругаются по-матерну, тащат за собой женщин. Кто и когда сказал хотя бы одно слово о каких-нибудь нравственных потребностях этим людям? Чему мы их научили?

— А вот на днях я возвращался вечером из бани и шел мимо театров. Там, подбоченясь, на лошадях сидят жандармы, стоят околоточные; кучера с эдакими (Лев Николаевич показал руками) задами, с рядами пуговиц назади, сидят на козлах. А там, в освещенных, наполненных публикой театрах, совершается священнодействие: играют какого-нибудь «Садко» — глупую сказку, да еще исковерканную, или «Когда мы, мертвые, пробуждаемся»! [36] Просто безумие!

1901

1 февраля, Москва. Лев Николаевич начал месяца два-три тому назад учиться голландскому языку [1], а сейчас уже довольно свободно читает, — это на семьдесят третьем году!

Учится языкам он очень оригинально: берет евангелие на неизвестном ему языке и, пока прочитывает, научается все понимать.

Лев Николаевич сказал мне на днях о современном искусстве:

— Утрачено чувство, я не могу определить его иначе, чувство эстетического стыда. Я не знаю, знакомо ли вам это чувство? Я его испытываю при художественной лжи в сильнейшей степени и не могу назвать его иначе, чем стыд.

По поводу своей драмы «Труп» Лев Николаевич сказал мне:

— Ко мне приходил сын жены описанного мною человека, а потом и он сам. Сын от имени матери просил не опубликовывать драму [2], так как ей это было бы тяжело, да и, кроме того, она боится, чтобы опять не вышла история. Я, разумеется, обещал.

— Их приход был мне очень интересен и полезен. Я еще раз, как и раньше неоднократно, убедился, насколько психологические побуждения, которые сам при-

думываешь для объяснения поступков людей, которых описываешь, ничтожнее, искусственнее побуждений, руководивших этими людьми в действительности. После беседы с ними я охладел к этой работе.

Другой раз как-то в столовой внизу шли оживленные разговоры молодежи. Лев Николаевич, который, оказывается, лежал и отдыхал в соседней темной комнате, потом вышел в столовую и сказал мне:

— Я лежал там и слушал ваши разговоры. Они меня интересовали с двух сторон: просто интересно было слушать споры молодых людей, а потом еще с точки зрения драмы. Я слушал и говорил себе: вот как следует писать для сцены. А то — один говорит, а другие слушают. Этого никогда не бывает. Надо, чтобы все говорили, и тут-то искусство автора в том, чтобы заставить красной нитью пройти то, что ему нужно.

24 февраля. Здоровье Льва Николаевича все это время довольно плохо. Он видимо физически слабеет. Невольно приходят в голову жуткие опасения...

Нынче вечером я был в Хамовниках. Софья Андреевна отправилась в концерт, Александры Львовны не было тоже. Ю. И. Игумнова, Н. Н. Ге и М. В. Сяськова с полчаса сидели внизу. Было грустно, точно в вымершем гнезде.

Потом Лев Николаевич позвал к себе. Он рассматривал номера «Simplicissimus'а» [3] и восхищался остроумием и рисунками. Позже пришел Д. А. Олсуфьев. Играли в шахматы. Я играл на фортепиано, больше тихое, печальное. Догорали свечи, заглохший самовар слабо шумел, было тихо и грустно *...

Потом Лев Николаевич оживился, вернулась из концерта Софья Андреевна, стало не так тоскливо.

8 марта. Вчера Лев Николаевич был в духе. За чаем он смеялся и шутил. Говорили о роскоши.

Лев Николаевич сказал:

— Насколько больше теперь тратят денег, чем раньше! Когда мы жили с Софьей Андреевной в Ясной, мы получали с Никольского тысяч пять и отлично жили.

---

* Я хорошо помню этот вечер и чувство, что «пенаты» покинули этот дом... Мне запомнилось почему-то, что я, между прочим, сыграл фа диез мажорную прелюдию Шопена, которая всех тронула и както особенно подошла к общему настроению.

Я помню, когда Софья Андреевна купила коврики к кроватям, мне это показалось ненужной и невероятной роскошью. А теперь мои сыновья — их что-то у меня штук двадцать — швыряют деньгами направо и налево, покупают собак, лошадей, граммофоны... Мне тогда казалось, что туфли есть, зачем же коврики? Разумеется, до того, чтобы ходить босиком, не доходило, а вот Репин меня изобразил декольте, босиком, в рубашке! Хорошо еще, что невыразимые не снял[4]... И как это даже не спросить меня, будет ли это мне приятно?! Впрочем, я давно привык, что со мной обращаются как с мертвым. Там, на передвижной выставке, вы еще увидите дьявола («Искушение Христа» Репина), ну кстати уж и одержимого дьяволом[5].

25 февраля было объявлено отлучение Льва Николаевича от церкви[6]. В этот день Лев Николаевич шел с Дунаевым по Лубянской площади из Милютинского переулка, куда они ходили к какому-то доктору по делу. На Лубянской площади у фонтана толпа узнала Льва Николаевича. Сначала позади раздался, как уверяет Дунаев, иронический голос: «Вот дьявол в образе человека!» Это послужило сигналом. Вся толпа, как один человек, бросилась ко Льву Николаевичу. Все кричали, кидали кверху шапки. Лев Николаевич растерялся, не знал, куда деваться, и почти бегом уходил. Толпа бежала за ним. Насилу Льву Николаевичу и Дунаеву удалось на углу Неглинной сесть на извозчика. Толпа хотела задержать извозчика, многие цеплялись за сани. В это время появился отряд конных жандармов, которые пропустили извозчика, сейчас же замкнулись за ним и отрезали толпу.

Лев Николаевич разговорился с извозчиком, который рассказывал ему, как их штрафуют.

Лев Николаевич передавал мне этот разговор:

— Он мне говорит: за полтинник мы не сидим — отдаем. За рубль или полтора сидим день-два. За три рубля — иногда день, иногда два, а то и три. Я спросил его: «Отчего так разно?» — «Да так, по расчислению, как усмотрится». И вот это «по расчислению, как усмотрится» — лучшая характеристика нашего государственного порядка.

Незадолго до обнародования отлучения Льва Николаевича от церкви Победоносцев говорил Александре

Андреевне Толстой по поводу слухов о предстоящем отлучении, что все это совершенный вздор и ни в каком случае быть не может[7].

25-го вечером ко Льву Николаевичу пришли студенты спросить его совета, как им поступить[8].

Лев Николаевич сказал им:

— Я думаю, что силой вообще невозможно добиться никаких улучшений. Люди во все времена пробовали бороться путем революций, восстаний с правительствами — и всегда безуспешно. Если представить себе государственное насилие как быстро несущийся поезд, то все революционные попытки похожи на то, как если бы кучка людей стала навстречу этому поезду и старалась бы удержать его руками. Разумеется, удержать нельзя, и поезд их раздавит. Истинный путь один: нужно постараться забраться на паровоз и выпустить пар. Истинный путь борьбы с насилием — неучастие в нем.

Студенты возразили:

— Ну, мы не пойдем в университет, где нам плохо. Тогда на наше место найдутся другие и, может быть, менее достойные, и мы знаем это из опыта.

— Так что же? Ведь если вас будут бить казаки, вы уйдете оттуда и не станете заботиться о том, не найдется ли на ваше место кто-нибудь другой. Так и здесь. Если вы недовольны — не поступайте. В теперешнем же вашем положении вы, разумеется, должны поддержать пострадавших товарищей и постараться облегчить их участь, увеличив, по возможности, число арестованных.

Потом Лев Николаевич сказал еще:

— Я, конечно, не могу осуждать вас и ваших товарищей за то, что вы пошли в университеты. Я знаю, что у вас есть матери, сестры, которых многие из вас поддерживают. Да и от влияния семьи вы не можете быть свободны.

По поводу отлучения Лев Николаевич получил и получает бесчисленное множество приветствий, адресов, личных выражений сочувствия и т. д. Какая-то дама, например, прислала ему просвирку и письмо. В письме она пишет, что недавно причащалась и вынула просвирку за его здоровье. Она кончает письмо: «Кушайте на здоровье и не слушайте этих неразумных иереев».

24 марта. Недели две-три тому назад сидели как-то поздно Лев Николаевич, Буланже, А. Н. Коншин, Горбунов и я. Говорили о боге, материалистической науке и проч. Разговор отчасти носил характер спора с Коншиным. Лев Николаевич был прост и прекрасен. Содержание разговора было близко к записанному мною 27 декабря спору с Усовым.

На днях говорили о том, что смертельно болен в Крыму Самарин, что у него уремия — очень тяжелая, мучительная болезнь.

Лев Николаевич сказал:

— Да, всем нам предстоит это путешествие, и всякому хочется только, чтобы оно совершилось в возможно лучшем, покойном экипаже на резиновых шинах. Тогда только немного забрызгаешь близко стоящих...

С. Н. Глебова по ассоциации вспомнила при этом, что ее брат, С. Н. Трубецкой, рассказывал, как он шел недавно по улице со Львом Николаевичем. Они встретили прекрасную коляску на резиновых шинах, и Сергей Николаевич ждал, что Лев Николаевич будет возмущаться на эту роскошь, а Лев Николаевич вдруг сказал:

— А левая немножко треножит.

Старая любовь к лошадям взяла верх.

При разговоре о Самарине за чайным столом присутствовал старый граф Олсуфьев. Он сидел рядом со Львом Николаевичем. Лев Николаевич наклонился к нему (я сидел рядом с Олсуфьевым и слышал) и тихо сказал:

— А хорошо это — отдохнуть...

Олсуфьев промолчал.

Софья Андреевна спросила:

— Левочка, ты что говоришь?

Лев Николаевич ответил ей:

— Ничего, это у нас свои стариковские секреты.

Третьего дня я сидел у Толстых в гостиной и рассматривал «Simplicissimus». Лев Николаевич был у себя. Потом его вызвали, так как к нему приехал какой-то немец-писатель[9]. Лев Николаевич принял его в зале, рядом с той комнатой, где я сидел. Произошло нечто вроде интервью. Немец оказался довольно интересным человеком. Он поэт и присылал Льву Николаевичу какие-то свои сочинения, которые Лев Николаевич

хотя и не читал целиком, но просматривал и, конечно, помнит.

Лев Николаевич удивил его своим отрицательным отношением к стихам вообще.

Между прочим, о Гете Лев Николаевич сказал:

— У него тридцать два, кажется, тома, а из них можно выбрать два, много три, а остальное совсем не хорошо: его романы, драматические произведения. Человечество движется вперед и ушло от этого.

Вообще по отношению так называемых великих писателей существует большая несправедливость: их знают все, знают все их произведения, среди которых есть много неудачных и просто слабых. А между тем у никому неизвестных, всеми забытых писателей часто попадаются удивительные вещи, выше многих и многих произведений признанных, а их никто не читает.

По поводу какой-то книги этого господина, в которой говорится о евреях, Лев Николаевич спросил его, не еврей ли он. Он оказался чистым немцем. Лев Николаевич при этом высказал резкое осуждение антисемитизму.

Лев Николаевич недавно получил курьезное, кажется анонимное, письмо, автор которого пишет ему, что вся его слава основана исключительно на сочувствии евреям и что, попробуй он иначе отнестись к еврейскому вопросу, вся слава его пропадет.

В тот же вечер (уже после ухода немца)* Лев Николаевич сказал мне:

— Духовную жизнь людей можно грубо разделить на две области: область чувства и область мысли. Каждый человек живет чувствами и мыслями, своими и чужими. Самый лучший будет тот, кто живет чувствами других людей, а мыслями своими. Самый дурной — кто живет чужими мыслями, а чувствами своими. Между этими двумя крайностями возможны, разумеется, бесчисленные комбинации.

26 марта. Сейчас уезжаю за границу, в Италию, через Будапешт. Только что был у нас Лев Николаевич. Он, зная, что я буду в Будапеште, принес мне письмо

---

* Я помню, что в тот вечер, когда у Льва Николаевича был этот немец, я потом играл ему и, между прочим, сыграл анданте из ф.-п. сонаты, которую сочинял тогда. Сочинение мое Льву Николаевичу не понравилось. Это мне было больно, так как в те времена я дорожил своими композиторскими опытами.

к известному тамошнему анархисту Schmitt'y[10], редактору анархистской газеты «Ohne Staat», с которым он был в переписке *. Посещение Львом Николаевичем нашего дома взволновало и тронуло меня и всех моих в высшей степени.

24 мая. Я ездил на два дня в Ясную Поляну. Лев Николаевич все время был в каком-то просветленном состоянии, но в этой просветленности сквозила телесная смерть. Радость общения с ним отравляется страхом за его здоровье. Его физические силы видимо угасают.

Как-то перед обедом он пошел со мной и маленьким Онечкой Денисенко в «елочки».

Я спросил Льва Николаевича, над чем он работает.

Лев Николаевич сказал:

— Я написал одиннадцать неотвеченных писем, бывших у меня на совести. А сейчас работаю над переделкой обращения к царю и его приближенным[11]. Сначала я хотел изложить это, не изменяя по существу, простым языком для народа, но потом пришли новые мысли, и я стал переделывать. Я подумал, что неправильно только требовать, а что главное то, что мы сами должны делать. Тому делу, которое каждый должен делать в своей личной жизни, помешать нельзя. Мне пришло в голову сравнение: когда при кораблекрушении спускают спасательные лодки, нельзя всем бросаться сразу, потому что тогда все наверное погибнут, но надо уступать другим. Разумеется, тогда самому легко погибнуть, но возможно, что и успеешь спастись. В первом же случае погибнешь наверное.

Говорили по поводу большого письма Льва Николаевича к Бирюкову о воспитании[12], а потом заговорили о женщинах.

Лев Николаевич сказал:

— Вот они на меня за это сердятся, а я скажу про женщин, что они удивительно на людей похожи во всем, что они делают, но не больше. Но зато у них есть своя великая область, которой они часто не дорожат и счи-

* Я отыскал в Будапеште Шмита и передал ему письмо Льва Николаевича. Мы условились с ним повидаться и поговорить, но вышло какое-то недоразумение, мы друг с другом разминулись, а потом я уехал.

тают для себя унизительной. У меня как-то были NN с женой. Он врач, и она женщина-врач. У них ребенок, и она со слезами жалуется, что теперь у нее ребенок и она должна бросить медицину. Да есть ли на свете что-нибудь дороже человеческой жизни?! Есть ли более святое дело, чем дать хорошее, настоящее направление этой жизни? И имея перед собой такое *дело,* она жалеет о какой-то *деятельности!*

6 июня. Я собираюсь ехать около 15-го в Ясную, а оттуда с Татьяной Львовной в Кочеты. Нынче получил от Татьяны Львовны из Ясной письмо. Вот отрывок из него.

«4 июня... Я в Ясной, Александр Борисович, и исполняю свое обещание вам об этом сообщить...

Лето, которое началось с такой необыкновенной красотой, стало так сухо и томительно, что мы все задыхаемся и жалуемся.

Папа очень победрел и много пишет; остальные тоже все благополучны...»

20 июня, Ясная Поляна. Я здесь четвертый день. Лев Николаевич много работает над статьей «Что нужно рабочему народу» [13]. Работает также над «Хаджи-Муратом» [14] и просил найти ему в Москве какую-то книжку с портретом Хаджи-Мурата.

Вчера Лев Николаевич рассказывал о брате Стасюлевича [15]:

— Когда ему было еще лет восемнадцать — двадцать, он был гвардейским офицером. Его назначили в караул в остроги, и на беду в его дежурство кто-то бежал из острога. Николай Павлович велел его разжаловать в рядовые и сослать на Кавказ. Я его описал отчасти в рассказе «Встреча в отряде с московским знакомым» [16]. Я нехорошо это сделал, он был так жалок, и не следовало его описывать. Впрочем, это не совсем он. Я соединил с ним еще Кашкина [17], который судился вместе с Достоевским.

Несмотря на все просьбы родных и друзей, Николай Павлович его не простил. Потом уже, впоследствии, при Александре, он был прощен, стал армейским офицером и служил в Туле. Стасюлевичу никак не удавалось выпутаться из своего тяжелого положения. Брат его относился к нему очень холодно и отрицательно. В конце концов Стасюлевич покончил с собой: надел енотовую шубу, в шубе бросился в воду и утонул.

— Когда в Туле случилась история с писарем, который дал пощечину офицеру, постоянно его тиранившему, Стасюлевич приехал ко мне и просил меня защищать этого несчастного в военном суде[18]. Я согласился и поехал *. Председателем был Юноша. Он на суде имел два голоса, а судьи — Гриша Колокольцев и Стасюлевич — по одному. Стасюлевич дал голос за оправдание, два голоса председателя были за обвинение. Все зависело от Колокольцева. И вдруг этот добрый Гриша Колокольцев высказался за обвинение!

— Писаря присудили к смертной казни. Я стал за него хлопотать в Петербурге. Александра Андреевна в то время была воспитательницей детей Александра Второго. Я написал ей[19], и она попросила Милютина. Милютин сослался на то, что я не указал, в каком это было полку, хотя ему ничего не стоило справиться, какой стоит в Туле полк. Это был только предлог. Настоящая причина была та, что такой же случай пощечины был незадолго перед тем и в другом месте, и они решили быть очень строгими. Так что этого несчастного расстреляли.

Здоровье Льва Николаевича опять хуже. Он слабеет, у него поднимается температура и очень слаба деятельность сердца.

На днях Лев Николаевич гулял, кажется с Марией Львовной, у него сделался настолько сильный сердечный припадок, что он насилу дошел от пруда к дому.

Читали нынче общими усилиями болгарские газеты с сообщениями о Шопове[20], отказавшемся от воинской повинности и судившемся за это **.

* О своей речи, которую Лев Николаевич тогда перечитал (ему дал ее Бирюков), он отозвался отрицательно, несколько иронически. Он сказал: «Вместо того чтобы говорить по существу — о человеческой жизни, — я стал приводить всяческие доводы, на основании которых можно было бы смягчить участь Шибунина. А надо было сказать одно: никто не имеет права убивать человека, как бы это убийство ни называлось».

** Помню, что чтение болгарских газет плохо давалось; я взял газету и вдруг, по какому-то наитию, сразу перевел почти все (я никогда до того не читал ни слова по-болгарски). Это произвело большой эффект, и меня потом в шутку звали знатоком болгарского языка.

Весь процесс, а также два письма Льва Николаевича, очень резкие, напечатаны в Болгарии совершенно свободно[21].

По этому поводу Н. Н. Ге сказал Льву Николаевичу:

— Я все-таки не понимаю, почему Россия так низко стоит в смысле политической свободы по сравнению с другими государствами?

Лев Николаевич ответил ему:

— Я думаю, что главная причина заключается в подлости нашего дворянства и вообще высших классов.

Лев Николаевич в дальнейшем разговоре несколько раз еще употребил это же слово «подлость». Он вспомнил при этом характерную мелочь о том, что Владимир Петрович Орлов-Давыдов должен был как-то представляться Александру II и на приеме поцеловал у него руку.

Нынче я прибирал у Льва Николаевича книги, разбирал у него письма, на некоторые из них отвечал по его поручению, и так мне все это радостно было...

23 июня. Нынче ночью еду с Татьяной Львовной и Михаилом Сергеевичем к ним в Кочеты.

29 июня, Москва. Нынче вернулся в Москву. Несколько дней провел у Татьяны Львовны. Оттуда 27-го уехал с нею к Сергею Львовичу, где провел один день, 28-е (день его рождения). Туда приехала на этот день и Софья Андреевна. Когда я вечером уезжал в Москву, пришла из Ясной телеграмма, что Лев Николаевич тяжело захворал.

4 июля. Сейчас уезжаю в Ясную Поляну. Лев Николаевич очень тяжело болен. Боюсь не застать его в живых.

9 июля, Ясная Поляна. Я приехал 5-го утром в Ясную и застал там всех успокоенными наступившим улучшением. Последние дни Лев Николаевич был очень плох: пульс был 150—160 при температуре 35,7. Доктора считают, что у Льва Николаевича малярия. За четыре дня, которые я провел в Ясной, я мало видел Льва Николаевича, так как он лежит в постели, почти не вставая, и еще очень слаб, но все время общался с ним, читая и переписывая неизвестные мне его письма и новую статью «Единственное средство»[22]. Он произвел на меня трогательное, возвышающее впечатление спокойствием и полным сознанием возможной близкой смерти.

Лев Николаевич сказал мне:

— Ну вот, опять дана отсрочка, а лошадей подали по прекрасному санному пути. Будет ли другой раз так же?

О смерти Лев Николаевич сказал еще:

— И умереть хорошо и жить еще хотелось бы, так многое еще, кажется, мог бы и нужно бы сказать людям!

Лежа в постели, Лев Николаевич читал эти дни библию, особенно пророков.

Он читал мне вслух, несмотря на слабость, некоторые особенно сильные места из книги Исайи, которую он чрезвычайно любит.

Получается много писем и телеграмм с вопросами о здоровье и с пожеланиями выздоровления. Вот текст одной из телеграмм, подписанной, между прочим, Милюковым, Станюковичем и др.:

«Пораженные тревожными вестями о серьезной болезни Льва Николаевича, постигшей его как раз в ту минуту, когда, полный внутренней жизни, он ведет на глазах всего образованного мира свою победоносную борьбу с ополчившимися против него темными силами, мы горячо желаем дорогому Льву Николаевичу быстрого восстановления физических сил для довершения небывалой на Руси нравственной победы».

17 июля, Москва. Уезжая из Ясной, я просил Н. Л. Оболенского извещать меня возможно чаще о здоровье Льва Николаевича.

Вот выдержки из его писем, касающиеся Льва Николаевича:

«9 июля... могу написать вам утешительные вести: Лев Николаевич сегодня мог уже сам пройти из своей спальни в соседнюю комнату. Все остальное, то есть пульс, температура и желудок, в порядке».

«10 июля. Состояние здоровья Льва Николаевича продолжает быть вполне удовлетворительно: немного ходит, занимается корреспонденцией и т. д.»

«11 июля... Все продолжает быть благополучно, если не считать, что Софья Андреевна была больна желудком и после этого чувствует некоторую слабость. Лев же Николаевич продолжает поправляться не быстро, но, по-видимому, верно...»

«12 июля... Мне кажется, мои бюллетени пора прекратить, так как все идет вполне хорошо. Лев Николаевич по утрам занимается так же много, как и всегда, только еще не сходит вниз. Гуляет по балкону наверху. Софья Андреевна тоже оправляется от своего нездоровья вполне».

«13 июля... Все у нас хорошо. Лев Николаевич занимается более, чем следует, а Софья Андреевна гуляет в лесу и собирает грибы».

«14 июля. Лев Николаевич сегодня сходил в сад, немного гулял и лежал на диване на крокете. Чувствует себя хорошо и бодро...»

30 июля. Нынче я опять получил письмо от Н. Л. Оболенского с сообщениями о Льве Николаевиче:

«Я. П. 28 июля... долго не писал бюллетеней, потому, что не было ничего нового. Могу сказать вам, что Лев Николаевич совсем здоров, а именно: ходит гулять один часа на два, на три, занимается много и с удовольствием; много сидит с нами и с посетителями. Вообще на вид очень хорош. Почти собрались ехать в Крым в конце сентября, и он против этого ничего не имеет. Мы на днях уезжаем».

---

9 августа. Я на днях опять съездил на два дня в Ясную. Лев Николаевич был бодр. Я его давно не видел таким.

Был разговор о русских писателях.

Лев Николаевич сказал:

— Я любил Тургенева как человека *. Как писателю, ему и Гончарову я не придаю особенно большого значения. Их сюжеты, обилие обыкновенных любовных эпизодов и типы имеют слишком преходящее значение. Если бы меня спросили, кого из русских писателей я

---

* Лев Николаевич, вспоминая Тургенева-человека, говорил о нем с любовью. Очевидно, когда страсти улеглись и разногласия давно утратили свою остроту — да Тургенева уже много лет не было на свете! — все больше всплывало в памяти Льва Николаевича то доброе и хорошее, что было, несомненно, в Тургеневе. Во всяком случае, много раз Лев Николаевич вспоминал при мне о Тургеневе, и всегда я чувствовал, что ему хочется говорить о нем только хорошее.

Когда Лев Николаевич вспоминал о Гончарове, он всегда говорил, что Гончаров был замечательно умен. Лев Николаевич не часто говорил это о людях.

считаю наиболее значительными, я назвал бы Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Герцена, которого наши либералы забыли, Достоевского, которого они совсем не считают. Ну, а затем Грибоедова, Островского, Тютчева.

Из произведений Гоголя Лев Николаевич совсем не любит «Тараса Бульбу». Очень высоко ставит «Ревизора», «Мертвые души», «Шинель», «Коляску» («игрушечка — chef d'oeuvres»), «Невский проспект». У Пушкина считает неудачным произведением «Бориса Годунова».

Характерно, что, перечисляя этих своих избранных, Лев Николаевич заметил:

— О себе я не говорю, не мне судить о своем значении.

Как-то вечером в кабинете Лев Николаевич сказал мне:

— Знаете, Александр Борисович, мне представляется вот какой рисунок: из центра расходятся лучи. Центр — это духовное существо, а лучи — это всё растущие физические потребности. Дальше наступает время, когда изнутри между этих лучей начинает вырастать духовная жизнь. Лучи расходятся все под меньшим углом, потом становятся параллельными и, наконец, начинают сходиться, чтобы снова сойтись в бесконечно малом, то есть не матерьяльном, а исключительно духовном центре — смерти.

26 августа. Завтра ночью я уезжаю в Ясную. Хочется побывать там до отъезда Льва Николаевича в Крым.

13 сентября, Гаспра. Я в Крыму и с нынешнего дня переехал из Ялты сюда, к Толстым.

Когда Льва Николаевича повезли в Крым, я решил ехать с ними вместе. П. А. Буланже выхлопотал для Льва Николаевича и его семьи целый вагон от Тулы до Севастополя. Вагон этот должны были прицепить к поезду, с которым я выехал из Москвы, в Туле среди ночи.

Из Москвы я выехал 6 сентября. Когда 7-го утром я проснулся, я узнал, что к нам в Туле никакого вагона не прицепили. Это заставило меня очень беспокоиться. Я не знал, что делать. Потом оказалось, что следом за нами идет поезд «bis», к которому, вероятно, и прицепили вагон Толстых.

В Курске наш поезд простоял целый час. К моменту третьего звонка подошел и поезд «bis». Я успел подбе-

жать к нему и увидал Александру Львовну, Марию Львовну и Буланже, выходящих из вагона. Мы только успели издали приветствовать друг друга, и я должен был уже на ходу вскочить в свой поезд. Я весь день старался соединиться с Толстыми, и это удалось мне только в Харькове, где я остался, чтобы дождаться их поезда и ехать вместе с ними.

Лев Николаевич ехал совсем больной. У него был грипп и высокая температура. В Туле ему было настолько плохо, что вызвали врача и начали колебаться — ехать ли. Решили все-таки ехать. Со Львом Николаевичем были Софья Андреевна, Мария Львовна с мужем, Александра Львовна и П. А. Буланже. В Харькове мы были вечером, толпа народу — думаю, не менее трех тысяч человек — ждала поезда со Львом Николаевичем. Когда поезд подошел, все сняли шапки и воздух огласился приветственными кликами. Лев Николаевич был настолько слаб и взволнован, что не мог выйти и только несколько раз подходил к окну. Ему подали адрес. Одного студента он попросил войти в вагон, но не мог говорить с ним: слезы душили его, он был слишком взволнован. Потом он попросил кого-нибудь из своих выйти и сказать, что принимает эти овации не на счет своих личных заслуг, а как выражение искреннего сочувствия тому делу, которому он служит по мере своих сил. Всякий раз, когда Лев Николаевич подходил к окну, и особенно при отходе поезда, раздавались громкие крики. Когда поезд пошел, многие бежали за ним и кричали:

— Слава великому писателю! Прощайте! Живите долгие годы! — и т. д.

Все это было глубоко трогательно. Не только сам Лев Николаевич, но и присутствующие с трудом удерживали слезы.

У себя в вагоне я провел только ночь. Остальное время я сидел в вагоне у Толстых.

8-го утром Льву Николаевичу стало значительно лучше. Температура была нормальная и самочувствие более бодрое. Лев Николаевич даже немного работал. Но больше всего мы все, и Лев Николаевич с нами, любовались на красоту крымских видов. Среднее отделение вагона вроде салона с большими окнами по обе стороны, так что мы все сидели там почти все время.

В Севастополе решили остановиться на сутки, чтобы отдохнуть. Здесь на вокзале Льва Николаевича опять встречали. В Севастополе не знали точно дня приезда Льва Николаевича и встречали его уже несколько дней. Говорят, предыдущие два дня народу было еще больше. Мы остановились в гостинице Киста. Погода была прекрасная. Лев Николаевич чувствовал себя настолько хорошо, что два раза ходил гулять. В первый раз мы были с ним на Морском бульваре, а во второй — вышли на Графскую пристань и пошли вверх по Екатерининской улице. Лев Николаевич увидал музей Севастопольской кампании, захотел войти и довольно долго его осматривал. Среди портретов защитников Севастополя есть и его маленький портрет. Лев Николаевич расписался в книге.

По улицам за Львом Николаевичем все время шло довольно много любопытных. В течение дня Лев Николаевич со всех сторон получал выражения самых горячих симпатий. Приходили дамы и девицы в праздничных платьях; иногда приносили цветы. Приходил какой-то доктор, депутат от местной интеллигенции.

Хотя Лев Николаевич и устал, но вечером сидел довольно поздно. Александра Львовна, Павел Александрович и я ездили вечером на катере на Северную сторону и, вернувшись, застали его еще на ногах.

На другой день (9-го) утром мы выехали из Севастополя довольно рано. Ехали в двух экипажах: впереди Лев Николаевич, Софья Андреевна, Александра Львовна и Буланже; во втором — Мария Львовна с мужем и я. Впрочем, в дороге мы часто менялись, так как каждому хотелось побыть со Львом Николаевичем. Лев Николаевич чувствовал себя довольно хорошо и устал только к вечеру.

Мы накупили много винограда и всю дорогу его ели. Лев Николаевич тоже ел. На первой почтовой станции «Чаталкòй», пока меняли лошадей, Александра Львовна с Буланже взобрались на холм, у подножия которого расположена станция. Желая пробраться к ним, я бегом взбежал на верх холма и, не рассчитавши сил, так задохнулся, что наверху мне стало дурно. Я долго не мог окончательно прийти в себя уже после того, как мы поехали дальше. Лев Николаевич по этому поводу очень беспокоился.

Лев Николаевич все вспоминал в Севастополе и по дороге свою жизнь в Крыму во время войны [23] и старался указать знакомые места. После войны он был в Крыму в 1885 году, когда в Симеизе умирал его друг, князь Л. Д. Урусов, но от этой поездки у него сохранилось как-то мало воспоминаний.

В Байдарах мы стояли довольно долго. Закусывали и пили чай. Погода была прекрасная, так что знаменитый вид был в полной красе. Лев Николаевич долго сидел со мной на камешках на краю обрыва и любовался красотой моря и бесконечного горизонта.

В Байдарах какой-то экзальтированный господин принес Льву Николаевичу роз и бросился целовать ему руки. Льва Николаевича это взволновало и несколько расстроило.

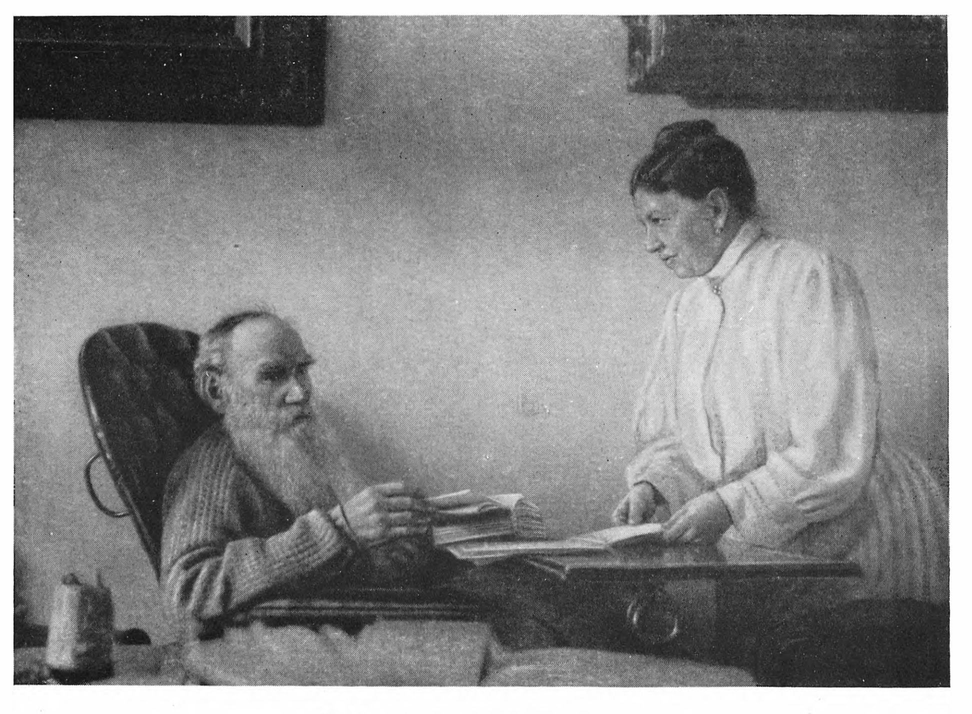
По дороге в Байдары часто встречались татарские арбы, всегда немазанные, которые страшно скрипели.

По этому поводу Лев Николаевич сказал:

— Какая великая сила консерватизм! Девять десятых людских поступков делаются под влиянием этого человеческого свойства. Но это свойство обоюдоострое: с одной стороны, без него нельзя было бы существовать, если бы всякий раз человек все должен был делать и придумывать сначала; но с другой — им освящаются всякие суеверия, предрассудки, всякое зло. Задача человека в том, чтобы отличать разумное и нужное прежнее от неразумного и ненужного. Нехорошо отрицать что-либо только потому, что оно старое, но так же, если еще не гораздо вредней, оправдывать явления человеческой жизни только их древностью, как это делается по отношению религиозных, государственных и других суеверий.

В Гаспру мы приехали только вечером, часу в девятом. Было совсем темно. Я на несколько минут зашел в дом, чтобы посмотреть, как Лев Николаевич устроился, после чего простился и поехал дальше, в Ялту.

Я прожил в Ялте дня три-четыре, но каждый день с утра отправлялся на извозчике, линейке или пешком в Гаспру, откуда вечером возвращался в Ялту всегда пешком, делая этот путь, сокращая изгибы шоссе тропинками часа в полтора.



Л. Н. Толстой и С. А. Толстая

Теперь и я переехал в Гаспру. Здесь очень хорошо. Прекрасный большой дом, с террас которого открывается удивительный вид на море. До моря довольно далеко, и назад идти очень круто. Есть и отличный, но длинный спуск — шоссе. Так что Лев Николаевич, когда поправится, сможет ездить к морю. Сейчас Лев Николаевич еще очень слаб.

Вчера (12-го) при мне здесь был Чехов [24]. Вид у него плохой: постарел и все кашляет. Говорит мало, отрывочными фразами, но как-то всегда в самую точку. Трогательно и хорошо рассказывал, как они с матерью живут вдвоем зимой в Ялте. Лев Николаевич был Чехову очень рад.

14 сентября, 9 час. вечера. Вчера, когда я играл и чувствовал, что доставляю этим некоторое удовольствие Льву Николаевичу, мне было отрадно. Как тяжело сознавать и чувствовать, что не можешь быть Льву Николаевичу ни нужен, ни дорог. По отношению к родным Льва Николаевича, со многими из которых у меня очень хорошие отношения, трудно удержаться от ревнивого чувства. Большинство из них не больше каждого из нас заслуживает быть «близким» ко Льву Николаевичу, а между тем они как обыкновенное, привычное делают то, что я делал бы как счастье, как радость. Больно знать, что я на такую близость не имею права и что она никому не нужна...

Когда нынче равнодушно читали вслух письмо Павла Александровича (Буланже), я страдал. Это его лучшие чувства, лучшие стремления, а здесь это так привычно, так со всех сторон...

15 сентября. Мы встаем здесь рано. Лев Николаевич встает часов в шесть. Зато и ложимся, расходимся, по крайней мере, часов в девять.

Здесь есть большая подзорная труба на штативе. Мы все, в том числе и Лев Николаевич, часто смотрим на звезды и луну. Лев Николаевич знает недурно небесную карту. Он говорил:

— Звездное небо утратило для меня долю своей прелести с тех пор, как я узнал расположение и название созвездий.

Лев Николаевич стал бодрее и уже ходит на прогулку и даже ездит верхом. Вчера я шел с ним к морю. Нас обогнала кавалькада: впереди девица, довольно

скромного вида, и какой-то господин, а сзади с проводником отвратительная, толстая, потная, растрепанная баба. Шляпа у нее слетела, она ее держит в руках, волосы разметались во все стороны, юбки кверху...

Лев Николаевич ахнул, увидав ее, и сказал мне:

— Я делаюсь ужасный женофоб. Вот бранят Сергеенко, и мне делается совестно — он брат, а вот такую женщину — не совестно, — она не брат.

16 сентября. Жизнь здесь идет очень тихо. Тут, кроме Льва Николаевича и Софьи Андреевны, Мария Львовна с мужем, Александра Львовна и я. Лев Николаевич значительно окреп и очень много гуляет. Ездит верхом. Встречные дамы и девицы узнают его и бегут за ним, когда он едет верхом. Ему приносят и присылают цветы, персики...

Лев Николаевич рано утром отправляется на прогулку. Потом до первого часу работает. После завтрака ложится спать, а потом до обеда опять гуляет. Нынче ходил пешком в Алупку.

После обеда я, или Н. Л. Оболенский, или мы оба по очереди читаем вслух рассказы Чехова, которые Лев Николаевич очень любит. На днях я читал «Скучную историю». Лев Николаевич все время восхищался умом Чехова. Понравились ему также оригинальностью замысла и мастерством письма рассказы «Пари» и в особенности «Степь».

О Чехове Лев Николаевич сказал:

— Он странный писатель, бросает слова как будто некстати, а между тем все у него живет. И сколько ума! Никогда у него нет лишних подробностей, всякая или нужна, или прекрасна.

Я часто играл на фортепиано. Здесь старый, разбитый рояль какой-то венской фабрики, сохранивший, однако, некоторые следы былого благородства, так что играть с грехом пополам можно.

Погода стоит прекрасная: сижу у открытого окна, тепло, лунная ночь, светло как днем; по Ай-Петри ползут мелкие белые облачка.

20 сентября. Я рассказывал Льву Николаевичу про фельетон в «Курьере» о «Призраках» Ибсена и о «Власти тьмы»[25]. Там приводится мнение Метерлинка, считающего «Власть тьмы» едва ли не величайшей из всех драм.

На это Лев Николаевич рассмеялся и сказал:

— Что же он не подражает?

Льву Николаевичу кто-то прислал из Лондона анонимную брошюру на русском языке о современном режиме в России. Автор сам называет себя старым человеком. В книге есть кое-что и о Льве Николаевиче [26].

Лев Николаевич довольно одобрительно отозвался о брошюре, но заметил:

— Нехорошо, что он не решился подписаться. Вот старушка Цебрикова [27] (она была здесь на днях) написала смело письмо государю и теперь не боится, приехала сюда. Я думаю: что же старому человеку сделают? Говорят, что меня спасает мое имя, а вот Берни, который написал «азбуку социологии» [28], и теперь недавно за своей подписью напечатал что-то за границей. Ему семьдесят лет, живет он где-то в Екатеринославе или Кременчуге, и кто его тронет, старика? А то это нехорошо — старые люди малодушно боятся подписать свое имя. Вот и Чичерин тоже.

Потом Лев Николаевич сказал еще:

— Экое пакостное у нас правительство! У нас при всяком новом царствовании изменяется направление; так и после Александра Второго наступил Александр Третий с его реакцией. Все эти земские учреждения, суды являются теперь какой-то насмешкой. Но и тогда, при введении их, все это было в самом жалком виде. Я помню, я проделал все это: был земским, а потом губернским гласным [29], говорил, что-то отстаивал, старался провести, но в конце концов бросил. Я чувствовал, что окружен со всех сторон стеной, и мне предоставляется только чинить мосты. Положим, это довольно почтенное занятие, но кто чувствует себя способным на какое-нибудь большее дело, тому тут делать нечего.

Здесь в Гаспре жил в одном из флигелей умирающий в чахотке с сестрою и матерью. Он страшно страдал, все тело у него было в туберкулезных нарывах, и вот вчера, когда его родные ушли, он застрелился. Я нынче говорил по этому поводу со Львом Николаевичем и сказал, что едва ли такое самоубийство безнравственно.

Лев Николаевич возразил:

— Дурно или хорошо, нравственно или безнравственно — это все понятия, относящиеся к нашим поступкам

в жизни. Самоубийство только касается жизни, а не все внутри ее, поэтому про него нельзя сказать, нравственно оно или безнравственно. Оно не разумно. Мы не знаем, зачем живем. Кто может знать, — может быть, именно эти последние дни и были нужны «хозяину».

Сейчас, когда все уже разошлись, я довольно долго беседовал с Софьей Андреевной. Взглянув на нее другими глазами, я опять увидал в ней много хорошего. Она, несомненно, умная и наблюдательная женщина. Я вполне представляю себе, что она, молодая, могла привлечь к себе такого большого человека, как Лев Николаевич.

21 сентября. Вчера Лев Николаевич говорил с г-жой Джунковской о ее школе[30]. Она ему жаловалась, как тяжело вести школу и быть всегда вынужденной иметь дело со священником, преподающим закон божий.

Лев Николаевич сказал ей:

— Да, я все более и более убеждаюсь, что все зло лежит в ложном религиозном воспитании. Я думаю, что правительственные люди и сами чувствуют, что весь этот сложный механизм насилия держится главным образом на религиозном обмане. Это заметно хотя бы из того, что, когда говоришь о различных вопросах жизни и о правительственных насилиях, все это еще терпится, но как только коснешься вопросов религиозных, то они сразу резко противятся, чувствуя, что религиозный обман и есть именно та ось, на которой держится их власть.

— Религиозный обман в христианстве начался еще с апостола Павла. Его послания написаны раньше дошедших до нас евангелий. Он старается соединить несоединимое: библию с учением Христа.

— Я смотрю на татар. Насколько магометанство выше *церковного* христианства! Оно возникло на шестьсот лет позже христианства и было в значительной степени реакцией в пользу единобожия против идолопоклонства церковного христианства.

10 часов вечера. Грустно мне. Завтра я уезжаю. Сейчас простился со Львом Николаевичем.

Он сказал:

— Прощайте, бог даст, увидимся.

Я не хочу думать, что не увижу его больше. Ему

лучше, но всякий день, разумеется, может опять наступить такое же острое состояние, как было летом.

22 сентября. Уехал нынче из Гаспры. Утром простился со Львом Николаевичем. Мне казалось, что, когда я уезжал, он стоял наверху на балконе и махал мне вслед чем-то белым. Мне было грустно и жутко при мысли, что, может быть, больше его не увижу.

10 ноября, Москва. После моего отъезда мне довольно часто писали из Гаспры, главным образом Мария Львовна. Привожу из этих писем все, касающееся Льва Николаевича и его окружения:

«26 сентября (из письма Марии Львовны)... У нас все хорошо, то есть главное хорошо, что отец все так же бодр и здоров. Например, третьего дня ходил на маяк [31], там познакомился с Федоровым, художником, заведующим маяком, с ним гулял, был у него в гостях (он очень ему понравился) и, в общем, исходил верст пятнадцать, и совершенно легко. Вы забыли «Головлевых», и мы теперь вечерами читаем их вслух. Папа́ нравится. Вот и все пока...»

«30 сентября (из письма Марии Львовны)... У нас немного испортилось: папа на днях в сырой день простудился, и опять были ревматизмы, а теперь сердце немного разладилось — перебои и слабость. Но все-таки сегодня еще гулял. Сейчас рядом отдыхает. Ждем на днях Татьяну Львовну с мужем, вероятно на всю зиму...»

«1 октября (из письма Н. Л. Оболенского)... Дела идут не так блестяще, как при вас. Дня два или три Лев Николаевич опять чувствует себя не очень хорошо, и боли ревматические, и перебои есть. Надеемся, что это не надолго, от простуды. Он вышел в шесть часов утра на балкон, не одевшись как следует...»

«3 октября (из письма Марии Львовны). Здоровье немного лучше, ходил сегодня гулять на почту, но еще нездоров. Сердце не совсем хорошо. Погода приуныла, хотя необыкновенно мягко и тепло. На днях ждем Татьяну Львовну и Сергея...»

«8 октября (из письма Марии Львовны). У нас лучше, — немного еще мучают ревматизмы в руках. Саша получила аппарат и целыми днями всех снимает, есть уже недурной снимок с папа́... У нас тоже завернул холод, страшный северный ветер, но море небывало красиво. Дни яркие. Папа́ все еще занимается на террасе,

Ежедневно съезжает верхом к морю. Всё ждем наших, и никого еще нет...»

«13 октября (из письма Марии Львовны). Все благополучно. Мы с мужем переселились для лечения в Ялту... В Гаспру уже приехали Сергей и Татьяна Львовна с мужем. Михаил Сергеевич дней через десять поедет по делам домой и в ноябре привезет детей, и все остаются на всю зиму. Лев Николаевич хорош. Вчера мы там провели день, ездили и ходили к морю, вечером читали и играли в шахматы. Погода опять ветреная и холодная. Говорят, небывалые холода для октября. Но это всегда говорят. Всего хорошего. Буду писать после каждого свидания с папа́...»

18 октября (из письма Софьи Андреевны)

Продолжаем делать длинные прогулки, и сегодня ездили все, кроме Саши, с Карлом Христиановичем и его матерью, на Ай-Николу, на водопад Учан-су и к Эриклику. Дорога живописна удивительно, сосновые леса, и так мы высоко въехали, что очутились в облаках. Потом съехали почти к самому морю, которое было особенно красиво сегодня: с одной стороны бледно-розовые, точно перламутровые оттенки; с другой — яркий отблеск заходящего солнца. В Гаспре встретили татарскую свадьбу, и столько интересных типичных лиц и костюмов было на узенькой улице татарской деревни, что глаза разбегались, все хотелось разглядеть.

По вечерам Лев Николаевич, Сухотин и Сережа играют в шахматы, а мы работаем и сидим, как и раньше — в гостиной. Вечером бывает скучно, и я уж не заглядываю в отдел концертных объявлений, чтоб не слишком сожалеть о том, что на всю зиму лишена музыки...»

«26 октября (из письма Н. Л. Оболенского)... Простите, что давно не писали, но дело в том, что сами так редко бываем в Гаспре, что мало, что можем написать. Были три дня тому назад. Льва Николаевича застали в хорошем виде, Таня там, Ольга Константиновна с дочерью. Андрюша и Сухотин уехали на время домой. Вчера дошел слух, что опять болели руки у Льва Николаевича, но это понятно. Холод у нас ужасный, «старожилы не запомнят», и сегодня дождь...»

«6 ноября. (Из письма Софьи Андреевны)

Не отвечала вам так долго, Александр Борисович, потому, что пережили мы эти дни много горя, да и еще ждем того же. Уже пятый день Лев Николаевич лежит больной; у него местное воспаление, как думает доктор, от ушиба о седло. Теперь ему лучше, но еще в постели.

Лев Николаевич письмо ваше получил, но говорит, что у него с лета есть еще не отвеченные письма...»

11 ноября. Грустные вести получаются из Крыма. Грустно и больно, что не можешь там быть и знать постоянно, что там делается. В Москве распространились плохие слухи о здоровье Льва Николаевича. А. Н. Дунаев послал в Гаспру телеграмму.

12 ноября. Я получил записку от Дунаева, сообщающую текст ответной телеграммы из Гаспры.

Вот он:

«Лихорадки нет, ревматизмы остались, сегодня вставал».

«12 ноября (из письма Марии Львовны). Была больна, поэтому давно не писала. Вы, вероятно, знаете, что отец был нездоров, теперь встал. Опасного не было ничего...»

«15 ноября. (Из письма Софьи Андреевны)

Лев Николаевич опять хворает, совершенно как прошлую зиму: то лихорадит, то боли в руках и ногах, то плохое пищеварение. Малейшая боль или озябание повергают его в страх и мрачность. Здешние доктора уговорили его принимать много хинина и впрыскивать мышьяк, что он и начал делать. Очень надеюсь, что это его поправит...

У нас сыро, холодно, дожди и скука. Прогулки по здешним местам уже не так интересны, как сначала, да я и не могла все это время, уже недели три, отлучаться от моих больных. Вечера длинные, не знаешь, чем занять, так как плохое зрение не позволяет читать, играть нельзя и негде, везде живут и рано спят.

Хотелось бы дѐла, общения с людьми, музыки, приложения тех сил и энергии, которых еще так много, — а вместо этого сидишь, вяжешь ненужные вещи целыми вечерами, и от скуки даже мысли застыли и ум отупел.

Все бы можно вынести, лишь бы Лев Николаевич поправился, а этого-то пока не видно...»

«18 ноября (из письма Марии Львовны). Лев Николаевич начал впрыскивания мышьяка. Последнее время мучают очень ревматизмы...»

«6 декабря (из письма Марии Львовны). Уже на днях последнее впрыскивание. В общем, чувствует себя бодрее и лучше, но все еще ревматизмы не покинули. Много работает, опять ездит верхом и ходит далеко гулять. На днях был со всеми в Ореанде. Пишу редко, потому что редко видаю. Погода очень хороша: тепло, 10 градусов в тени, тихо и мягко. В Гаспре Андрей и Илья. Татьяна Львовна пробудет до первых чисел января; Михаил Сергеевич уедет раньше. Мы еще в Ялте, но думаем в январе переехать опять в Гаспру...»

«12 декабря (из письма Марии Львовны). Был нездоров сердцем. Приехал ко мне в Ялту и здесь прожил неделю, заболевши слабостью сердца. Теперь лучше, завтра думает вернуться в Гаспру, если бог даст. Сегодня немного уже работал и бодр. Сейчас 4 часа дня — отдыхает. Вечером будем читать вслух рассказ Вересаева. Софья Андреевна тоже дня два здесь...»

26 декабря, Гаспра, 11 часов вечера. Я третьего дня вечером приехал сюда. Льва Николаевича застал в хорошем состоянии. Погода прекрасная, на солнце жарко, хожу без пальто, цветут розы, фиалки, свежая трава.

Здесь в Олеизе на даче «Нюра» живет Горький. Вчера мы (Татьяна Львовна, Сергей Львович, Андрей Львович с женой и я) ходили к ним. Впечатление Горький произвел на меня очень хорошее. Его жена — вся какая-то тонкая, с грустными прекрасными глазами. Премилый у них мальчишка — Максим. Другой ребенок (грудная девочка) болен. Я оказался и здесь, как всегда и везде, шарманкой, которую поторопились завести. Мне сказали, что специально по случаю моего приезда настроили инструмент, и мне ничего не оставалось, как сыграть.

28 декабря. Лев Николаевич чувствует себя сейчас вполне хорошо и много работает. Он вчерне закончил большую статью о религии [32]. Кроме того, он закончил и послал в печать (в Англию Черткову) две очень сильные небольшие вещи по военному вопросу [33] и, наконец,

нынче окончил статью о веротерпимости (по поводу речи М. А. Стаховича и всех разговоров о ней) [34].

31 декабря. Сейчас был со Львом Николаевичем у Горького. Вечером будем встречать Новый год. Лев Николаевич по вечерам часто играет в винт и в шахматы.

1902

1 января, Гаспра, 1 час ночи. Мы только что встретили Новый год. Лев Николаевич ушел раньше спать, а мы очень приятно сидели за ужином. Завтра здесь хотел быть Чехов, но едва ли приедет: он очень хворает. Одно время у него опять возобновилось кровохарканье, и ему стало очень плохо. Лев Николаевич, слава богу, очень хорош.

3 января. Вчера здесь сделалась плохая погода, выпало немного снега (в первый раз за эту зиму). Все приуныли, чему причиной главным образом нездоровье Льва Николаевича. Он слишком много работал эти дни над очень волнующей его работой (письмо к царю) [1] и переутомился. У него сделались перебои, и вчера он не вставал с постели. Доктор не нашел ничего особенного, но посоветовал и нынешний день провести еще в постели. Нынче утром перебоев не было. И солнце опять светит, опять делается теплее и на душе радостнее.

5 января. Здесь грустно... Лев Николаевич все нездоров. Значительное ослабление сердечной деятельности, боли в желудке и в печени. Нынче совершенно ясный день, но дует отчаянный холодный ветер, так что температура в тени не поднимается выше нуля. Разумеется, погода тоже отражается на здоровье Льва Николаевича. Когда ему хуже, делается страшно за него, и конец кажется таким возможным и близким...

9 января, 8 часов утра. Через час я уезжаю из Гаспры. Опять это жуткое чувство: неужели сейчас в последний раз увижу Льва Николаевича?!

13 января, Москва. Третьего дня вечером я вернулся из Крыма. Утром, когда я уезжал, Лев Николаевич встал и вышел ко мне проститься: он был очень ласков. Потом, когда я садился в экипаж, он стоял у окна и, пока я не отъехал от дома, кланялся. Его фигура и лицо у окна стоят передо мною как живые, и я боюсь думать, как возможно, что я больше не увижу его.

Лев Николаевич рассказывал мне как-то:

— Когда я был на представлении «Власти тьмы» в «Скоморохе»[2], я нарочно забрался на галерею, чтобы меня не узнали. Все-таки меня узнали, стали вызывать, и я поскорее ушел домой. Но был один момент, когда я с трудом удержался, чтобы не выйти на сцену и не начать говорить и уж сказать им все, что бы там ни было.

15 января. Прочел прекрасную книжечку Маццини «О назначении человека[3]. Выдержки из нее я читал в Гаспре. Между прочим, конец ее Горький при мне вслух прочел Льву Николаевичу, который очень любит эту книжку. Пока Горький читал, Лев Николаевич, уже не раз перечитывавший отдельные места книги, очень взволновался — до слез. Мы за него испугались, так как он был нездоров.

21 января (из писем Татьяны Львовны).

«12 января... Эти дни все шло хорошо, а сегодня сделал слишком длинную прогулку, и вечером опять перебои. Но на ногах и бодр. Напишу дня через два опять...»

«16 января... Здоровье все нехорошо. Сегодня лучше, чем последние три дня. Альтшуллер просил Щуровского приехать, чтобы разделить ответственность в лечении.

Еду в Кочеты на несколько дней, может быть буду и в Москве...»

Сегодня мне опять стало страшно, когда представил себе, что Лев Николаевич всякий день может умереть.

25 января. Получил письмо от Софьи Андреевны.

«19 января. Здоровье Льва Николаевича было все время очень плохо, едут к нам два доктора: Бертенсон из Петербурга и Щуровский из Москвы. Я должна их видеть и проводить.

Сегодня в состоянии Льва Николаевича есть улучшение, что нашел и Альтшуллер...»

27 января. В газетах — известие об опасной, кажется безнадежной, болезни Льва Николаевича (воспаление легких)...

28 января, час ночи. Вот уже целый час меня преследует мысль: сейчас умирает Лев Николаевич! Я так живо представляю себе его живого, и так невероятно кажется, что я не увижу его больше.

Нынче получил письмо от Марии Львовны от 24 января.

О Льве Николаевиче она пишет:

«Здоровье все нехорошо, то лихорадка, то сердце, то желудок. Тревожного ничего нет, но он слаб и вял. Сегодня будет консилиум: Альтшуллер, Бертенсон и Щуровский. Завтра напишу. Общее состояние все-таки недурное. Мы с неделю уже живем здесь во флигеле. Татьяна Львовна уехала за своими».

29 января. Получил открытое письмо от Льва Николаевича, написанное им 25 января — в день, когда он заболел [4].

Вот его текст:

«Благодарю за известия, хотя неполные, о моих трех вопросах. Здоровье все то же. На днях был приступ, теперь лучше. Телесный *я* спорит с духовным, отвращаясь от смерти. Но мне очень хорошо. Желаю вам всего истинно хорошего. Л. Т.»

Сейчас (час ночи) получил телеграмму: «Воспаление легких прошло, боятся за сердце».

31 января. Вчера вести немного лучше, но надежды у меня нет никакой. Я жду ежеминутно известия о смерти... Недавно в Гаспре я говорил Льву Николаевичу: какая радость для меня возможность личного общения с ним и как дорога мне даже всякая вещь, имеющая к нему отношение.

Лев Николаевич сказал мне:

— Если что-нибудь я сделал, то духовное, выразив это в том, что писал или говорил. Какое же значение имеет телесное?

1 февраля. Ни вчера, ни нынче ни слова из Крыма. Не получив известий вчера, я сегодня телеграфировал, и все-таки нет ответа.

2 февраля, 2 часа ночи. Телеграмма: «Опасность миновала».

9 февраля. Опять тяжелые вести: «Положение критическое, очень опасное». Похоже, что конец...

Вот открытка от Марии Львовны:

«4 февраля. Воспаление левого легкого все еще не разрешается. Правое — хорошо. Ежедневный подъем температуры. Общее состояние хорошо. Сердце не тревожит, что очень важно. Диктует поправки к статьям» [5].

18 февраля. Нынче получил более утешительную открытку от Татьяны Львовны.

«11 февраля. Всё боремся. Теперь настало время частичных кризисов, так выражаются доктора. Бывают большие упадки сил, которые искусственно поднимаются от камфары, адониса, строфанта, дигиталиса, шампанского и т. д.».

«12 февраля. Дела идут все лучше и лучше. Воспаление совсем разрешилось везде. Силы удовлетворительны. Доктора говорят, что болезнь кончилась...»

1 марта. Опять Льву Николаевичу плохо...

На днях я был у Л. О. Пастернака, пригласившего меня посмотреть его новую картину — «Толстой в кругу семьи»[6]. Мы с Пастернаком говорили довольно много о Льве Николаевиче.

18 марта. Получил нынче письмо от Софьи Андреевны. Вот отрывок из него:

«...В настоящее время Лев Николаевич все еще лежит, но последние следы воспаления проходят и скоро совсем пройдут. Он читает уже сам книги, письма, газеты; сам ест и пьет, но так еще слаб, что поднимаем и переворачиваем его всегда мы вдвоем, а сам он не может. По ночам всегда двое дежурят: я ежедневно до пятого часа утра с доктором или Сережей; потом меня сменяет Таня или Саша до семи утра. С семи Юлия Ивановна Игумнова и Ольга Константиновна. Днем служим все, но больше, конечно, я. И до того я утомлена, что вся застыла без мысли, без желаний, без всякого проявления жизни...»

3 апреля. Открытка от Татьяны Львовны:

«29 марта. Все нет настоящего выздоровления. На ноги ни разу не становился. Температура повышается почти ежедневно. Мы с семьей уезжаем завтра в Кочеты».

---

7 апреля. Завтра я еду в Крым.

10 апреля. Ялта. Вот я и в Ялте. Завтра поеду в Гаспру.

11 апреля. Нынче утром отправился в Гаспру. Видел Льва Николаевича, который произвел на меня гораздо лучшее впечатление, чем я ожидал. Я счастлив, что снова увидал его, и во мне есть слабая надежда, что он поправится и проживет еще.

13 апреля. К Толстым попал в седьмом часу. Как и в первый раз, мне было там очень неуютно. Они, как всегда ведут себя люди по отношению к тем, с кем поступили плохо, очень холодны ко мне*... Если бы не Лев Николаевич, видеть которого хоть на минутку так важно для меня, — ни за что бы к ним не пошел!..

14 апреля. Нынче Лев Николаевич, когда его привезли в кресле в столовую, сказал мне:

— Мне хочется поговорить с вами, я услыхал ваш голос и обрадовался.

Так хорошо у меня стало на сердце от этих его слов...

21 апреля, Гаспра. Семейным Льва Николаевича, очевидно, совестно. Меня начали так усиленно звать, что я переехал все-таки в Гаспру.

Нынче немного поговорил со Львом Николаевичем.

Он опять сказал по поводу Горького и вообще современной литературы:

— Я вот всю думаю, — неужели я уже так стар стал, что не понимаю нового искусства? Я стараюсь, искренне стараюсь вникнуть в него, но не могу заставить себя сочувствовать ему. Тоже и новая музыка, я, правда, по отношению новой музыки и не старался никогда особенно, но она не действует на меня, чужда мне.

Лев Николаевич поправляется, делается бодрее, и есть полная надежда на восстановление сил.

Я ему сказал нынче:

— Жаль мне, что мало я вас видел на этот раз.

Он мне ответил:

— Да, и мне очень жаль.

Лев Николаевич никогда не скажет так, просто из учтивости; да и тон был теплый, ласковый. Теперь я очень надеюсь увидать его в Ясной.

1 мая, Москва. Я говорил в Гаспре со Львом Николаевичем о беспорядках в Харьковской и Полтавской губерниях[7]. Лев Николаевич вспомнил, что гр. Капнист[8] передал ему известный рассказ о переодетых студентах, якобы вызвавших всю смуту.

Лев Николаевич сказал:

---

* Мною была получена телеграмма о том, что у Толстых в доме мне нельзя остановиться.

— Это маловероятно. Это рассказывают консерваторы, чтобы найти виновников движения, причины которого гораздо глубже.

По поводу того, что крестьяне не производили над людьми никаких насилий, Лев Николаевич сказал:

— Я все вспоминаю слова Пушкина: «Ужасен бунт русского народа, бессмысленный и беспощадный»[9]. Не помните, откуда это? Это совершенная неправда. Русский крестьянский бунт, наоборот, отличается в большинстве случаев разумностью и целесообразностью. Разумеется, бывают исключения, вроде, например, еврейских погромов, но это только исключения.

Здесь нас перебили. Н. Л. Оболенский и Александра Львовна принесли ежа, а потом я вышел из комнаты, чтобы не утомлять Льва Николаевича.

11 мая, 11 часов утра. Опять тревожные вести о Льве Николаевиче. Опасаются брюшного тифа.

14 мая. У Льва Николаевича брюшной тиф, которого он, вероятно, не перенесет после такого тяжелого воспаления легких и при его слабом сердце.

23 мая. Я перебирал нынче фотографические карточки и смотрел на Льва Николаевича, который завтракает (на балконе в Гаспре). Такая это прекрасная карточка! Мне все казалось, что я слышу его голос, и так странно было представить, что он лежит так далеко, больной, без сил...

28 мая. Получил открытку от Татьяны Львовны:

«24 мая. Уезжаю из Гаспры завтра. Оставляю отца, выздоровевшего от тифа, но еще очень, очень слабого. Тем не менее ему очень хочется эмансипироваться, и его только с трудом можно удерживать от больших неосторожностей. Так что уезжаю я далеко не покойная. Думают к пятнадцатому июня ехать в Ясную. Дай-то бог».

Как-то весной я получил от Н. Н. Ден письмо. Вот отрывок из него:

«...вчера вечером была у меня сестра, Софья Николаевна, прямо из Гаспры, которая вчера же вечером уехала и очень жалела, что не могла вас повидать. Лев Николаевич теперь почти вне опасности, но лежит и так слаб, что едва поднимает голову. Все дети, кроме Левы, остались еще при нем, и дежурство врачей (по ночам),

продолжается. Возобновления подъема температуры не было. Я сегодня буду весь день и вечер дома, так как не совсем здорова, и буду очень рада, если вы ко мне зайдете, чтобы передать вам некоторые подробности о Льве Николаевиче...»

Я в тот же день, разумеется, отправился к Н. Н. Ден, которая, кроме различных подробностей о состоянии здоровья Льва Николаевича, рассказала мне со слов сестры следующий характерный случай:

Когда Льву Николаевичу было совсем плохо, он считал, что умирает, и прощался со всеми бывшими при нем. Брату Сергею Николаевичу и сестре Марии Николаевне он продиктовал письма, которые собственноручно только, кажется, подписал [10]. Письмо брату подписал «Левочка». Из детей в Гаспре не было одного Льва Львовича, которому Лев Николаевич тоже продиктовал письмо. Лев Львович своей литературной деятельностью на страницах «Нового времени» причинял за последнее время немало огорчений Льву Николаевичу. Читавшие письмо ко Льву Львовичу говорят, что это прощальное, как бы предсмертное письмо было глубоко трогательно [11]. Письма этого отправить не пришлось, так как Лев Львович приехал в Гаспру сам. Когда он вошел ко Льву Николаевичу, Лев Николаевич сказал ему, что ему трудно говорить, а все, что он думает и чувствует, он написал в своем письме, и передал письмо сыну. Лев Львович прочел письмо тут же в комнате Льва Николаевича, потом вышел в соседнюю и на глазах у всех сидевших там (между прочим, Софьи Николаевны Толстой) разорвал письмо умирающего отца на мелкие кусочки и бросил в сорную корзину...

20 июня. Я получил от Софьи Андреевны открытку от 15 июня:

«Пишу вам несколько слов, любезный Александр Борисович. У нас все уложено, мы сегодня должны были уехать. Буланже с вагоном приехал за нами и Сережа; но получили телеграмму от Коли Оболенского из Ясной, что очень холодно, сыро, — и испугались везти Льва Николаевича. Да, кроме того, у Саши сегодня вдруг сделался жар 39,3, и теперь опять отложили отъезд до 18-го. Лев Николаевич немного гуляет, здоровье его довольно хорошо, но сил еще не много...»

Если ничего не изменилось, — они сейчас уже в Ясной.

20 июля. Нынче еду в Ясную. Получил от Софьи Андреевны письмо.

«16 июля. Еду к Сухотиным, где большое горе: у Михаила Сергеевича гнойное воспаление легких, и Таня в отчаянии.

Съезжу дня на три, а то боюсь оставлять Льва Николаевича. Он довольно бодр, гуляет, много пишет...»

25 июля, Ясная Поляна. Я здесь уже несколько дней. Лев Николаевич бодр физически и как-то необыкновенно старчески мудр.

Нынче Лев Николаевич сказал доктору Буткевичу:

— Единственный истинный путь к улучшению жизни людей — это путь личного нравственного совершенствования. Жизнь духовная — это постоянное движение, постоянное стремление к познанию истины.

Разговор зашел о литературе. Началось с того, что я сказал о романе Сенкевича «Меченосцы», что это очень скучная вещь.

Лев Николаевич сказал:

— Да, я как-то начинал и совершенно не мог читать. Помните, как в детстве, бывало, попадется такой кусок мяса — жуешь, жуешь его и все никак не прожуешь и наконец потихоньку выплюнешь и бросишь под стол.

Потом Лев Николаевич вспомнил рассказ Бунина [12], который он прочитал где-то недавно:

— Сначала превосходное описание природы, — идет дождик, — и так написано, что и Тургенев не написал бы так, а уж обо мне и говорить нечего. А потом девица — мечтает о нем (Лев Николаевич рассказал вкратце содержание рассказа), и все это: и глупое чувство девицы, и дождик, все нужно только для того, чтобы Бунин написал рассказ. Как обыкновенно, когда не о чем говорить, говорят о погоде, так и писатели, когда писать нечего, о погоде пишут, а это пора оставить. Ну, шел дождик, мог бы и не идти с таким же успехом. Я думаю, что все это в литературе должно кончиться. Ведь просто читать больше невозможно!

— Я прежде принадлежал к писательскому цеху и по привычке все слежу и интересуюсь тем, что там делается.



Ясная Поляна

— Часто у хороших писателей встречаются непростительные небрежности: у Успенского, например, я прочитал где-то, что он шел с шурином и деверем, или у Короленко, что когда ударили к светлой заутрене, было светло от месяца, а пасха не может быть в полнолуние. Мне давно еще все говорили о Печерском. Я раскрыл и прочел, что русский мужик «ронит» — и выражение какое нелепое — двухсотлетний дуб, чтобы сделать оглоблю или ось. Ну, где он найдет такого дурака? С меня было довольно, и я не стал читать его.

— Эти примеры из Успенского и Короленко, разумеется, незначительны, это у них просто обмолвки. Но когда делаются такие же ошибки психологические, когда в повестях и рассказах люди делают то, чего они не могут делать по своему душевному складу, — это ужасно. А такими ошибками преисполнены все произведения Андреевых и др. Да и у Горького это на каждом шагу. Например, рассказ «О серебряных застежках»[13] или рассуждения женщин в «Трое». «Мещане» совсем неинтересны. Среда взята какая-то межеумочная, нетипичная. Все это ни на что никому не нужно.

— Я постоянно боюсь попасть в роль тех стариков, которые теряют способность ценить настоящее и понимать его. Но я стараюсь и положительно не могу найти прелесть в современном направлении искусства. Недавно о Горьком была совершенно справедливая статья Евгения Маркова[14]. Он хотя и довольно робко, так как Горький теперь сделался таким кумиром, что об нем не решаются говорить, но все-таки верно указал, что русская современная литература вообще, а Горький в частности, совершенно уклонилась от тех высоких нравственных задач, которые она прежде постоянно преследовала. И действительно, какое полное отрицание нравственных начал! Можно распутничать, можно грабить, можно убивать: для личности нет никаких преград, все дозволено...

— Но мне все-таки импонирует, что Европа его так переводит, читает. Несомненно, что-то новое в нем есть. Главная его заслуга в том, что он стал в натуральную величину писать мир заброшенных, оборванцев, босяков, о котором прежде почти не говорили. Он в этом отношении сделал то же, что в свое время сделали Тургенев, Григорович по отношению мира крестьянского...

— Я очень люблю Чехова и ценю его писания, но его «Три сестры» я не мог заставить себя прочитать. К чему все это? Вообще у современных писателей утрачено представление о том, что такое драма. Драма должна, вместо того чтобы рассказать нам всю жизнь человека, поставить его в такое положение, завязать такой узел, при распутывании которого он сказался бы весь. Вот я себе позволял порицать Шекспира. Но ведь у него всякий человек действует; и всегда ясно, почему он поступает именно так. У него столбы стояли с надписью: лунный свет, дом. И слава богу, потому что все внимание сосредоточивалось на существе драмы, а теперь совершенно наоборот.

С отвращением Лев Николаевич отозвался о «Бездне» Андреева и сказал:

— По поводу Леонида Андреева я всегда вспоминаю один из рассказов Гинцбурга [15], как картавый мальчик рассказывает другому: «Я шой гуйять и вдъюг вижю войк... испугайся?.. испугайся?..»

— Так и Андреев все спрашивает меня: «Испугайся?» А я нисколько не испугался.

Вчера говорили о кружке Герцена, Бакунина, Белинского.

Лев Николаевич сказал:

— Наиболее характерной чертой этих людей был какой-то эпикуреизм или во всяком случае отрицание, полное непонимание религиозного мировоззрения. Вот доктор Никитин удивился, что я не считаю Гоголя сумасшедшим. Они произвели Гоголя в сумасшедшие, потому что он в бога верил. И даже не могли понять того, что происходило в его душе.

Лев Николаевич очень отрицательно отозвался о знаменитом письме Белинского к Гоголю [16].

Доктор Буткевич спросил Льва Николаевича:

— Вы читали новую вещь Метерлинка «Монна Ванна»?

Лев Николаевич ответил:

— За что? Разве я что-нибудь сделал?

Кто-то сказал, что «Власть тьмы» не всегда бывает интересна народу.

Лев Николаевич на это сказал:

— Для народа надо писать не так сложно и значительно короче, вот как рисует Софья Андреевна: все в

профиль и все на одной плоскости; а между тем, детям никакие покупные картинки не доставляют такого наслаждения. Тоже и в смысле простоты и примитивности формы и для народа.

Лев Николаевич сказал еще:

— Я много за последнее время думал об этом: искусство существует двух родов, и оба одинаково нужны — одно просто дает радость, отраду людям, а другое поучает их.

Вчера Лев Николаевич порицал ученых (поминал при этом Мечникова) за их отрицание и непонимание религиозного миросозерцания.

Заговорили о новом русском университете в Париже.

Лев Николаевич относится к этой затее скептически и сказал:

— Сидят там и слушают их какие-то семьдесят девиц, а они их поучают.

С. А. Стахович заметила что-то о вреде, который они этим девицам приносят, но Лев Николаевич возразил:

— Ну уж они и без того готовы.

28 июля. На днях гуляли в лесу. Лев Николаевич присел на палку-стул, которую ему подарил Сергеенко, вздохнул и сказал:

— Да, бедный!.. — Потом обратился к Марии Львовне и спросил:

— Маша, кто бедный?

— Не знаю, папà.

— Будда. Сократа Сергеенко испакостил, а теперь за Будду принимается [17].

Вчера Лев Николаевич показывал портрет-группу братьев Толстых и, указав на брата Николая, сказал:

— Он был мой любимый брат. Это был человек, о котором справедливо сказал Тургенев, что у него не было ни одного из тех недостатков, которые необходимо иметь, чтобы быть писателем. А я, хотя это и зло с моей стороны, скажу про моего сына Льва, что у него, наоборот, есть все эти недостатки и нет ни одного нужного достоинства.

Илья Львович, обращаясь к С. А. Стахович, сказал, что писатель должен все сам пережить, чтобы рассказать другим.

Лев Николаевич возразил:

— Для уменья описать то, что пережил сам, писателю иногда достаточно одной техники. Настоящий пи-

сатель, как справедливо заметил Гете, должен уметь *все* описать. И я должен сказать, что хотя и не очень люблю Гете, но он это мог.

Нынче Лев Николаевич восхищался операми Моцарта, особенно «Дон-Жуаном». Наряду с необыкновенным мелодическим богатством он особенно высоко ставит в этой опере замечательное отражение в музыке характеров и положений. Лев Николаевич вспоминал статую командора, сельскую картину и в особенности сцену поединка.

Он сказал:

— Здесь я слышу и как бы предчувствие трагической развязки, и волнение, и даже эту поэзию дуэли...

Потом Лев Николаевич перевел как-то разговор на значение и роль формы в искусстве:

— Я думаю, что каждый большой художник должен создавать и свои формы. Если содержание художественных произведений может быть бесконечно разнообразным, то так же и их форма. Как-то в Париже мы с Тургеневым вернулись домой из театра и говорили об этом, и он совершенно согласился со мной. Мы с ним припоминали все лучшее в русской литературе, и оказалось, что в этих произведениях форма совершенно оригинальная. Не говоря уже о Пушкине, возьмем «Мертвые души» Гоголя. Что это? Ни роман, ни повесть. Нечто совершенно оригинальное. Потом «Записки охотника» — лучшее, что Тургенев написал. Достоевского «Мертвый дом», потом, грешный человек, — «Детство», «Былое и думы» Герцена, «Герой нашего времени»...

1 августа. В Ясной была Мария Александровна Шмидт.

Лев Николаевич говорил при мне с Марией Александровной о некоем Хохлове[18], который сошел с ума.

Лев Николаевич рассказал мне вкратце его историю и потом сказал:

— Какая загадка сумасшествие! Что он, жив или мертв?

Я сказал:

— Сумасшествие не бо̀льшая загадка, чем здоровое мышление. Вообще тайна, каким образом духовное «я», живущее во мне, проявляется посредством головного мозга? Но если я допускаю, что первопричина не в моем мозгу, а по ту сторону его, а он только средство прояв-

ления этой моей сущности, то тогда для меня не является *новой* загадкой, почему моя сущность при расстройстве мозгового аппарата не может проявляться.

Лев Николаевич сказал:

— Да, все это такая тайна! Ну, возьмем ребенка. Когда он родился, есть ли в нем жизнь разумная? Когда она начинается в нем? А когда он движется в утробе матери? Для меня жизнь — это непрерывное освобождение духовного «я». Недавно ко мне приезжал N и спрашивает: верю ли я в будущую жизнь? Но для меня в этом вопросе заключается противоречие. Что значит «будущая жизнь»? Можно верить в жизнь, но для жизни вечной наше понятие «будущая» совершенно неприложимо.

— Но если уже говорить о жизни *после* нашей настоящей, то, мне кажется, ее можно себе представить только в двух возможных формах: или как слияние с вечным духовным началом, с богом, или как продолжение в другой форме того же процесса освобождения духовного «я» от так называемой материи.

— Может быть, это и случайно, но замечательно, что Христос сказал фарисеям: «Прежде нежели Авраам был, аз есмь».

Я вошел как-то в столовую, когда Лев Николаевич говорил с К. А. Михайловым об искусстве.

Лев Николаевич сказал:

— Среди ощущений, испытываемых нашими чувствами — осязанием, слухом, зрением и т. д., существуют такие, которые неприятны, болезненны, например сильный удар, горький вкус, оглушительный шум и т. д. Так вот, современное искусство часто воздействует на нас не столько своим содержанием, сколько этими болезненными раздражениями наших органов чувств. Во вкусовых ощущениях — нездоровый вкус нуждается в горчице, а на неиспорченный вкус она производит впечатление отвратительное. Так и в искусствах. Надо провести разделяющую черту и найти, где начинается эта художественная горчица, и я думаю, что это задача огромной важности. В живописи, мне кажется, эту границу провести особенно трудно.

Лев Николаевич сказал князю Яшвилю:

— Я всю жизнь учился и не перестаю учиться, и вот что я заметил, учение только тогда плодотворно, когда отвечает каким-нибудь моим запросам. Иначе оно бесполезно. Я помню, когда я был мировым посредником, я брал законы и старался их изучать и не мог ничего запомнить. Но стоило, чтобы для какого-нибудь дела мне были нужны известные статьи, я их всегда запоминал и мог потом применять на деле.

Разговор зашел о нашем правительстве. Яшвиль стал приводить примеры того, как дурно в Европе.

На это Лев Николаевич с некоторым даже раздражением сказал ему:

— Какое право имеем мы осуждать что-либо на Западе, когда нам еще так до них далеко?! У нас так мерзко, что мы осуждать никого не имеем права. Мы лишены возможности удовлетворять даже самым элементарным потребностям всякого человека: читать, писать и думать то и так, как ему хочется.

По поводу того, что Лев Николаевич пишет сейчас «Хаджи-Мурата», он сказал:

— Я помню давно уж, мне кто-то подарил очень удобный дорожный подсвечник. Когда я показал этот подсвечник яснополянскому столяру, он посмотрел, посмотрел, потом вздохнул и сказал: «Это все младость!» Вот и эта моя теперь работа, это все младость!

17 августа. Нынче еду на два дня в Ясную. Вот выдержка из полученного мною сегодня от Марии Львовны письма:

«15 августа... У нас все хорошо. Лев Николаевич сравнительно здоров, только желудок все не совсем хорош. Играем в винт. Теперь не с кем. Было много гостей: Стасов, Гинцбург, Стаховичи и многие другие и было очень шумно. Сейчас затишье. Работается «Хаджи-Мурат». Саша уехала к Сухотиным, где определилось, что была гангрена, но теперь дело идет медленно на поправку. Насчет будущего ничего еще не решено».

20 августа. Нынче приехал из Ясной, где провел два дня. Лев Николаевич очень бодр и усиленно пишет «Хаджи-Мурата» [19].

30 августа, Ясная Поляна. Я здесь уже три дня. Лев Николаевич говорил с Ильей Львовичем и с кем-то еще о земледелии и о новом ручном орудии «планет».

Лев Николаевич сказал:

— Поразительно, как мало технических изобретений и усовершенствований сделано в области сельского хозяйства, сравнительно с успехами промышленности.

Потом Лев Николаевич сказал еще:

— Рёскин [20] говорит о том, насколько дороже всяких усовершенствований и технического прогресса человеческие жизни, которые губятся для их достижения.

О Рёскине Лев Николаевич сказал еще:

— С Рёскиным спорить трудно, у него одного больше ума, чем у всего английского парламента.

Лев Николаевич с большой любовью говорит о Пушкине. Он раскрыл книгу с его портретом, смотрел довольно долго на его лицо и с каким-то особенным чувством сказал:

— Экое прекрасное лицо!

Говорили о болезни Чичерина, о том, что он, кажется, впадает в детство.

Лев Николаевич сказал:

— Я благодарю бога, что еще не совсем одурел.

Я понес раз пальто Льву Николаевичу, ушедшему гулять, и встретил его на шоссе. Мы пошли вместе домой и шли вдоль поля.

Лев Николаевич увидал плохие зеленя и сказал:

— Мой хозяйский глаз возмущается: бог знает, как засеяно!

Хозяйство в Ясной Поляне действительно велось плохо. Софья Андреевна в сельском хозяйстве понимала немного, тяготилась им; скупилась и мелочно придиралась к приказчику, который, наверное, систематически ее обманывал. Лев Николаевич в свое время был хорошим хозяином и, разумеется, невольно замечал и, как знаток, осуждал яснополянское хозяйство.

Когда мы подошли к границе яснополянского сада, мы услыхали громкие детские голоса, а вскоре и увидали большую пеструю толпу деревенских ребят, о чем-то совещавшихся. Они заметили Льва Николаевича и

стали подсылать друг друга к нему, то, наоборот, робеть и прятаться. Лев Николаевич очень заинтересовался ими и подозвал их. Они стали подходить, сначала робко, один по одному, но постепенно подошли все. Особенно я помню одного, в серых ситцевых полосатых штанах, в рваном картузе и рубахе и в огромных тяжелых, должно быть отцовских, сапогах.

Лев Николаевич показал им свою складную палку, которая имела большой успех. Он спросил их, что они здесь делают. Оказалось, что они рвали «дули», и за ними погнался сторож. Лев Николаевич пошел с ними. По дороге он их расспрашивал про их родителей. Один оказался сыном Тараса Фоканыча [21].

Лев Николаевич сказал мне:

— Это был один из самых моих лучших учеников. Какое это было хорошее время! [22] Как я любил это дело! И, главное, никто не мешал. Теперь мне во всем мешает эта популярность: что ни сделай, обо всем будут говорить. А тогда никто ничего не знал и не мешал — ни чужие, ни семейные. Впрочем, тогда и семьи никого еще не было.

Когда мы дошли до места, Лев Николаевич предложил ребятам собирать груши. Они облепили деревья и стали — одни сбивать, другие стряхивать, третьи подбирать. Стоял гам, веселый детский крик, и фигура старого, доброго Льва Николаевича, с любовью стерегущего ребят от нападения сторожа, была трогательна до слез... Тут же подошли еще два мужика, старый и молодой, советоваться о каком-то судебном деле.

12 сентября. Нынче получил открытку от Марии Львовны:

«10 сентября. У нас все хорошо. Несмотря на отвратительную погоду, здоровье недурно. «Хаджи-Мурат» растет, все лучшает и очень радует. Красоты удивительные. Винт немного выдохся. Играют реже и с меньшим азартом. Посетителей чужих ужасно много, и это тяготит. Вот и все... Общее настроение хорошо...»

26 сентября. В яснополянском доме был пожар: на чердаке тлела балка, как раз над комнатами Льва Николаевича. Узнав об этом, я написал Софье Андреевне и получил от нее ответ от 24 сентября.

«24 сентября. Пожар Льва Николаевича не испугал; к счастью, я вовремя усмотрела, что горит на чердаке. Если б Лев Николаевич лег спать и мы не заметили

бы, что горит, то потолок мог бы на него обрушиться в ту же ночь. Теперь почти все готово, к 1 октября надеюсь устроиться совсем...»

9 октября. Нынче приехал из Ясной, где провел два дня. Лев Николаевич здоров, бодро работает, гуляет, ездит верхом. Много работает над «Хаджи-Муратом».

Вчера, возвращаясь с прогулки, я сказал Льву Николаевичу, что замечаю, насколько он легче ходит, чем месяц тому назад.

Лев Николаевич ответил:

— Да, разумеется, в известных пределах, но я все делаюсь крепче, например присесть на корточки и встать мне теперь ничего не стоит, а еще недавно я не мог этого сделать... Да, и животное радуется.

Я помолчал и сказал ему:

— Если мы верим, что в нашей жизни есть разумное содержание, духовное начало, то я не знаю, почему продлению этой жизни радуется только животное?

Лев Николаевич ответил:

— Знаете, кто не испытал, едва ли может вполне понять, боишься потерять то спокойствие, ту близость и уверенность в этой близости к бесконечному духовному началу, которую всем существом сознаешь в себе, находясь близко к смерти. Когда же делаешься сильнее, животное радуется, хочется опять жить и боишься потерять то радостное, спокойное сознание близости смерти, в котором находился.

17 октября. Нынче приехала в Москву Мария Львовна и прислала мне открытку.

О Льве Николаевиче она пишет:

«Отца оставили не совсем здоровым, — болел бок, и Никитин боялся, не в легком ли? Ждем телеграммы».

4 ноября (из письма Марии Львовны).

«2 ноября. У нас все было довольно хорошо, а сегодня у отца опять печень болит, слабость и недомогание. Такая скука для него эти его, хотя и не очень сильные, но постоянные болезни. «На дне» он получил* и как-то в бессонную ночь прочел. Время здесь проводится все так же, для молодежи прибавились коньки. Ве-

* По просьбе Льва Николаевича я выслал ему из Москвы «На дне» Горького.

черами все тот же успокоительный винт. На воздух папа почти не выходит. Теперь «Хаджи-Мурат» вернулся к нему на стол, а «К духовенству»[23] к нам...»

16 ноября. Ездил на один день (14-е) в Ясную. Провел этот день очень содержательно. Прочитал новую статью Льва Николаевича «К духовенству». Прочитал только что начатую им «Легенду о сошествии Христа в ад и о восстановлении царства дьявола»[24]. Кроме того, я прочел незаконченную автобиографическую драму Льва Николаевича: «Свет во тьме светит»[25].

Лев Николаевич, Никитин и я говорили о Достоевском.

Лев Николаевич сказал:

— Вот его некоторые фигуры, если хотите, они декадентские, но как все значительно!

Лев Николаевич вспомнил Кириллова из «Бесов»:

— Достоевский искал веры и, когда описывал глубоко неверующих, *свое* неверие описывал.

Он заметил:

— Достоевского, самого пострадавшего от правительства, отталкивала пошлость либерализма[26].

Лев Николаевич сказал:

— За шестьдесят лет моей сознательной жизни у нас в России, я говорю о так называемом образованном обществе, произошла удивительная перемена в отношении религиозных вопросов; религиозные убеждения как бы дифференцировались, это нехорошее слово, но я не знаю, как выразить иначе. В моей молодости были три или, вернее, четыре категории, на которые можно было разделить в этом отношении общество: первая — очень небольшая группа — люди очень религиозные, бывшие еще раньше масонами, иногда шедшие в монахи; вторая — процентов семьдесят — люди, исполнявшие по привычке церковные обряды, но в душе совершенно равнодушные к религиозным вопросам. Третья группа — люди неверующие, официально исполнявшие обряды в случае необходимости, и, наконец, четвертая — вольтерьянцы, люди неверующие и открыто, смело высказывающие свое неверие. Таких было мало, процента два-три. Теперь же не знаешь, где что встретишь. Рядом можно натолкнуться на самые разнообразные убеждения. За последнее время появились еще новые — декаденты православные, вроде Мережковского[27], Розанова[28].

Очень многих привлекало к православию хомяковское[29] определение православной церкви как собрания людей, соединенных любовью. Чего же, подумаешь, лучше? Но дело в том, что это произвольная подстановка одного понятия под другое. Почему именно православная церковь является таким соединенным любовью собранием людей? Скорее наоборот.

Из письма Н. Л. Оболенского:

«23 ноября. У нас все благополучно. Плеврит Машин кончился скоро, а именно через два дня. Вероятно, это было только намерение болезни. Лев Николаевич тоже чувствует себя хорошо. Софья Андреевна опять в Москве... Маша вам кланяется и благодарит за внимание к ней...»

20 декабря. Лев Николаевич опять захворал.

Вот что пишет Н. Л. Оболенский:

«18 декабря. Лев Николаевич понемногу оправляется, хотя и очень медленно и вяло. Температура и пульс давно нормальны. Но его мучают различные невралгические боли по всему телу, и он еще настолько слаб и вял, что совсем не хочет и не пытается вставать с постели. Все время чем-нибудь занят, то своей работой, то письмами, и не жалуется. Все остальное у нас по-старому...»

1903

1 января. Начинаю новый год в Ясной Поляне. Здесь тяжело: Лев Николаевич болен. И другие горести *.

4 января. Вчера вернулся из Ясной. Я там провел четыре дня. Лев Николаевич нездоров.

Когда я утром в день приезда вошел к нему, он сказал:

— Вот хорошо, что вы приехали. Я рад вас видеть.

— Что это вы, Лев Николаевич, все хвораете? — спросил я его.

— Да, бог по душу послал, да ангел что-то замешкался.

Из письма Н. Л. Оболенского:

---

* Не помню, какие «горести» были тогда в Ясной.

«7 января. Нового, впрочем, у нас ничего нет: Лев Николаевич все тот же, все лежит и слаб, начали прыскать мышьяк, но это, кажется, пока не помогает, потому что у него сегодня ночью опять был жар и каждую ночь все какое-то недомогание. Уже и не знаю, как он из всего этого выскочит. Остальное все по-старому...»

21 января. Ездил на один день (вчерашний) в Ясную.

Лев Николаевич по поводу моей скорой женитьбы сказал мне:

— Желаю вам найти хорошего друга.

28 февраля. Получил нынче от Ю. И. Игумновой открытку из Ясной с сообщениями о Льве Николаевиче:

«Здоровье Льва Николаевича понемногу поправляется, только он совсем не может работать, и это его очень огорчает. Каждый день он ездит кататься, и довольно далеко. Гулять же ему трудно — скоро устает. Погода у нас чудная, особенно сегодня — ясный день и мороз... Крым, вероятно, не состоится [1]...»

Письмо Софьи Андреевны:

«4 марта. Письмо ваше пришло в Ясную Поляну в мое отсутствие... Вернувшись, застала Льва Николаевича совсем здоровым; он всякий день ездит далеко кататься в санках, и это очень его веселит.

Погода удивительно хорошая, и все так красиво в природе. Растаявшая в лощинах вода замерзла, и везде точно зеркала блестят на солнце эти гладкие ледяные пространства. Солнце греет и светит ярко и весело; слетаются весенние птицы, и очень хорошо у нас в Ясной!

Сегодня только у Льва Николаевича что-то заболела печень, он не обедал, и наше веселое настроение испортилось.

Осталось нас мало: Наташа [2], Саша, Юлия Ивановна, доктор и я. Но мы не унываем и живем хорошо...»

21 марта. Ездил на прошлой неделе на один день в Ясную. Льва Николаевича застал здоровым и довольно бодрым.

Льва Николаевича всегда очень интересует вопрос о духовной жизни человека во время сна.

Он сказал мне в этот раз:

— Во сне иногда плачешь, радуешься, умиляешься, а проснешься, припомнишь сон — не понимаешь, чего было плакать, умиляться, радоваться? Я объясняю себе

это так: у нас, кроме радости, умиления, огорчения по поводу определенных событий, бывают еще *состояния* радости, умиления, восторга, печали. В таких состояниях нам часто достаточно ничтожного повода, чтобы прийти в восторг, умилиться и т. д. Во сне же, когда сознание работает не так последовательно и логично, самое это состояние сказывается соответствующим чувством, часто без всякого внешнего повода. Например, во сне часто бывает невыразимо стыдно, а когда проснешься и увидишь, что штаны спокойно висят на стуле, чувствуешь радость необыкновенную. Вот поэтому я и люблю так «Сон Попова»[3]. Там удивительно изображено это состояние стыда во сне и, кроме того, прекрасно описаны все лица. Несмотря на форму шутки, — это истинно художественное произведение*.

1 июня. Вчера вернулся из Ясной, где провел один день. Льва Николаевича застал таким бодрым, каким давно уже его не видал. Он написал послесловие к статье «К рабочему народу»[4] и работает над «Хаджи-Муратом». Кроме того, Лев Николаевич обдумывает работу философского характера, которая его сейчас очень захватывает[5].

Говоря об этой работе, Лев Николаевич сказал мне:

— На свете все живое. Все, что нам кажется мертвым, кажется таким только потому, что оно или слишком велико, или, наоборот, слишком мало. Мы инфузорий не видим, а небесные тела нам потому же кажутся мертвыми, почему мы кажемся мертвыми муравью. Земля, несомненно, живая, и какой-нибудь камень на земле то же, что ноготь на нашем теле. Материалисты в основание жизни кладут гипотезу материи. Все эти теории о происхождении видов, о протоплазме, об атомах — все это очень хорошо до тех пор, пока помогает распознавать законы, управляющие видимым миром. Но не надо забывать, что все это, до эфира включительно, только удобные гипотезы и ничего более. Астрономы при своих вычислениях принимают землю за неподвижное тело, а затем уже исправляют эту ошибку. Материали-

---

* Любопытно, что Алексея Толстого как поэта Лев Николаевич ставил совсем невысоко и из всех его произведений выделял только «Сон Попова», которым восхищался. «Козьму Пруткова» при мне никогда не вспоминал. Очевидно, не одобрял.

сты также делают ложные предпосылки, но не считаются с их условностью, а выдают их за основные истины.

— Жизнь истинная там, где живое сознает себя единым «я», в котором объединяются все впечатления, чувства и т. д. Пока «я» стремится, как почти весь животный мир, только давить другие познаваемые им существа для достижения собственного преходящего блага, до тех пор истинная, вневременная и внепространственная духовная жизнь остается непроявленной, неосвобожденной. Истинная духовная жизнь освобождается в человеке тогда, когда он радуется не своей радости, страдает не своим страданием, а сострадает и сорадуется другому — сливается с ним в общую жизнь.

— О жизни после, хотя, конечно, слово «после» здесь неуместно, о жизни вне нашего телесного существа знать ничего нельзя. Предполагать же мы можем только две формы: или это новая форма отдельной жизни, или это слияние моего «я» с общей мировой жизнью. Первое для нас более понятно и кажется вероятнее, так как мы свою обособленную жизнь знаем и легче можем допустить такую же в другой форме.

Из письма Софьи Андреевны:

«24 июня.

В настоящее время у нас гостей нет и не предвидится, погода прелестная, и я очень рада буду принять вашу миленькую жену и вас в Ясной Поляне...

У нас продолжает все быть благополучно.

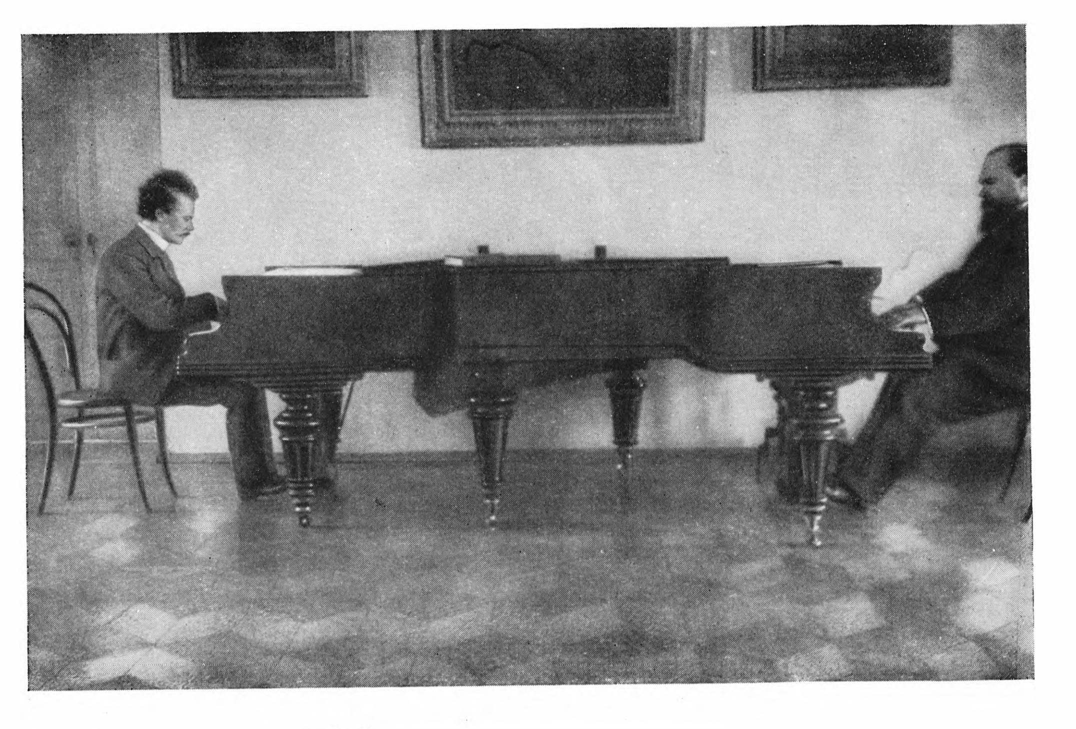
Был у нас два дня Игумнов[6] и играл очень много и хорошо в первый вечер и немного вчера. Сейчас приехал американец корреспондент[7], и стало неловко жить на свете с сознанием, что всякое наше слово и движение будет описано и напечатано...»

14 июля. В первых числах июля я провел с женой два дня в Ясной Поляне.

По поводу самоубийства Колокольцевой* Лев Николаевич сказал мне:

---

* Жена помещика Николая Аполлоновича Колокольцева, друга Михаила Сергеевича Сухотина. Она страдала нервным расстройством и не раз покушалась на самоубийство. Несмотря на бдительный надзор, ей удалось однажды ночью сделать на своей постели из одеяла подобие лежащей фигуры, ввести этим в заблуждение мужа, пробраться в его кабинет и, достав при помощи подобранного ключа из его стола револьвер, застрелиться. Она была уже пожилая женщина, мать двух взрослых дочерей.



А. Б. Гольденвейзер и С. И. Танеев

— Я не понимаю, почему на самоубийство смотрят как на преступление. Мне кажется, это право человека. Ему как будто оставлена возможность умереть, когда он не захочет больше жить. Стоики так и думали.

Так как Колокольцева была душевнобольная, разговор перешел на сумасшествие.

Я, как и прежде как-то, сказал:

— У так называемых сумасшедших настоящая их духовная жизнь остается неизменной. Расстроена только способность проявления своего «я» вовне.

Лев Николаевич согласился со мною.

На другой день он сказал мне:

— Мне очень важен был вчерашний разговор о сумасшествии. Я много думал об этом. В нас два сознания: одно — животное, а другое — истинно духовное. Оно не всегда в нас проявляется, но именно оно и составляет нашу истинную духовную жизнь, не подчиненную времени. Не знаю, как у вас в вашей короткой жизни, а у меня в моей долгой есть периоды, которые ясно сохранились в памяти, а другие совершенно исчезли, их нет. Эти сохранившиеся моменты — чаще всего моменты пробуждения духовного «я». Часто это бывает в то время, когда совершаешь дурной поступок и вдруг просыпаешься, сознаешь, что это дурно, и особенно ясно чувствуешь в себе духовную жизнь. Духовная жизнь — это воспоминание. Воспоминание не прошедшее, оно всегда настоящее. В этом нашем более и более проявляющемся духовном существе и заключается прогресс человеческого временного существования. Для духовного существа не может быть никакого прогресса, так как оно вневременно. Зачем эта временная жизнь, мы не знаем; она только преходящее явление. Образно мне представляется это проявление в нас духовного «я» как бы дыханием бога.

— О нереальности времени есть прекрасная сказка в «Тысяче и одной ночи», как кого-то посадили в ванну, он окунулся с головой и увидал длинную историю с самыми сложными приключениями, а потом, когда он поднял голову из воды, оказалось, что он только раз окунулся [8].

Лев Николаевич рассказывал про Федорова и Петерсона, особенно про Федорова [9].

— Они принадлежали к секте верующих в воскресение мертвых здесь на земле. Их идея состоит в том, что

люди должны стремиться воскресить всех прежде умерших. Они верят, что путем многовековой упорной работы человечество дойдет до этого. Для этого надо изучать все старое и восстановлять его. Федоров был библиотекарем Румянцевского музея и собирал со страстью всякую старину: портреты, вещи и т. п. Человечество должно перестать размножаться, и восстановится все. Вот их идеал. Оказывается, Владимир Соловьев и отчасти Достоевский — сохранилось его письмо об этом [10] — верили в эту идею.

— Федоров, кажется, жив еще. Ему должно быть за восемьдесят лет. Он всю жизнь жил аскетом. Когда я раз пришел к нему весной, увидал легкое пальто и спросил его: «Вы уже надели легкое пальто?» Он ответил: «Христос сказал: если имеешь две одежды, отдай неимущему, а у меня два пальто». И с тех пор он уже всегда носил только легкое пальто. Получал он немного, ел чуть-чуть, спал чуть ли не на досках, помогал бедным и отказывал себе во всем. Он написал очень много, но его работы остаются в рукописи, у его единомышленников нет средств их напечатать, а из издателей никто не берется.

В Ясной этим летом появились какие-то ядовитые мухи, от укуса которых раздувается все лицо.

Лев Николаевич сказал:

— Я как-то, когда был моложе, хотел рассказ написать, как молодой человек приехал летом в дом, где была молодая девица. В первый же день они влюбились и были без ума друг от друга. Ночью, когда он спал, его укусила в губу какая-то муха, и у него разнесло пол-лица. Губа и щека раздулись, и лицо стало преглупое. Когда наутро девица его увидала, — сразу вся любовь прошла. Иллюзий уж не было: она увидала в нем множество недостатков, которых накануне вовсе не замечала.

Говорили о священнике Григории Петрове [11].

Лев Николаевич сказал о нем:

— Он, как это было с Амвросием Оптинским [12], делается рабом своей известности. Это какие-то жалкие люди. Вообще слава, известность опасная вещь. Она

вредна тем еще, что мешает просто, по-христиански относиться к людям. Вот, например, Горький мне очень приятен как человек, а я не могу к нему вполне искренне относиться. Мне его слава мешает. Он как будто не на своем месте. И ему самому слава вредит. Его большие повести хуже мелких рассказов, драмы хуже повестей, а эти обращения к публике просто отвратительны.

— Кто-то, впрочем, сказал: «Если мое произведение все бранят, значит в нем что-то есть. Если все хвалят, значит оно плохо, а если одни очень хвалят, а другие очень бранят, тогда оно превосходно». По этой теории произведения Горького превосходны. Может быть...

Ко Льву Николаевичу приходил слепой [13], очень его заинтересовавший. Слепой стремится попасть в училище слепых, чтобы пополнить свое образование, и Лев Николаевич хочет ему в этом помочь. Слепой этот собирается описать свою жизнь.

Мы собирались после обеда гулять. Лев Николаевич беседовал со слепым. Потом он его отвел на кухню, чтобы ему дали поесть, и простился с ним.

Слепой сказал ему:

— Хотелось бы еще с вами поговорить.

Лев Николаевич ответил:

— Не знаю, может быть потом еще поговорю с вами.

Пошли гулять. Но едва мы прошли полдороги до ворот, как Лев Николаевич сказал, что раздумал гулять, и вернулся домой.

Софья Андреевна заметила:

— Это он, наверное, раскаивается, что от слепого ушел.

И действительно, мы долго гуляли, а когда вернулись, Лев Николаевич все еще сидел со слепым.

Лев Николаевич сказал мне потом:

— Этот слепой рассказывал много легенд. Одну я никогда не слыхал:

«Однажды Христос и апостол Петр шли по земле и видят: мужик-старик плетет плетень из лебеды. Христос спросил его: «Что же это ты, дедушка, такой непрочный плетень плетешь — из лебеды?» А мужик говорит ему: «Я стар, на мой век хватит». С тех пор бог сделал так, что люди своего веку не знают».

— Другую еще легенду он рассказал мне, которую я и прежде знал, только в другой версии *.

«Жил старик праведный в лесу один. И вот люди пришли к нему и говорят: «Что же это ты в храм божий не сходишь?» Старик послушался и отправился с ними. Только они по реке в лодке поплыли, а он по воде пошел. Приехали, пошли в церковь, а в церкви черти по полу кожу растянули и на ней имена грешников записывают. Старик посмотрел, посмотрел и выругал чертей, а они и его записали. Назад он уже по воде идти не мог, а должен был в лодку сесть» [14].

Лев Николаевич сказал:

— Я вот умирать собираюсь, а у меня пропасть сюжетов и нынче еще новый сюжет. У меня их целый длинный список...

Лев Николаевич собирается изложить в художественной форме буддийское учение «Это ты» («Ta twam asi») [15], смысл которого тот, что в каждом человеке и его поступках всегда можно узнать самого себя.

Лев Николаевич вспомнил суждение Федорова о выставках:

— Там все для женщин, детей или для больных, или игрушки, или мало нужные здоровому вещи.

Лев Николаевич вспомнил как-то:

— Когда меня маленького в первый раз взяли в Большой театр [16] в ложу, я ничего не видал: я все не мог понять, что нужно смотреть вбок на сцену, и смотрел прямо перед собой на противоположные ложи.

---

* Мною записана со слов Льва Николаевича несколько иная версия этой легенды, явно уже переработанная как сюжет для рассказа. Вот она: «Жил старик праведной жизни, был он святой, а в церковь никогда не ходил. Дьявол много раз хотел его соблазнить, но это ему никак не удавалось. Братья-старики говорили ему: «Вот ты живешь хорошо, а в храм божий не ходишь». Часто они к нему приставали с этим, и вот однажды в большой праздник он согласился отправиться с ними к обедне. Деревня их была от церкви довольно далеко, на другой стороне большой реки. Братья переправились на лодке, а старик пошел по воде, и вода его держала. В церкви было много народу. Старик видел нарядных женщин и около них мужчин, богатых — впереди, на лучших местах, а бедных — позади, деньги на тарелочках, и не мог удержать в себе осуждения всего этого; а дьявол радовался. А когда отправились домой, старик хотел снова пойти по воде, но вода уже не держала его, и он стал тонуть».

1 августа. Получил письмо из Ясной от М. А. Маклаковой от 28 июля с припиской Льва Николаевича:

«Лев Николаевич просил вам передать, Александр Борисович, что, конечно, все будут очень рады вашему приезду и вас ждут. Здоровье его очень хорошо, только вчера он упал на tennis'е и немного ушибся и прибавил, что жалеет, что так мало.

В Ясной сейчас масса народа. Здесь Мария Николаевна, которая очень мечтает, чтобы вы ее еще застали.

М. Маклакова.

Рукою Льва Николаевича: Я здоров и ленив и очень рад получить ваше письмо и рад буду увидеть.

Л. Т.».

6 августа. Я в Ясной. Никогда мне не бывало здесь так неприятно, так тоскливо, как нынче. Льва Николаевича я еще почти не видал.

12 августа. Пробыл в Ясной 6-е и 7-е.

Михаил Сергеевич говорил что-то о графе Блудове.

Лев Николаевич сказал:

— Это был очень интересный дом, где собирались писатели и вообще лучшие люди того времени. Я, помню, читал там в первый раз «Два гусара». Блудов был человек когда-то близкий к декабристам и сочувствующий в душе всякому прогрессивному движению. Но он все-таки продолжал свою службу при Николае[17].

Михаил Сергеевич спросил:

— Русский ли он? Почему он граф?

Лев Николаевич сказал:

— Блудовы — чисто русская фамилия, а графство ему было пожаловано. Я помню, я собрал крестьян и читал им указ об освобождении. Там в конце перечислялись подписи, и кончалось словами: «а граф Блудов закрепил». Один пожилой мужик, Еремей, все покачивал головой и говорил: «Вот так Блуд, голова, должно быть!» — очевидно, он понял так, что Блудов был всему делу голова.

Говорили о медицине.

Лев Николаевич сказал:

— Медицина никак не может быть названа «опытной» наукой, так как в ней опыт в строгом смысле невозможен. При опытах химических возможно повторение более или менее тех же условий и, таким образом, приблизительно точное заключение о результатах. В медицине же точного опыта нет и не может быть, так как никогда нельзя повторить прежде бывших условий, хотя бы из одного того, что меняется индивидуальность больного и с нею почти, если не буквально, все.

Лев Николаевич рассказывал как-то эпизод из своего детства:

— У нас была дальняя родственница, старуха Яковлева. Она жила в Старо-Конюшенной в собственном доме. Она была очень скупа и, когда ездила на лето в деревню, детей своих отправляла вперед с обозом. Раз, я еще был тогда совсем маленьким, эта Яковлева была у нас. Она сидела со старшими, а брат Николенька взял какую-то коробку, усадил в нее кукол и стал возить по комнатам. Когда он привез их в комнату, где сидела Яковлева, она спросила его: «Nicolas, что это у тебя такое?» А он ей ответил: «А это старуха Яковлева в деревню собирается, а дети едут с обозом...»

7-го Лев Николаевич предложил мне поехать с ним верхом, и мы сделали, вероятно, верст тридцать. Мы ездили часа четыре, главным образом по «Засеке». Когда я уезжал домой, Лев Николаевич сказал мне:

— Вы, вероятно, долго будете помнить нашу прогулку.

Он, по-видимому, подразумевал усталость мою с непривычки. Я сказал ему, что забыть ее никогда нельзя. И действительно, чудесная красота природы и близость великого и дорогого человека, беседа с ним... как забыть все это?!.

Лев Николаевич написал три сказки: «Три вопроса», «Труд, смерть и болезнь» и «Ассирийский царь Ассархадон». Сказки эти Лев Николаевич посылает в сборник в пользу евреев, пострадавших от кишиневского погрома. Впрочем, вероятно, напечатать можно будет только одну — первую, так как другие две едва ли пропустит цензура [18].

Когда мы ездили верхом, Лев Николаевич сказал мне об этих сказках:

— Сюжеты их ниоткуда не заимствованы. «Три вопроса» я задумал когда-то давно еще и предложил потом этот сюжет Лескову. Он написал рассказ — очень неудачный [19]. Теперь, пожалуй, может возникнуть из этого недоразумение.

Я сказал Льву Николаевичу, что во второй сказке есть нечто общее с легендой о лебеде́, рассказанной слепым. Лев Николаевич согласился.

О третьей Лев Николаевич сказал, что в ней заимствовано из «1001-й ночи» только то, что он окунулся. Лица, выведенные там, исторические. (Лев Николаевич недавно читал что-то по ассирийской истории.)

За два дня моего пребывания в Ясной (6-го и 7-го) Лев Николаевич написал совсем новый, очень сильный рассказ — «Отец и дочь» [20], который, как он сказал, «пока так и останется». Рассказом этим Лев Николаевич сам, кажется, остался очень доволен и думает, что можно будет в нем ничего не переделывать.

Лев Николаевич вспоминал народную легенду о «Ваньке Клюшнике», попросившем перед казнью позволения в последний раз спеть песню, и восхищался ее красотой.

Льва Николаевича очень забавляет, что он ездит на молодой лошади и обучает ее. Он большой знаток лошадей, любит их и мастер ездить. Он приучает свою к разным способам езды. Он мне и Илье Васильевичу показывал, как она делает галоп с правой ноги.

В начале прогулки я спросил Льва Николаевича, как приучить лошадь начинать с той или другой ноги.

Лев Николаевич объяснил мне с различными техническими деталями, которые я, разумеется, забыл, как это делается, и потом заметил:

— Раз лошадь начала с известной ноги, следующий раз ей уже хочется начать с той же. Инерция в жизни людей играет огромную роль. Раз создалось какое-нибудь обыкновение, человек бессознательно стремится поступать сообразно с ним. Очень и очень редкие люди поступают сообразно с требованиями своего разума; обыкновенно люди живут и действуют по инерции. Разве

могло бы иначе быть то, что нравственные истины, так давно уже провозглашенные великими мыслителями и сознаваемые большинством людей, так редко руководят поступками их? Очень немногие могут преодолеть инерцию животной жизни и противопоставить ей свои разумные убеждения.

Когда мы дальше проезжали по одному прекрасному участку лесному, Лев Николаевич вспомнил и сказал мне:

— Когда-то очень давно этот лес принадлежал помещику Долинину-Иванскому. Он его продавал, и я хотел купить, но почему-то проторговался, хотя цена была сходная. Дело не решилось. Вернувшись домой, я сообразил, что цена подходящая и лес хороший, и послал приказчика сказать, что я лес покупаю. Но когда приказчик туда приехал, оказалось, что лес уже продан. Долго после я не мог без огорчения вспомнить, как я упустил этот лес.

Потом мы проезжали лесом, называемым «Лимоновская роща». Это сделанная Львом Николаевичем посадка.

«Лимоновская роща» расположена недалеко от Телятинок. Это замечательной красоты лес, куда мы, живя в Телятинках, любили ходить по вечерам, любоваться на чудесные ели, освещенные косыми красно-золотыми лучами заходящего солнца...

Лев Николаевич давно там не был и удивлялся, как все поднялось и разрослось.

Он сказал:

— Да, странное это чувство собственности, здесь все та же инерция. Когда отдаешь себе в сознании отчет, это чувство исчезает, а инстинктивно постоянно замечаешь в себе особенный интерес к тому, что было или есть твоя собственность, хотя и считаешь эту собственность вредной и ненужной.

Говоря потом о современных политических событиях, Лев Николаевич сказал:

— То же и с патриотизмом: бессознательно симпатии на стороне России и ее успехов и ловишь себя на этом. А посмотрите, при этих всех внутренних и внешних неурядицах вдруг в один прекрасный день Россия может распасться. Как говорится: sic transit gloria

mundi! * Теперь огромное могущественное государство, и вдруг все расползется!

Лев Николаевич обратил внимание на то, как красиво освещали дорогу солнечные лучи сквозь ветви деревьев. Он припомнил, что у Тургенева в романе «Новь» прекрасно описано, как Сипягин встретил Марианну с Неждановым, освещенных такими лучами. Он меня спросил, не помню ли я это место. Я не помнил и сказал ему:

— Как это, Лев Николаевич, вы помните?

Лев Николаевич рассмеялся и сказал:

— Ведь вы же помните в своей музыке, а наш брат в своем деле помнит **.

Лев Николаевич сказал по поводу «Нови», что не разделяет обычного отрицательного отношения к этому роману, который считается мало удавшимся Тургеневу, и считает его, наоборот, удачным. Между прочим, он находит удачным и вовремя замеченный новый тип Соломина.

По этому поводу Лев Николаевич заметил:

— Хотя я вообще осуждаю этот прием угадывания современных типов и явлений. Вот тут на днях был Касаткин[21]. Я ему говорил по поводу его деятельности много для него, должно быть, неприятного. Он постоянно занимается этими современными темами. Я ему сказал, что никогда не следует писать того, о чем в газетах говорят. Кроме того, он просто не умеет делать понятной, ясной свою картину. У него не поймешь, что он хотел изобразить. Насколько он уступает в этом отношении Орлову[22].

Касаткин приезжал с какой-то девицей или дамой, и они оба произвели на Льва Николаевича, по-видимому, неблагоприятное впечатление.

Лев Николаевич вспомнил, как он давно в Туле был при рекрутском наборе в присутствии[23].

— Я вошел в комнату, где, отгороженные, находились забритые рекруты. Воинский начальник подошел к ним, растерянным, большинству пьяным, и громким голосом крикнул: «Поздравляю с царской службой!» Не-

---

* так проходит слава земная! *(лат.)*

** Удачные мелочи Львом Николаевичем часто запоминались. Помню, раз почему-то говорили о писателе Евгении Маркове, и Лев Николаевич вспомнил в каком-то его рассказе или повести понравившуюся ему подробность: описывалась наседка и вокруг нее цыплята, как выпущенные на землю желтки.

которые неуверенно, слабо пытались ответить: «Рады стараться, ваше высокоблагородие!» Ничего из этого не вышло, и всем стало неловко, стыдно...

Как-то говорили о преподавании закона божьего.

Лев Николаевич сказал:

— В мое время, когда мы учились, закон божий был самый неважный предмет. На экзамене заставляли незнающих прочесть хоть «Отче наш», чтобы попечитель слышал, что что-то отвечают. А теперь закон божий сделался первым предметом.

И. В. Денисенко читал вслух главы о Николае Павловиче из «Хаджи-Мурата»[24].

Лев Николаевич сидел у себя, а ему хотелось прийти ко всем.

Он несколько раз входил и все говорил:

— Это неинтересно, бросьте!

Наконец сказал даже:

— Это дрянь!

Тогда М. С. Сухотин спросил его:

— Зачем же вы, Лев Николаевич, это писали?

Лев Николаевич ответил:

— Да ведь это и не готово еще. Вы пришли ко мне на кухню, и неудивительно, что там воняет чадом.

Лев Николаевич перечитывает письма Пушкина и восхищается ими.

Опять Лев Николаевич с любовью говорил о декабристах:

— Не говоря уже о Рылееве, Муравьев — благородный, сильный, и его Горацио — Бестужев. Бестужев был еще очень молод и ослабел, и когда они шли на казнь, Муравьев его ободрял и успокаивал[25].

За обедом ели какую-то птицу.

Лев Николаевич рассмеялся и спросил, не кукушка ли это, и рассказал по этому поводу:

— Тургенев, когда был в Ясной, сказал, что мясо кукушки очень вкусно. Когда он уехал, захотели попробовать. Приготовили, но отведать решились только я и

Варенька[26]. Варенька поела довольно много, и ее всю ночь рвало. Потом я всегда дразнил ее, что, когда кукует кукушка, ее тошнит. Вообще ее дразнили этой кукушкой.

Маленький Онечка Денисенко сказал про кого-то за обедом — жид. Лев Николаевич остановил его. Онечка возразил, что это то же, что еврей.

Лев Николаевич ответил:

— Хотя и то же, но жид слово презрительное, и поэтому следует говорить еврей.

А Софья Андреевна при этом сказала:

— Я тоже не люблю, когда священника называют поп. Надо говорить батюшка.

Лев Николаевич возразил:

— Ну, батюшка еще хуже. Я не могу слышать, когда священников называют батюшками. И как они это дозволяют, когда в евангелии прямо сказано: «Никого не называйте учителем или отцом».

2 сентября. 28 августа я был в Ясной на семидесятипятилетии Льва Николаевича. Было довольно много народу, и получилось множество приветственных писем и телеграмм.

Лев Николаевич рассказывал, почему он решил никогда не выступать в печати с опровержением того, что про него пишут:

— Когда я жил у Тургенева в Петербурге[27], из Москвы приехал Мефодий Катков, который просил меня и Тургенева от имени брата дать что-нибудь в «Русский вестник». Я не обещал ничего, а Тургенев, по свойственной ему доброте, довольно, впрочем, неопределенно, сказал, что, может быть, что-нибудь даст.

Вскоре после этого кружок писателей в Петербурге: Некрасов, Тургенев, я, Панаев, Дружинин, Григорович соединились как бы в союз и решили печататься только в «Современнике». Когда Катков узнал об этом, он печатно выступил с обвинением Тургенева в том, что он будто бы нарушил данное им ему слово. Тогда я написал Каткову письмо с просьбой напечатать его, в котором опровергал, как свидетель, заявление Каткова и доказывал, что Тургенев ничего Каткову не обещал.

Катков сначала этого письма вовсе не напечатал, а потом напечатал в таком искаженном виде, что оно получило совсем не тот смысл. С тех пор я дал себе слово

ни с какими опровержениями в печати никогда не выступать[28].

Говорили о нашем правительстве.

Лев Николаевич обратился к Сергеенко:

— Знаете, Петр Алексеевич, я хочу основать общество, члены которого обязались бы не бранить правительство.

Сергеенко и другие возразили, что хотя и правда — этой темой злоупотребляют, но все-таки, когда правительство мешает свободно жить, свободно дышать, трудно не бранить его.

Лев Николаевич сказал на это:

— Нужно только помнить, что правительство, как бы сильно и жестоко оно ни было, никогда не может помешать настоящей, единственно важной, духовной жизни человека. Да и что удивляться, что правительство, жестоко, дурно? Таким оно и должно быть. Комары кусают, червяки точат листья, свиньи роют навоз — все это им подобает, и возмущаться этим совершенно не стоит. Я помню, много лет назад, — вот мои сыновья высокие, бородатые, а тогда еще детьми были, — я вошел как-то внизу в Хамовниках в столовую и увидал, как солнечный луч из окна падал через всю комнату и светлым пятном остановился на буфете, стоявшем у противоположной стены. Форточка была неплотно прикрыта и шевелилась от ветра, и с ней вместе бегал по буфету светлый кружок. Я вошел, указал детям на светлое пятно и крикнул: «Ловите!» Они все кинулись наперерыв ловить светлый кружок. Но он бегал, и поймать его было трудно. Если же удавалось кому-нибудь наложить на него руку, он оказывался сверху руки. Вот так и духовная сущность человека: как ее ни скрывай, как ни старайся подавить, затушить, она всегда остается та же, неизменная.

По поводу литературного сочинительства Лев Николаевич сказал:

— Если кого-нибудь спросить: «Вы играете на скрипке?» — и он ответит: «Не знаю, не пробовал, может быть играю», над ним посмеются. А между тем, про писательство постоянно говорят именно так: «Не знаю, не пробовал», как будто стоит только попробовать, и станешь писателем. Обычно думают: чем человек одаренней, тем легче ему все дается. Это сущий вздор.

Только действительно талантливый художник, и к тому же еще и настоящий мастер, вполне знает, как трудно его искусство. И никому оно не дается с таким трудом, как подлинному гению. Лев Николаевич вполне искренне говорил о себе:

— Я совершенно бездарен, мне стоит большого труда письменно выразить самую простую мысль; мне трудно написать обыкновенное письмо.

Лев Николаевич сказал про евреев:

— Есть три категории евреев. Одни — верующие, религиозные, чтущие свою религию и строго следующие ее обрядам. Другие — космополиты, стоящие на высшей ступени сознания и, наконец, третья, средняя, едва ли не самая многочисленная часть, по крайней мере интеллигентных евреев, — это люди, скрывающие и даже стыдящиеся своего еврейства и в то же время враждебные другим национальностям, но как бы прячущие свою вражду под полой. Насколько все мои симпатии на стороне первых двух, настолько мало мне симпатичны третьи.

Я, к сожалению, слышал не весь разговор, а от слышавших мне не удалось добиться всего, что говорил Лев Николаевич.

Лев Николаевич возмущался материализмом большинства американцев, их непониманием, полной неспособностью понять истинную духовную жизнь.

Он рассказал про одного из американских миллиардеров, кажется, Карнеджи[29]:

— Он пожертвовал пять миллионов долларов на какой-то университет, а в то же время прибавил на керосин по одному центу на кило и оставил эту прибавку и тогда, когда давно уже окупил свои пять миллионов.

У Льва Николаевича был Вересаев. Лев Николаевич нашел его незначительным, неинтересным[30].

Лев Николаевич сказал:

— В нем ничего нет. Он обладает известной способностью описания, но больше ничего. Совсем незначительный человек.

Говорили о религии.

3 октября. 1-го был в Ясной. Лев Николаевич много говорил о Шекспире, к которому относится отрицательно. Лев Николаевич работает над статьей о Шекспире[31].

Из моего письма Льву Николаевичу

«1904. 1. I. 04. Москва

Дорогой Лев Николаевич!

Простите, что не исполнил просьбы Вашей — достать стихотворения Гафиза [1]. Я обошел несколько книжных магазинов и не нашел их. Наконец у Дейбнера мне дали следующие сведения: стихотворений Гафиза существует два издания — одно на персидском языке (издание с комментариями, стоящее 45 р.) и другое на немецком языке (забыл, чей перевод), вышедшее в 1812—1813 годах и все распроданное. Если Вам нужна эта книга теперь, можно достать ее в университетской библиотеке, если она там есть, или в Румянцевском музее, где она есть наверное (только укажите мне, как оттуда для Вас ее добыть, так как обыкновенно они книг на дом не выдают). Если же Вам стихи Гафиза нужны не сейчас, то Дейбнер обещает месяца через полтора достать от какого-нибудь немецкого букиниста...»

14 апреля. На рождестве Александра Львовна устроила во флигеле для крестьянских ребят елку. Не знаю, по какому выбору, но за недостаточностью помещения пускали не всех. Лев Николаевич со мной и еще, не помню, кто-то третий пришли позже, когда елка уже была в разгаре. У дверей флигеля стояли не попавшие в число приглашенных. При нашем появлении матери стали просить Льва Николаевича, чтобы он провел их ребятишек. Он взял двух или трех. На елке было жарко, светло, трещали ярко горевшие свечи, пахло подожженными ветками. Мы скоро вышли оттуда.

Лев Николаевич вздохнул и сказал:

— Как это нехорошо! Одни там, а других не пускают. У нас, когда дети были маленькие, Софья Андреевна всегда устраивала елку, и на нее сходились крестьянские дети. Раз они занесли скарлатину, и с тех пор их перестали пускать; только выбирали некоторых, известных. Я помню, раз наверху была елка, а я внизу лежал на диване (там, где теперь библиотека), и мне было мучительно стыдно и больно думать о столпившихся там, за дверьми, которых на елку не пускают. Я помню, я не выдержал, вышел на двор и дал им три рубля, и сделал, разумеется, еще хуже — как они стали

об этих деньгах спорить и ссориться, деля их, и как это было отвратительно, стыдно и тяжело!

1 июня. Лето мы с женой проводим вблизи Ясной Поляны в Засеке на Киевском шоссе.

Мы приехали 27 мая в Ясную, где прожили два дня и 29-го переехали к себе. Лев Николаевич был довольно здоров, только жаловался на желудок.

5 июня. В день нашего приезда, 27-го, за обедом Лев Николаевич вспоминал о декабристах, которых он знал после ссылки (он теперь опять изучает их время).

Между прочим, он говорил о Волконском[2]:

— Его наружность, с длинными седыми волосами, была совсем как у ветхозаветного пророка. Как жаль, что я тогда так мало с ним говорил, как бы мне он теперь был нужен! Это был удивительный старик, цвет петербургской аристократии, родовитой и придворной. И вот в Сибири, уже после каторги, когда у жены его было нечто вроде салона, он работал с мужиками, и в его комнате валялись всякие принадлежности крестьянской работы.

Лев Николаевич не верит рассказам про роман между Поджио и Волконской.

Он сказал:

— Я не хочу верить, — так часто выдумывают такие легенды и чернят память людей... Тем более что Поджио так любил Волконского, что, когда впоследствии (она уже тогда умерла) почувствовал близость смерти, приехал к Волконскому, чтобы у него умереть[3].

— С Волконским я познакомился, — продолжал Лев Николаевич, — во Флоренции у Долгорукова. Это был Ко̀ко Долгоруков — доктор. В то время была редкость, чтобы из этого круга кто-нибудь стал врачом. Тогда Николай Павлович ограничил число студентов тремя стами, и Долгоруков не попал на другой факультет. Это был удивительно ко всему способный человек: он стихи сочинял, и музыкант был отличный, и картины писал. Женат он был на Марии Ивановне Базилевской. Я, когда пришел к ним тогда во Флоренции в первый раз, попал на такую сцену: жена его и известный маркиз де Роган занимались странной игрой: они делали какую-то заметочку на стене и старались, подняв выше ногу, дотронуться ею до стены — кто выше.

Там был еще очень даровитый художник Никитин[4]. Он удивительно рисовал карандашом. Я помню, у него был альбом, и он в этом альбоме нарисовал портрет Волконского. И мой портрет тоже тогда нарисовал. Не знаю, куда девался этот альбом. Вот бы его теперь какому-нибудь гробокопателю!

Тогда же за обедом Лев Николаевич рассказал два анекдота из своей жизни. Первый, как он ел дождевых червей. Лев Николаевич вспомнил по поводу рыбной ловли (ездили Александра Львовна, дети Ильи Львовича и др.). Лев Николаевич рассказал, как он нес в одной руке червей, а в другой — краюшку черного хлеба; хлеб он съел и потом, задумавшись, положил червей в рот и стал жевать и не мог понять несколько времени, что это за гадость.

Лев Николаевич сказал:

— Я как сейчас помню их вкус.

Жена моя спросила его, очень ли противно было.

— Вкус землистый; впрочем, я вам не советую пробовать.

Кто-то чихнул, и Лев Николаевич по этому поводу рассказал другой случай:

— Я очень громко чихаю; и вот раз как-то ночью я просыпаюсь и чувствую, что сейчас чихну, а Софья Андреевна была в таком положении, и я боялся ее испугать. Я спросонок крикнул громко: «Соня, я сейчас чихну!» Софья Андреевна, разумеется, проснулась и испугалась, а я заснул сейчас же и так и не чихнул.

Тогда же Лев Николаевич говорил о воспоминаниях Белоголового[5], который казался Льву Николаевичу ограниченным человеком.

Лев Николаевич, говоря об ужасном впечатлении, которое оставляет в его записках описание болезней и смертей Некрасова, Тургенева, Салтыкова, сказал:

— Как они боялись смерти! И эти ужасные, отвратительные подробности болезни, особенно Некрасова.

А вот это еще зимой было: тоже мы с женой были, уезжать собирались, а Лев Николаевич с П. А. Буланже у себя сидел. Мы зашли проститься, а они, очевидно, говорили о семейных делах Буланже. У него трудные отношения с женой.

Мы с женой вошли на следующих словах Льва Николаевича:

— ...если бы почаще говорили себе: «Помнишь?» Надо бы уговориться, когда кто-нибудь что не так скажет или сделает в пылу спора, или когда один сердится, — уговориться, чтобы другой ему сказал только: «Помнишь?»

Лев Николаевич заметил меня с женой и сказал:

— Вот вы, молодые супруги, вам бы так! Никто не может быть таким другом, как жена, настоящим другом. В браке может быть или рай, или настоящий ад, а «purgatorio» * не может быть.

Буланже возразил, что, кажется, именно «purgatorio» чаще всего и бывает.

Лев Николаевич подумал, вздохнул и сказал:

— Да, может быть, к сожалению...

В тот же вечер, глядя на игравшую на полу маленькую дочь Андрея Львовича, Сонечку, Лев Николаевич сказал:

— Вот Фауст говорит о том недостижимом моменте, которому можно сказать: «Verweile doch, du bist so schön!» ** А вот он, этот момент! (Лев Николаевич указал на девочку.) Это возраст истинно счастливый, и чистый, и невинный.

20 июня. Как-то давно, еще в мае, Лев Николаевич сказал:

— Религии основываются обыкновенно на одном из трех начал: на пафосе, разуме или обмане. Как образец религии разума можно привести стоиков, как религию обмана — мормонов, религия же пафоса — магометанство. Я получаю за последнее время много писем от магометан. Мне писал из Каира представитель бабистской секты — образец религии пафоса; из Индии — близкий к типу религий, основанных на обмане, и в самое последнее время муфтий из Каира, — если не ошибаюсь, — это удивительный, истинно-религиозный человек. Он мне пишет, что истинное магометанство представляет из себя совсем не то, что обыкновенно думают. Действительно, я знал истинно религиозных людей магометан. А как трогательно просто и возвышенно их богослужение!

Нынче на закате солнца мы шли вдоль сада, где овес. Говорили о Горьком и о его слабом «Человеке». Лев Ни-

---

* чистилища *(итал.)*.

** «Остановись, мгновение, — ты так прекрасно!» *(нем.)*

колаевич рассказал, что нынче, гуляя, встретил на шоссе (он любит выйти на шоссе, сесть на камешке — стосаженный знак, — наблюдать и заговаривать с прохожими) прохожего, оказавшегося довольно развитым рабочим.

Лев Николаевич сказал:

— Его миросозерцание вполне совпадает с так называемым ницшеанством и культом личности Горького. Это, очевидно, такой дух времени. Ницше вовсе не сказал чего-либо нового — это теперь миросозерцание очень распространенное.

Потом Лев Николаевич сказал:

— Когда я был мировым посредником, в Крапивне жил купец Гурьев, который говорил про интеллигентную молодежь: «Да вот, погляжу я на ваших студентов, — ученые они, все знают, а только «выдумки» у них нет». Это выражение, я помню, очень нравилось Тургеневу.

Недавно около Ясной на шоссе остановился цыганский табор. Цыгане часто кочуют в окрестностях Ясной Поляны. Табор обыкновенно останавливается дня на два-три, и по вечерам обитатели Ясной гурьбой отправляются туда слушать пение и любоваться на пляску цыган.

Лев Николаевич, глядя на них, преображался и сам невольно начинал приплясывать и одобрительно вскрикивать.

— Экой удивительный народ! — говорил он.

Старики цыгане все знают его и всегда вступают с ним в разговор. Лев Николаевич смолоду любит и знает цыган и их своеобразную жизнь.

На этот раз Лев Николаевич также отправился со всеми. Между прочими были: Н. В. Давыдов, Ел. В. Оболенская и Андрей Львович, приехавший проститься перед отъездом на войну.

Когда мы вышли из дому, слегка накрапывал дождь Скоро дождь припустил, и мы повернули обратно.

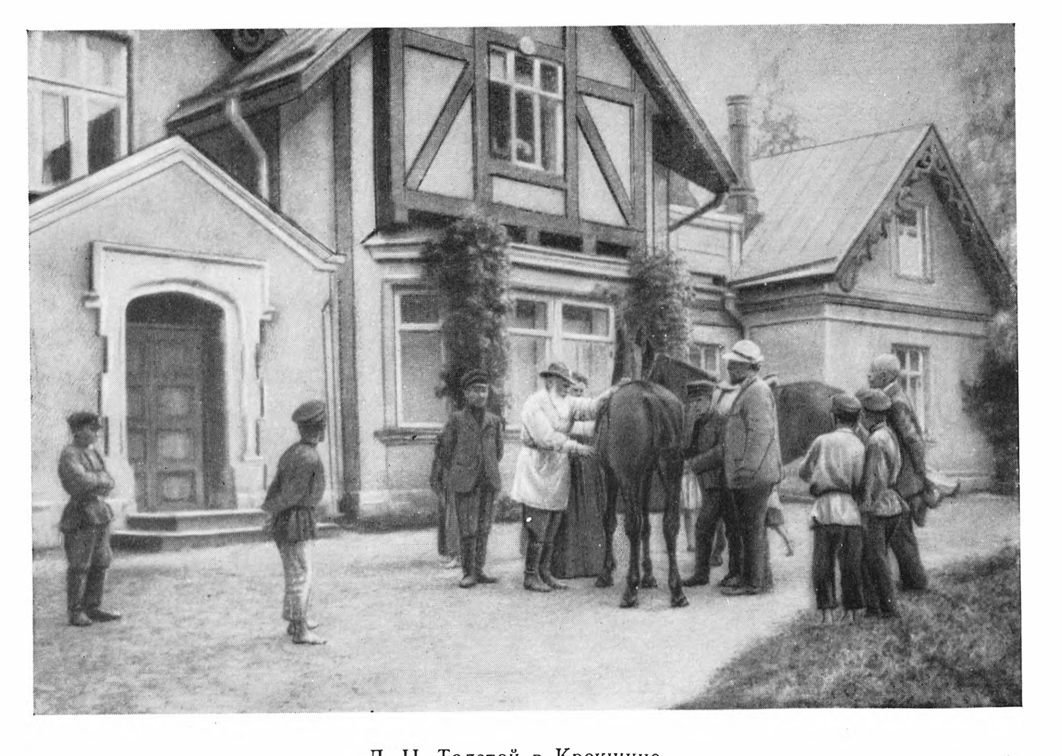
Андрей Львович сказал:

— Вот мы придем домой, дождь перестанет.

И действительно, на полдороге дождь перестал, и мы пошли назад к цыганам.

Лев Николаевич сказал:

— Да, это всегда так бывает: как повернешь домой, дождь пройдет. Вот также в Москве. Когда нужно кого-



Л. Н. Толстой в Крекшине

нибудь разыскать в большом доме и звонишь к дворнику, его никогда не бывает. А стоит войти во двор, чтобы помочиться, и сейчас же выскочит дворник. Так что я советую, если вам нужно кого-нибудь разыскать, вы не звоните к дворнику, а прямо начинайте со второго.

По поводу назначения Андрея Львовича ординарцем Лев Николаевич сказал ему:

— Меня одно только утешает — что ты, наверное, не убьешь ни одного японца. Ординарец постоянно подвергается большой опасности, а сам в стрельбе редко участвует. Я бывал много в Севастополе на четвертом бастионе; в Дунайской армии был ординарцем, и, кажется, стрелять мне не пришлось ни разу. Я помню, раз на Дунае у Силистрии[6] мы стояли на нашем берегу Дуная, а была батарея и на той стороне, и меня послали туда с каким-то приказанием. Командир той батареи, Шубе, увидав меня, решил, что вот молодой графчик, я ж его проманежу! И повез меня по всей линии под выстрелами, и нарочно убийственно медленно. Я этот экзамен выдержал наружно хорошо, но ощущение было очень скверное. Помню также, как на бастион в Севастополе приехал один из высших начальников — Коцебу, и кто-то, кажется Новосильцев, хотел его испытать, и все стал показывать ему: «Да вы посмотрите, ваше превосходительство, вот там на их линию», заставляя его высовываться из-за укреплений. Он раз-другой выглянул, а потом, поняв в чем дело, стал в свою очередь посылать того как начальник и, уже промучив его долго, сказал: «В другой раз советую вам не сомневаться в храбрости вашего начальства».

Лев Николаевич вспомнил афоризм Лихтенберга,[7] смысл которого тот, что человечество окончательно погибнет, когда не останется больше ни одного варвара.

Лев Николаевич прибавил:

— Я думал прежде об японцах, но они уже усвоили с успехом все отрицательные черты нашей культуры. Теперь вся надежда на кафров.

Когда мы шли (Лев Николаевич, Н. В. Давыдов и я) от цыганского табора домой, Лев Николаевич сказал:

— Я не помню при всех прежних войнах того удрученного, гнетущего настроения, которое чувствуется теперь в России. Я думаю, это хороший признак, — указание на то, что сознание зла, ненужности, нелепости

войны все более проникает в общественное сознание; так что, может быть, близко то время, когда войны станут невозможны, никто не станет воевать. Вот Лизонька рассказывает, — она всегда подметит хорошее, — взяли мужика на войну, кажется дворника, и он, отправляясь, снял с себя крест. Вот истинно христианское отношение! Хотя он и не имеет силы противостоять общему движению и повинуется, но все-таки ясно сознает, что это дело не божье.

Лев Николаевич вспомнил с ужасом рассказ о священнике, который с крестом в руках шел впереди солдат, и сравнивал его с тем солдатом.

25 июня. Недели три тому назад у Льва Николаевича были какие-то барышни, кажется фельдшерицы, едущие на войну. Они были чрезвычайно воодушевлены мыслью о том, что едут помогать страждущим.

Лев Николаевич говорит, что ему было больно разочаровывать их, но все-таки он им сказал:

— Разумеется, хорошее дело помогать тем, кто страдает, но зачем для этого ездить на Дальний Восток, когда здесь в народе так много страданья, о котором никто не говорит и на помощь которому никто не приходит? А там люди страдают, сойдясь убивать и мучить друг друга.

Только что эти девицы ушли, пришла какая-то баба из ближней (не помню какой) деревни, больная, несчастная, — целое собрание всяких бед. Лев Николаевич побежал догонять фельдшериц и указал им на этот живой пример, иллюстрирующий его слова.

Рассказывая это, Лев Николаевич вспомнил, как Мария Александровна Шмидт жила около Серпухова.

— Это было ее лучшее время, — сказал Лев Николаевич, — мы с Колечкой Ге, твоим отцом (Лев Николаевич обернулся к П. Н. Ге, бывшей в комнате), шли из Москвы пешком в Ясную Поляну[8] и зашли к ней. Она жила совсем одна. Там мужики все уходят из дому на заработки, а дома работают бабы. Все они, измученные непосильной работой, грубые, несчастные, многие пьют, как мужики; дети без призору, грязные, умирают... И вот Мария Александровна вся отдалась помощи этим несчастным. Когда у тех, где она жила, нечем было внести подати, и хотели продать корову, и стоял плач, она собрала последние оставшиеся у ней ценные вещи — ка-

кую-то брошку и браслет, продала все это рублей за пятьдесят — шестьдесят и справила им подати.

26 июня. На прошлой неделе я был в Ясной вечером. Там были Сухотины. Вечером за чаем Миша Сухотин заговорил со Львом Николаевичем о том, что по окончании училища правоведения он хочет ехать учиться в Париж, и стал со Львом Николаевичем спорить. Начала спора я не слыхал.

Подошел я вот на чем:

— ...Всякий человек, — говорил Лев Николаевич, — это существо совершенно особенное, никогда не бывшее и которое никогда больше не повторится. В нем именно эта его особенность, его индивидуальность, и ценна, а школа старается все это стереть и сделать человека по своему трафарету. У меня были тульские кончившие гимназисты и спрашивали, что им делать. Я им сказал: «Прежде всего постарайтесь позабыть все то, чему вас учили».

Лев Николаевич считает русский университет в Париже совершенно бесцельным и ни на что не нужным.

Он сказал:

— Лучшее высшее образовательное учреждение, которое мне пришлось видеть, это Кенсингтонский музей в Лондоне. Там при огромной публичной библиотеке, где работает много народу, есть по различным специальностям профессора. Каждый работающий, если у него является какой-нибудь вопрос, может заявить об этом, и когда накопится несколько таких вопросов, профессор вывешивает объявление, что он будет тогда-то читать по таким-то вопросам и все желающие могут прийти и слушать. Такая постановка дела наиболее соответствует назначению учения — отвечать на вопросы, возникающие в уме учащихся. Везде же читаются, в большинстве случаев совершенно бездарными профессорами, курсы, которые совсем не нужны слушателю. Все эти лекторы никогда бы не решились напечатать свои лекции. Еще Гете сказал: «Когда я говорю, выходит лучше, чем когда я думаю, пишу я лучше, чем говорю, а когда печатаю — это лучше, чем то, что я пишу». Этим он высказал мысль, что то, что человек печатает, обыкновенно составляет лучшее из того, что он думал, то, в чем он наиболее сам убежден. Чем ехать в Париж лекции слушать, ступай в публичную библиотеку, и ты двадцать лет не выйдешь

оттуда, если ты только действительно хочешь учиться. О себе, собственно, говорить не следует, но я вот про себя скажу: когда я был в Казани в университете, я первый год действительно ничего не делал. На второй год я стал заниматься. Тогда там был профессор Мейер, который заинтересовался мною и дал мне работу — сравнение «Наказа» Екатерины с «Esprit des lois» * Монтескье [9]. И, я помню, меня эта работа увлекла; я уехал в деревню, стал читать Монтескье; это чтение открыло мне бесконечные горизонты; я стал читать Руссо и бросил университет, именно потому, что захотел заниматься. А там я должен был заниматься тем и учить то, что меня не интересовало и не было мне ни на что нужно.

Сергей Львович спросил Льва Николаевича, почему он бросил экзамены в Петербургском университете.

Лев Николаевич сказал:

— Я стал усердно работать, сдал два экзамена, получил кандидатские баллы, но потом — весна, потянуло в деревню, ну и бросил, и уехал...

О преимуществе людей, не получивших школьного образования, Лев Николаевич сказал:

— Я знаю двух таких музыкантов, не учившихся ни в каком учебном заведении, а между тем, очень хорошо образованных людей, с которыми о чем ни заговори, все они знают — это [NN] и Сергей Иванович Танеев.

Я играл.

Потом Лев Николаевич сказал:

— Мне Антон Рубинштейн говорил [10], что если он сам, играя, взволновался тем, что играет, — он уже не действует на слушателя. Это значит, что художественное творчество возможно только тогда, когда пережитое отстоялось в душе художника.

Как здесь разговор перешел на писательство, — не помню, но Лев Николаевич сказал:

— Обыкновенно, когда начинаешь новую работу, она очень самому себе нравится и ее делаешь с большим интересом. По мере того как работа подвигается вперед, она начинает надоедать, и часто, переделывая, выбра-

* «Дух законов» *(франц.)*.

сываешь и заменяешь новым не потому, что это новое лучше, а потому, что старое надоело. Часто даже выбрасываешь более яркое и заменяешь худшим, бледным.

Заговорили о Герцене. Лев Николаевич читал вслух отрывки из его книги (сборник статей из «Колокола») [11]. Лев Николаевич чрезвычайно любит Герцена и ценит его очень высоко. Он говорил о несчастной личной жизни Герцена и о той драме, которую он должен был пережить, когда от него отшатнулись и перестали его понимать представители (особенно молодые) той партии, для которой он работал всю жизнь.

Лев Николаевич любил Герцена совершенно исключительно. Его ум, блестящий писательский талант, художественная изобразительность, мастерство портретных характеристик — восхищали Льва Николаевича.

Сборник статей из «Колокола» был издан в Женеве известным Львом Тихомировым. Книжку эту привез Льву Николаевичу я. Она принадлежала моему дяде М. С. Гольденвейзеру, который, во многом не соглашаясь с Герценом, испещрил книгу своими, иногда довольно резкими, замечаниями. Лев Николаевич обратил внимание на эти заметки и очень удивился, «с какой смелостью он расправляется с Герценом». Статьи эти и привезенный также мною небольшой томик посмертных статей Герцена, изданных Огаревым, Лев Николаевич читал и перечитывал; многие отрывки он по нескольку раз читал вслух, не переставая ими восхищаться, а местами хохотал до слез. Из посмертных вещей он особенно хвалил повесть: «Доктор, умирающий и мертвые». Конец казался ему искусственно сентиментальным, но диалоги между доктором и ипохондриком-помещиком и сочную фигуру доктора он считал превосходными.

Лев Николаевич много раз говорил:

— Было большим несчастьем, что писания Герцена благодаря цензурному запрету прошли мимо русской читающей публики...

Лев Николаевич был у Герцена в Лондоне, когда он там жил с Огаревой-Тучковой [12].

Бирюков спросил Льва Николаевича (для биографии, которую он пишет) о том его разговоре с Герценом, который Огарева рассказывает в своих воспоминаниях [13].

Лев Николаевич сказал, что помнит многое, о чем они говорили, а этого разговора не припоминает *.

— Может быть, она просто сочинила разговор, как это часто делают авторы всяких мемуаров и записок, — прибавил Лев Николаевич.

Вообще Лев Николаевич не хвалит Огареву, хотя говорит, что знает ее мало.

Он сказал:

— Я получил от нее письмо, в котором она рассказывает, как бы оправдываясь, историю с крестьянами, происшедшую недавно в ее имении [14]. Там были луга, которыми спокон века пользовались крестьяне. Луга принадлежали юридически помещице. В имение был нанят управляющий, поляк Станиславский, который загнал с этих лугов весь крестьянский скот. Мужики собрались с дрекольями и пошли выручать скотину, решив не уступать лугов. Они пришли в усадьбу и стали требовать свою скотину. В конце концов Станиславский выстрелил и, не помню, убил или ранил кого-то из толпы. Толпа рассвирепела и бросилась на Станиславского, который хотел спастись бегством, но его нагнали где-то в болоте и убили зверским образом. В результате этого дела был военный суд, и двух или трех крестьян повесили.

Лев Николаевич знал об этом деле и раньше и ужасался на этот жестокий приговор.

Потом Лев Николаевич сказал:

— Я получил недавно письмо от одной дамы [15]. Она меня спрашивает, почему, собственно, так дурно убивать. Ведь все равно человек умрет — рано или поздно, не все ли равно? Я ей ответил, что так как каждый человек представляет собой единственный, никогда не повторяющийся случай, то мы совершенно не знаем и не можем знать — зачем нужен он для общей жизни. В жизни все так мудро устроено, и мы не знаем, зачем эта именно индивидуальность живет, и потому уничтожение этого единственного существа и является таким ужасным.

О страхе на войне Лев Николаевич сказал:

— Не бояться нельзя. Все боятся, но стараются скрыть это. Когда надо уносить раненых с поля сражения,

* Странно, что ни Бирюков, ни я, узнав, что Лев Николаевич помнит свои беседы с Герценом, не расспросили его и не записали его рассказа. Со стороны Бирюкова, как биографа, это особенно удивительно.

на это дело является столько охотников, что офицерам стоит большого труда удержать солдат, так хочется всякому, хотя бы на время, уйти из-под выстрелов.

О себе Лев Николаевич говорит, что никогда он так не боялся, как в ночь накануне штурма Силистрии, который потом не состоялся.

Потом Лев Николаевич сказал:

— У японцев этот страх меньше, так как они, по-видимому, гораздо меньше дорожат жизнью, чем европейцы. Отсутствие страха смерти у некоторых народов заходит очень далеко. Например, если кто-нибудь из чукчей хочет очень насолить своему врагу, — он приходит к его жилищу и около него убивает себя, зная, что тому придется возиться с судом.

Приезжал издатель какой-то петербургской экономической газеты, г. Бух[16]. Когда я пришел, я застал у него со Львом Николаевичем спор, во время которого г. Бух старался защищать современную науку. Лев Николаевич резко нападал на науку.

Он сказал:

— Наука менее всего почти всегда и везде занимается тем, что нужнее всего. Например, как мало, почти ничего не сделано по вопросу о том, как нужно жить рабочему как рабочей силе, чтобы быть наиболее производительным. Мы все знаем это о рабочем скоте, а о людях никто не знает и не думает, а толкуют о каких-то прибавочных ценностях, рентах и т. п.

Потом Лев Николаевич сказал:

— Я помню, Страхов, которого я очень любил, и Данилевский спорили о дарвинизме[17], и я, хотя и тогда не мог понять важности этого, все-таки, из уважения к ним, смотрел на эти вопросы как на серьезное дело. Теперь же я вижу, что это совершенно праздное времяпрепровождение. Когда на деревне в бабки играют, то это важнее, чем все эти происхождения видов и т. д. Разумеется, справедливо, что из всей этой массы научного материала, спектральных анализов и т. д. можно извлечь, может быть, и кое-что важное; но жизнь человека коротка, и силы его ограничены, и с ними надо обращаться экономнее.

---

2 и 4 июля. По поводу полученной американской газеты с описанием катастрофы на детском увеселительном пароходе, во время которой погибло до тысячи человек, главным образом детей и женщин, и письма американца, приславшего эту газету [18], говорящего, что такой факт гибели тысячи невинных детских жизней может породить неверие, с которым трудно бороться каким бы то ни было проповедникам, Мария Львовна спросила Льва Николаевича:

— Ты будешь ему отвечать?

Лев Николаевич ответил:

— Нет, на всякое чихание...

— Ну, а если бы ответил, что бы ты мог ему возразить?

— Главное заблуждение в том, что люди представляют себе бога — творца и промыслителя, который награждает или карает за грехи, которому можно молиться, прося о чем-то. Это отношение к богу — православное. (Лев Николаевич на замечание Софьи Андреевны оговорился, что подразумевает вообще церковно-догматическое.) Я вспоминаю всегда удивительную легенду, которую мне рассказал один архангельский мужик еще давно. Мне давно хотелось ее написать, может быть я это и сделаю когда-нибудь. Я не буду ее вам рассказывать. Кончается она тем, что ангел, убивший ребенка, говорит родителям, чтобы они не горевали, так как если бы этот ребенок остался жив, — он сделался бы величайшим злодеем. Никто не может знать, зачем нужна его жизнь или смерть [19].

— Вообще по отношению к вере, к размышлению о смысле и назначении жизни все вопросы личного счастья, страдания, смерти не должны ставиться. Это все явления временные. Мы представляем себе жизнь как прошедшее и будущее, а настоящего представить себе не можем, а между тем в этом-то настоящем, вневременном мы и живем. Постоянно разбираемый вопрос о свободе воли мне кажется просто недоразумением.

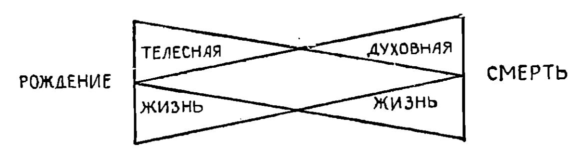
Лев Николаевич вспомнил очень ему понравившийся афоризм Лихтенберга: «Мы гораздо яснее сознаем, что наша воля свободна, чем то, что все совершающееся должно иметь свою причину. Разве нельзя было бы обратить это умозаключение и сказать: наши понятия о причине и следствии должны быть очень неправильны,

так как наша воля не могла бы быть свободна, если бы они были справедливы».

Лев Николаевич сказал:

— Рассматривая нашу жизнь во времени как прошедшее и будущее, мы невольно связываем ее в цепь причин и следствий, и с этой точки зрения мы, разумеется, не свободны. Но в настоящем, вневременном, внепричинном нет и не может быть этого вопроса. Жизнь человеческая есть постепенное освобождение духовного «я» от телесной оболочки. Мне вся жизнь человека представляется в виде вот какого рисунка:

Лев Николаевич взял бумагу и нарисовал такой чертеж:



— Рождаясь, мы наиболее телесно сильны — все впереди. Духовно мы бесконечно малы. Дальнейшая жизнь — постепенное телесное умирание и духовный рост — освобождение. Жизнь телесная, бесконечно уменьшаясь, в смерти равна нулю. Духовная — растет и окончательно освобождается только в смерти. Всякий человек, став на известную точку духовного роста, не может одновременно стоять на высшей и поэтому не подлежит осуждению. Когда приходишь к этому выводу, становится как-то легко и свободно, как будто нет в людях добра и зла, за которое можно осуждать их. Человек не может быть выше своего миропонимания. Не судить его нужно, а стараться освободить его духовное «я» от телесных уз. И в этом бесконечном освобождении духовного «я» и есть смысл жизни. Оно и есть жизнь.

Эту запись я читал Льву Николаевичу, и он нашел все точно выражающим его мысль.

8 июля. Лев Николаевич сказал по поводу своей статьи о войне («Одумайтесь!») [20]:

— Мне тяжело чувствовать, что мои слова идут мимо людей. Если говорить о так называемых людях науки, которые смотрят на войну, независимо от нравственного ее значения, только как на одну из стадий эволюции человеческих отношений, то тут знаешь по крайней мере,

с чем имеешь дело. Но что и как говорить людям, которые, очевидно, не могут понять моей точки зрения? Что ни говори, все скользит мимо них. Они как будто смазаны каким-то маслом, так что с них все, как вода, сливается, не смачивая их.

Сказав это, Лев Николаевич прибавил, что, когда он писал к Николаю II (из Крыма, зимой 1901—1902 гг.), ему было передано[21] что-то вроде того, что «прочитал с удовольствием» *. Тут же он вспомнил про письма Герцена к Александру II[22].

Николаю II Лев Николаевич писал о земельном вопросе.

Говоря об отношении правительственных людей к этому вопросу, Лев Николаевич заметил:

— Я никак не могу встать на их точку зрения. Я помню, когда я был молод, был военным, я не задавался этими вопросами, они как-то не возникали у меня; но я не могу себе представить, чтобы, встретившись с таким воззрением, я бы мог пройти мимо него. Я помню два таких случая с собою. Раз, когда мне Василий Иванович Алексеев, в то время, когда я был в самом разгаре своей помещичьей жизни, впервые высказал мысль, что земельная собственность — зло[23]. Я помню, как меня поразила эта мысль и как сразу для меня открылись совершенно новые горизонты. Так же было, когда, не помню кто — француз какой-то — сказал мне, что проституция вещь ненормальная и не только не нужная, а просто вредная для человечества. Шопенгауэр, например, говорит, что только благодаря проституции сохранились еще в обществе людей семейные отношения. Я, не думавший раньше об этом, после слов француза сразу почувствовал истину и уже не мог идти назад. Я могу

* Когда часть моего дневника была напечатана М. О. Гершензоном во втором томе его «Русских Пропилеев», книга перед выходом в свет была задержана цензурой из-за нескольких мест. Самым одиозным оказалось как раз место о знаменитом «прочитал с удовольствием» Николая II.

И я и Гершензон были вызваны к судебному следователю по особо важным делам Резникову, который весьма серьезно снял с нас допрос. Меня от дела отстранили сразу, так как по тогдашним законам отвечал не автор, а редактор и издатель книги, как распространители зловредных идей. В конечном счете дело было прекращено, но из книги исключено несколько мест. Кроме этого, помню, был еще исключен рассказ о лакее Олсуфьевых.

представить себе, что можно не думать в известном направлении, не знать какой-нибудь точки зрения. Но этой неспособности, нежелания понять я не могу объяснить себе.

Потом говорили о японцах.

Лев Николаевич сказал:

— Их религиозно-нравственный уровень мне мало ясен. Читая китайских Лао-цзы, Конфуция, не говоря уже об индусских, чувствуешь связь с ними, они отвечают на твои вопросы, и если иногда многое неясно и непонятно, — это почти наверное можно отнести на счет переводов, так как китайский язык по своей конструкции совершенно чужд арийским, и обороты его, вероятно, крайне трудно поддаются передаче на европейские языки. В Японии совсем иначе. Их живопись хотя и странна, но ее своеобразная прелесть все-таки действует на нас. Выразительность лиц и поз на их рисунках бывает удивительная.

— Что же касается литературы — там все, что мы знаем, совершенно ничтожно и чуждо. А об их религиозно-нравственных воззрениях мне ничего не известно. Нехороший признак то, как быстро и легко они усвоили себе все дурные стороны европейской так называемой культуры.

9 июля. Говоря об афоризмах Лихтенберга, Лев Николаевич сказал:

— Афоризмы — едва ли не лучшая форма для изложения философских суждений. Например, афоризмы Шопенгауэра («Парерга и Паралипомена») гораздо ярче выражают его миросозерцание, чем «Мир как воля и представление». Философ, излагая целую сложную систему, невольно перестает иногда быть честным. Он делается рабом своей системы, для стройности которой он часто готов жертвовать истиной.

Говоря о прекрасном немецком языке Лихтенберга, Лев Николаевич сказал:

— Каждый литературный язык доходит до своей высшей точки и затем начинает падать. В немецком языке это время было конец восемнадцатого и первая половина девятнадцатого столетия, также и во французском языке. Теперь там (в Германии и Франции) язык стал совершенно испорчен. У нас в России мы только находимся на этом рубеже. Русский язык достиг недавно своего апогея и теперь начинает решительно портиться.

Лев Николаевич очень хвалил язык Чехова за простоту, сжатость и изобразительность. Язык Горького он порицает, находя его искусственным, напыщенным.

Лев Николаевич очень любил несколько грубую силу, образность и выразительность старинного языка. Я помню, как, перечитывая кого-то из французских мыслителей семнадцатого века, он восхищался силой его языка. Помню также его изумление перед яркостью и образностью языка протопопа Аввакума.

По поводу повсеместного благословения Николаем II иконами войск, отправляющихся на войну, Лев Николаевич сказал:

— Если А — правитель огромной страны — берет в руки доску В и целует ее перед многотысячной толпой коленопреклоненных войск и потом машет ею над головами впереди стоящих и проделывает это по всей стране, — что, кроме чепухи, может происходить в таком государстве? Этого еще никогда не бывало. Можешь там у себя в комнате делать что хочешь. Один обтирается вином или одеколоном, другой может целовать иконы, если ему нравится, но такое всенародное идолопоклонство и обман толпы просто невероятны!..

По поводу войны Лев Николаевич постоянно говорит, что, несмотря на его отношение к войне и вообще к патриотизму, он в глубине души чувствует всегда невольную боль при поражении русских.

Я слышал, как он говорил это при Горбунове, Бутурлине и еще при ком-то; все они энергично отрицали в себе такое чувство невольного «патриотического пристрастия». Мне кажется — они просто боятся в нем сознаться даже перед самими собой.

22 октября. Мечников прислал Льву Николаевичу свою книгу («Этюды о природе человека») на французском языке. Лев Николаевич ее прочитал [24].

Нынче он сказал мне:

— Я много вынес из этой книги интересных сведений, так как Мечников, несомненно, большой ученый. Только удивительна в нем самодовольная ограниченность, с какой он убежден, что решил чуть ли не все вопросы, волнующие человека. Он так уверен, что счастье человека в его животном довольстве, что, называя старость злом (вследствие ограничения в ней способности физического наслаждения), даже и не понимает, что

есть люди, думающие и чувствующие совершенно наоборот. Да, я дорожу своей старостью и не променяю ее ни на какие блага мира.

Зашел разговор о стремлении всех женщин поступать на курсы.

Лев Николаевич сказал, смеясь:

— Будь я министром, я издал бы указ, по которому все женщины были бы обязаны поступать на курсы и лишались бы права вступать в брак и иметь детей. За нарушение этого распоряжения виновные подвергались бы строгому административному взысканию. Наверное, все бы замуж повыходили!..

Лев Николаевич с негодованием говорил о писательстве (это было еще 28 августа) как о профессии. Редко видел я его таким возбужденным.

Между прочим, он сказал:

— Писать надо только тогда, когда каждый раз, что обмакиваешь перо, оставляешь в чернильнице кусок мяса...

1905

13 февраля. О конституции в России Лев Николаевич сказал (это было в разгар пресловутой «весны», возвещенной Святополк-Мирским) [1]:

— Едва ли можно ждать ее теперь. Главнейшие препятствия: 1) реакционная, еще очень сильная партия и правительство, опирающееся на войска; 2) радикальная партия, считающая конституцию полумерой и боящаяся, что слишком многие на этом примирятся; 3) люди христианских убеждений, не в этом видящие цель и смысл борьбы и, наконец, 4) это едва ли не самое главное препятствие — народ, в котором еще очень сильна вера в царя и который объясняет все попытки образованных классов ограничить царскую власть как противодействие царю, желающему отнять землю у помещиков и отдать народу. Кроме того, в народе еще сильно чувство к царю как свыше поставленному главе, о котором говорили славянофилы.

На святках (5 января) Миша Сухотин читал книгу профессора Коркунова о русском государственном праве [2]. Лев Николаевич взял ее и стал просматривать.

Просидел чуть ли не весь вечер и вышел взволнованный и возбужденный.

— У меня даже перебои сделались, — сказал он. — В этой, да и вообще во всех юридических книгах, трактующих о разных «правах», говорится о чем угодно, только не о существе дела. Говорится о «субъекте» и «объекте» права, — я никогда не мог понять и никто не мог растолковать мне, что, собственно, под этими словами подразумевается, — и тому подобной путанице; но как только дело доходит до существа вопроса, сейчас же автор отклоняется в сторону и прячется за своими «объектами» и «субъектами».

Миша Сухотин пытался объяснить, что́ подразумевается под «субъектом» и «объектом» права, но своими сбивчивыми «объяснениями» только подтвердил слова Льва Николаевича.

Дальше Лев Николаевич сказал:

— Вот что удивительно: я всю жизнь стремился к знанию, искал и ищу его, а так называемые люди науки говорят, что я отрицаю науку; я всю жизнь занят религиозными вопросами и вне их не вижу смысла в человеческом существовании, а так называемые религиозные люди считают меня безбожником...

Тогда же, в январе (2-го или 3-го), Лев Николаевич рассказывал содержание своей новой статьи «Единое на потребу» [3], которую я 21—22 февраля прочел в Ясной почти законченной.

Лев Николаевич говорил, что ему хотелось бы написать целую серию рассказов для «Круга чтения», который он теперь составил, и что у него намечено уже много тем для этого [4].

— Жить остается только одну минуту, а работы на сто лет, — сказал он, как часто теперь говорит.

А когда потом, вечером, я играл прелюдии Шопена и сыграл первую, Лев Николаевич сказал:

— Вот какие надо писать рассказы!

Был тогда же интересный разговор о «Душечке» Чехова, по поводу письма Горбунова, отсоветовавшего помещать этот рассказ в «Круг чтения». Лев Николаевич, наоборот, решил непременно его оставить и отзывался с большой похвалой об этом рассказе. Я не стану записывать его слов, так как только на днях Лев Нико-

лаевич написал предисловие к «Душечке» *, в котором ярко выразил свое отношение к этому рассказу[5]. Последнюю страницу этого предисловия, написанную при мне в Ясной, Лев Николаевич подарил мне. Этот автограф хранится у меня.

О письме Горбунова Лев Николаевич сказал:

— Я чувствую здесь женское на него влияние. Современное путаное мировоззрение считает устарелою, отжившею способность женщины отдаться всем существом любви, — а это ее драгоценнейшая, лучшая черта и ее истинное назначение, а никак не сходки, курсы, революции и т. д.

О бетховенской музыке Лев Николаевич сказал, что она иногда приедается ему, как это, по его мнению, часто бывает с тем, что сразу очень поражает. То же, например, было у него с картинами Ге.

12 июня. Лето мы с женой проводим в Телятинках, небольшом имении Александры Львовны, верстах в трех от Ясной Поляны.

На днях в Ясной читал только что законченный Львом Николаевичем превосходный рассказ «Корней Васильев». Лев Николаевич пишет сейчас опять новый рассказ «За что?». Недавно написал рассказ «Молитва»[6].

Все эти рассказы будут им, вероятно, помещены в отделе так называемых «недельных чтений» в большом сборнике (в двух томах) изречений писателей и мыслителей всех времен и народов, расположенных в календарном порядке. Над собранием этим, которое Лев Николаевич назвал «Круг чтения», он работает уже больше года. Результатом первого опыта был небольшой сборник: «Мысли мудрых людей»[7], составленный Львом Николаевичем еще в Крыму.

---

* Когда «Душечка» Чехова была напечатана в журнале «Семья», кто-то в тот же день вечером принес ее Льву Николаевичу. Он пришел от этого рассказа в полное восхищение, много раз читал его вслух, угощая им не читавших его посетителей. Я раза три слышал «Душечку» в его чтении. Читал Лев Николаевич чудесно. Очень просто, как будто сам что-то рассказывал. Еле заметными, почти неуловимыми изменениями интонаций он отличал реплики различных персонажей рассказа. Антрепренер, ветеринар, сама «Душечка» как-то незаметно оживали в его передаче. Единственным минусом его чтения было то, что он не всегда мог оставаться беспристрастным. В комических местах иногда начинал сам до слез смеяться, а в трогательных обливался слезами.

16 июня. Еще с февраля записаны у меня слова Льва Николаевича:

— Бессмертие, разумеется неполное, осуществляется, несомненно, в потомстве. Как сильно в человеке стремление к бессмертию, яснее всего видно в постоянной заботе о том, чтобы оставить по себе след после смерти. Казалось бы, какое человеку дело до того, что́ о нем скажут и будут ли его помнить, когда он исчезнет, а между тем, сколько усилий делает он для этого.

Лев Николаевич говорил о молоканах, что ему несимпатичен их религиозный формализм. Он проводит в этом отношении параллель между молоканами и англичанами.

У Льва Николаевича был Вогюэ-сын [8], о котором он сказал:

— Это типичный француз во всем, начиная от панталон до образа мыслей. Его отец перевел «Три смерти» и писал мне давно об этом [9]. У меня на совести осталось, что я ему не ответил, и я был рад случаю высказать это сыну.

Льва Николаевича очень удивил рассказ молодого Вогюэ о том, что его отец работает по ночам и много при этом курит.

Лев Николаевич сказал:

— Мне представляется, что француз должен утром, обтеревшись одеколоном докрасна, напиться кофе и сесть спокойно работать.

— Я всегда пишу по утрам. Мне приятно было недавно узнать, что Руссо также утром, проснувшись, делал небольшую прогулку и садился за работу. Утром голова особенно свежа. Лучшие мысли чаще всего приходят утром после пробуждения, еще в постели или на прогулке. Многие писатели работают по ночам. Достоевский писал всегда ночью. В писателе всегда должны быть двое — писатель и критик. И вот, при ночной работе, да еще с папиросой, хотя творческая работа идет энергично, критик большей частью отсутствует, и это очень опасно.

О музыке Лев Николаевич часто говорит, что не может найти подходящего определения ее.

Как-то весной он сказал:

— Музыка — это стенография чувства. Так трудно поддающиеся описанию словом чувства передаются не-

посредственно человеку в музыке, и в этом ее сила и значение.

Как-то, еще довольно давно, Лев Николаевич сказал:

— Жизнь — настоящее. Все пережитое человеком остается в нем как воспоминание. Мы всегда живем воспоминаниями. Я часто сильнее чувствую не пережитое мною действительно, а то, что я писал и переживал с людьми, которых описывал. Они сделались так же моими воспоминаниями, как действительно пережитое *.

Теперь на днях был аналогичный разговор.

Лев Николаевич сказал:

— В то время, когда так называемые несчастья случаются, их обыкновенно не чувствуешь, как рану в момент ее получения, и только постепенно сила горя растет, сделавшись воспоминанием, то есть став не вне меня, а уже во мне. Однако, прожив свою долгую жизнь, я замечаю, что все дурное, тяжелое не сделалось мною, оно как-то проходит мимо; а, наоборот, все те хорошие чувства, любовные отношения с людьми, детство — все хорошее — с особенной ясностью встает в памяти.

Татьяна Львовна сказала:

— А как же у Пушкина «Воспоминание» — «свой длинный развивает свиток»; и дальше «и с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю» и т. д.

Лев Николаевич ответил:

— Это совсем другое. Уметь переживать и живо чувствовать все свое зло с такой силой — это драгоценное, нужное свойство. Счастлив и особенно значителен только такой человек, который умеет это так живо переживать, как Пушкин.

6 июля. Ходили на песочные ямы.

Во время прогулки Горбунов спросил про религиозно-философскую книгу Александра Добролюбова («Из книги невидимой» [10]).

Лев Николаевич сказал о книге Добролюбова:

— Она неясна, фальшива, искусственна. Кое-что хорошо.

По этому поводу заговорили о писательстве.

---

* Очень интересно нигде мне больше не встречавшееся признание Льва Николаевича о глубокой реальности для него созданных им художественных образов. Особенно удивительно, что они в его воспоминании часто остаются более живыми, чем подлинные живые люди.

Лев Николаевич сказал:

— Удивительно — во всяком, даже маленьком деле нужно обдумать все много раз со всех сторон, прежде чем сделать. Все равно, если будешь рубаху шить или даже просто делать шахматный ход. И если не обдумаешь, сразу все испортишь — рубахи не сошьешь, партию проиграешь. Только писать можно все, что угодно, и не только не замечают этого, но можно и писателем прослыть...

Лев Николаевич сказал еще (в это время мы шли втроем — Лев Николаевич, Владимир Кристи и я):

— Вся работа писателя должна сводиться к совершенствованию себя. Я всегда старался и стараюсь уяснить себе занимающий меня вопрос до такой степени, чтобы почувствовать, что довел его до высшей доступной мне степени ясности. В этом должна заключаться работа писателя. Самая опасная вещь — это учительство. Я думаю, что мне не случалось учительствовать. Нет, случалось... Но это всегда было дурно.

И. И. Горбунов рассказал, что «Посреднику» цензура разрешила хорошую книжку, в которой совершенно беспристрастно описывается путешествие в Саров.

Лев Николаевич сказал:

— Я не сочувствую, когда такие явления описывают в тоне насмешки или грубого издевательства. Здесь много искренней, наивной веры, с которой нужно обращаться осторожно. У какой-нибудь наивно верующей старухи, несмотря на все нелепое суеверие, чувствуешь, что основание ее веры есть истинное стремление к высшему, к истине. Ее миросозерцание гораздо выше миросозерцания профессора, который давно уже решил все вопросы.

В. Г. Кристи, гулявший с нами, спросил Льва Николаевича:

— Что, если такая старуха заговорит о вере, нужно ли разрушать ее иллюзии и говорить с ней откровенно, что думаешь?

Лев Николаевич ответил ему:

— Для меня нет этого вопроса. Если я буду говорить о религиозных вопросах, я всегда буду высказывать свои мысли, если я верю в то, что говорю, а если мои слова будут непонятны — это не мое дело, но я не могу говорить не то, что думаю.

Кристи очень привлекательный, духовно ищущий, переживший тяжелую драму (убил из ревности к молодой жене своего дядю, бывшего много лет московским губернским предводителем дворянства, князя П. Н. Трубецкого. Дело было замято и до суда не дошло).

Раньше о Серафиме Саровском Лев Николаевич сказал, что это был, кажется, очень хороший человек, вроде Тихона Задонского, и Лев Николаевич назвал еще кого-то, не помню.

Ф. И. Маслову Лев Николаевич сказал о книге «Речи Г. Джорджа»[11]:

— Это прекрасная книга; она так хороша, что ее мог бы и не ученый написать.

В связи с тем, что за последнее время в России делаются министрами люди, до тех пор совершенно непричастные к тому делу, которым они должны управлять, Лев Николаевич сказал как-то Давыдову:

— Попробуйте сшить сапоги, если вы не сапожник, или печь сложить, если вы не печник. Ведь нельзя. А быть министром — сколько угодно. Очевидно, что тут так много дела и так запутано и неясно, что, собственно, нужно делать, что ничего сделать нельзя, а поэтому всякий может завтра стать министром чего угодно.

13 июля. Лев Николаевич сказал как-то:

— Земледельческие классы — это ноги, на которых стоит все туловище народа. У западноевропейских народов их ноги уже не могут держать туловища, и они держатся на чужих ногах — покупают хлеб. Россия еще стоит на своих ногах, но все стремится стать туловищем, ноги все становятся слабее, а туловище все больше.

Н. Н. Гусев читал стихи крестьянина Ф. Е. Поступаева[12].

Лев Николаевич сказал об этих стихах:

— В них, несмотря на недостатки формы, несомненно есть истинное поэтическое чувство, которого не подделаешь. Это сразу чувствуется. Мне раз дал один поэт свои стихи, и я попал на такой стих:

«В восторг приходят трясогузки!»... и кончено! Сразу видно, что у этого человека нет поэтического чувства.

Лев Николаевич читал биографию Г. Джорджа, написанную его сыном[13].

Он сказал о Джордже:

— Энергическая деятельность Джорджа, его речи, которые он произносил иногда по четыре в день, разъезжая по Америке, Англии, Австралии, не имели того значения, которое им приписывали. Правда, он был окружен атмосферой внешнего успеха, ему пожимали руки, он говорил толпе из коляски, но это поверхностное впечатление не оставляло глубокого следа. На эту деятельность только напрасно расходовались силы и здоровье Джорджа. Книги же его, которые не могли иметь такого шумного внешнего успеха, как его речи, имеют огромное, все растущее значение. Это невольно наводит на мысль, что никак не следует стараться искусственно распространять свои мысли, что это не приносит ожидаемых результатов, а часто совершенно обратные...

Лев Николаевич вспомнил слова (кажется, Джорджа), что как прочность цепи измеряется крепостью самого слабого ее звена, так и крепость народа измеряется состоянием его пролетариата.

Ко Льву Николаевичу приходили еще в прошлом году, и теперь снова, двое молодых людей [14], очень милых, ищущих хорошей жизни, которые оказались балетными танцовщиками из московского Большого театра. Необходимость содержать семью мешает им переменить профессию.

Лев Николаевич очень их хвалил.

Потом он, смеясь, сказал:

— Если бы у меня теперь были дети, я бы отдал их в балет; во всяком случае, это лучше университетов: в балете им могут испортить только ноги, а в университете — голову.

Супружество Лев Николаевич сравнил как-то с маленькой лодочкой, в которой двое плывут по бурному морю.

— Тут всякий должен сидеть тихо и не делать резких движений, а то лодка опрокинется.

Говоря о современных планах конституции в России, Лев Николаевич заметил:

— Беда в том, что господа Петрункевичи и компания будут стараться только о том, чтобы сказать что-нибудь поумнее, разыграть из себя русских Бебелей, и

эта партийная игра составит все содержание деятельности народных представителей.

О войне Лев Николаевич сказал:

— Отрадная сторона неудач русских на войне заключается в том, что, как ни искажают люди истинно-христианское учение, все-таки его смысл настолько проник уже в сознание народа, что война не может стать для него, как для японцев, священным делом, на которое, отдавая жизнь свою он становится героем, делает великое дело. Взгляд на войну как на зло все более проникает в сознание народа.

Лев Николаевич сказал об японцах:

— Японцы мне совершенно непонятны и неизвестны. Я вижу их удивительную способность усвоить и даже повести еще дальше внешнюю европейскую культуру, и главным образом ее отрицательные свойства, но духовная сущность японцев мне совершенно неясна. Япония, между прочим, показала, что всю прославленную тысячелетнюю европейскую цивилизацию можно усвоить и даже перещеголять в несколько десятков лет.

Лев Николаевич сказал:

— Удивительно, как мы присвоили только известной категории сведений наименование образованности. Мужика, который имеет огромный запас знаний о растениях, о животных, о земле, погоде и т. д., мы почему-то называем необразованным, а какого-нибудь невежду во всем, студента — образованным.

Лев Николаевич сказал еще:

— В Самаре мужики узнавали плодородие земли на вкус, они ели землю и по вкусу решали, хороша ли она.

Зашла речь о психологии толпы.

Лев Николаевич сказал:

— Это интересный и еще мало разработанный вопрос. Это гипноз, имеющий страшную власть над человеком. Здесь есть один момент вначале, когда еще можно удержаться. Меня теперь больше не заражает зевота, потому что я всегда вспоминаю об этом. Когда видишь бегущую толпу, следует вспомнить о том, что не знаешь, отчего бегут, и осмотреться; и как только выделишь так себя из толпы, сейчас избавишься от опасности подпасть под гипноз.

Мы играли в шахматы на террасе, а в зале пела Софья Николаевна «Wanderer» Шуберта.

Лев Николаевич сказал:

— Ах, этот Шуберт! Много он вреда наделал!

Я спросил: чем?

— А тем, что у него была в высшей степени способность соответствия между поэтическим содержанием текста и характером музыки. Эта редкая его способность породила множество подделок в музыке под поэтическое содержание, а это отвратительный род искусства.

Запели Глинку.

Лев Николаевич сказал:

— Вот, грешный человек... — Интересная шахматная комбинация не дала Льву Николаевичу докончить фразу.

Потом он сказал:

— В Глинке я чувствую, что он был нечистый, чувственный человек. Всегда чувствуешь самого человека в его музыке. Юноша, светлый, непосредственный Моцарт, наивный Гайдн, суровый, самолюбивый Бетховен — слышны в их музыке.

У Софьи Андреевны был профессор Снегирев *.

Лев Николаевич сказал про него:

— Он выпивает, но приятный человек; православный, но симпатичного типа, несколько народного. Но это, как большинство медиков, совершенно невежественный человек. Он ничего не читал, не знает. В письме — это пустяк, но типично, написал слово «истина» через два «н».

22 июля. Лев Николаевич чувствует себя отлично, за исключением частых желудочных недомоганий. Софья Андреевна все время больна, почти не встает с кресла и чувствует сильную боль в левом боку. Два раза приезжал к ней Снегирев.

Нынче приезжал к нам в Телятинки верхом со Львом Львовичем Лев Николаевич, сидел довольно долго на балконе, пил чай и играл со мной в шахматы. От нас поехал на Воронку купаться.

---

* В один из приездов Снегирева Лев Николаевич прочел при нем за вечерним чаем только что написанный им для «Круга чтения» рассказ «Ягоды». При чтении сцены с доктором Снегирев от души смеялся.

Лев Николаевич вновь начал летом купаться и не прекращал до самой смерти.

Лев Николаевич часто заезжал к нам в Телятинки. Не всегда слезет с лошади, но всегда поговорит, ободрит, что-нибудь расскажет, а то и зайдет, посидит. Раз приехал, когда жена моя горчицу делала (а у нас ее делали по особому способу и клали туда печеные яблоки). В Ясной за обедом он сказал:

— Я заезжал к Гольденвейзерам. У них горчицу делают с одеколоном.

Когда Лев Николаевич заходил к нам днем, я иногда предлагал ему сыграть в шахматы. Мы раза два-три с ним играли. Потом он не стал. Говорит:

— Я не буду играть в шахматы у вас, а то я стал замечать, что меня тянет к вам заехать сыграть партию, а этого днем делать не следует.

Во Льве Николаевиче было непередаваемое свойство особой душевной деликатности и чуткости по отношению к людям. Однажды летом 1905 года мы сидели днем у себя на балконе за какой-то едой. Неожиданно вошел пришедший из Ясной пешком Лев Николаевич. Поздоровавшись, он вынул из кармана телеграмму и сказал:

— Простите, я по ошибке распечатал — это вам. У вас горе случилось.

Телеграмма извещала о смерти сына моей сестры Марии Борисовны. Лев Николаевич сказал все это как-то непередаваемо просто и тихо и незаметно ушел, оставив нас одних.

26 июля. Лев Николаевич пишет статью, которая называется «Начало конца» [15].

У него был корреспондент какой-то [16], которому он высказал несколько мыслей, служащих основанием статьи:

— Современное движение в России — движение мировое, важность которого еще мало понимают. Это движение, которое, как французская революция когда-то, может быть даст своими идеями толчок на сотни лет. Русский народ обладает в высшей степени способностью к организации и самоуправлению. Он как бы уступил свою власть правительству и ждал, как раньше освобождения от крепостного права, освобождения земли.

Землю ему не дали, и он сам совершит эту великую реформу. Наши революционеры совершенно не знают народа и не понимают этого движения. Они могли бы содействовать ему, а они только мешают. В русском народе, мне кажется, — и я думаю это не от пристрастия, — больше христианского духа, чем у других народов. Вероятно, причина этого та, что русский народ чуть ли не на пятьсот лет раньше европейских узнал евангелие, которое на западе до Реформации совершенно не было известно народу.

Лев Николаевич считает случаи с броненосцем «Потемкиным»[17] или с эскадрой Небогатова[18] важными признаками, указывающими начало неподчинений народа тому, что он считает злом или чего он не хочет.

27 июля. Лев Николаевич выражал удивление, что историки говорят о Гусе, Лютере, а о таком, как Хельчицкий[19], даже не упоминают. А между тем, это удивительный религиозный мыслитель.

Лев Николаевич рассказал про американскую секту шэкеров. Он их хорошо знает и был в переписке с одним из них, стариком лет девяноста[20].

Лев Николаевич сказал:

— Шэкеры — замечательная секта. Они строго целомудренны. Они говорят про себя, что люди делают кирпичи, а мы уже воздвигаем здание. Они в основание своей жизни кладут принцип непротивления злу насилием. Однако, живя нравственной, трудовой жизнью, они очень разбогатели. Я спрашивал их, как им удается ограждать свою большую собственность без насилия, так как они живут среди людей, не признающих их учения. Ответы шэкеров на этот вопрос всегда отличались сбивчивостью и неясностью. Очевидно, они пользовались защитой и поддержкой тех, кто ограждает собственность силой. Я ехал раз в Москву и вышел в Серпухове в буфет поесть. В буфете какой-то офицер, высокий с черными усами, очевидно пьяный, шумел и грубо ругал всех, и лакеев и буфетчика, за дурное кушанье. Сначала мне было отвратительно смотреть и слушать его брань; но потом я вдруг почувствовал, что едва ли не благодаря таким господам можно еще иногда получать на станциях свежую пищу. Вот на таких, только в другой форме, опираются шэкеры по отношению к соб-

ственности. В философской стороне их учения какая-то путаница. Бога, например, они считают двойственным: бог *мужской* и бог *женский* и т. д.

Лев Николаевич порицал сложность и искусственность современного искусства вообще и музыки в частности.

— Разумеется, — сказал он, — если я люблю искусство, то я не могу любить никакое искусство, а люблю то, которое существует. Но передо мною всегда идеал высшего искусства, ясного, простого, всем доступного...

Я рассказывал, как долго и педантично приходится учить фортепианные пьесы для того, чтобы их хорошо играть. Лев Николаевич находил опасным это «зубрение».

Он сказал:

— При этом может утратиться то непосредственное, свежее чувство, с которым относишься к новому произведению искусства. Я знаю по себе, — когда начинаешь что-нибудь писать, работаешь с увлечением, с интересом, и работа идет хорошо, а потом начинает надоедать одно и то же, становится скучно. Разумеется, любовь к делу существует, и эта любовь сильнее скуки, и любовью скуку побеждаешь, но все-таки скука есть.

Я говорил о сложности некоторых сочинений Шопена, которого Лев Николаевич очень любит.

— Ну, и он ошибается, — возразил Лев Николаевич и улыбнулся. — Это я раз у Олсуфьевых в деревне по поводу погоды и уборки хлеба сказал старику лакею, а он был скептик и пессимист, что бог знает, что делает, а он мне на это ответил: «Тоже и он ошибается».

О художественном творчестве Лев Николаевич сказал:

— Хуже всего начать работу с деталей, тогда в них запутаешься и потеряешь способность видеть целое. Надо, как Похитонов[21], у которого очки с двойными, пополам разделенными (дальнозоркими и близорукими) стеклами, смотреть то в одни, то в другие, надевать то светлые, то черные стекла.

Я вспомнил афоризм Лихтенберга об уменьшительном стекле, который Льву Николаевичу очень понра-

вился. Вот он: «Если проницательность — увеличительное стекло, то остроумие — уменьшительное. Не думаете ли вы, что открытия делаются только с помощью увеличительного стекла? Я думаю, что в мире интеллектуальном уменьшительным стеклом или, по крайней мере, инструментом, подобным ему, было, пожалуй, сделано больше открытий».

28 июля. Бирюков показывал Марии Николаевне (сестре Льва Николаевича) старые письма брата Николая (французские). Лев Николаевич вспомнил при этом, что с детства так привык писать по-французски, что уже совершенно взрослым сохранил эту привычку.

Когда он жил с Тургеневым в Париже, он раз сел писать брату письмо. Тургенев подошел и, увидев, что он пишет по-французски, очень удивился и спросил у Льва Николаевича, почему это. Лев Николаевич говорит, что до тех пор ему казалось, что иначе нельзя, так он привык переписываться по-французски.

В Ясной Поляне гостит И. К. Дитерихс.

Недавно вечером И. К. Дитерихс и М. П. Накашидзе привели ко Льву Николаевичу какого-то инженера-революционера (не помню фамилии) и крестьянина Журавлева[22], который принадлежит к понимающим евангелие не догматически. Этот Журавлев был арестован и недавно выпущен из тюрьмы. Теперь он, очевидно, подпал под влияние революционеров, которые создают ореол из его ареста. Я не был при разговоре на террасе, но, сидя в зале, слышал по голосу, что Лев Николаевич очень волнуется.

Он пришел наверх очень расстроенный и все твердил:

— Зачем они привели его ко мне?!

Лев Николаевич говорит, что Журавлев сказал ему:

— Теперь я принял крещение (про свое пребывание в тюрьме).

В поднявшемся споре инженер своими взглядами возмутил Льва Николаевича, но особенно больно ему было за Журавлева.

Лев Николаевич сказал ему:

— Вам стыдно говорить так; он (инженер) — отпетый, а вы должны помнить, что Христос страдал за

истину и что за правду по голове не погладят. И если вы за правду пострадали, то вы радоваться должны.

Лев Николаевич, по его словам, говорил с ним резко и много раз в продолжение вечера повторял, что ему совестно за свою горячность.

Когда мы после этого играли в шахматы, Лев Николаевич сказал:

— Это со мной много раз случалось: придет в голову какая-нибудь мысль, и в первую минуту скажешь, что это парадокс, потом еще раз подумаешь, потом еще и еще и в конце концов увидишь, что это не только не парадокс, а несомненная истина. Так было со мной по отношению к так называемой науке, так это случилось по отношению к революционерам. С ними спорить совершенно бесполезно: они глухи к истине.

Как-то за обедом зашла речь о вегетарианстве. Стали в пользу его приводить разные доводы.

Лев Николаевич сказал:

— Во всяком случае, есть один самый простой, но несомненный довод: когда мы видим, что мальчик мучает животных, мы отнимаем их от него и внушаем ему, как это дурно; сами же для своего удовольствия ежедневно мучаем и убиваем животных, чтоб их есть. Это просто и несомненно *.

1 августа. Говорили о ругательных письмах, почти всегда анонимных, которые получает Лев Николаевич. Он рассказал, что чуть ли не два года подряд получал постоянно бессмысленные ругательные письма из Одессы от Великанова [23]. Кто-то из Одессы узнал про него и говорил, что, по словам его жены, его подгова-

---

* В этом разговоре о вегетарианстве Лев Николаевич сказал возражавшему против вегетарианства (не помню — кто это был) приблизительно так:

— По отношению к вегетарианству людьми, едящими мясо, почему-то предъявляются самые крайние требования. Они говорят: «Почему не есть мясо? А растения — разве они не живые? Да, наконец, мы каждым своим шагом, каждым дыханием все равно уничтожаем мириады жизней...» Это доводы, простите меня, самые неосновательные. У каждого есть свой предел: один не ест мяса, другой и рыбы, третий не ест молока и яиц. Каждый, если он сознает зло, должен стараться делать его возможно меньше. А это самое ужасное рассуждение: если я не могу всего, значит я ничего не буду делать,

ривают писать Льву Николаевичу какие-то монахи. Лев Николаевич пробовал отсылать ему письма без марок обратно, думая, что он прекратит писать, чтобы не платить за обратную пересылку. Но ничто не помогало, и он ругался пуще прежнего. Кончил он эффектно: прислал посылку наложенным платежом; она долго лежала на почте; наконец кто-то выкупил ее, и там оказались наклеенные на картоне изображения «nues» в различных позах.

Лев Николаевич говорит, что ему всегда хочется спросить такого корреспондента:

— Ну, за что ты меня ругаешь?

— Раз, я был тогда моложе и горячее, — сказал Лев Николаевич, — я ехал верхом с Козловки. Вдруг какой-то пьяный мужик стал меня ругать самыми отборными ругательствами. Я отъехал, а потом мне стало досадно, и я вернулся назад, подъехал к нему и спросил: «За что ты меня ругаешь? Что я тебе сделал?» Я помню, это произвело на него сильное впечатление. Он ждал, что я его прибью или обругаю. Он снял шапку и был смущен и удивлен.

Лев Николаевич по случаю пребывания Бирюкова, который пишет его биографию [24], и приезда сестры Марии Николаевны опять занялся своими воспоминаниями [25].

Он сказал раз:

— Удивительно, как все прошедшее становится *мною*. Оно во мне, как какая-то сложенная спираль. Трудно только быть совершенно искренним. Иногда вспоминаешь все только дурное, другой раз — наоборот. Недавно я все только вспоминал самое дурное — поступки, события. Так трудно удержать баланс, чтобы не преувеличить в ту или другую сторону.

Как-то, когда мы все были в Ясной, много говорили о философских вопросах по поводу Канта, которого брат мой читает, Лев Николаевич сказал:

— То, что мы называем пространством, — это наша способность в одно и то же время представлять себе два или несколько предметов. Время же — это наша способность представлять два или несколько предметов в одной точке пространства.

Лев Николаевич сказал:

— О боге знать ничего нельзя, он нужная нам гипотеза, или, вернее, единственное возможное условие нрав-

ственной разумной жизни. Как астроном для своих наблюдений должен отправляться от земли как от неподвижного центра, так и человек без идеи о боге не может разумно и нравственно жить. Христос всегда говорит о боге как об отце, то есть именно как об условии нашего существования.

Говорили о математике.

Лев Николаевич сказал:

— Когда я учил мальчиков, мне обыкновенно удавалось хорошо объяснять неспособным к математике. Это происходило оттого, что я сам мало к ней способен, и мне приходилось проделывать этот процесс уяснения над самим собою.

Лев Николаевич рассказал, как стал делать с мальчиками умножение, начиная от чисел высшего порядка, а когда попробовал производить деление, начиная с единиц, сам сбился.

---

2 августа. Лев Николаевич и Мария Николаевна вспоминали про некоего Воейкова[26]. Он когда-то был гусаром, а потом сделался монахом. Во времена молодости Льва Николаевича он постоянно бывал в Ясной, вечно пьяный, оборванный, в монашеской одежде, и врал немилосердно.

Лев Николаевич вспомнил его рассказ:

— Сидим мы в ложе — Михаил Илларионович (Кутузов), еще кто-то, Александр Павлович (Александр I) и я. Поет Зонтаг. Вышла к рампе. Грудь у нее — во! (он делает жест рукой, долженствующий указать размеры ее бюста). Александр Павлович и говорит мне: «Воейков, что это?» А я ему отвечаю: «Организм, ваше величество!»

— А раз он, после всех юродств и вранья, вдруг подсел ко мне в саду и говорит: «Скучно мне, Левочка»...

Мария Николаевна спросила Льва Николаевича, почему он никогда не описал Воейкова.

— Бывают в жизни, — сказал Лев Николаевич, — события и люди — как в природе картины, которых описать нельзя: они слишком исключительны и кажутся неправдоподобными. Воейков был такой. Диккенс таких описывал.

Говорили о спорах.

Лев Николаевич сказал:

— Когда двое спорящих оба горячатся, это значит, что оба неправы. Есть люди, с которыми спорить нельзя. Они неспособны понять истины. О таких в евангелии жестоко сказано: «Не мечите бисера перед свиньями». (В «Учении двенадцати апостолов»[27] сказано по этому поводу очень хорошо: «Одних обличай (тех, кто может понять, но не сознает еще), о других молись (о тех, кто глух к истине), с третьими ищи общения постоянно».

3 августа. Зашла речь о Лобачевском и его учении о пространстве многих измерений. Лев Николаевич помнит Лобачевского, который был профессором и ректором Казанского университета в то время, когда Лев Николаевич был там студентом. Дальше стали вспоминать разных математиков, среди которых часто встречаются чудаки. Лев Николаевич вспомнил старика князя Сергея Семеновича Урусова, севастопольского героя, который был математик и прекрасный шахматист[28].

Лев Николаевич сказал о нем:

— Он вставал в три часа, ставил себе самовар, который ему с вечера заготовлял денщик и даже вкладывал лучину, так что оставалось только зажечь, и начинал вычисления. Урусов отыскивал способ решать уравнения всех степеней. Он сделался впоследствии маньяком. Из его вычислений ничего не вышло. Когда он, думая, что пришел к положительным результатам, решился сделать доклад в математическом обществе, то после его доклада воцарилось неловкое молчание, и всем стало совестно...

Лев Николаевич сказал еще:

— Меня всегда удивляло, что математики, такие точные в своей науке, так неясны и неточны, когда они пытаются философствовать.

Лев Николаевич упомянул Некрасова и Бугаева. Бугаева он знал лично.

Лев Николаевич вспомнил, как он был однажды вечером у Бугаева:

— Жена его была неприятная дама. В тот вечер она была декольте, и, как всегда в таких случаях, чувствуешь что-то лишнее, ненужное, не знаешь, куда глаза девать. Я вспомнил, глядя на нее, как Тургенев рассказывал, что в Париже постоянно покупал себе утром

булку, которую ему подавала булочница, протягивая её обнаженной рукой, похожей больше на ногу.

— Тогда же вечером был у Бугаева Усов-отец. Это был очень милый человек, выпивавший лишнее. Он тогда только что прочитал «В чем моя вера?»[29] и с большим сочувствием отнесся к этой книге.

20 августа. Льву Николаевичу присылает иногда какой-то господин (не помню фамилии) из Петербурга книги. Недавно он прислал журнал «Современник» за 1852 год, год напечатания «Детства»[30]. Лев Николаевич с большим интересом рассматривал эти книги и говорил, что «Современник» тогда был очень интересен *.

Находившаяся в это время в Ясной Мария Николаевна рассказала, как она в первый раз прочитала «Детство». Она жила тогда с мужем в деревне, в Тульской губернии Чернского уезда, и у них довольно часто бывал Тургенев.

Брат Сергей Николаевич жил там же. Однажды Тургенев прочитал им по рукописи свою повесть «Рудин». В другой раз он привез книжку «Современника» и говорит: «Вот появился новый удивительный писатель; здесь напечатана замечательная его повесть «Детство», — и стал читать вслух. С первых же строк Мария Николаевна и Сергей Николаевич были поражены: — «Да ведь это он нас описал! Кто же это?» Сначала мы никак не могли подумать про Левочку, — продолжала Мария Николаевна. — Он наделал долгов, и его увезли на Кавказ. Скорее еще мы подумали про брата Николая[31].

Говорят, Тургенев в своем «Фаусте» изобразил Марию Николаевну[32].

Заговорили о ненависти Достоевского к Тургеневу. Лев Николаевич очень порицал пасквиль на Тургенева в

---

* Я помню, мы все тогда распаковывали присланные книжки «Современника». Лев Николаевич их с любопытством рассматривал и вспоминал старину — Некрасова, Дружинина, Тургенева и других. Жаль, я тогда не записал всего этого. О Некрасове Лев Николаевич отзывался скорее сочувственно. В натуре Некрасова были какие-то определенные, сильные и честные стороны, вызывавшие в Льве Николаевиче симпатию. Говоря о Дружинине (которого он, по-видимому, любил), Лев Николаевич вспоминал и очень хвалил его повесть «Полинька Сакс», кажется тоже напечатанную в «Современнике». Лев Николаевич сказал: «Ее бы и теперь стоило перепечатать».

«Бесах»[33]. Его всегда очень удивляла эта вражда, так же как вражда Гончарова и Тургенева[34].

Лев Николаевич сказал:

— Я помню, раз как-то сидели поздно вечером на балконе (кажется, в Ясной Поляне) Тургенев, Гончаров, я и еще кто-то. Раздался какой-то звук, и Тургенев стал говорить о неясных ночных звуках, как иногда сидишь ночью и кажется, что кто-то позади тебя в темноте что-то копает. Он сказал это как-то очень картинно, и потом, когда он вышел за чем-то, Гончаров сказал: «Вот он и не дорожит этим, а из него такие перлы так и сыплются!»

— Так что, — продолжал Лев Николаевич, — видно, что Гончаров высоко ценил Тургенева, а между тем, они потом не могли слышать имени друг друга.

Кто-то чьим-то воспользовался сюжетом; какая-то занавеска раздувалась на окне, и это было очень живо, а другой этим воспользовался — и пошло!.. Главное, удивительно необыкновенное значение, которое тогда приписывалось писательству. Это видно, например, по письмам. Постоянно читаешь: я пишу такой-то рассказ, — таким тоном, как будто это мировое событие.

Лев Николаевич с сочувствием отозвался о Писемском как о писателе; он особенно ценит его рассказ «Плотничья артель».

Еще Лев Николаевич сказал:

— Теперь пишут книги люди, которым нечего сказать. Читаешь и не видишь того, кто писал. Всегда они стараются сказать какое-то «последнее слово». Они закрывают собою настоящих писателей и говорят, что те устарели. Это какое-то нелепое понятие — устареть.

Книжки современных писателей именно потому и читаются, что из них можно узнать «последнее слово»; и это легче, чем прочесть и знать настоящих писателей. Такие писатели «последних слов» приносят огромный вред, отучая от самостоятельного мышления.

Когда потом заговорили о Канте, Лев Николаевич сказал:

— В Канте особенно ценно, что он всегда *сам думал*. Читая его, все время имеешь дело с *его* мыслями, и это чрезвычайно ценно.

По поводу чтения современной литературы Лев Николаевич еще сказал:



Л. Н. Толстой, И. И. Мечников, А. Б. Гольденвейзер и Л. Л. Толстой
в Телятинках

— Я гораздо охотнее читаю записки какого-нибудь генерала в «Русской старине», он там поврет немножко, вроде Завалишина [35], о своих достоинствах и успехах, это можно простить, а всегда найдется что-нибудь интересное *.

Лев Николаевич сказал:

— Умственная работа часто утомляет голову, а утомленный не можешь уж так плодотворно работать, как со свежей головой. Вообще в умственной работе очень важен момент. Бывают моменты, когда мысли выходят вылитые как из бронзы, а другой раз ничего не выходит.

25 августа. Мой отец спросил Льва Николаевича, не собирается ли он зимой в Москву.

— Нет, — отвечал Лев Николаевич, — это как одного греческого мудреца осудили на изгнание из Афин, а он ответил судьям, что он, покидая город, осуждает их на пребывание в Афинах. Вот и я вас всех осуждаю оставаться в Москве, — прибавил он, смеясь.

По просьбе Льва Николаевича мы с женой играли в четыре руки симфонии Гайдна.

Лев Николаевич восхищался Гайдном; между прочим, он сказал:

— Едва ли не самое ценное для меня свойство Гайдна — его жизнерадостность, а то теперешний какой-нибудь напьется, испортит себе желудок, а потом говорит, что жизнь — зло.

Еще Лев Николаевич по поводу музыки сказал:

— Как бывает, что вспоминаешь слышанную музыку, а я ее предвкушаю. Вот нынче — я надеваю сапог, а из сапога выскочил менуэт.

Потом Лев Николаевич сказал, что симфонии Гайдна доставляют ему больше удовольствия на фортепиано в четыре руки, чем в оркестре.

На мой вопрос, почему это так, Лев Николаевич сказал:

---

* Вернувшись к своему давнишнему интересу — к эпохе декабристов, Лев Николаевич перечитывал их мемуары — Волконского, его жены, Якушкина, Трубецкого, Гангеблова и многих других, и среди них и Завалишина. Я брал у Льва Николаевича эти мемуары и перечитывал их также. В связи с этим мы говорили с ним о его записках, что в них много интересного, и сам он умный, образованный и значительный человек, но какой-то неприятный, всех бранит, самохвал и немножко Хлестаков.

— Во-первых, возможность совершенства исполнения обратно пропорциональна количеству исполнителей. Самое благоприятное условие — один исполнитель, меньше — два; трио в этом отношении лучше квартета, квартет — квинтета и т. д., камерная музыка — оркестра. При многих инструментах все более утрачивается чистота звука, так как невозможен безусловно чистый строй и интонация, наконец ритмическая точность почти недостижима при большом числе исполнителей; вторая причина — моя субъективная: для меня яркость красок не способствует, а мешает силе впечатления. Особенно я замечаю это на картинах. Я помню, я давно знал и любил «Тайную вечерю» Ге, а когда увидел ее на выставке, впечатление было значительно меньше. Яркие цвета мне просто мешали. Есть копия этой картины (черная) Крамского, она в Румянцевском музее. Будете там, непременно посмотрите. Она на меня производит впечатление гораздо большее. И как с этой картиной, так и с другими.

Разговор перешел на картины. Мой отец вспомнил Сикстинскую мадонну.

Лев Николаевич спросил его:

— Что она, так же висит в отдельной комнате, и так же стоит напротив скамейка, на которую каждый садится и старается сказать что-нибудь свое умное про картину?

Лев Николаевич сказал, что Сикстинская мадонна не произвела на него особенного впечатления.

Рассказывая, как часто присылают ему разные авторы свои сочинения, Лев Николаевич сказал:

— Их так много, что просто не знаешь, куда их девать. Вот Чехов нашел выход, он посылает все такие книги в Таганрог[36]. Вот бы и мне найти какое-нибудь такое место...

Из письма Софьи Андреевны к моей жене:

«1 ноября. Лев Николаевич был все время здоров, но дня три как жалуется на желудок. Все-таки ездил еще сегодня к Марье Александровне верхом. Как и всех нас, его угнетает и огорчает положение дел в России. То ли он старался своими писаниями внушать людям?..»

Из письма Татьяны Львовны:

«5 ноября. Мы все не совсем ясно помним, вы ли взяли у папá Шильдера [37], чтобы его отдать в переплет. Если это вы и если Шильдер готов, то папá просит его ему прислать по возможности поскорее.

Нас грозят здесь разгромить за то будто бы, что здесь скрываются бунтовщики. По теперешнему времени всего можно ожидать...»

Письмо Льва Николаевича ко мне:

«Милый Александр Борисович. Рад был вашему письму, как всегда рад общению с вами. Очень жаль, что не можете добраться до нас. То, что думаю о событиях, я, как умел, высказал в статье «Конец века». Отослал печатать. Хотел бы напечатать в России. Все дело, с моей точки зрения, в том, что наступило время, когда насилие, узаконенное насилие, допускаемое, не осуждаемое, должно быть признано всегда преступлением, несвойственным разумному человеку, и должно быть заменено разумным убеждением, согласием и любовью. Пора людям понять или скорее увидать, что поднявший меч от меча погибает. Замены же насилия разумным согласием и любовью нельзя ждать извне от людей, а надо совершать ее в своей жизни. И потому нельзя быть достаточно строгим и внимательным к себе в такое время, как теперешнее: чтобы не согрешить ни делом, ни словом, ни мыслью, став на ту или на другую стороны людей, борющихся насилием. Вот мое отношение к событиям. А события важные и, я думаю, ведущие к добру, как и вся жизнь. До свидания, привет вашей жене и брату. Продолжает ли он заниматься Кантом, которого он так хорошо понимает.

Лев Толстой.

11 ноября 1905».

В начале декабря Лев Николаевич сказал мне как-то:

— Это только кажется, будто правительство имеет какой-то план, искусно заманивает, а потом ничего не дает и т. д. Оно просто мечется и не знает, что ему делать. Когда смотришь на следы зайца на снегу, можно подумать: какой он умный — делает прыжок, вертится на

одном месте, потом скакнет, и опять, так что следов не найдешь. А между тем, ничуть не бывало: просто он днем идет, вдруг испугается чего-нибудь, присядет, потом прыгнет в сторону и т. д. А мы говорим: «Какой он умный!» Так и правительство. Они там если о чем и думают и желают чего, так это как немцы говорят: «Wenn es nur immer bliebe!» *.

Потом Лев Николаевич сказал еще:

— Хотя мне это на том свете ни на что не пригодится, а все-таки я рад, что дожил до революции. Очень интересно это все!

Андрей Львович приехал из Тамбова и рассказывал, как ужасно там пороли мужиков.

Лев Николаевич сказал по поводу этого:

— Зло не пропадает, а всегда возвращается на того, кто его совершает. Ужасно, если они возбудят злобу в русском мужике; а злоба возбуждается, и зло все растет, и это ужасно!

31 декабря Лев Николаевич рассказывал, как он подсел на телегу к старику крестьянину, ехавшему из Тулы. Старичок чуть-чуть выпил и был очень разговорчив. Лев Николаевич рассказал ему про распределение земли по Генри Джорджу; мысль эта старику чрезвычайно понравилась. Он так увлекся, что, когда Лев Николаевич слез уже на повороте в Ясную с телеги, он ему вдогонку закричал:

— Так ты уж похлопочи, приложи труды, постарайся об этой части!

Говорили как-то за обедом о браках по расчету и сватовству. Лев Николаевич полушутя-полусерьезно сказал, что такие браки скорее могут быть счастливыми, так как молодые люди, влюбленные, не могут зачастую взвесить всех условий для согласной жизни, а родители, зная свойства детей, могут выбрать подходящую невесту или жениха.

— Часто бывает, — прибавил Лев Николаевич, — что у знаменитых писателей возьмут какой-нибудь прием, да еще в большинстве случаев слабый прием, и пользуются им кстати и некстати. Чаще всего это делали по отношению к Гоголю. Вот и в этом случае: Гоголь высмеивал свах, и с его легкой руки писатели стали выводить их

---

* «Если бы навсегда так осталось!» *(нем.)*

в смешном виде, а между тем, это препочтенная профессия.

Лев Николаевич говорил полушутя и смеялся, но доля серьезности, несомненно, была в его словах.

Лев Николаевич тогда же сказал:

— Меня всегда интересовало следить за тем, что может в литературе устареть. Мне интересно, что́ в теперешних писаниях будет казаться таким же устаревшим, как нам теперь какие-нибудь карамзинские — «о сколь!» и т. д. Вот на моей памяти стало невозможным написать длинную поэму в стихах. Мне кажется, что со временем вообще перестанут *выдумывать* художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Ивановича или Марью Петровну. Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случалось наблюдать в жизни.

1906

30 января. На днях получил письмо от Софьи Андреевны от 23 января.

Вот отрывок из него:

«Известие о том, что вы, может быть, приедете поиграть с Сергеем Ивановичем, было встречено у нас в Ясной Поляне шумно-радостно. Жаль будет, если это не осуществится. Теперь беспрестанно говорят: «А вот когда приедут Гольденвейзеры и Танеев, то будет то-то, поедем туда-то кататься и т. д.». Утешать своей музыкой пришлось бы главное троих, никогда теперь не имеющих этой радости. А именно: Льва Николаевича, немощную Марью Александровну и связанную своей дочкой Татьяну Львовну.

На днях перетащим наверх рояль и пошлем за настройщиком...»

В половине января Марья Львовна с мужем и Александра Львовна уехали за границу.

12 февраля. 10 и 11 февраля мы с женой и С. И. Танеев провели в Ясной.

Лев Николаевич сказал Сергею Ивановичу и мне:

— Кантовский категорический императив не случайное понятие, а в нем вся сущность его философии. Все ве-

личайшие философы в своих учениях не совпадают только наружно. «Воля» Шопенгауэра, «субстанция» Спинозы, «категорический императив» Канта — это только с разных сторон освещенная одна и та же духовная основа жизни. И у величайших не научных, а религиозно-нравственных учителей их учения в главном совпадают. Учение Христа и учение Будды очень близки друг к другу. Сознание долга — это борьба человека с его материальной природой. Дуализма, в сущности, нет. Материальное «я», тело и вообще материя — это только ряд отношений, иллюзия, из которой в нашей временной жизни нельзя выйти. Я сознаю себя духовным существом, но я отделен от всего остального мира известными пределами, которые и суть материальный мир. В расширении этих пределов и есть сущность духовной жизни.

— Еще нынче я подумал: я скоро умру, и ясно почувствовал всю условность понятия «скоро». Для эфемерного существа этот мой остаток жизни кажется страшно продолжительным, для существа, живущего десять тысяч лет, — одним мгновением. Длинный, короткий, большой, маленький, твердый стол, мягкая скатерть — все это одинаково нереально.

Лев Николаевич спрашивал Сергея Ивановича об Аренском [1], который очень плох (чахотка), умирает где-то недалеко под Петербургом *. Лев Николаевич интересовался — сознает ли Аренский свое положение и как к нему относится.

Сергей Иванович сказал:

— Он знает, кажется, что близок к смерти, но, я думаю, что лучше бы хотел выздороветь.

Лев Николаевич просил Танеева передать Аренскому экземпляр «Круга чтения», на котором сделал надпись **.

Лев Николаевич сказал при этом:

— Вы, может быть, сочтете меня наивным, но я надеюсь, что ему нужна будет эта книга. Есть вещи, которые перед лицом смерти становятся ненужными, ничтож-

---

* Лев Николаевич часто вспоминал, как Аренский был в Ясной, играл свои вещи (Лев Николаевич любил его музыку за ее естественную простоту и мелодичность). Лев Николаевич говорил:

— Я помню, где он сидел, а тут мы с ним в винт играли (в углу у двери в гостиную). Он был милый, располагающий к себе, как все кутящие, и был мне очень приятен и жалок.

** Книгу не успели вручить Аренскому, он умер до ее прибытия.

ными, а есть такие, которые никогда не могут потерять свою значительность. Я чувствую, что, умирая, говорить своим палачам: «Прости им господи, не ведают бо, что творят» — это нужно, важно; а сыграть самую лучшую симфонию или читать лучшую повесть не нужно. Про Боткина [2] Машенька [3] рассказывает, что, умирая, он просил играть ему «Реквием» Моцарта — это нехорошо.

Раньше С. И. Танеев сказал Льву Николаевичу:

— Читая партитуру давно умершего композитора, вступаешь с ним в духовное общение.

Лев Николаевич с ним согласился и сказал, что разумеется, то же и по отношению к чтению книг.

Мы много играли с Сергеем Ивановичем на двух фортепиано: вторую сюиту Аренского, девятую симфонию Бетховена и др. Сергей Иванович играл четвертый концерт Бетховена, а я — концерт Шумана, причем мы друг другу аккомпанировали. Против моего ожидания, Льву Николаевичу очень понравился концерт Шумана и сравнительно мало — бетховенский. Я объясняю себе это отчасти тем, что Сергей Иванович, превосходно играющий этот концерт, на этот раз играл его менее удачно (довольно грубо), чему способствовал и разбитый яснополянский инструмент, к которому он, давно не бывавший в Ясной, не мог сразу приноровиться. Девятая симфония произвела на Льва Николаевича большое впечатление.

Лев Николаевич давно, в молодости, сочинил вальс. Хотя он сам не вполне уверен в своем авторстве, все-таки он по нашей просьбе сыграл нам его, и мы с Сергеем Ивановичем его записали.

Лев Николаевич читает с младшим сыном М. С. Сухотина Дориком «Мысли мудрых людей», объясняя прочитанное. Занятие это, кажется, одинаково радостно для обоих.

15 апреля. Письмо Льва Николаевича ко мне:

«Как жаль, что вы хвораете, милый Александр Борисович. Ждем вас. Спасибо, что написали.

Привет Анне Алексеевне.

Любящий вас

Л. Толстой.

12 апреля 1906».

Из письма Александры Львовны:

«27 апреля. ...У нас так хорошо, что лучше быть не может. Яблони осыпаны цветом, сирень и ландыши рас-

пускаются, а соловьи так и разливаются весь день. Хоть бы вы переезжали скорее, а то, боюсь, вы переедете поздно и пропустите лучшее время. У нас все хорошо. Отец здоров и много занимается...»

6 мая, Ясная Поляна. Говорили о розни между интеллигенцией и народом.

Лев Николаевич сказал:

— Я сам интеллигент и вот уже тридцать лет ненавижу в себе интеллигента!

11 июня. Мы опять в Телятинках. У Толстых царит какой-то чуждый, неприятный дух, так что общение с ними мало радует. Лев Николаевич здоров, работает. У нас пока был только один раз и то верхом, не слезая с лошади.

23 июня. Лев Николаевич вчера захворал сильным гастрическим припадком, сопровождавшимся повышением температуры. К вечеру ему стало лучше. Нынче мы еще не имеем сведений. Сейчас еду в Ясную; надеюсь, что там все благополучно.

4 июля. Сергей Львович женится на графине М. Н. Зубовой [4].

7 июля. Льва Николаевича мы видим у себя реже прошлого. Он последнее время все нездоров желудком и мало ездит верхом. Впрочем, дней пять-шесть тому назад он был днем у нас, сидел около часу, пил чай. Он все такой же удивительно прекрасный, как всегда.

К сожалению, того же нельзя сказать про большинство его близких. Возможность лишиться земельной собственности разбудила в них нехорошие инстинкты. Куда девалась их хваленая «любовь к народу»!

19 июля. Лев Николаевич работает уже месяца три-четыре над статьей о современном положении русского народа («О значении русской революции») [5]. Статью теперь, кажется, кончает. Я читал ее, еще далеко не законченную, с месяц назад.

22 июля. Вчера я застал в Ясной Н. В. Давыдова.

Лев Николаевич в разговоре с ним сказал:

— Теперь момент, когда Россия, шедшая всегда позади других стран, как бы призвана стать впереди всех проведением земельной реформы (Генри Джордж). Крайние революционные элементы только и сильны поддержкой народа. Народ же, если прекратится вековая несправедливость владения землей как собственностью, несомненно оставит их и вернется к мирной жизни.

Давыдов говорил, что сейчас взаимные убийства и ненависть дошли до такой степени, что остановить их не знаешь чем.

Лев Николаевич сказал:

— Где-то, в одной из американских республик, кажется в Аргентине, чуть не сто лет подряд продолжалась революция. Все жители так измучились, что когда явился, наконец, какой-то диктатор, переказнил и перевешал без конца народу и водворил порядок, так его чуть не боготворить стали... Так и у нас в роли Наполеона явится какой-нибудь Трепов [6], наставит на каждом перекрестке виселиц и пулеметов, водворит порядок, и ему еще, пожалуй, памятник в Кремле поставят...

— Наше правительство теперь как дикий зверь, которого повалили вверх ногами, и он отбивается всеми лапами во все стороны без всякого смысла.

По поводу ареста С. Т. Семенова [7] Лев Николаевич сказал:

— Правительство теперь совершенно не знает и не может знать, кого арестовать. Собственно, теперь в России все разделяются на подлежащих аресту и арестующих. Вот и мы с вами, — обратился он к Давыдову, — я должен быть арестован, а вы — арестующий (председатель окружного суда).

Лев Николаевич говорит, что все зло происходит от того, что мы, как народ говорит, «бога забыли».

У Льва Николаевича были в этот день фабричные, с которыми он тщетно пытался говорить на эту тему.

Лев Николаевич сказал:

— Я чувствую, что когда начинаешь говорить с ними о нравственных вопросах, о боге, то это проходит мимо — так, старичок из ума выжил.

Лев Николаевич сказал еще:

— На моей памяти отцы моего поколения исполняли церковные обряды только внешним образом: засунул голову попу под фартук, попил вина с водой и все. Но внутри у них был свой, правда довольно низменный, нравственный кодекс — дворянские традиции, честь и т. д. Теперь же ничего нет, и это ужасно. В католичестве с их индульгенциями совсем ничего нравственного не осталось.

— Когда я был маленький, лет около семидесяти тому назад, в Казани, пришел раз из гимназии Володя

Милютин и сообщил нам как новость, которую он только что узнал в гимназии, что бога нет[8]. Так и теперешнее поколение.

25 июля. Лев Николаевич сказал мне вчера по поводу его разговора на эту тему с Чертковым, который сейчас в Ясной:

— Мы часто говорим: я этого *не могу.* Между тем мы не имеем на это никакого права. Мы можем только говорить: *я не мог.* Перед человеком всегда может открыться возможность того, что *было* невозможно. Все может оказаться возможным. В области материальной желание неосуществимо, так как его осуществление зависит от цепи причин. В духовной области желание также неосуществимо, но возможно постепенное приближение к совершенству. Вопрос о так называемой свободе воли неправильно поставлен. Здесь смешивается видимое, временное, пространственное с духовным. Между тем в мире материальном свободы нет, так как все находится в причинной зависимости одно от другого. В области же духовной вопроса не может быть, так как в духовной жизни нет зла, а одно благо, так что нет свободы. Добро-благо в духовной жизни только одно, а если является зло, то это уже не духовная жизнь, следовательно опять не может быть речи о свободе.

— Я повторяю последнее время старые мысли, — сказал Лев Николаевич, — труизмы и нахожу в них новое. Я как будто глубже в них проникаю. Например, слова: «Все люди, все человеки». Я с особенной ясностью вижу теперь, до какой степени все люди: японцы, китайцы, русские, кафры — все одинаковы. Везде те же страсти, те же слабости, те же стремления.

Лев Николаевич расспрашивал Давыдова про Боборыкина, про которого сказал при этом:

— Боборыкин писатель, по произведениям которого можно будет изучать быт современного общества. В этом отношении его писания являются ценным материалом. Впрочем, у него есть один рассказ, не помню, как он называется, там описана акушерка, которую разорил родственник (кажется, муж дочери), и кончилось тем, что она дошла до ночлежного дома. Там, лежа в полном отчаянии на нарах, она вдруг услыхала, что внизу женщина рожает. (Лев Николаевич не мог говорить, его душили слезы.) Она спустилась вниз, стала помогать этой жен-

щине и поняла, что жизнь не кончена... Этот рассказ можно, пожалуй, поместить в «Круг чтения» [9].

— Странные наши личные отношения с Боборыкиным, — продолжал Лев Николаевич. — Я был еще совсем молод, когда вышла его первая вещь, кажется «В путь-дорогу». Я прочитал этот роман, и, помню, он тогда мне очень понравился. Я даже пришел в такой восторг, что решил написать автору и написал, но потом почему-то письма этого не отправил. Недавно я нашел у себя это письмо [10].

— Вы это расскажите ему, — прибавил Лев Николаевич, обращаясь к Давыдову.

— Потом, уже значительно позже, Боборыкин был у меня в Москве. Помню, все ходил по комнате и говорил разные похвалы моим произведениям. После этого он как-то еще бывал у меня и вдруг перестал. Он, кажется, враждебно относится ко мне, как будто что-то против меня имеет. Впрочем, за последнее время был случай, о котором он узнал и, мне говорили, — ему это было приятно. Когда меня выбрали в академию [11], то мне, как и другим членам, прислали предложение назвать шесть лиц, которых я считал бы достойными избрать в академики. Я отослал лист и написал на нем шесть раз Петр Боборыкин.

О Боборыкине Лев Николаевич сказал еще:

— Вот как говорят: «Chaque défaut a sa qualité et chaque qualité a son défaut» * Эта культурность, это обилие всяких часто ненужных познаний в различных областях, несмотря на свои отрицательные стороны, имеет одно важное преимущество — скромность и осторожность в суждениях. Кто много знает, тот видит, как осторожно надо высказывать свое суждение, чтобы не ошибиться. А нахватавшийся верхов самоучка с необыкновенной смелостью судит обо всем.

Накануне мы со Львом Николаевичем играли в шахматы, и он сказал почти то же самое:

— Автодидакты всегда с необыкновенной дерзостью и смелостью высказывают свои, как им кажется, новые мысли, совершенно не подозревая, как уже много об этом люди думали и говорили.

---

* «Каждый недостаток заключает в себе некоторые достоинства и каждое достоинство — некоторые недостатки» *(франц.)*.

28 июля. У Льва Николаевича тяжелая драма: Софья Андреевна и сыновья упорно не понимают и отрицают его отношение к жизни. Софья Андреевна хочет посадить в острог мужиков, срубивших несколько дубов в их лесу. Все это невыносимо тяжело Льву Николаевичу. Я знаю от Александры Львовны, что Лев Николаевич этим летом два раза был близок к тому, чтобы уйти из дому. Раз из-за сыновей, Андрея и Льва Львовичей, грубо защищавших смертную казнь, а в другой раз теперь из-за этих мужиков.

Пять-шесть дней назад я пришел в Ясную. Там кончили обед. Льва Николаевича не было уже на террасе. Чертков, П. А. Сергеенко, Александра Львовна и даже Лев Львович уговаривали Софью Андреевну простить мужиков, стоявших тут же, в стороне от террасы, без шапок. Софья Андреевна, несмотря на все доводы, стояла на своем. Она побывала у Звегинцевой, и там Звегинцева и Волков настроили ее очень враждебно против крестьян.

Я не выдержал и пошел вон с террасы. Я вышел в сад и увидал Льва Николаевича на верхнем балконе. Он сидел, а около него стояла Александра Львовна. Оказывается, он говорил ей, что почти готов сложить чемоданчик и уйти.

Увидав меня, он ласково сказал:

— А, здравствуйте, что же вы ко мне не зайдете?!

Я пошел наверх. Поздоровавшись со мною, Лев Николаевич предложил мне сыграть в шахматы. Мы пошли в гостиную.

Лев Николаевич сказал мне очень взволнованным голосом:

— Там делается что-то ужасное и для меня непостижимое!

А потом, когда Софья Андреевна согласилась на странный и, кажется, юридически неосуществимый план простить мужиков после приговора у земского начальника, Лев Николаевич сказал ей кротко и спокойно:

— Ты лишила себя радости простить, а в них вместо доброго чувства вызовешь только озлобление. Их будут таскать по судам.

В книге «В чем моя вера?» Лев Николаевич рассказывает, как ему раввин говорил, что все заповеди Христа, часто в весьма близких выражениях, можно найти в Вет-

хом завете. Не оказалось только заповеди о непротивлении. Лев Николаевич снова рассказал этот случай по поводу письма какого-то молодого профессора или доцента московской Духовной академии, который пишет ему о своей диссертации на эту тему («Учение Нового завета в библии»)[12]. Этот профессор говорит, что нашел и заповедь о непротивлении у кого-то из пророков, и цитирует это место. Лев Николаевич просил его прислать ему свою книгу.

Лев Николаевич сказал:

— Это совершенно естественно. Нравственный, божеский закон один во всех людях и у всех народов; только выражение и понимание его часто скрыто за большим количеством лишнего, ненужного, ложного. Вот, например, талмуд: это целая пропасть книг. Я сколько ни пробовал, где ни открою — такая чепуха, так ненужно, запутанно. А между тем, я знаю, что там есть удивительные мысли, только они перемешаны с ненужным, лишним.

Говорили о патриотизме.

Лев Николаевич сказал:

— Насколько я испытываю чувство, часто близкое к ненависти, к русскому правительству, настолько мне близок и дорог народ. Я, может быть, и пристрастен и преувеличиваю в этом своем чувстве. Впрочем, когда я жил в Содене[13] с братом Николаем, тогда соденские воды считались полезными от чахотки, я там старался сходиться с народом, ходил косить с крестьянами. И тамошние крестьяне мне были почти так же близки. Мешала только меньшая свобода общения из-за чуждого языка. Помню также из разговора с Ауэрбахом[14], которого я так любил всегда за его понимание и любовь к народу, я видел, что народ везде один и тот же.

Лев Николаевич часто теперь повторяет:

— Я только теперь понял истину, простую как дважды два, что все люди в существе своем одинаковы. В каждом есть возможность всего того, что есть в тебе и других. Как бы чужд или далек ни был человек от того, что тебе ясно, никогда нельзя знать, что еще перед ним откроется.

Лев Николаевич рассказывал про телятинского мужика, сапожника Осипа Цыганова.

— Он жил с семьей, хорошо работал и вдруг в один

прекрасный день бросил работу, надел какой-то халат и пошел по миру. Про него говорили мужики, что он пошел «по древности», то есть стал как в старину бывали юродивые. Многие считали его помешанным. А он вовсе не был помешанным, а перед ним вдруг открылись вся ложь и неправда жизни, и он не мог больше продолжать жить так. Помню, раз он пришел ко мне. В первый раз я ему просто дал, в другой раз разговорился. Халат на нем весь расползся от ветхости продольными полосами. Я дал ему что-то и спрашиваю: «Что же ты, смерти боишься?» — «А нешто я от *него* отрекся?»

— Когда он умирал, я был у него. Он умирал совершенно сознательно и спокойно. Когда его хотели приготовить к смерти, причастить, он отказался и сказал: «Мне ничего не нужно. Хозяин не обманет».

— Так и каждому человеку всегда может открыться истина.

---

12 августа. Говорили о детской литературе, о Жюле Верне и занимательности его романов. Кто-то сказал, что чтение его произведений дает много полезных сведений.

— Ну, это уж не искусство, — возразил Лев Николаевич. — Смешивать два эти ремесла есть тьма охотников — я не из их числа.

Лев Николаевич припомнил, со слов Тургенева:

— Раз у Виардо были гости, и должен был приехать Жюль Верн. Все с нетерпением его ждали. И представьте, — сказал мне Тургенев, — это оказался самый глупый человек во Франции.

В другой раз, говоря о замечательной плеяде американских писателей: Чаннинг, Паркер, Эмерсон, Гаррисон, Торо, — Лев Николаевич сказал:

— А между тем, как принято думать, что у англичан есть великие писатели, а в Америке их не было. Я помню, Тургенев, который был очень образованный человек, совершенно серьезно говорил, что в Америке совсем не было значительных писателей.

Как-то, говоря о Герцене, Лев Николаевич выразил удивление, что Герцен, зная с детства евангелие, мог увлечься и быть под таким влиянием запутанной, неясной и схоластической философии Гегеля. Душан Петро-

вич [15], слышавший этот разговор, заключил из него, что Лев Николаевич стал отрицательно относиться к Герцену, и так как он все записывает, переспросил в другой раз об этом Льва Николаевича.

Лев Николаевич сказал, что это не так. Особенно ценит Лев Николаевич в Герцене его понимание русского народа.

Лев Николаевич сказал:

— Герцен как бы совершил этот круг: начал с увлечения западной философией Гегеля и западноевропейскими революционными теориями, а в конце концов обратился к общинному складу жизни русского народа и в нем увидал спасение. Я думаю, что для России большое несчастье, что Герцен не жил здесь и что писания его проходили мимо русского общества. Если бы он жил в России, его влияние, я думаю, спасло бы нашу революционную молодежь от многих ошибок.

21 августа. Говоря об искусстве, Лев Николаевич сказал:

— Великие произведения искусства вне времени. Они есть. Их надо только освободить, снять лишнее, как говорил Микеланджело.

По поводу этих слов Микеланджело Лев Николаевич вспомнил про одного мужика, который прекрасно вырезал самоучкой из дерева разные фигуры и на удивление его искусству сказал совершенно то же, что Микеланджело:

— Она там, а я только с нее снимаю.

Лев Николаевич рассказывал, что Тургенев, восхищаясь описанием смерти Ленского в «Онегине», говорил, что удивительная рифма ранен, странен [16] как бы предопределена.

Потом Лев Николаевич припомнил некоторые стихотворения Тютчева (между прочим, «Не остывшая от зною»), которого он чрезвычайно высоко ценит.

Я спросил его, знал ли он Тютчева.

Лев Николаевич сказал:

— Когда я жил в Петербурге после Севастополя, Тютчев, тогда знаменитый [17], сделал мне, молодому писателю, честь и пришел ко мне. И тогда, я помню, меня поразило, как он, всю жизнь вращавшийся в придворных сферах, — он был другом императрицы Марии Александровны в самом чистом смысле, — говоривший и писавший по-фран-

цузски свободнее, чем по-русски, выражая мне свое одобрение по поводу моих «Севастопольских рассказов», особенно оценил какое-то выражение солдат; и эта чуткость к русскому языку меня в нем удивила чрезвычайно.

Вчера у Льва Николаевича был приват-доцент (кажется, Ильин), переводящий на русский язык Эльцбахера об анархизме[18]. Он просил Льва Николаевича написать маленькое предисловие к этой книге. Лев Николаевич отказался, говоря, что боится, что это его отвлечет, а у него много работы.

По поводу непротивления злу насилием Лев Николаевич сказал:

— Мне всегда делают это возражение, что если бы ребенок хотел прыгнуть из окна или сумасшедший кого-нибудь зарезать, как тут обойтись без насилия? Я помню, когда у меня был Брайан, — мне почему-то кажется, что он будет президентом в Соединенных Штатах[19], — мы ехали верхом; он мне тоже привел это возражение, а я ему сказал: мне все приводят один пример: что, если бы кто-нибудь на моих глазах хотел изнасиловать девочку, а у меня был бы револьвер, — было бы злом выстрелить, чтобы спасти ее? Я могу только сказать, что живу уж скоро восемьдесят лет и ни разу такого случая с девочкой, который бы оправдывал насилие, не встречал, а между тем, на каждом шагу, ежедневно, наблюдаю зло, производимое насилием. Этот пример в лучшем случае только доказывает, что на всякое положение можно подыскать возражение или что всякое правило имеет исключение. Для меня нисколько не умаляет значения заповеди о непротивлении злу насилием то, что можно подыскать один из миллионов случаев, когда со злом иначе, как насилием, бороться нельзя.

Софья Андреевна сказала, что про Герценштейна[20] дурно рассказывают, будто он брал взятки. Очевидно, грязная сплетня.

Бирюков сказал на это:

— De mortuis aut bene aut nihil *.

А Лев Николаевич сказал в то же самое время:

---

* О мертвых либо хорошее, либо ничего *(лат.)*.

— Ну, бог с ним, чужой грех прикроешь, бог два простит.

А Бирюкову возразил:

— Это нехорошее правило, какая-то обычная неправда восхвалять мертвых и судить живых. Я всегда предпочитаю пословицу: чужой грех прикроешь, бог два простит.

Михаил Сергеевич говорил по поводу политических убийств о той опасности, с которой они сопряжены, и о том нервном напряжении, которое должны переживать их исполнители, скрываясь на лихачах, и т. п.

Лев Николаевич сказал:

— Да, да, и это, несомненно, смягчающее обстоятельство. Я помню, на Кавказе считалось особенным молодечеством ездить ночью на дороги и там убивать встречных немирных татар. И эта опасность, риск совершенно закрывали собою для идущих весь ужас такого дела. Я помню, что я даже колебался, не отправиться ли мне. Так затемнено во мне было сознание...

О книжке Менделеева «К познанию России»[21] Лев Николаевич сказал:

— Поразительно, как такой ученый и знаток в своей области, который не позволит себе в своей химии слова сказать, не обосновав его, рубит с плеча, что попало, рассуждая об общих вопросах. В его книжке много интересного материала, но его выводы ужасают своей глупостью и пошлостью. Достаточно сказать, что идеалом человеческого существования он считает размножение. Я понимаю, что о кроликах можно говорить так, но сказать про человека, что его идеал — возможно большее размножение — просто удивительно. И он рассуждает, как, когда человечество так размножится, что негде будет хлеб сеять, будут питаться химическим способом. Ну, а когда, как по Мальтусу, люди будут стоять вплотную друг к дружке, как тогда? И не понимать простой и давно известной истины, что идеал человечества никак не размножение, а целомудрие, и целомудрие не во имя рассуждений о тесноте — это мерзость, а во имя нравственного сознания.

Раньше как-то, говоря со мной об этой же книжке (мы сидели вдвоем в его комнате), Лев Николаевич сказал, возмущаясь на так называемых людей науки:

— Это черт знает что такое, — один (Мальтус), чтобы

спасти человечество, советует он...м заниматься, а другой придумывает химическое питание! — и не могут понять той простой истины, что идеалом, к которому человечество должно стремиться, может быть только возможное целомудрие.

1 сентября. Софья Андреевна тяжело больна. Здесь Снегирев и три его ассистента, тульский доктор, Душан Петрович, фельдшерица. Снегирев не берет на себя ответственности за результат операции и вызвал еще по телеграфу какую-то петербургскую знаменитость, которую ждут нынче в ночь. Завтра, вероятно, состоится операция [22].

3 сентября. Снегирев сделал Софье Андреевне операцию, которая прошла благополучно. Петербургского доктора не дождались. Оказывается, если бы промедлили еще немного, спасение было бы невозможно. Лев Николаевич, когда делали операцию, ушел в Чапыж. Он был страшно взволнован. Съехались все дети.

14 сентября. 5-го ночью мы уехали из Телятинок в Москву. Софье Андреевне стало лучше, но опасность далеко еще не миновала. Александра Львовна почти ежедневно извещала нас о ее здоровье.

5-го Александра Львовна сообщала: «Ночь мамá провела довольно спокойно, *без морфия.* Нынче решительный день... Ей стало легче. Сердце хорошо. Температура 36,8...»

«8 сентября. Дело все идет на поправку. Температура нормальная, пульс хороший. Нас пускают к ней два раза в день по очереди. Нынче мой черед, я ее еще не видала после операции. Папá здоров, повеселел. Мой привет всем вашим».

«10 сентября. Мамà все лучше и лучше. Нынче я долго у нее сидела, читала ей письма и телеграммы. Она гораздо бодрее, лицо лучше...»

12-го, сообщая, что у Софьи Андреевны сняли швы и она поправляется, Александра Львовна прибавляет:

«Папá повеселел, статья кончена, маленькая статья о Генри Джордже [23] — тоже...»

Из письма Александры Львовны:

«23 сентября. У нас все пока хорошо. Мамà хотя медленно, но поправляется, стала даже приходить в залу

часа на три, четыре. Все мы ожили, и жизнь налаживается опять по-прежнему...»

Из письма Александры Львовны:

«21 октября. У нас все хорошо. Немного отец хворал обычными желудочными болями, но теперь лучше. Маша с Колей всё у нас. Я вчера только кончила дело продажи мужикам земли[24] и очень этим довольна...»

29 ноября. На днях узнали о тяжелой болезни Марии Львовны, а нынче получили известие о ее смерти.

Вот письмо Александры Львовны:

«27 ноября. Милая Анна Алексеевна, вчера ночью в половине первого Маша тихо скончалась после сильнейшего воспаления легких (крупозного). Жар семь дней не спускался ниже 40,1. Вчера сердце начало ослабевать, пульс бился все слабее, и конец. До последнего дня она была в сознании, то есть, хотя не могла говорить, узнавала нас и за три часа до смерти сказала Коле: «Умираю».

Для Коли вся жизнь без нее потеряла смысл, а для папы потерян самый близкий человек на свете.

До свиданья, мне не хотелось, чтобы вы узнали это из газет».

К этому ужасному известию прибавить нечего.

7 декабря. Провел вчерашний день в Ясной. Там все подавлены горем.

Лев Николаевич, увидав меня, сказал со слезами:

— Мы еще с вами не виделись после нашего горя.

Из письма Софьи Андреевны к моей жене:

«29 декабря. После поездки в Москву, тотчас же захворала и, приехав, застала больным и Льва Николаевича. Ему стало было гораздо лучше, он вчера даже вышел на 15 минут погулять. Но вечером наш доктор, Маковицкий, его слушал и сказал, что хрипы в легких прибавились, что силы у Льва Николаевича убывают и есть перебои. Всю ночь я не спала, прислушивалась к кашлю Льва Николаевича, но утром он встал и теперь занимается, пишет. В его годы все страшно, и, говорят, всякий бронхит опасен.

20 января. На днях в московских газетах появилась перепечатанная из «Биржевых ведомостей» [1] телеграмма о серьезной болезни Льва Николаевича. Я послал запрос в Ясную и получил от Александры Львовны ответ:

«18 января. Вас напугала, вероятно, телеграмма из «Биржевых ведомостей», Александр Борисович. Все эти дни получаем запросы о здоровье отца, хотя он теперь почти совсем здоров. Выходит, даже собирается уже ехать верхом. Но болезни нас преследуют: сейчас лежат в жару большая и маленькая Таня; что у них, еще неизвестно...»

6 февраля. Софья Андреевна еще осенью начала писать копию с небольшого этюда художника Похитонова [2] и обещала подарить свою работу моей жене. Недавно мы получили эту картину, и жена написала Софье Андреевне, благодаря за подарок.

Из письма Софьи Андреевны к моей жене:

«3 февраля. Мне ужасно совестно, милая Анна Алексеевна, что вы меня *так* благодарите за мою плохую картинку. Это была моя первая работа после болезни, и я с таким удовольствием писала этот пейзаж и очень старалась, это правда. Но ведь я не ученая и не умелая, и мне совестно дарить мои жалкие работы.

Пейзаж этот — копия с Похитонова, который, чтобы сделать удовольствие Льву Николаевичу, написал этот пригорок, на котором мальчики Толстые часто играли. Старший брат Льва Николаевича, Николай, на этой горке зарыл зеленую палочку, будто бы волшебную, а пригорок называл Фанфаронова гора. Все это рассказывал Лев Николаевич с большой нежностью, и Похитонов ему написал эту самую Фанфаронову гору, а Лев Николаевич просил его на этом месте похоронить...»

26 апреля. Лев Николаевич старается излагать мысли для «Круга чтения» возможно проще и понятнее. Он читает их с крестьянскими ребятами и заставляет их высказывать свои суждения *. Это дело очень его увлекает [3].

---

* Занятия с крестьянскими ребятами продолжались, если не ошибаюсь, несколько месяцев и очень радовали Льва Николаевича. Детей приходило десять — двенадцать, Лев Николаевич с ними

Лев Николаевич сказал нынче:

— Интеллигенция меня мало интересует. А в народе все более разрушается религиозный обман православного суеверия, но на его месте не остается ничего. И это ужасно!

Мы ехали с Львом Николаевичем верхом. У «поручика» * я почему-то спросил про Андрея Львовича (он служит чиновником особых поручений у тульского губернатора).

Лев Николаевич сказал:

— Ничего, он занят теперь своим новым делом. Какое оно ни на есть, а все-таки дело. Он очень меня на днях тронул. Заговорил он о дочери — он ее любит очень — и говорит: «Вот что ведь ужасно, о чем подумать страшно, растет такое чистое, хорошее существо, и вдруг какая-нибудь такая же скотина, как я, будет ее обнимать, целовать...»

Лев Николаевич рассказывал это с большим волнением, слезы прерывали его голос, и он несколько раз останавливался, прежде чем договорил.

6 июля. 6 июня я уехал на Кавказ, откуда вернулся несколько дней назад. За мое отсутствие в Ясной не произошло ничего особенного. Вот некоторые подробности, сообщенные мне женой в ее письмах:

«10 июня. Сейчас собираемся в Ясную. Они нас вчера звали к себе обедать... у них очень сильно чувствуется отсутствие Марьи Львовны...»

«12 июня. В воскресенье были у Толстых... Там мы встретили К. А. Михайлова из Николаевского института. Он меня сразу узнал и оказался очень милым, симпатичным. Вечером к нашему сильнейшему неудовольствию объявилась туда Звегинцева с Волковым в качестве chaperon'a **.

«16 июня. Скоро должны приехать Чертковы [4]; они уже в Берлине... В Ясной опять большие неприятности:

проводил час-полтора. Лев Николаевич излагал им в понятной для них форме изречения из «Круга чтения» и беседовал по этому поводу. Они задавали вопросы, и получался своеобразный урок. Лев Николаевич не любил, чтобы при этих беседах присутствовал кто-нибудь, и поэтому я, к сожалению, на таком уроке ни разу не был.

* Так называют местные жители сторожку лесничего на перекрестке киевского шоссе и дороги на станцию Засека.

** сопровождающего лица *(франц.)*.

грумондские мужики украли у Софьи Андреевны 129 громадных дубов, стоимостью по меньшей мере рублей пятьсот...»

«18 июня. Вчера наконец приезжала заниматься Александра Львовна. Не знаю — помогла ли я ей. Она очень нервничала, и я очень устала от этого урока, потому что мы не столько играли, сколько я ее уговаривала. После урока она меня потащила в Ясную. Там, кроме обычных обитателей, оказалась М. А. Маклакова...

Лев Николаевич был очень весел и мил. Говорили много о политике и думе.

...Миша с Линой уехали к Глебовым, а мужики в их отсутствие подожгли сараи, где были самые дорогие сельскохозяйственные машины. Убытки страшные, потому что все было самое дорогое. И мужики отказались тушить.

...Завтра приезжают Чертковы. Сначала они поселятся у Толстых во флигеле...»

«23 июня. Два раза был у нас Лев Николаевич. Дня три назад приехали Чертковы и скоро поселятся у себя в Ясенках...»

10 июля, Ясная Поляна. Еще прошлым летом шли мы раз перед вечером со Львом Николаевичем по дорожкам у нижнего пруда в Ясной.

Лев Николаевич сказал:

— Я люблю это место. Вот вы свою мать любили, а я не помню своей матери... Это, говорят, ее любимое место было. А здесь вот мы с братом (Сергеем) гуляли, и Федор Иванович [5] (Карл Иванович из «Детства») по той дорожке шел. Мы зовем его, а он кричит: «Не подходите ко мне, от меня пахнет». Он был болен и под себя ходил. Он совсем уже был стар и слаб, а все еще мечтал, что поступит камердинером к какому-нибудь знатному богачу и уедет с ним за границу.

Тогда же, гуляя у пруда, Лев Николаевич сказал мне:

— Не знаю, ясна ли будет вам моя мысль. Я хочу сказать, что добро человек может сделать только другому, а зло, наоборот, только себе. Разумеется, не физическое зло — боль. Эта мысль на первый взгляд парадоксальная, но, по-моему, глубоко верная.

В тот же день за обедом на высказанную Львом Николаевичем какую-то мысль о религии Софья Андреевна, по натуре совершенно не религиозная, ответила очень резкой репликой.

Гуляя со мною, Лев Николаевич сказал по этому поводу:

— В духовной жизни, несомненно, существует свойство, которое в церковной религии называют откровением, благодатью, французское «grâce». Это то, что можно назвать религиозным чувством. Есть люди по природе своей как бы совершенно лишенные этого чувства. С ними нельзя говорить — они не понимают. Как собака понимает, как открыть дверь и войти, но не может притворить ее за собой, и бесполезно ее этому учить, так и тут... Они глухи.

Тут же Лев Николаевич сказал о могуществе любви при общении с людьми.

— Любовь растворяет сердца.

Когда я приехал с Кавказа и в первый раз во время обеда приехал в Ясную, я присел около Льва Николаевича. Разговор шел об убийстве приказчика в имении у Звегинцевой и вообще о теперешних событиях.

Лев Николаевич сказал мне:

— Как хорошо думать, что скоро ухожу... К старости так ясно видишь, что одно нужно людям и как все и везде делают все, только не это одно нужное. Это ужасно! Но, разумеется, люди поймут это, но только когда это будет?!

Говорили об изменении форм жизни.

Лев Николаевич сказал:

— Я себе всегда в упрек ставлю, что слишком много говорил об изменении форм жизни. Все временное, внешнее, то, что будет, и то, что есть, не зависит от нас. Человек должен только стремиться к тому, что он считает правдой, а что выйдет из этого, не в его власти.

Чертков справедливо возразил, что Лев Николаевич в своих писаниях именно всегда говорил о путях и оговаривался, что что̀ из этого выйдет, знать нельзя, и что жизнь найдет соответствующие изменившемуся сознанию людей формы.

Я играл на днях Шопена.

Лев Николаевич заметил:

— Вот за это одно можно поляков любить, что у них Шопен был!

Потом он сказал мне:

— Когда слушаешь музыку, это побуждает к художественному творчеству.

Недавно Илья Львович и Бирюков говорили про какого-то тифозного мужика и о том, что он весь во вшах.

Лев Николаевич по этому поводу вспомнил:

— Раз в Москве был у меня вечером сын Сютаева [6]. Собрался он уходить. Я оставляю его ночевать, а он отказывается, говорит. «Признаться, я давно в бане не был, вшей на мне много». Я ему сказал: «Вы с нами поделитесь».

Лев Николаевич прибавил еще:

— Такие люди живут в труде, в грязи, — насколько их жизнь может быть нам примером! Единственная возможность нравственной жизни — это жизнь на земле.

Нынче Лев Николаевич вспоминал про Севастополь. Между прочим, он рассказал:

— Когда Малахов курган был взят и войска спешно переправлялись на Северную сторону, — тяжелораненых оставили на «Павловском мыске», где была батарея. Это сильная батарея, с которой можно было обстрелять весь город. Когда сообразили, что нельзя ее так отдавать французам, то решили ее взорвать. Я был у Голицына, там еще Урусов сидел, и тут же крепко спал добродушный, здоровый офицер Ильин. Мне сказали, что он только что вернулся из опасного поручения — взорвать «Павловский мысок» [7]. Мысок был взорван с батареей и со всеми ранеными, которых нельзя было увезти, а батарею отдать неприятелю нельзя было... Потом пытались отрицать это, но я знаю, что это было так.

Лев Николаевич сказал недавно о Трегубове:

— Пока он не занимался проповеданием, он во всем сомневался. Помню, еще в Москве, по поводу евангелия и чудес, он станет, прижмет меня к стене и отдыху не дает.

Только что скажу ему, как я себе объясняю какое-нибудь чудо, он опять с вопросом: «Ну, а это как?»... А теперь, с тех пор как он стал проповедовать, он ни в чем не сомневается [8].

На этих днях Лев Николаевич сказал В. Г. Черткову:

— Знания без религиозно-нравственной основы ничего не значат. Я представляю себе знания как трубу: если она направлена к свету — она собирает, концентрирует свет, а если ее направить в сторону, то она ни к чему не нужна.

Во время этой же беседы Лев Николаевич сказал еще:

— Последнее время я все более стараюсь, и, кажется, это мне иногда удается, вступая в общение с человеком, всегда помнить в нем бога. И тогда все делается ясно и просто. Тогда не думаешь о последствиях, так как что из этого выйдет, не в твоей власти.

12 июля. Вчера Лев Николаевич рассказывал Д. В. Никитину (по поводу завещания некоей Архангельской на устройство чего-нибудь для крестьян), что когда он был мировым посредником, он раз поехал в Москву и остановился в гостинице Шевалье. Там ему однажды принесли от неизвестной дамы тысячу рублей на устройство школы [9]. Лев Николаевич устроил школу (не помню, где именно), которая содержалась на проценты с этих денег. Когда Лев Николаевич бросил посредничество, школу закрыли.

Лев Николаевич сказал:

— Очевидно, решили: Толстой — либерал, значит школу надо закрыть. А тысяча рублей куда-то исчезли...

Лев Николаевич рассказывал про С. И. Языкова [10], который был их опекуном после смерти отца и делал это с большими злоупотреблениями.

По этому поводу Лев Николаевич опять сказал:

— По-моему, глупая поговорка — «de mortuis aut bene, aut nihil». Вот про живых не следует дурно говорить, а про мертвых, наоборот, все можно.

За обедом Лев Николаевич в шутку сказал:

— Вот увидите, она меня непременно пристрелит.

— Кто она?

— Пристрелит непременно, — повторил он еще раз. Оказывается, какая-то дама прислала ему свою повесть с предисловием, в котором говорится о свободе творчества гения и т. п. [11]

Лев Николаевич сказал:

— Ее повесть просто ужасна. Я ей написал, что как мне ни неприятно, но я должен сказать, что у нее нет решительно никакого дарования и заниматься этим делом ей не стоит.

Лев Николаевич перечитывает книгу Ольденберга[12] об индусской философии. Он говорит, что это хорошая и интересная книга, но он порицает ее «научный тон», ссылки на литературу, на то, кто и на какой странице и какого сочинения когда и что сказал по этому поводу.

Лев Николаевич сказал:

— Я не понимаю, как можно таким тоном говорить о важнейших вопросах человеческой жизни, вопросах, таких близких сердцу человека.

Ставя чрезвычайно высоко учение Будды, Лев Николаевич говорит:

— Учение Христа является дальнейшим (может быть, как более позднее) и высшим еще развитием тех же идей. У Будды о любви говорится только отчасти, между прочим. У Христа же любовь поставлена в основание всего, ею проникнуто все его учение.

Как-то говорили о писательском гонораре.

Лев Николаевич обратился к П. И. Бирюкову и сказал:

— Я понимаю плату за работу вроде вашей биографии, но мне всегда казалась странной и несправедливой плата писателям за художественные произведения. Человек писал — наслаждался, и вдруг за это наслаждение требует себе пятьсот рублей за печатный лист!..

3 августа. Все шли дожди. Сено убрать не успели.

Лев Николаевич говорит раз:

— Знаете пословицу: «Сено черное — каша белая?» Когда об эту пору дожди, для сена это дурно — оно чернеет, зато гречиха бывает особенно хороша.

Нынче Лев Николаевич сказал:

— Сегодня ко мне пришел странный человек, без усов, без бороды, — вид скопца. Я спросил его, не скопец ли он? Он взволновался, заплакал и стал говорить, что он от природы лишен половых свойств и что это — горе его жизни, что в молодости над ним смеялись и он

ужасно всегда от этого страдал. Он мне жалуется, а я говорю ему: «Какой вы счастливый!» Он оказался очень умным. Когда я стал по поводу земли говорить с ним о проекте Генри Джорджа, то он с полслова все понял и сам договорил: «Вот бы землю податью обложить, «они» тогда напляшутся!»

Недавно по поводу какой-то выходки Андрея Львовича Лев Николаевич был расстроен, да и вообще не в духе.

Он сказал мне:

— Я люблю, когда я не в духе. Это хорошо. Тут-то и надо стараться сохранить доброе, любовное отношение к людям. В такие минуты, когда даже пустяк раздражает — не нашел письма, которого искал, уронил что-нибудь — и хочется сказать: «А, черт!» — вот в такие минуты стараться сдержать себя — важно и полезно.

Как-то мы со Львом Николаевичем были у Николаева на деревне. Вышли пройтись. Шли вдоль задов деревни. Мужики и бабы сено возили. Так хорошо было! Еще тут такая славная молодайка увидала свою девочку лет шести-семи с большим, здоровым полуторагодовалым братом на руках и так хорошо обрадовалась:

— Сынок ты мой, сыночек!..

Николаев стал рассказывать что-то про яснополянского мужика Лариона.

Лев Николаевич сказал:

— Мы привыкли часто всех их соединять в одно собирательное «народ» и относиться с уважением к этому собирательному. И за этим понятием «народ» мы часто не видим Лариона, Ивана, Петра — живых людей. И тут часто, у меня по крайней мере, бывали разочарования.

29 августа. Еще в начале лета Лев Николаевич сказал мне:

— Так ясно вижу, как можно было бы успокоить революцию осуществлением проекта Генри Джорджа, что непонятно и удивительно, как люди этого не видят. Хотя я и знаю, что никто не обратит внимания и что из этого ничего не выйдет, но чувствуешь непреодолимое желание сказать, написать об этом. Если бы не было противно обращаться к этим людям, я все собирался написать письмо...

Я знаю, что Лев Николаевич все-таки писал Столыпину[13]. Разумеется, письмо не имело никаких результатов. Хотя Столыпин Льву Николаевичу ответил и выразил желание поговорить с Николаевым, как с знатоком Джорджа, но их свидание так и не состоялось.

Лев Николаевич написал новую статью — «Не убий никого»[14]. Когда он ее кончил и хотел послать по возможности во многие газеты, Чертков убедил его отложить это, чтобы статья одновременно появилась в России и за границей. Это предполагается 8 сентября. Сначала Лев Николаевич хотел, чтобы статья вышла поскорее, и вспомнил по этому поводу, как, когда он в шестидесятых годах написал комедию[15] и прочел ее Островскому, тот нашел, что кое-что следовало бы в ней исправить.

— Я ему на это и говорю, — сказал Лев Николаевич, — да, это верно, да хотелось бы поскорей напечатать ее, чтобы не упустить время.

— А ты что же, боишься, что они поумнеют? — спросил Островский.

У Черткова бывают собрания с крестьянами. Когда Лев Николаевич был там в первый раз, беседа как-то плохо налаживалась; было неловко и неестественно. Однако было много и интересного, особенно споры с революционно настроенной молодежью.

Один парень сказал Льву Николаевичу, что если не насиловать, то тебе на шею сядут[16].

Лев Николаевич ответил ему:

— Ну и пускай сядут. И в этом и состоит задача, что когда он у тебя на шее сидит, а ты старайся убедить его, что это нехорошо. И высшее счастье — когда он сойдет и поблагодарит, что ты научил его... А не сойдет, что делать!.. Вы простите меня, но я скажу вам, что думаю. А думаю я, что в этом озлоблении всех в основании часто лежит дурное, злое чувство — зависть... Зависть к богатым. Русский народ в год пропивает около миллиарда рублей. Значит, они еще не совсем нищие. И почти всякий из народа, сделавшись богатым, делается таким же насильником, как те, против которых он теперь борется. Все дело в религиозном сознании человека. Как сказано: «Ищите царствия божия и правды

его, а остальное приложится вам». Человек может быть зверем, хуже зверя и может быть святым. Каждый человек, как сказано в евангелии, сын божий. Побеждать в себе зверя и освобождать, проявлять сына божия — в этом назначение человека.

Лев Николаевич как-то сказал:

— Я все больше убеждаюсь, что разумный человек познается в смирении. Самомнение несовместимо с умом.

О самомнении Лев Николаевич сказал еще когда-то давно при мне:

— Всякого человека можно изобразить в виде дроби, числителем которой будут действительные его качества, а знаменателем — его мнение о себе. Чем больше знаменатель, тем меньше абсолютная величина дроби.

Лев Николаевич перерабатывает «Круг чтения». Перна, который помогает ему в технической стороне работы, спросил его, почему у него среди рубрик, по которым распределяются мысли, нет рубрики «зло» [17].

— Потому что зла нет, — ответил Лев Николаевич. — Существуют только соблазны, а зло, если вдуматься, всегда только уклонившееся от истинного направления добро. Какое бы зло ни взять, всегда в его основании лежит добро. Например, скупость происходит от бережливого обращения с предметами, то есть с трудом тех, кто их произвел; разврат произошел из естественного стремления к продолжению рода человеческого. И так можно проследить везде.

Лев Николаевич сказал при мне Черткову:

— Я все больше и больше остерегаюсь дурно говорить и думать о людях. Когда осуждаешь кого-нибудь, только вспомни, что в нем бог, что он брат твой.

Вчера был день рождения Льва Николаевича. Ему 79 лет. Вечером были: Чертков, Досев, Жихарев, Картушин, Перна, еще кто-то, такие все хорошие, сильные. Хорошо говорили.

Лев Николаевич сказал:

— Бог в человеке, но мне всегда неприятно сказать, что в человеке частица божества. Все есть проявление бога: и человек, и собака, и растение, и звезды. Но в человеке я это проявление понимаю, сознаю — в звезде нет. Бог в человеке проявляется любовью. Но он не лю-

бовь, он — нечто большее любви, то, чего мы не знаем, где мои рассуждения оканчиваются, — это предел, о котором мне знать не дано.

Лев Николаевич сказал, между прочим, о молитве, что для него лучшие молитвенные слова, кроме некоторых евангельских, слова из послания Иоанна: «Кто не любит, тот не познал бога, потому что бог есть любовь. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то бог в нас пребывает, и любовь его совершенна в нас», и т. д.

— Как это странно и непонятно, — сказал Лев Николаевич вчера. — Людям дано благо, от них зависит осуществить его, а они всё делают, чтобы помешать ему. Разумеется, не удастся, а так бы хотелось сказать это людям, разъяснить это заблуждение.

7 сентября. Последний вечер провели в Ясной.

Третьего дня Лев Николаевич сказал:

— Не знаю, может быть это пройдет, но теперь, особенно по утрам, у меня как праздник какой, такая радость, так хорошо!..

Это состояние духовного света — высшей радости особенно свойственно теперь Льву Николаевичу как никогда, кажется, прежде. А между тем, в личной жизни он переживает трудное время: озлобление Софьи Андреевны против крестьян, стражник, губернатор.

Тогда же он еще сказал мне:

— Я думал о философских вопросах и, между прочим, о пространстве и времени и вспомнил свое давнишнее определение, которое я еще совсем молодым сделал. Теперь я его еще расширил и дополнил. Я думал нынче о вас и вместе с этим подумал, что вам это будет интересно и вы поймете меня.

Пространство — это наша способность видеть (воспринимать) два (или несколько) предмета в одно и то же время. Время — это наша способность видеть (воспринимать) два (или несколько) предмета на одном и том же месте. Для пространственных впечатлений необходимым условием является то, что мы называем материей, для впечатлений во времени таким условием является движение. Я помню, еще Страхову очень нравилось это определение. Разумеется, в нем есть тот недостаток, что оно для определения пространства уже предполагает время, и наоборот.

В тот же день (5 сентября) Лев Николаевич рассказывал при мне Черткову, что утром он особенно болезненно почувствовал враждебное отношение яснополянских крестьян против них и против него лично.

Он сказал:

— Я пошел с целью поговорить с тем, кого встречу, по возможности просто и откровенно. Но на дороге встретил приказчика и мужиков; между ними произошло столкновение по поводу каких-то расчетов. Приказчик обратился ко мне за советом. Я сказал ему, что не вмешиваюсь в эти дела, но могу только одно сказать ему, как сказал бы это какому-нибудь кулешовскому приказчику, что нужно во всяком случае стараться быть добрее и мягче.

— Так я на деревню и не пошел...

Лев Николаевич был нынче у Звегинцевой по делу: просить станового, живущего у нее в имении, освободить из тюрьмы маляра Ивана Григорьевича и поблагодарить Звегинцеву за присланные персики.

— Там ее дочь, княгиня Волконская. Они все меня хотели направить на путь истинный. Я старался говорить с полной серьезностью; но сквозь их брильянты и роскошь едва ли могло что-нибудь проникнуть. Они задавали мне все разные вопросы. У них печник, который бывал у меня, — книжки брал. И вот он теперь рассказывает им, что я говорил, что в бога верить не надо, и еще разные несообразности. Я им сказал, что ничего нет удивительного в том, что мои слова так искажают. Если даже из слов Христа люди сумели вывести церковные обряды, благословение убийства и т. п., то что удивительного, что наши слова постоянно перетолковываются, искажаются.

Потом они спросили меня, чем я объясняю себе то, что в моей семье никто не последовал моим словам. Я сказал им, что это, вероятно, произошло оттого, что я, как фарисей, живу и не исполняю того, что говорю. Они мне на это не возражали.

Лев Николаевич сказал, что прочел нынче в приложении к «Новому времени» статью по поводу новой книги о Тургеневе [18]. Книга эта носит отчасти полемический характер. Автор рассказывает о ссорах Тургенева со всеми писателями (Достоевский, Толстой, Герцен, Фет

и др.), как бы задаваясь целью оправдать Тургенева от обвинений и доказать, что он был во всех случаях прав.

Лев Николаевич сказал:

— Странно, правда, что он со всеми ссорился. Он был очень хороший, добрый человек. Только очень слабый, и он сознавал свою слабость. Раз, я помню, здесь был князь Урусов (не севастопольский герой, а тульский вице-губернатор), мой хороший друг[19]. Их было два брата, и их почему-то считали глупыми. И вот Тургенев, зная это, стал с ним спорить свысока, как бы чувствуя свое превосходство, а Урусов спокойно, легко и уверенно разбил его. И неудивительно: у него были свои, какие бы то ни было, но определенные, твердые религиозные убеждения, а у Тургенева не было никаких...

— Я его любил, — сказал Лев Николаевич о Тургеневе.

Софья Андреевна сказала, что Тургенев очень любил Льва Николаевича.

— Нет, наоборот, — возразил Лев Николаевич. — Он скорее любил меня как писателя. А как человек я не встречал в нем настоящей теплоты и сердечности. Да он и никого так не любил, кроме женщин, в которых бывал влюблен. У него не было никого друзей.

Лев Николаевич спрашивал меня о моих работах, о том, сочиняю ли я музыку, и говорил, как дурно, когда из себя выжимают, и как многие большие художники теряют от того, что, кончая одно сочинение, сейчас же непременно начинают новое.

Лев Николаевич вспомнил Пушкина и сказал:

— Лучшие писатели всегда строги к себе. Я переделываю до тех пор, пока не почувствую, что начинаю портить. А тогда уже, значит, надо бросать. А портить начинаешь потому, что сначала, пока наслаждаешься своей работой, пока она твоя, прилагаешь к ней все духовные силы. Потом, когда основная, первоначальная мысль все более и более перестает быть новой и становится как бы чужой, надоедает, начинаешь стараться сказать что-нибудь новое и портишь, искажаешь первую мысль.

Получилась телеграмма от Леонида Андреева с просьбой разрешить приехать[20].

По этому поводу Лев Николаевич сказал:

Фототипия письма
Л. Н. Толстого к А. Б. Гольденвейзеру

— Как ужасно портит незаслуженная слава, вот как слава Андреева!

Потом Лев Николаевич все не мог составить ответной телеграммы.

— Как ответить? «Приезжайте»... Как-то слишком коротко. «Очень рад буду видеть» — не совсем правда. Ну, Душан Петрович, напишите просто: «Милости просим».

Лев Николаевич рассказал:

— Я получил нынче письмо от какого-то господина, который поздравляет (пятидесятипятилетний юбилей) и пишет, что так любит мои сочинения, что, например, «Войну и мир» постоянно открывает и перечитывает. «А вот ваши философские писания, сколько ни пробовал, ни одного не мог дочитать до конца». Он убеждает меня бросить эти писания [21].

— Зачем он это все писал? — сказал Лев Николаевич, смеясь. — Жил себе на свете, и никто не знал, что он дурак, а он вдруг взял да и рассказал это мне...

Из писем Александры Львовны:

«5 октября. У нас все благополучно. Папà здоров и бодр. Погода удивительная».

«7 октября. Папà немного простужен, кашляет, но, в общем, бодр».

«26 ноября. У нас все хорошо. Папà здоров. Вас все помнят и жалеют, что вы забыли нас... У нас очень одиноко. Все друзья нас забыли. Гусева через два дня освободят [22]».

«4 декабря. Папà на днях упал с лошади, сделался подвывих руки, звали доктора из Тулы; теперь ему гораздо лучше, рука оправилась, хотя еще на перевязи. Упал во время гололедки, и очень сильно. Слава богу, что еще так обошлось. Он очень занят «Кругом чтения».

«30 декабря. У нас все больны. У папà был бронхит с жаром, теперь жара нет, но он кашляет и слаб. Я тоже лежала, и теперь еще бронхит...»

1908

6 января. Вчера, по поводу полученных писем, Лев Николаевич сказал:

— В старости делаешься равнодушен к тому, что не увидишь результатов своей деятельности. А они бу-

дут. Это нескромно с моей стороны, но я знаю, что они будут.

Нынче, говоря о революционерах, Лев Николаевич сказал:

— Главная их ошибка — это суеверие устройства жизни. Они думают, что можно внешними средствами устроить человеческую жизнь.

Из писем Александры Львовны:

«13 января. Только последние три дня, проводив гостей, принялась за музыку. У нас семья Абрикосовых, живем снова тихо, спокойно, занятые каждый в своем углу. Папà здоров и бодр...»

«9 февраля. У нас все хорошо. Папаша здоров, гуляет. Диктует почти все свои письма в граммофон [1], и это очень облегчает ему труд».

«27 февраля. На масленице у нас была толпа народа... Сергей Иванович (Танеев) был... он жил «под сводами»... У нас все хорошо, папà здоров и бодр».

«3 марта. У папà инфлюэнца, которая осложнилась обычным его желудочным заболеванием, а кроме того, вчера до приезда еще докторов с ним был обморок. Обморок продолжался недолго, минуты полторы; но самое страшное было то, что после этого он все забыл, забыл, что Чертковы тут, забыл, что в этот день перед обмороком диктовал Гусеву [2], забыл, что видел меня в это утро. И когда приехали доктора, то он все-таки еще не был в памяти.

Нынче утром ему лучше. Жара нет, спал хорошо и все помнит, как всегда. Доктора боялись анемии мозга».

Из письма Ю. И. Игумновой:

«6 марта. Лев Николаевич второй день чувствует себя лучше и занимается и работает».

12 апреля. Татьяна Львовна рассказывала как-то про А. Н. Волкова, что он пишет книгу об искусстве [3]. Лев Николаевич заинтересовался. В книге своей Волков говорит, что искусство должно слепо следовать во всем природе.

Лев Николаевич сказал:

— Это совершенно неверно. Всегда так бывает: когда рассуждают об искусстве, то или говорят, что в искусстве все дозволено, все возможно — полная свобода, — как декаденты теперешние... Или другие говорят о рабском подражании природе. И то и другое совер-

шенно ложно. Как всякий человек — совершенно особенный, никогда не повторяющийся, так и его мысли, чувства — всегда новые, только его мысли и чувства. В основании истинного произведения искусства должна лежать совершенно новая мысль или новое чувство, но выражены они должны быть действительно с рабской точностью всех мельчайших жизненных подробностей.

В тот же день утром Лев Николаевич был очень взволнован письмом Молочникова[4], которого предали суду палаты с сословными представителями за распространение книг Льва Николаевича. Молочников прислал обвинительный акт. Лев Николаевич удивлялся, как там хорошо изложено в сжатом виде содержание его статей, за распространение которых судят Молочникова. Только дико выходит, что эти простые, ясные, очевидные истины, и так просто и хорошо изложенные, вдруг оказываются преступными и наказуемыми по таким-то статьям.

Предание Молочникова суду чрезвычайно расстроило Льва Николаевича. Он сейчас же написал Н. В. Давыдову[5], послал ему обвинительный акт, прося совета и выражая желание и готовность поехать на суд в качестве свидетеля, чтобы заявить открыто суду, что если кого судить, то не Молочникова, а его, Толстого, так как это книги его, которые написал он и распространению которых он содействует.

Нынче (12 апреля) со Львом Николаевичем случился второй припадок. Это было так: перед обедом Лев Николаевич, вернувшись с прогулки, лег, по обыкновению, отдохнуть. Мы со Львом Львовичем сидели в столовой — в шахматы играли. Потом Лев Львович стал ходить по комнате, а я разговаривал с Татьяной Львовной.

В это время Лев Николаевич выходит из дверей, ведущих на лестницу, и говорит:

— Я так крепко спал, что все забыл. Иду сюда, Лева говорит, а я не могу понять, кто это говорит, и мне кажется, что это голос Митеньки (давно умерший брат Льва Николаевича).

Потом Лев Николаевич был совершенно такой, как всегда. Сели обедать. За обедом во время второго блюда шел общий разговор, в котором принимал участие и Лев Николаевич. Я сидел напротив него, и вдруг вижу, что он становится все бледнее и бледнее и как будто теряет сознание. Был момент почти полного обморока. И

ужасно было, как все не замечают и продолжают свой разговор, а я и Софья Андреевна видим, в чем дело, но боимся сказать, чтобы он не услыхал. Потом Лев Николаевич как бы пришел в себя, но сознание и память не сразу возвратились. Первые минуты Лев Николаевич, очевидно, не сознавал, что он делает. Он стал в кастрюльку со сладким класть кусок хлеба, как бы совершенно не сознавая себя. Через минуту он опомнился и говорит:

— Со мной что-то странное: я здоров, но я ничего не помню. Что это, мне приснилось, или правда здесь был брат Митенька?

Потом он силился припомнить, кто это сидит за столом, но чужих не мог узнать. На меня он не посмотрел. Я с ужасом ждал, что он не узнает меня. Мне было радостно, что потом, хотя забывчивость продолжалась весь вечер, он спрашивал про меня, а когда я вошел в комнату, спросил:

— Где вы были, Александр Борисович?

Вечером Лев Николаевич сидел в большом кресле у двери в гостиную и молчал.

Потом он сказал:

— Что вы все так беспокоитесь? Мне так хорошо... и такое равнодушие: здоров — здоров, нездоров — нездоров, умру — умру. Только мне хорошо, что вы все тут... Ну, а теперь все прощайте. Я пойду совсем...

14 апреля. Наутро (13-го) Лев Николаевич был совсем здоров. Ему, видимо, было неприятно, что он ничего не помнит из бывшего накануне.

Лев Николаевич восхищался маленьким рассказом Гюго из посмертного тома — о городовом и толпе, хотевшей его убить. Он перевел его в фонограф [6].

Раньше Лев Николаевич перевел также рассказ Гюго об анархисте. Этот перевод он продиктовал Гусеву непосредственно перед первым припадком в марте [7].

Лев Николаевич восхищался силой мысли и яркостью этого рассказа, несмотря на то, что в конце «вдруг на полстранице все разрешается».

Лев Николаевич заболел в субботу на Страстной (12 апреля), а в четверг по поводу того, что няня Сухотиных стала читать двенадцать евангелий, он удивлялся:

— Почему именно сегодня и почему двенадцать евангелий? Как это странно.

А наутро после болезни (первый день пасхи) Лев Николаевич прочитал у себя в комнате в заголовке «Руси» о казнях[8], вышел назад в столовую, где сидели я и М. С. Сухотин, и сказал:

— Вот эти празднуют как должно! Четыре казни в Нижнем Новгороде, три — еще где-то. А вы говорите, — обратился он к Михаилу Сергеевичу, — умирать не надо. Поскорей бы умереть!..

Тут же Лев Николаевич показал отвратительное ругательное письмо какого-то купца. Лев Николаевич заставил Мишу Сухотина читать вслух.

— А он, наверное, разговлялся куличом и говорил: «Христос воскрес», — заметил Лев Николаевич.

Приехав сегодня в Москву, я, по поручению Софьи Андреевны, был у В. А. Щуровского, чтобы рассказать ему об обмороке Льва Николаевича. Я его не застал, так как он уехал в деревню на несколько дней.

Из письма Татьяны Львовны:

«15 апреля. У нас дела идут хорошо... Папа пожалел, узнавши, что вы решили отменить музыку* и что мы вас в этом поддержали. Но потом согласился с нами...»

Письмо Софьи Андреевны:

«17 апреля 1908 г.

Дорогой Александр Борисович.

Спешу вам написать, чтоб вы не беспокоились ходить к Щуровскому. К нему пойдет Беркенгейм с моим письмом и сделает свой подробный медицинский доклад, на основании которого и будет поступать Щуровский по своему усмотрению.

Вы очень тронули меня тем, что пожалели, и еще тем, что с доверием отнеслись к тому, что я сумею выходить Льва Николаевича...

Теперь он ежедневно ездит верхом, опять много пишет; но явления его забывчивости иногда повторяются. Это бы еще не беда.

Да, камень и у меня на сердце постоянно. Как

---

* Я собирался приехать в Ясную со скрипачом Б. О. Сибором, но ввиду болезни Льва Николаевича сказал, уезжая из Ясной, что мы не приедем.

ничтожно мне кажется мое существование без Льва Николаевича. Ведь скоро 46 лет, как я непрестанно заботилась о нем; хорошо ли, дурно ли я это исполняла, — это другой вопрос. Во всяком случае, старалась, и постараюсь до конца.

Очень огорчился Лев Николаевич, что не будет обещанной музыки. Не знаю, насколько это было бы вреднее тех бесконечных посетителей и разговоров, которыми и теперь утомляют Льва Николаевича. Не думаю...»

Из письма Александры Львовны:

«4 мая. Папа̀ здоров...»

17 июня. На днях Сергей Львович говорил что-то о симфонических поэмах Листа и о «Мефисто». Я со Львом Николаевичем в это время играл в шахматы.

Потом Лев Николаевич говорит мне (я хвалил «Мефисто»):

— Нет, это нехорошая музыка. У Листа отсутствует эта особенность старых мастеров, эта законченность, ясность целого, когда чувствуешь, что так должно, иначе быть не может. А у него все выдумано, неясно.

Потом Лев Николаевич спросил:

— А вот этот француз, как его?

Я стал перебирать разных французских композиторов.

— Да еще все московские барыни у него учились?

— Фильд?

— Да, да!

— Он был англичанин.

— Ну, все равно. У него было дарование небольшое, а он умел найти простую форму, и его сочинения не очень значительны, но приятны. А когда нет настоящего таланта, и начинают стараться во что бы то ни стало сделать что-то новое, необыкновенное, тогда искусство идет к чертовой матери.

По поводу пребывания сыновей на свадьбе у Кулешова Лев Николаевич сказал старухе графине Зубовой:

— Мы, бывало, с Сережей (братом) относились свысока и презирали «благородное крапивенское дворянство». А вот мои сыновья иначе... Это, разумеется, было

дурное чувство, но в этом хорошо было то, что, по крайней мере, в деревне жили деревенской жизнью.

Лев Николаевич чувствует себя эти дни недурно и много работает. Послезавтра приезжает В. Г. Чертков.

На днях мы со Львом Николаевичем играли в шахматы. Пришел Николаев.

В разговоре с Николаевым Лев Николаевич сказал:

— Как хорошо, как радостно! Я никак не ожидал такого сюрприза. Вот если вы доживете, увидите, как хороша старость. Чем к смерти ближе — все лучше.

Вчера было другое настроение. В Ясной неприятность, которая тяжело отразилась на настроении Льва Николаевича: там украли лес на постройку — кучер и повар, которым очень доверяли. И всего-то украли пять-шесть деревьев, сверх им подаренных. Софья Андреевна, однако, сделала из этого целую историю.

Недели две тому назад Лев Николаевич написал небольшую статью против смертной казни («Не могу молчать») поразительной силы [9].

18 июня. Нынче я пришел ко Льву Николаевичу в комнату.

Я спросил:

— Можно к вам?

— А, здравствуйте, очень рад. А я Герцена читаю (книгу Ветринского о Герцене, которую Лев Николаевич читает с большим интересом) [10].

— Лев Николаевич, хотите партию сыграть?

— Ну давайте.

— Здесь будем играть?

— Да, лучше здесь.

Я принес шахматы и расставил. Лев Николаевич сидел в кресле, я — на кожаном диване.

Лев Николаевич сказал:

— Мне эти дни невыносимо тяжело. Я никому этого, кроме вас, не говорил. Я нынче в дневнике писал. Я просто не могу больше жить так. Эта прислуга, роскошь, богатство, а там — бедность, грязь. Мне мучительно, невыносимо стыдно. Я никогда с такой силой не чувствовал этого, как теперь. Просто не могу больше так жить, — повторил он.

Потом, как будто докончив невысказанную мысль

о самом дорогом для него в семейной обстановке, он сказал:

— А тут эта добродушная Саша со своим смехом... А мне стыдно, стыдно!..

Раньше Лев Николаевич сказал мне еще:

— Я нынче хорошо работал (отделка статьи «Закон насилия и закон любви»)[11]. Я писал о насилии. Может быть, я ошибаюсь, но, кажется, вышло очень сильно.

Нынче Лев Николаевич был у нас. Приехал верхом. Побыл минут десять, но был очень хорош. Сел на кресло под барометром. Заговорил о доме Черткова, стараясь подыскать оправдания тратам на его постройку. Между прочим, он сказал, что Чертков хочет устроить «pied à terre» * для сына.

Я сказал:

— А что выйдет из него?

— Кто может знать? Он милый малый. Но я не знаю. Да вот я и вас не знаю, — обратился он, смеясь, к моей жене, — что из вас еще будет, какое еще вы, может быть, коленце отмочите!.. Вот про себя-то я уж верно знаю, что из меня больше ничего не будет. Только труп.

Потом он сказал:

— Нет, Сашин дом лучше **. Я сейчас сюда ехал и припомнил про это место. В моей памяти целый калейдоскоп проходит. Сначала, помню, еще при отце, это было имение жандармского полковника Огарева. Он был маленького роста, добродушный, и жену его помню. Она была, кажется, поведения довольно легкого. А потом это имение купил Морсошников, а уж у него Бибиков. Он был малообразованный, но очень приятный, хороший человек. А потом сын его, беспутный малый, промотал последнее, и вот теперь Саша купила... И так мне странно, я всех их так помню!..

Лев Николаевич опять заговорил о Герцене. Говорил, какой он в последние годы был несчастный.

— Его всё новые нигилисты бранили. Он был несчастлив и в личной жизни. Я на нем вижу, как ужасно в старости без религиозного чувства. Он с разных сто-

* пристанище *(франц.)*.

** Маленький домик в Телятинках, принадлежавший Александре Львовне, в котором я с семьею обыкновенно проводил лето.

рон, стараясь объяснить смысл жизни, подходил к религиозному сознанию, но не пришел к нему. Вы не знаете продолжение «Доктора Крупова»?[12] Очень сильно, остроумно, но с еще бо́льшим пессимизмом. Я еще самого конца книжки не дочитал, приберег себе на сегодня.

24 июня. Вчера был в Ясной. Лев Николаевич два дня был нездоров — голова болела. Вчера он был бодр. Он перечитывает Пушкина и восхищается им. Это мне радостно.

Лев Николаевич был вчера со мной необыкновенно ласков. В прошлый раз я, уходя, зашел к нему проститься и говорил ему, что мне стыдно, что я не играл у них еще ни разу этим летом. Вчера я играл.

После игры, когда я стал прощаться, Лев Николаевич сказал мне:

— В прошлый раз я хотел вам сказать, да вы уж ушли, что я рад вам всегда и без музыки или шахмат.

Потом, прощаясь, он опять сказал:

— Я очень привык к вам, люблю вас... С вами легко...

Хорошо мне стало от этих слов. Когда мы с Чертковым уезжали верхом домой, Лев Николаевич подошел к окну и знаками показал Черткову, чтобы он меня подозвал. Я подъехал, и Лев Николаевич ласково послал свой привет в мою сторону.

29 июня. Вчера вечером мы с женой были в Ясной. Там был у Льва Николаевича слепой[13], который бывал раньше и потом писал ругательные письма. Он человек больной — смесь влияния революционеров, православия, апокалипсиса и проч. Пришел с утра, сел под деревом, не пил, не ел весь день и сказал, что не уйдет, пока не обратит Льва Николаевича на путь истинный.

Лев Николаевич рассказывал:

— Он меня ругал и даже подлецом назвал. Я ему говорю: «Ну, хорошо, — я такой, но тогда меня пожалеть надо. Зачем осуждать? У нас у всех есть слабости». Он все слушал и, кажется, немного смягчился.

Потом Николаев увел слепого на деревню. Нынче он опять был.

1 июля. Очень часто, почти ежедневно, езжу в Ясную. Лев Николаевич бодр и день ото дня становится как-то выше, просветленнее.

29-го вечером мы с женой опять были в Ясной. Там были три дамы-теософки [14], из которых одна — г-жа Унковская — довольно плохая скрипачка, с которой я играл.

Когда мы приехали, Лев Николаевич сейчас же стал со мной играть в шахматы, но сказал, что придется прервать, так как привезут слепого, которого уговорили уехать, но он хочет еще раз поговорить с Львом Николаевичем. Действительно, скоро Филипп подвез его в шарабане к дому.

Лев Николаевич вышел. Я стоял в столовой у окна и видел и почти все слышал. Слепой сидел в шарабане рядом с Филиппом, а Лев Николаевич стал близко сбоку и, наклонившись, слушал. Слепой говорил раздраженно. Шел дождь, Софья Андреевна выбежала на крыльцо и накинула на Льва Николаевича мой плащ.

Слепой говорил:

— Хотя твое христианство выше учения попов, но оно ложь. Твои ученики — разбойники, и ты атаман разбойников. Все вы мерзавцы, и ты первый!

Лев Николаевич стоял согнувшись и кротко, молча слушал.

Только что он начал что-то еще тихо говорить, Софья Андреевна не выдержала и велела Филиппу ехать.

Лев Николаевич вернулся в столовую и сказал мне:

— Ужасно! Сколько я говорил с ним эти дни, а под конец он все-таки говорит: «Ты атаман разбойников и мерзавец». Страшно подумать, что́ у него делается в душе... Для меня он был очень полезен. Когда так сталкиваешься с людской злобой во всей наготе, то тут ясно видишь, что сердиться бессмысленно, что единственное возможное отношение к такому человеку — доброе, — и его жаль. А когда на тебя нападают не так грубо, а утонченно, остроумно, тогда невольно поддаешься этому и начинаешь заражаться.

Лев Николаевич говорил с теософками о религии у Юлии Ивановны в комнате. Я подошел к концу разговора.

Лев Николаевич сказал:

— Истинное религиозное чувство может проявиться в самой нелепой форме.

Он рассказал легенду, которая помещена у Победоносцева в его «Московском сборнике» [15]:

— Пастух молился, и обещал принести богу в жертву теленка, и молился ему по-своему. Моисей сказал ему: «Что ты делаешь? Кому нужна твоя жертва и твоя молитва?» Тогда бог сказал Моисею: «Что ты сделал? Зачем ты отнял у меня этого человека?» (У Льва Николаевича слезы подступили к горлу.)

— Я боюсь, что вы пропускаете мимо мои слова, — сказал потом Лев Николаевич этим дамам по поводу его отношения к теософии.

— Когда религиозный человек, как мой друг Гусев, играет в городки, или вот другой мой друг, Гольденвейзер, на фортепианах играет, то это очень хорошо. Но когда из *религии* делают игрушку — это ужасно. Все эти рассуждения о будущей жизни или о прошедшей, о невидимом мире — все это не нужно, мешает. Нужно только одно: *я, мое* отношение к богу, *моя* жизнь. И зачем искать еще чего-то? Когда на скрыпке * играешь или какое-нибудь другое дело делаешь и чувствуешь, что пошел вперед, делается радостно. А в этих делах есть предел. В религиозном сознании нет предела, а бесконечный радостный рост. Dixi! **

Лев Николаевич встал и пошел в залу.

За чаем Софья Андреевна, вспоминая скрипачей, бывавших в Ясной, назвала Лясоту [16], дававшего когда-то уроки, кажется, Михаилу Львовичу, сказала, что он поляк.

Лев Николаевич сказал:

— Я прежде, в молодости, не любил поляков. Зато теперь я чувствую к ним какую-то особенную нежность. Должно быть, это — чтобы загладить то дурное чувство, которое прежде во мне было.

Я рассказал, что Пестель в «Русской правде» говорит, что Польше должна быть дана свобода [17].

Лев Николаевич вскрикнул:

— Ну как же после этого его было не повесить!

Одна из теософок (две уже уехали, осталась только скрипачка) рассказала Льву Николаевичу про самоубийство ее сына.

---

* Лев Николаевич произносил: скрыпка.

** Сказал! *(лат.)*

Передавая ее рассказ, Лев Николаевич сказал:

— Он повесился, да так, что перекинул веревку через крюк, надел петлю на шею и затянул руками. Его нашли на коленях с судорожно сжатыми руками, которыми он тянул веревку. Она мне так хорошо рассказала, что я совершенно понял этот тип: способный, сдал магистерский экзамен, удивительная память, добрый, но внутренняя пустота, которую нечем заполнить. Купил дом, стал заниматься аферами. То в банк деньги вносить, то срок подошел; одно за другим, и запутался. Я знаю это. Ведь хорошая книжка — это неважно, пустяки. А вот деньги — это дело серьезное.

Лев Николаевич сказал моей жене:

— Анна Алексеевна, возьмите мальчика.

Недоумение...

— Правда, я всех буду спрашивать. У меня был слепой крестьянин, такой хороший, и с ним мальчик, сын восьми лет. Его бы куда пристроить. Такой хороший мальчик! Я слепого спрашивал. Он живет ничего. Трое детей. Что же жена? — Хорошая женщина. — Так мне это понравилось, как он сказал. А мальчик хороший. Я все думал, что, если бы помоложе, для писателя это такой сюжет! Как такой мальчик попадает в город, в чужие люди, и что из него потом в жизни выйдет.

5 июля. Лев Николаевич сказал мне:

— Я теперь читаю то величайшую премудрость — индусскую книгу[18] (прислал автор Льву Николаевичу на английском языке), то Пушкина.

Лев Николаевич наслаждается Пушкиным, читал его все последние дни. Восхищался его отдельными заметками, этими «перлами ума». Читал вслух его записки, анекдоты, мысли. Между прочим, особенно хвалил заметку об эгоизме, которую тоже прочел вслух.

Лев Николаевич прочел вслух вторую главу «Пиковой дамы» до слов: «И вот моя жизнь», — подумала Лизавета Ивановна». Впечатление от его чтения я никогда не забуду. Лев Николаевич как бы смаковал каждое слово и хотел свое восхищение передать слушателям.

Графиня, Томский, Лиза говорят у Пушкина каждый своим языком. Лев Николаевич, не преувеличивая, не как актер, а как повествователь, все-таки совершенно различно передавал беглую, рассеянную речь Томского,

превосходный, старинный, грубоватый язык графини, робкие слова Лизы...

Читал Лев Николаевич негромко, как говорил; при начале чтения часто покашливал сердечным кашлем. Но если ему случалось откашляться от раздражения горла, то кашлял громко, и при этом, так же как в случаях, если Льву Николаевичу приходилось что-нибудь крикнуть, неожиданно оказывалось, что у него очень сильный, я бы сказал, как это ни странно, молодой, звук голоса.

Лев Николаевич неподражаемо прочел всю сцену из «Пиковой дамы» у графини, приход Томского и проч.

Он сказал:

— Как это все хорошо — повести Белкина. А уж «Пиковая дама» — это chef d'oeuvre!

Когда кончил читать, он сказал:

— Так умеренно, верно, скромными средствами, ничего лишнего. Удивительно! Чудесно! И как это странно: были Пушкин, Лермонтов, Достоевский... А теперь что? Еще милый, но бессодержательный, хотя и настоящий художник, Чехов. А потом уж пошла эта самоуверенная декадентская чепуха. А главное, эта самоуверенность!

По поводу индусской книжки Лев Николаевич сказал:

— В индусской философии удивительно соединение глубочайшей мудрости с невообразимой чепухой. Например, рассуждение о приемах, с помощью которых следует приводить себя в возвышенное состояние: нужно сесть, прямо держа спину, смотреть обоими глазами себе на кончик носа и повторять слово «ом».

— Эта работа еще предстоит в будущем: очистить истину во всех учениях — буддийском, конфуцианском, в христианстве — от всего, что устарело, ложно, лишнее.

Моя жена благодарила Льва Николаевича за книжки, которые он ей прислал (мысли по отдельным темам из «Круга чтения», издание «Посредника»).

Лев Николаевич спросил ее:

— А вы читали их? А то как дети Николаева. Он их зовет посидеть, поговорить, а Валек говорит: «Только, папа, не о добре — мы это уж знаем».

Софья Андреевна заметила, что дети вообще этих разговоров не любят и скучают, когда с ними ведут их.

— Нет, я в своих занятиях не замечал этого, — сказал Лев Николаевич. — Я думаю, разумеется, все дело в том, кто и как говорит с детьми.

Лев Николаевич сказал еще:

— Удивительно! Вот я пишу теперь об этом — разумеется, слабо, — но это мне кажется важным и нужно сказать — как это думать, что мы призваны устраивать жизнь! Это такое же суеверие, как кровь в вине. Как улучшать жизнь другого? Зла он мне не может причинить. Зло человек может только себе причинить. Значит, я сам виноват. Это очень важно в отношениях с людьми — помнить, что сам виноват. И тогда не других будешь исправлять, а себя.

Лев Николаевич часто вспоминал слова Герцена об этом: «Когда бы люди захотели, вместо того чтобы спасать мир, спасать себя; вместо того чтобы освобождать человечество, себя освобождать, — как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человечества».

— Как это странно, — сказал Лев Николаевич, — молдаване в Бессарабии — самые русские патриоты. Или в Индии, где народ погибает, миллионы ежегодно умирают от голода под гнетом англичан, а из двухсот тысяч войска в Индии сто пятьдесят с лишком тысяч — сами же индусы. А у нас войско — те же рабочие, сами себя закабаляют.

На днях был корреспондент Беренштейн из какой-то большой американской газеты[19]. Кажется, еврей. Он, между прочим, спросил Льва Николаевича о еврейском вопросе.

Лев Николаевич сказал ему:

— С христианской точки зрения не может быть никаких, ни еврейских, ни польских, вопросов. Отношение к людям не зависит от их национальности.

Я играл как-то. Лев Николаевич сказал, что новая музыка после Шопена чужда ему и что это — падение искусства.

— Я все боюсь, что это стариковская черта — признавать все только свое старое. Но вот и в литературе, хотя бы у нас: после Гоголя, Пушкина — Леонид Андреев.

На днях на балконе Лев Николаевич сказал по поводу постройки Черткова:

— Странно, он как будто делает все это, чтобы устроиться по соседству со мной, а между тем, мое соседство самое отдаленное, и очень скоро.

Гусев сказал, что Чертков уверен, что он умрет раньше Льва Николаевича.

— Как это знать?! Какое это важное дело — мысль о смерти. Только как думать о смерти молодому! Эта мысль слишком противоречит физической жизни. Вот Саша, например, как ей о смерти думать?! Из нее мысль о смерти выскакивает, как пробка, которую засунули во что-нибудь упругое.

27 июля. Недели две назад была в Ясной г-жа Ершова, жена члена государственного совета [20]. Дама малоинтересная. На балконе Лев Николаевич играл со мной в шахматы, а она, сначала с Софьей Андреевной, а потом, не помню, с кем-то другим (кажется, Марией Николаевной, сестрой Льва Николаевича), разглагольствовала о полезности помещиков и о том, что мужики — звери и, если бы не помещики и их культура, озверели бы окончательно.

Лев Николаевич молчал, молчал и наконец не выдержал. Он встал со стула и сказал ей:

— Вы меня извините, но то, что вы говорите, ужасно; этого равнодушно слушать нельзя. Уж если кто зверь, то уж, конечно, не мужики, а мы все, кто их грабит и на их счет живет. А вся «работа» помещиков — одно баловство от нечего делать!..

Лев Николаевич очень взволновался и долго потом не мог успокоиться.

В тот же вечер — Ершова уже уехала — за чаем говорили о казнях. Софья Андреевна пыталась доказать, что всякие убийства такое же зло, как казнь, а об них не говорят. Ей возражала Елизавета Валериановна, что казнь — убийство, считаемое справедливым, и в этом весь ужас.

Лев Николаевич сказал:

— Если спросить, кто хуже: несчастный палач, которого подкупили, споили, погубили его душу, или те, кто его подкупает и кто присуждает к казни: прокуроры, судьи, то, мне кажется и сомненья быть не может.

За чаем Елизавета Валериановна сказала Марии Николаевне, своей матери, чтобы она выпила молока, и та стала пить.

Лев Николаевич сказал:

— Как это, Машенька, ты пьешь? По мне, — если скажут: пей молоко, — захочу хересу, а скажут пить херес, — я молока захочу...

Лев Николаевич тут же за чаем рассказал про письмо лицейского священника Соловьева [21]. Он говорил, что это было хорошее, доброе письмо, хотя и увещевавшее возвратиться в лоно церкви. Лев Николаевич ему ответил и просил Гусева прочесть ответ. В письме рассказана легенда из сборника Победоносцева и говорится, что Лев Николаевич надеется, что он такой же пастух.

— Я хотел еще прибавить, — сказал Лев Николаевич, — да воздержался, что вы принадлежите к той церкви, которая людей разделяет, а та церковь, к которой я принадлежу, соединяет всех людей.

Лев Николаевич потом письмо переделал и о церкви, к которой принадлежит Соловьев, пропустил, а о той, к которой он сам принадлежит, сказал.

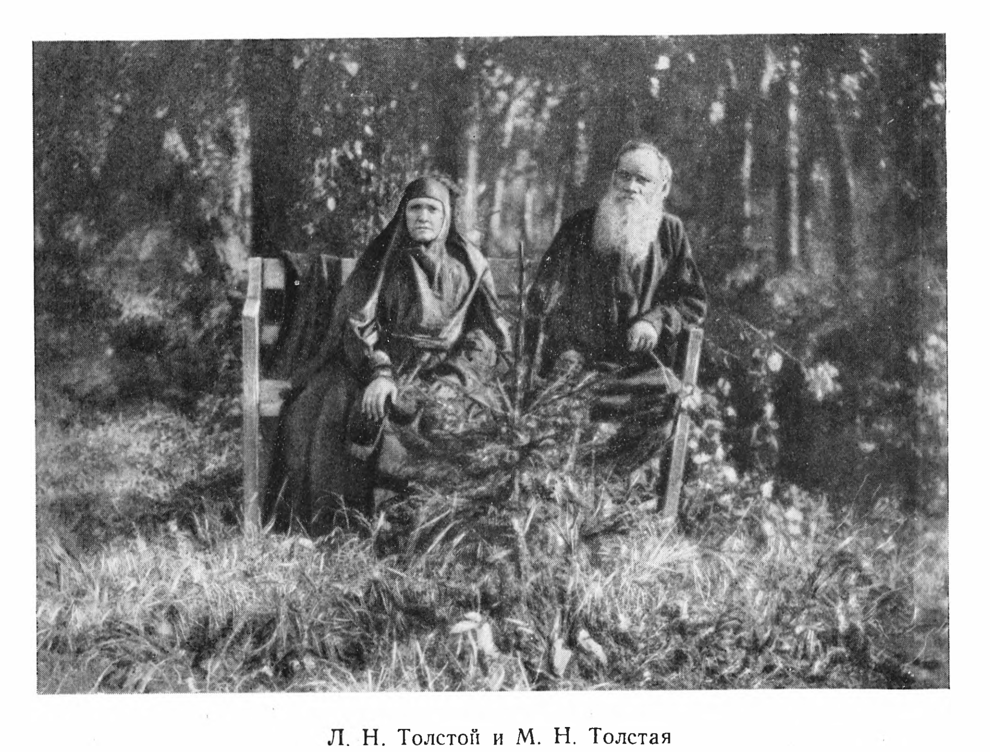
Мария Николаевна вспоминала кое-что из прошлого. Когда они вскоре после смерти отца в 1837—1838 году жили в Москве на Плющихе, Лев Николаевич, которому тогда было лет восемь — десять, выпрыгнул раз из окна второго этажа и расшибся.

Лев Николаевич сказал:

— Я хорошо помню это. Мне хотелось посмотреть, что из этого выйдет. И я даже помню, что постарался, выскакивая из окна, еще подпрыгнуть повыше.

28 июля. Вчера мы были в Ясной с женой. У Льва Николаевича все нога болит. Он лежит в кресле с вытянутой ногой. У него воспаление и закупорка вены. Нужно, говорят, лежать шесть недель.

Болезнь ноги (закупорка вены) у Льва Николаевича была серьезной и довольно упорной. Одно время он лежал в кровати. Чтобы нога была выше поднята, под ножки кровати подложили две довольно большие деревянные чурки. Лежать в таком положении было мучительно, но Лев Николаевич физические страдания переносил с большим терпением и редко на них жаловался,



Л. Н. Толстой и М. Н. Толстая

Мы были сначала у Николаевых. В Ясную пришли часов в восемь. Лев Николаевич сидел в кресле в столовой. Играл раньше с Сергеенко в шахматы. Потом стал играть со мной. Сергеенко немножко посмотрел на нашу партию, а потом у круглого стола вступил в объяснение с Софьей Андреевной по поводу детской хрестоматии из сочинений Льва Николаевича, которую он хочет издать к юбилею [22]. Разговор был ужасный.

Софья Андреевна в самой резкой форме заявила, что не поступится своими правами, обратится к адвокату и объявит в газетах. Сергеенко держался довольно хорошо, просил ее указать, что она разрешает печатать, но она не принимала никаких резонов. В конце концов она сказала, что это то же самое, как если бы он у нее серебряные ложки украл. Было невыносимо стыдно и тяжело.

Софья Андреевна делала попытки вмешать в это объяснение и Льва Николаевича. Бедный Лев Николаевич, он страдал, морщился, с ужасом качал головой, но молчал. Величайший подвиг его жизни — кротость и терпение, с каким он относится к Софье Андреевне. Подвиг еще более тяжел тем, что за эту кротость, за это долготерпение его же судят, приписывая ему все ее грехи.

Во сколько раз легче было бы ему уйти из этой жизни, которая ему не только не нужна, а невыносима.

Потом было еще хуже. Сергеенко уходил из комнаты, но, когда он снова вернулся и сел около нас и смотрел на нашу игру в шахматы, Софья Андреевна не видала его и, говоря о чем-то, по обыкновению жалуясь на хозяйственные дрязги, которые она же сама затевает, сказала:

— Когда я избавлюсь от приказчика, воровства, Сергеенко и еще чего-то — не помню...

Все обомлели. Лев Николаевич даже застонал. Сергеенко побелел. Кто-то успел шепнуть Софье Андреевне, что он здесь. Она нисколько не смутилась, а только стала говорить, как она жалеет, что не умерла от операции.

Лев Николаевич взглянул на Сергеенко. Сергеенко спросил:

— Вы хотели, Лев Николаевич, что-то мне сказать?

Лев Николаевич помолчал и сказал:

— Вы поняли.

Потом еще прибавил:

— Кого бог любит, тому и посылает.

Было невыносимо. Сергеенко незаметно вышел и, ни с кем не простившись, уехал.

Потом как-то обошлось. Приехала Звегинцева. Лев Николаевич разговорился.

Он рассказывал про отца Черткова:

— Когда ему было лет сорок пять, у него на пальце ноги сделалась гангрена. Потом пошла дальше, пришлось отрезать ногу до колена. Он поехал в Англию. Там ему очень искусно сделали ногу, на которой он довольно свободно ходил. Потом сделалось на другой ноге, пришлось отнять и эту, и еще раз — уже выше колена. Он сидел в кресле, и его возили. Он был очень терпелив и не стонал, но целыми днями качался от боли. К вечеру ему впрыскивали морфин; он оживлялся, читал газеты, разговаривал. Это был блестящий, светский, остроумный человек, имевший большой успех в свете. Его и в кресле продолжали возить на балы. На него была даже мода; он бывал у императрицы. В обществе на него приглашали, говоря: «Venez. Mr. Tchertkoff sera ce soir chez nous*. Он скоро умер. Он ничего не пил и не мог никогда пить, так как ему вино бросалось в голову. Но как-то за обедом кто-то пил, и он с ним выпил рюмку водки и тут же за обедом внезапно умер.

Почему-то заговорили о клопах.

Лев Николаевич сказал:

— Перна, когда есть клопы, не чешется, а лежит спокойно — дает им наесться, как Будда, отдавший себя на съедение тигрице, — а потом клопы наедятся, и он спит спокойно. А в старину, при крепостном праве, когда помещики жили довольно грязно и клопы не переводились, если гость оставался ночевать, то на его постель клали сперва лакея, чтобы накормить клопов, а уж потом готовили постель гостю.

Потом я стал около Льва Николаевича, и он поговорил со мною. Сначала он, смеясь, подмигнул на колоссальную шляпу Звегинцевой.

Я спросил его, работает ли он над новым «Кругом чтения». Лев Николаевич сказал, что уже двадцать первый день делает. Он делает одинаковые числа всех две-

---

* Приходите, вечером у нас будет Чертков *(франц.)*.

надцати месяцев на одну тему. Я сказал ему, что читал первое число и мне показалось очень хорошо.

Лев Николаевич сказал:

— Да, это все еще надо пересмотреть. Я в начале каждого дня помещаю мысли, доступные детям или народу. Это очень трудно. Я теперь, старый, это делаю, а надо было начать с этого. Надо было писать так, чтобы было по возможности всем понятно. Это и в вашем деле. Да и во всяком искусстве.

Я сказал Льву Николаевичу, что в музыке самый музыкальный язык бывает недоступен, даже для принадлежащего к интеллигентному кругу, в силу непривычки или природной немузыкальности.

Лев Николаевич отчасти со мною согласился, но сказал, что это и в других искусствах:

— Бывают мысли общепонятные и нужные, но выраженные языком небольшого круга людей. Например, какое-нибудь «Я помню чудное мгновенье» или «Когда для смертного умолкнет шумный день» — вы помните? Этого мужик не поймет.

Лев Николаевич сказал:

— Я много думал сегодня об искусстве и перечел свою статью и, должен сознаться, согласился со своими мыслями.

Лев Николаевич читает английскую биографию (Hunker) Шопена [23]. Биография ему не понравилась.

Он сказал мне:

— Я давно не читал такого рода книг. Автор не показывает Шопена — его внутреннюю жизнь, а щеголяет своей эрудицией, своим умением ловко, остроумно писать. Полемизирует и доказывает неправоту других биографов. А Шопена здесь нет... Но все-таки есть много интересных фактов. Эта жизнь небольшого круга поэтов, писателей, музыкантов — какая развращенная, ужасная жизнь! А Жорж Санд, эта отвратительная женщина!.. Я не понимаю ее успеха.

Мария Николаевна, которая слушала, сказала:

— Нет, у нее есть хорошие вещи. Вот, например, «Consuello».

Лев Николаевич поморщился.

— Нет, нехорошо. Все фальшиво, дурно, скучно; я никогда не мог читать.

29 июля. Лев Николаевич чувствует себя плохо, нога

не лучше. Боли в животе. Софья Андреевна уверяла, что Душан Петрович не так питает Льва Николаевича, как нужно. Перед моим приходом вышел у нее со Львом Николаевичем по этому поводу резкий разговор. Я пришел в залу. Лев Николаевич в кресле обедал и был, видимо, очень расстроен. В комнате были Николаев, Душан Петрович, Мария Николаевна. Мы стали в шахматы играть. Лев Николаевич играл вяло. Был расстроен тем, что раздраженно говорил с Софьей Андреевной, и беспокоился, что она, очевидно рассерженная, ушла и не заходит в столовую. Я не был при инциденте, но понял, что Льву Николаевичу были неприятны резкие замечания Софьи Андреевны о Душане Петровиче. Лев Николаевич побыл недолго, попросил, чтобы его свезли к нему в комнату, и больше не выезжал оттуда. Было тяжело.

30 июля. В Ясной были Мария Александровна, И. И. Горбунов, Евгений Иванович Попов. Лев Николаевич плохо чувствовал себя. Нога все так же. Играли в шахматы. Потом чай пили. Раньше, еще до шахмат — я только что зашел в залу, — Лев Николаевич рассказывал Н. Л. Оболенскому, Марии Николаевне и тем, кого я назвал раньше, содержание романа Анатоля Франса, крайне запутанного, преисполненного всяких злодейств. Он называется, кажется, «Иокаста»[24]. Лев Николаевич очень подробно передал содержание, удивлялся его нелепости, но говорил, что написано с обычным мастерством Франса.

Когда я только что пришел, я встретил внизу двух людей, желавших видеть Льва Николаевича. Так как Лев Николаевич болен, к ним пошел Гусев. Один оказался «бессмертником»[25], а другой через Гусева прислал Льву Николаевичу очень странную записку, в которой, ссылаясь на обещание Буланже дать ему какое-то место, высказывает как-то нескладно желание быть полезным Льву Николаевичу; а в общем — ни цели, ни смысла.

Лев Николаевич сказал:

— Удивительно! Как это они не понимают?! Им кажется, что на свете только и есть — он да я; а между тем, таких, как он, сотни, а я один. И что я могу ему сделать?

О «бессмертнике» Лев Николаевич заговорил за чаем. Мария Николаевна спросила, что это за секта.

Лев Николаевич сказал ей:

— Бессмертники верят, что если они будут веровать, то никогда не умрут. И если кто из них умирает, говорят: значит, он ошибся... Я очень это понимаю. У них бессмертие отождествляется с телом. На низком уровне религиозного развития это понятно. Церковное учение тоже представляет себе воскресение во плоти.

Мария Николаевна стала говорить, что верит, что что-нибудь *будет* после смерти.

Лев Николаевич сказал:

— Прежде всего про состояние после смерти нельзя сказать, что оно *будет*. Бессмертие не будет и не было, оно *есть*. Оно — вне временных и пространственных форм. Людям, спрашивающим, что же будет после смерти, надо ответить: то же, что *было* до рождения. Мы не знаем, не можем и не должны знать, что такое существование вне тела — слияние с богом, и когда мне начинают рассказывать про это, хотя бы ко мне явился кто-нибудь с того света, я бы не поверил и сказал бы, что это не нужно. То же, что нужно, мы всегда чувствуем и несомненно знаем. Надо жить так, чтобы моя жизнь содействовала благу людей.

Мария Николаевна сказала, что хотя и не верит и не допускает существования рая и ада с реальными страданиями, тем не менее для души постоянное страдание от сознания совершенного в жизни зла и неисполненного добра и невозможность ничем этого поправить — и есть ад.

— Я не могу допустить, — прибавила она, — что человек, который живет дурно и ничего хорошего не сделал, так же сольется с богом, как живший хорошо.

Лев Николаевич хотел что-то сказать, Мария Николаевна перебила его.

Лев Николаевич тихо, кротко сказал:

— Я тебя, Машенька, выслушал, теперь ты меня выслушай. По отношению к совершенству бога та разница, которая существует в жизни между самым праведным человеком и самым дурным, так ничтожна, что просто равняется нулю. И как я могу допустить, что бог, бог, которого я познаю в любви, может быть мстительным и наказывать?!

— А если человек всю жизнь жил дурно и умер не раскаявшись?

— Ах, Машенька, да какой же человек хочет быть дурным? Человека, которого мы считаем дурным, мы должны любить и жалеть за его страдания. Никто сам не захочет жить дурной жизнью и страдать. Его не наказывать надо, а жалеть, что он не знает истины.

Мария Николаевна все-таки не могла отрешиться от своей точки зрения.

Лев Николаевич сказал ей:

— Очень хорошо, если ты будешь верить тому, что тебя удовлетворяет, и этого никак нельзя осуждать, лишь бы только не мешать людям верить, как им подсказывает их совесть, а не стараться заставить их верить иначе, как это делают все церковные исповедания: католическое, протестантское, православное, буддийское, магометанское.

Во второй половине июля был в Ясной Клечковский[26], который там играл. Хотя он играет довольно плохо, но так хорошо, просто к этому относится, что даже его плохая игра приятна *.

Лев Николаевич лежал на кушетке, и, после того как Клечковский кончил играть, мы сели около него. Клечковский стал говорить о себе, как он тяготится своей жизнью, как ему хотелось бы жить на земле, бросить уроки музыки, институт. Мешают этому отношения его жены к отцу, который очень болезненно отнесся бы к резкой перемене их жизни. Он еще говорил, что хотел бы устроиться с кем-нибудь в общине.

Лев Николаевич ответил ему:

— Зачем община? Не надо отделяться от всех людей. Если в ком есть что хорошее, пусть этот свет распространяется вокруг него там, где он живет. Сколько людей устраивались общинами, и из этого ничего не выходило. Сначала вся энергия уходила на внешнее устройство жизни, а когда устраивались, начинались ссоры, сплетни, и все распадалось... Вот вы на институт жалуетесь, а в институте есть швейцар, вы можете к нему хорошо, по-человечески относиться, и вы сделаете доброе дело. А ученицы? Разве мало хорошего можно сделать из этих отношений? А уйти всегда можно, только из этого ничего хорошего не выйдет. Я говорю так не по-

* В тот день Клечковский играл Льву Николаевичу что-то Шопена (чуть ли не Des-dur'ный ноктюрн), еще что-то и наивно-милое, старомодное рондо Фильда «Midi». *(Прим. автора.)*

тому, что хочу оправдать свою жизнь. Я живу, знаю, что дурно, но я всегда хотел и стараюсь жить лучше, только не сумел... Я уйду к богу с сознанием, что делал, что был в силах, чтобы улучшить свою жизнь.

— Никогда не надо вперед загадывать, как устроить жизнь. Иногда кажется, если бы остался один, что бы я стал делать? Вот, например, сказать Илье Васильевичу: «Сегодня хорошо, если бы вы прибрали и подмели комнаты, а завтра я. Вместе стали бы обедать». А дальше все одно за одним, как сложится. Только одно помнить, что идеал внешней жизни вполне осуществить нельзя, так же как и духовной. Все дело в постоянном приближении. Если бы я теперь все бросил и ушел, Софья Андреевна возненавидела бы меня, и зло от этого было бы, может быть, еще хуже. У вас вот отец... и так у каждого.

Раньше еще Лев Николаевич сказал:

— Нынче я Софье Андреевне сказал, она, кажется, обиделась на меня: первое в жизни то, *что для души,* и если хозяйство мешает этому, то надо бросить хозяйство к черту.

Вчера вечером сидели на балконе. Булыгин был.

Лев Николаевич рассказывал, что получил из Томска хорошее письмо от какого-то простого человека, который прочел некоторые его книжки и спрашивает в конце: где такие люди, живущие христианской жизнью, что он все бросит и отправится жить с ними[27]. Лев Николаевич сказал, что ответил ему приблизительно то же, что я сейчас записал из разговора с Клечковским об общине.

Лев Николаевич прибавил:

— Я даже думаю, что если быть женщиной в распутном доме или тюремщиком, и то не следует *начинать* с того, чтобы бросить дело. Разумеется, человек, сознающий зло такой жизни, не останется в ней, но только главное не в этой внешней перемене.

Лев Николаевич сказал, что получил в этот день три письма: одно от г. Грекова, который посылает свою книгу «Благовестие мира»[28] в трех экземплярах и говорит, что эта книга так замечательна, что если ее распространить, то она перевернет жизнь человечества; другое письмо от интеллигента, просящего восемьсот рублей, и третье — от этого простого, безграмотного человека, хорошее, серьезное.

Лев Николаевич говорил, что он, кроме писем с просьбами о деньгах, постоянно получает такие, где авторы, посылая свои литературные произведения, просят, чтобы Лев Николаевич с помощью своего авторитета способствовал распространению их творений.

— Странная мысль, — сказал Лев Николаевич, — что я могу стараться о распространении того, чему я не сочувствую и чего не разделяю.

Лев Николаевич получил на днях письмо от сидящего в тюрьме за отказ от воинской повинности[29]. Это письмо Гусев читал вслух.

Лев Николаевич сказал:

— Вот это счастье — пострадать за свои убеждения от того правительства, с которым борешься!

После разговора на балконе о трех письмах Лев Николаевич пошел наверх и лег на кушетке. Он лежал тихо. Потом он вздохнул и сказал:

— Подумать только, что делается теперь по всей России! Боже мой, боже мой, эти казни, эти тюрьмы, эти остроги, эти изгнания! И воображают, что они что-то изменят!

В разговоре с Клечковским Лев Николаевич сказал о школах:

— Теперешние школы хуже тюрем и виселиц. Лучше никакого образования, чем это. У нас в школах преподают ужасающую ложь за истину... И как трудно потом от этой лжи освободиться! Как еще Кант сказал: «Человек, которому с детства внушены ложные убеждения, делается потом на всю жизнь софистом своих заблуждений».

31 июля. У Льва Николаевича нога лучше. Желудок очень плох.

1 и 2 августа. Мы были с Сибором и играли. Лев Николаевич чувствовал себя, особенно 1-го, довольно хорошо и очень радовался музыке.

Мы переиграли Льву Николаевичу очень много (преимущественно классических) сонат. Лев Николаевич очень ценит игру Сибора.

3-го или 4-го. Мы были с женой. Лев Николаевич чувствовал себя плохо. Весь вечер почти слова не сказал. На другой день я собирался играть там Шопена. Приехал, а Лев Николаевич — болен, лежит.

5 августа. Мария Николаевна рассказала еще, кажется, в середине июля, как у Льва Николаевича приказчик Фоканыч украл четыреста рублей, а Лев Николаевич отнесся к этому довольно равнодушно. Вскоре после этого Сергей Николаевич, брат Льва Николаевича, волновался как-то по поводу хозяйственных забот, и когда ему сказали: «Стоит ли из-за этого так расстраиваться», — он ответил: «Хорошо Левочке — у него Фоканыч четыреста рублей украл, а он рассказ напишет и получит их, и еще в рассказе этого же Фоканыча опишет, а мне взять неоткуда».

Лев Николаевич сказал на это:

— Как это, Машенька, ты все это помнишь?! А вот я сегодня какое словцо слышал, нет-нет и вспомню.

И Лев Николаевич рассказал, как в этот день за обедом пришел необыкновенно назойливый нищий, стал у балкона, начал говорить, как он счастлив видеть и приветствовать Льва Николаевича, делал руку под козырек. Ему подали, но он не удовлетворился, пошел на кухню и стал еще что-то выпрашивать с необыкновенной назойливостью. После обеда, когда Лев Николаевич проходил с балкона на крыльцо, Илья Васильевич, указывая на нищего, сказал Льву Николаевичу:

— Да, этот у попа кобылу выпросит!

Я ушел с балкона и собрался домой. В передней я разговорился о чем-то с Александрой Львовной и Гусевым. Тут же была Варвара Михайловна и еще кто-то.

Вошел Лев Николаевич и сказал:

— Ну, давайте хоровод водить!

Мы взялись за руки и стали весело вертеться. Лев Николаевич смеялся и звал Илью Васильевича присоединиться к нам. В это время в ту же дверь со двора вошла Софья Андреевна. Сразу все остановились, руки упали, стало неловко. Она захотела присоединиться к нам, но настроение изменилось, никому уже не было весело...

Еще в июле приезжали фотографы из Петербурга делать снимки для «Нового времени» по поводу юбилея Льва Николаевича [30]. Они снимали целых два дня беспрестанно. На второй день мы с женой были в Ясной. Очень было неприятно. Софья Андреевна суетилась, старалась попасть непременно на все снимки и на самое видное место. Лев Николаевич чувствовал себя очень нехорошо. Он сказал мне на мой вопрос, не устал ли он:

— Нет, не устал, а мне просто стыдно на старости лет такими глупостями заниматься...

Льву Николаевичу по жребию вышло играть в шахматы не со мной, а с Михаилом Сергеевичем Сухотиным. Мне было обидно, так как и за шахматами снимали, а я так часто играю со Львом Николаевичем, что хотелось бы иметь такой снимок на память.

По поводу прекрасного изречения Маццини, помещенного в «Круге чтения», Лев Николаевич сказал о Маццини:

— А вот революционер был!

Потом еще прибавил:

— У меня была его записка. Когда я был у Герцена в Лондоне, ему подали записку. Он меня спросил: «Знаете, от кого это? От Маццини». Я у него выпросил эту записку на память, и она у меня долго сохранялась. Как-то недавно я ее, кажется, куда-то бросил [31].

Вечером сидели за чаем на балконе.

Лев Николаевич сказал Михаилу Сергеевичу:

— Как хороша старость! Я нынче думал: если бы молодые люди могли так чувствовать, как в старости. Как мой Миша, например, и другие, живут их жизнью, они не видят всего безумия такой жизни... Но нельзя и требовать, чтобы человек молодой видел все так же ясно, как видишь в старости.

Потом как-то зашел разговор о русском языке, и Лев Николаевич выразил сожаление, что многие прекрасные старые слова и выражения, которыми так богат русский язык, выходят из употребления.

Лев Николаевич привел слово «верста»; верста — верстать, разверстывать, от этого и мера — верста, и сказал:

— Есть отличное выражение: он ему не верста.

Дня три тому назад Лев Николаевич заметил, что ни на одном языке нет стольких оттенков для названия старика — старик, старичок, старец, старче, старина, — как на русском.

Пришел Николаев. Заговорил, конечно, о земле.

Лев Николаевич сказал мне и Николаеву, — мы стояли у входа на балкон:

— Я рад, что писал царю, а потом Столыпину [32]. По крайней мере, я все сделал, чтобы узнать, что к ним обращаться бесполезно. Я думаю про Столыпина: какая

ограниченность! Он мог бы в истории сыграть важную роль, а вместо того делает самое ужасное дело развращения народа (по поводу плана правительства о хуторском хозяйстве).

10 августа. Лев Николаевич болен, у него давно, уже недели три, закупорка вен в ноге. Было лучше, а вчера присоединилась простуда — жар. Сегодня болезнь, почти проходившая, распространилась вверх по ноге — грозит сердцу...

Лев Николаевич работает над третьим «Кругом чтения» [33]; работой этой он очень дорожит. Он работал над ним весь прошлый год, потом отложил. Теперь он работает так: весь материал разделен на тридцать один отдел, по числу дней в месяце. Отделы: «Бог», «Я — в настоящем», «Смирение», «Любовь» и т. д. В каждом отделе двенадцать дней, то есть первые числа всякого месяца, потом вторые и т. д., все двенадцать на одну тему.

Лев Николаевич сказал:

— Это будет, я надеюсь, совершенно полно и ясно выраженное мое мировоззрение.

Я прочитал два отдела. В этих изречениях — простота и ясность, соединенные с величайшею серьезностью и значительностью.

Лев Николаевич считает эту работу в черновом виде законченной. Он в последнее время работал по одному отделу в день. Вчера сделал двадцать девятый. Он говорил как-то Душану Петровичу, что хотел бы еще две недели прожить, чтобы довести эту работу до конца.

В этом «Круге чтения» почти все мысли самого Льва Николаевича.

Как-то, в последний, кажется, раз, что Лев Николаевич верхом ездил, он сказал вечером за чаем:

— Я проезжал нынче по деревне и любовался на ребят. В детях все лучшие свойства человека. Особенно — равенство. Для детей нет даже вопроса о равенстве людей. Я думал потом: только одного свойства нет в детях — оно вырабатывается в человеке — самоотречения. Дети — эгоисты.

Я раз как-то приехал вечером. Лев Николаевич был у себя. Когда я не захожу, Лев Николаевич спрашивает:

— Что вы не зашли ко мне?

Я теперь стал заходить.

Лев Николаевич сидел налево за круглым столом — читал что-то. Поздоровались. Я принес шахматы. Льву Николаевичу нездоровилось. Он посмотрел на меня и сказал:

— Как хорошо, как духовно хорошо!

Мы стали играть.

В этот день к Черткову приезжал И. Д. Сытин. Он был и у Льва Николаевича.

Лев Николаевич сказал мне:

— Я давно не видал Сытина; мне было интересно его повидать. Подумать только, — я помню, как он начинал — у него ничего не было, а теперь у его газеты [34] больше ста тысяч подписчиков. Он мне рассказал много интересного про книги. Революционные и социалистические книги лежат, никто их не покупает. Много продают порнографических книг, но теперь как будто тоже стало меньше. А Ерусланы Лазаревичи идут все по-старому [35]. Вот Чертков думает, что мы со своими книжками вытеснили их, а я думаю, что это неверно...

Лев Николаевич сказал это не без горечи.

По поводу ругательных писем (о статье «Не могу молчать») и вообще по поводу человеконенавистнической деятельности «истинно русских» людей Лев Николаевич сказал мне:

— У этого движения есть одна положительная сторона: в деятельности этих людей со всей очевидностью выступает все зло, которое в скрытом виде заключено во всяком патриотизме.

Как-то сидели после обеда в саду за столом. Была Мария Александровна. Лев Николаевич сказал ей:

— Хорошо, Мария Александровна?

— Хорошо, Лев Николаевич, очень хорошо!

— А я, Марья Александровна, счастливей вас.

— Почему?

— Вас никто не ругает, а меня ругают.

Когда взошли наверх, Лев Николаевич просил Гусева прочитать письмо из тюрьмы одного из сидящих за отказ от воинской повинности. Он заболел чахоткой и, видимо, скоро умрет, а письмо хорошее, бодрое [36].

— Вот истинно святые мученики, — сказал Лев Николаевич. — В народе идет пробуждение, и удержать его ничем нельзя. Прежде в народе смотрели, что господа, им так подобает жить господами, а теперь увидали, что

все это не так просто и что вовсе им так не подобает жить. И озлобление все растет на моих глазах. Когда мы в саду обедаем и мимо проезжают мужики с сеном, я вижу в них к нам такое нескрываемое презрение... Я от жары эти дни на заднем дворе занимаюсь (в библиотеке, где окна выходят на двор) и слышу разговоры: что им? Не жизнь им, а масленица!

В тот же вечер Лев Николаевич сказал:

— Меня черносотенцы ругают (по поводу статьи о смертной казни) и революционеры превозносят, а я, признаюсь, совсем этого не заслужил, я им также мало сочувствую.

— А возможно, что черносотенцы меня убьют,— прибавил Лев Николаевич.

В этот вечер Лев Николаевич обыграл меня в шахматы. Последнее время я все выигрывал.

— Вот хорошо,— сказал Лев Николаевич,— а то я хотел совсем перестать играть, шахматы вызывают дурное чувство к противнику.

Во время партии Лев Николаевич сказал мне и Бутурлину:

— Помогай бог относиться кротко. Вот у меня сестра — монахиня, а я все-таки скажу, какое это ужасное зло — церковно-религиозный обман. Хуже виселиц и тюрем!

17 августа. Несколько дней хворал и не был в Ясной. У Льва Николаевича все болит нога, и положение его довольно серьезное. Вот выдержки из записок Александры Львовны:

«...Болит нога еще выше, но жара нет и общее состояние хорошее. Кладем лед...»

«...У папа̀ второй день совсем нормальная температура — 36,3. Ночью нынче только было 37,4. Нога каждый день немного лучше, сердце хорошо. Он слаб, лежит, но это ничего, температура настолько низка, что так и должно быть».

«Тут Чертковы. Папа̀ спит сейчас».

19 августа. Как-то, еще в июле, мы шли по лестнице: Лев Николаевич, Сергеенко, я и еще кто-то четвертый, кажется Бутурлин. Наверху на пороге в залу, Лев Николаевич сказал (говорили о любви):

— Я в своей статье («Закон насилия и закон любви»[37]) пишу, что хотя все величайшие учения нрав-

ственности сводятся к одному, но ни в одном так определенно и ясно не ставится в основание учение любви, как в христианстве. Основание христианства — любовь и заповедь непротивления злу насилием. Когда люди называют себя христианами и не признают заповеди непротивления, это выходит, как если бы кто-нибудь говорил, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух катетов — я признаю, но что прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками — это преувеличение, парадокс.

В тот же вечер, раньше, Лев Николаевич говорил о систематическом церковном искажении учения Христа.

— Казалось бы, — сказал Лев Николаевич, — чего уж яснее заповедь о прелюбодеянии, а развод утверждается церковью.

Тогда же Сергеенко собрал у всех присутствовавших подписи для присоединения к прекрасному письму Репина в петербургской газете «Слово» по поводу статьи Льва Николаевича «Не могу молчать»[38]. Все подписались. Но «Слово» очевидно не рискнуло напечатать ни нашей телеграммы, ни наших подписей.

За чаем говорили о современной литературе. Лев Николаевич просил Бутурлина прислать, если что найдется нового, Анатоля Франса, которого Лев Николаевич очень ценит. Он опять вспоминал «Кренкебиль».

— Я давно уже не помню, — сказал Лев Николаевич, — чтобы я испытал сильное художественное впечатление от литературного произведения. Я думаю, что не от того, что я стар: мне кажется, что современная культура, как прежде римская, приходит к концу. Никого нет, ни на Западе, ни у нас.

Бутурлин спросил Льва Николаевича, не помнит ли он «De profundis» Уайльда[39].

Лев Николаевич этой вещи не читал, но он сказал:

— Я забываю теперь все, но все-таки я помню, что я что-то пробовал его читать, и осталось такое впечатление, что читать не стоит.

Говоря о теперешних русских писателях, Лев Николаевич упомянул Куприна.

— У него маленькая область, он знает солдатскую жизнь, но все-таки у него настоящие художественные приемы. Им просто нечего сказать, а они ищут каких-то новых форм. Да зачем их искать? Если есть, что сказать,

то только бы успеть сказать все, что хочется, а формы искать не придется.

По поводу книги Эльцбахера «Анархизм», которую Лев Николаевич перечитывал, он сказал:

— Христианский анархизм — узкое определение христианского мировоззрения, но анархизм вытекает неминуемо из христианства в его приложении к общественной жизни.

Лев Николаевич как-то летом получил письмо из Японии, написанное по-японски с приложенным английским переводом. Письмо его очень тронуло — оно от восемнадцатилетней японки, и переведено ее другом на английский язык. В письме выражается полное сочувствие идеям Льва Николаевича[40].

Лев Николаевич сказал:

— Это так странно и так радостно — чувствовать свою связь здесь, в Ясной Поляне, с какой-то неведомой девушкой за тысячи верст, в Японии.

27 августа. Лев Николаевич болен и все еще в постели. Он был на волосок от смерти (нога, отек легкого, пищеварение), теперь, кажется, опасность миновала. Были доктора — Никитин и хирург Мартынов из Москвы.

В первый день болезни я Льва Николаевича не видал. На второй я зашел на минутку перед их обедом, когда он пожелал видеть дам: Марию Николаевну (сестру), С. А. Стахович, Варвару Михайловну, Марию Николаевну (жену Сергея Львовича).

Лев Николаевич сказал мне:

— Хотя вы и не дама, но я рад вас видеть.

Потом я его видел еще раз через день. Он был приветлив, жалел, что Мария Николаевна лишена моей игры, и просил сыграть.

Я сыграл две-три пьесы. Он плакал. На другой день я поиграл немного опять. И опять он плакал, но рад был слушать. В этот вечер в Ясной был Д. А. Олсуфьев. Лев Николаевич захотел сыграть в шахматы и предложил кинуть жребий, кому играть с ним, мне или Олсуфьеву.

Лев Николаевич сказал ему:

— Вам досталась неприятность играть со мной.

Лев Николаевич обыграл его, и я был очень рад, так как это обозначало, что Лев Николаевич чувствует себя

бодрее. После этого я захворал (нарыв на ноге) и с неделю не был в Ясной.

Во время своей болезни Лев Николаевич сказал Александре Львовне:

— Моя болезнь — это Софья Андреевна.

Я говорил с Чертковым. Он говорит, что Лев Николаевич, как он и намекал в статье «Не могу молчать», совсем уже решился уйти. Но потом решил, что должен нести свой крест. Ему было так невыносимо тяжело, что он стал хотеть смерти. От этого духовно угнетенного состояния упали физические силы, он умирал. Как-то он не спал ночью и радостно чувствовал близость смерти. «Так хорошо уйти домой», — сказал он. Но сейчас он, кажется, поправляется.

Приехал Беркенгейм. Я был в Ясной 21-го днем. Это был очень плохой день. Я Льва Николаевича не видал, он диктовал Гусеву[41]. Болезнь как бы стала проходить, но сильная слабость угрожала самой жизни.

В этот день уезжала Мария Николаевна — сестра. Она зашла проститься. Никого не было, но она рассказывала, что Лев Николаевич ей сказал, как рад был пожить с ней вместе (она с месяц гостила), а потом, прощаясь, прибавил:

— А если мы больше не увидимся... — но тут голос оборвался, он заплакал. Мария Николаевна не выдержала, зарыдала и вышла.

— Так я и не знаю, что он хотел сказать, — прибавила она.

Вся трясясь от рыданий, она пошла вниз проститься с Александрой Львовной, которая была нездорова и лежала у себя. Оттуда раздался какой-то отвратительный развеселый поющий голос граммофона и хохот Александры Львовны, прислуги, Димы... Софья Андреевна права, что Мария Львовна почувствовала бы эту минуту прощания и не могла бы допустить такого ужасного диссонанса...

На другой день, 22-го, Льву Николаевичу было лучше. Был день рождения Софьи Андреевны. Приехали Татьяна Львовна и Михаил Сергеевич, М. А. Стахович и Н. Л. Оболенский. Я был у Льва Николаевича, сыграл с ним в шахматы, он выиграл. Сыграл с ним и Михаил Сергеевич — ничья. Лев Николаевич играл с удоволь-



Л. Н. Толстой в кругу семьи

ствием и с удовольствием слушал мою игру, хотя я в тот вечер играл удивительно плохо.

24-го вечером я заехал на часок (я уезжал в Москву). Опять сыграл партию. Лев Николаевич был еще бодрее. Он сказал мне и Михаилу Сергеевичу:

— Я сегодня видел странный, отвратительный сон, будто я имел половое общение с женщиной; я вам не назову с кем, это все равно, — и самое удивительное, что во сне не чувствовал никакого отвращения или сознания, что это дурно. Этот сон важен для меня тем, что я ясно почувствовал, что нравственное сознание и физическая жизнь совсем как бы не связаны. Как Кант сказал: «Одно всегда неизменно наполняет мою душу изумлением и благоговением, это звездный свод надо мною и нравственное чувство внутри меня». Во сне вся материальная природа во мне живет, а нравственного чувства нет — связь потеряна — и это не жизнь.

— Во сне мозговая умственная жизнь не останавливается. Я еще недавно видел во сне мысли для «Круга чтения» и потом днем записал. Паскаль говорит, что если бы сны были так же последовательны, как то, что случается с нами наяву, то мы не знали бы, что сон, а что действительная жизнь.

Лев Николаевич равнодушен был к Оболенскому. Он как бы ревнует его к памяти Марии Львовны [42].

Лев Николаевич при Беркенгейме говорил с Софьей Андреевной, что Мария Львовна не была с ним счастлива. Это же говорила Вера Сергеевна, приезжавшая за Марией Николаевной.

Татьяна Львовна спросила Льва Николаевича:

— Папà, ты был рад Мите Олсуфьеву?

— Очень — это такой милый, хороший человек, я всегда ему рад и люблю его. Я спросил его, хотел ли бы он жениться, а он даже ахнул: «Ах, Лев Николаевич, очень! Очень бы хотел, да вот не пришлось...»

— Если бы ему сбросить лет десять да Саше прибавить, я не желал бы ей мужа лучше.

Татьяна Львовна почему-то совсем с этим не согласилась.

28 августа 1908 года было восьмидесятилетие Льва Николаевича. Лев Николаевич все это время был опасно болен. Он очень страдал от приготовлений и толков об этом юбилее. А тут еще выскочил

М. А. Стахович со своей затеей приема каких-то европейских депутатов и всяческого шума [43]. Довели Льва Николаевича до того, что он в газетах заявил о просьбе своей не устраивать никакого юбилея [44]. Тем не менее Лев Николаевич все-таки опасался возможности шума и хотел уехать из Ясной в Кочеты, но захворал и никуда не уехал. Он лежал неподвижно с поднятыми кверху ногами (под ножки кровати были подложены деревянные чурки). У него начинались явления отека легких, и он был близок к смерти. Но дня за три-четыре до 28-го ему стало лучше. А 28-го он сидел уже в передвижном кресле, выписанном из Москвы во время его болезни в Крыму. Я, зная, что Софья Андреевна объявила, что никого не примет в этот день, решил поехать утром и узнать, можно ли будет приехать вечером с женой. Я поехал верхом.

В Ясной было очень оживленно: корреспонденты, фотографы. Со всех сторон снимали виды усадьбы. Был у одного и кинематографический аппарат; он снял Александру Львовну и Варвару Михайловну, едущих по деревне, и Маркиза (собаку Александры Львовны). Александра Львовна ездила на деревню раздавать конфеты, много коробок, которые были к этому дню с этой целью присланы из Москвы, кажется, фирмою Жорж Борман. Еще какая-то табачная фабрика с юга России прислала множество коробок с папиросами в очень хорошем большом картонном ящике с надписью золотыми буквами [45]. Лев Николаевич написал им письмо, в котором благодарил за внимание, и, извиняясь, отослал папиросы назад, так как сам давно не курит, а отдать кому-нибудь не хочет, считая куренье вредным. Он пишет, что оставляет себе ящик* и одну коробку папирос, которую Софья Андреевна отвезет в музей, куда она отвозит все, относящееся к его восьмидесятилетию.

Кругом дома и в парке множество народа. Настроение праздничное. Лев Николаевич чувствует себя недурно. Я привез ему из Москвы механическую чинилку

---

* В этом ящике с тех пор хранились разные текущие и прежние работы Льва Николаевича. Он стоял всегда в комнате, где раньше жила Ю. И. Игумнова, потом Гусев и которую звали последнее время канцелярией или ремингтонной.

для карандашей*. Ему отнесли ее, и он позвал меня к себе. Он встретил меня очень ласково, и слезы были у него на глазах. Я ему показал действие машинки. Она ему была приятна. Он вообще по-детски любит такие вещи. Софья Андреевна была довольно любезна и звала к обеду меня с женой. Льва Николаевича сняли на балконе несколько раз. Чертков был тоже с аппаратом.

С утра начали получаться сотни телеграмм.**

Я позавтракал в Ясной и уехал домой. К обеду мы приехали с женой. Было очень людно; стол стоял во всю комнату «глаголем». Лев Николаевич попросил, чтобы его привезли в столовую, и обедал со всеми. Его кресло поставили в сторонке у круглого стола, и он там обедал. За обедом он вынул записную книжку и что-то стал писать.

Потом он сказал мне (я близко сидел):

— Как мне радостно видеть всех вас, — и заплакал.

После обеда Льва Николаевича отвезли в его комнату. Он сыграл одну-две партии в шахматы, но вышло по жребию играть не мне, а Михаилу Сергеевичу. Лев Николаевич выиграл и очень торжествовал.

Лев Николаевич попросил меня сыграть. Я сказал, что и сам хотел, но боялся утомить его. Его опять привезли в залу. Я сыграл три пьесы: два этюда — E-dur и c-moll, и что-то еще, чуть ли не вальс As-dur Шопена.

Лев Николаевич очень волновался от музыки, и я беспокоился, не повредит ли она ему. Скоро после этого он отправился совсем к себе. Я отвозил его и так старался сделать это поаккуратнее, что толкнул его обо все притолоки и стулья. Я зашел еще к нему, когда

---

* Машинка для чинки карандашей до конца жизни стояла у Льва Николаевича. Он иногда хвастал ею и чинил карандаши приходящим к нему в комнату гостям. После смерти его я попросил ее себе на память, и она до сих пор стоит у меня на столе.

** Телеграмм было несколько тысяч, и получались они за много дней до юбилея и много дней после, с десятками и сотнями подписей под некоторыми из них. Очень трогательна была телеграмма, полученная 29-го от тульских телеграфистов, которые написали, что накануне не спали всю ночь, принимая поздравительные телеграммы, но эта работа была им радостна, и они выражают свои добрые чувства и шлют приветствия Льву Николаевичу.

он уже лежал в постели, и он пожал мне руку своей большой, сильной, несмотря на болезнь, рукой. У него были слезы на глазах, и он благодарил меня за музыку. Я поцеловал его руку и вышел из комнаты.

29 августа. Лев Николаевич сказал, что последняя болезнь была ему в высшей степени полезна.

— Я в десять лет не пережил бы всего того, что я пережил за это время.

Софья Андреевна возразила ему:

— Что же хорошего в болезни и что мог ты во время нее пережить?

— Да этого, душа моя, счесть нельзя! Это в хозяйстве какие-нибудь расчеты, две-три тысячи можно сосчитать, а этого учесть никак нельзя.

Лев Николаевич просил почитать что-нибудь, и Софья Николаевна, жена Ильи Львовича, стала читать вслух статью М. О. Гершензона об Иване Киреевском в «Вестнике Европы»[46]. Лев Николаевич слушал со вниманием.

О Киреевском Лев Николаевич сказал:

— Личность Киреевского очень интересна. О нем просто можно было сказать, что цель его жизни была жить в единении с богом.

(На другой день, вспоминая о Киреевском, Лев Николаевич удивлялся его странному отношению к снам, в которые Киреевский верил и придавал им большое значение.

— Я думаю совершенно обратное, — сказал Лев Николаевич, — что во сне духовная жизнь как бы прекращается, не проявляется в человеке *.)

Киреевского Лев Николаевич лично не знал. Он знал и очень ценил Хомякова.

Припоминая славянофилов, Лев Николаевич назвал Шевырева и Погодина.

— Я знал их хорошо. Это были совсем пустые люди.

Я спросил об Аксаковых.

Лев Николаевич сказал:

— Они совсем не такие значительные, как Хомяков и Киреевские. Их деятельность была направлена на внешнее.

---

* Статью Гершензона дочитали на следующий день. Поставленное в скобки, очевидно, записано мною не раньше 30 августа.

По поводу телеграммы Гауптмана[47] Лев Николаевич сказал, что из-за своей ослабевшей памяти совсем не помнит его вещей *. Вообще же он говорил, что равнодушен к драме.

— Драма — это не чистое искусство. Это смешение литературы с другими способами воздействия. В музыке это еще больше. Опера — совершенно фальшивый род искусства.

По поводу почти двух тысяч полученных телеграмм Лев Николаевич сказал:

— Я с радостью чувствую, что совершенно потерял способность интересоваться всем этим. Прежде, я помню, испытывал тщеславное чувство, радовался успеху. А теперь — и я думаю, что это не ложная скромность, — мне совершенно все равно. Может быть, это оттого, что слишком много испытал успеха. Как сладкое: поешь слишком много и пресытишься. Одно только мне радостно: во всех почти письмах, приветствиях, адресах — все одно и то же, это просто стало трюизмом, что я разрушил религиозный обман и открыл путь к исканию истины. Если это правда, то это как раз то, что я и хотел и старался всю жизнь делать, и это мне очень дорого.

Лев Николаевич опять говорил о своем новом «Круге чтения», что он стремился в нем к простоте. Особенно в первых четырех-пяти изречениях на каждый день.

Лев Николаевич сказал:

— Изложение этих мыслей, ясных детям и народу, в то же время проникнутых величайшей серьезностью, — важный и трудный опыт. У нас установилась какая-то привычка, традиция говорить не просто о серьезных вопросах, — совершенно как в письмах: «милостивый государь», «готовый к услугам», «ваш покорный слуга». Очистить изложение, уяснить и упростить мысль — очень трудно. Например, Кант, я его так высоко ценю; изложить его мысли просто и ясно — такая трудная и важная задача.

Я играл. Под конец Лев Николаевич попросил сыграть d-moll'ную прелюдию Шопена.

Я кончил, и Лев Николаевич воскликнул:

---

* Хвалебные отзывы о драме Гауптмана «Ткачи» я слыхал от Льва Николаевича неоднократно. Он много раз высказывал сожаление, что по цензурным условиям ее невозможно поставить на сцене в России.

— Das ist Musik! * (Так говорил какой-то немец — чуть ли не Рудольф[48], отчасти описанный в рассказе «Альберт»[49].)

30 августа. Приехал Николай Николаевич Ге. Они с Сергеем Львовичем опоздали к обеду. Лев Николаевич сидел на кушетке с вытянутой ногой и отдельно обедал. Ге подошел поздороваться.

Лев Николаевич сказал ему:

— Здравствуйте, Колечка, рад вас видеть. Про вас говорят — вы совсем революционером стали. А я вас совсем не боюсь!

За обедом Ге рассказывал про свою жизнь в Швейцарии, что он пятьдесят пять — шестьдесят часов в неделю дает уроки. Накануне я рассказывал Льву Николаевичу то же самое про себя.

Лев Николаевич по поводу слов Ге обратился сначала ко мне, а потом к нам обоим:

— Я думал про вас и вообще про таких людей. Зачем так жить? Зачем давать пятьдесят пять часов в неделю уроки? Надо это как-нибудь изменить, сократить свои потребности. У всякого из нас только одна жизнь, и нельзя ее всю убивать на уроки. У человека есть обязанности перед самим собой. Нужно жить для души.

Ге стал объяснять свой образ жизни семьею и внешними обстоятельствами.

Лев Николаевич возразил:

— Да то же самое говорят военные, судьи, попы, чтобы оправдать свою деятельность, но это нисколько не убедительно. Вот где настоящая революция (в смысле изменения своей жизни согласно убеждениям), — обратился Лев Николаевич к Ге.

Немного погодя Лев Николаевич опять заговорил про то же.

Он, между прочим, сказал:

— Подумать только, что Александр Борисович будет так давать, давать уроки, а потом умрет, и вся жизнь на это ушла...

Лев Николаевич, отвечая на адрес австралийских джорджистов[50], приводит слова Руссо: «Тот, кто первый, огородив кусок земли, решился сказать: «Эта земля

* Вот это музыка! *(нем.)*.

моя», — и встретил людей столь простых, что они могли поверить этому, — этот человек был первый основатель гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, несчастий, ужасов избавил бы человечество тот, кто, вырвав колья и заровняв канаву, сказал бы: «Берегитесь, не верьте этому обманщику. Вы пропали, если забудете, что земля не может принадлежать никому и что плоды ее принадлежат всем».

Лев Николаевич сказал:

— Это так ясно, что возразить нечего. Остается единственное — замалчивать, что и делается.

Лев Николаевич сказал мне:

— А какой у меня нынче чудесный старичок был, казак! Мы с ним оба сидели друг против друга и хлюпали. О чем бы, вы думали, он не может говорить без слез? Этого нельзя придумать. О том, что он богат. Он стыдится своего достатка, когда рядом люди лишены самого необходимого. Он был с сыном.

Я спросил про сына.

Лев Николаевич сказал:

— Сын — прекрасный молодой человек, более сознательный.

— Не сектант ли он? — спросил я.

— Нет, они не принадлежат ни к какой секте, просто люди, ищущие правды.

Софья Андреевна с явным удовольствием рассказывала, что ее очень расхвалил какой-то корреспондент.

Лев Николаевич сказал ей:

— Поздравляю.

Лев Николаевич сказал мне потом:

— А я нынче попросил какую-нибудь газету. Мне дали «Новое время», и я, должен сознаться, был так плох, что мне было неприятно читать, что́ про меня пишут Суворин и Меньшиков [51].

Подошел Ге.

Лев Николаевич, продолжая тот же разговор, сказал:

— Главное, всегда надо чувствовать, что я делаю не то, — как нынешний старичок. Он мучается, что он богат. А то сознавать, что я залез в навоз, и все-таки буду сидеть там и барахтаться в этой fange *.

* навозной жиже *(франц.)*.

Говорили о всеобщем увлечении литературой Шерлоков Холмсов, Пинкертонов и т. п.

Лев Николаевич сказал:

— Это важный показатель времени. Современные писатели, вот этот, например, что о Киреевском писал, говорит о философии и высшей точкой ее называет Карпентера, Метерлинка и Ницше. А Ницше невозможно читать, — это ребяческий лепет, бред сумасшедшей и, главное, самоуверенной мысли. И это теперь называется философией!

Говорили о сентябрьской книжке «Вестника Европы». Лев Николаевич очень умилялся стихотворением Жемчужникова, написанным в предчувствии смерти [52]. Про статью Арсеньева [53] Лев Николаевич говорил с уважением к нему:

— Мне понравилось, что, дойдя до моих философско-религиозных воззрений, он говорит, что это вопросы настолько серьезные, что он не позволяет себе судить о них в краткой журнальной статье. Не то что нынешние газетные писатели, которые все вопросы легко и самоуверенно решают в своих статейках. Они всё давно знают и решили.

О воспоминаниях крестьянина Морозова Лев Николаевич сказал:

— Я их сначала просмотрел (в рукописи) и похвалил, а теперь снова просмотрел и увидел, что они слабы [54].

31 августа. Когда я приехал в Ясную, в передней стояли какие-то три-четыре человека. Оказывается — тульские типографщики. Они были у Черткова, и Чертков дал им записку с просьбой принять их, если Лев Николаевич найдет это возможным. Лев Николаевич пригласил их в маленькую гостиную, куда его привезли в кресле. Он пробыл с ними один минуты три, потом вернулся в залу. Оказывается, они привозили ему адрес от тульских типографщиков [55].

Был И. И. Горбунов с женою.

Мы со Львом Николаевичем стали играть в шахматы.

Лев Николаевич сказал:

— Я сегодня писал в «Круге чтения» о суеверии, что можно устроить жизнь другого существа, или суеверии, что можно убедить другого человека. Если его мысли

иначе направлены, то все ваши слова разобьются об это. Если он говорит, что дважды два — пять, то вы никак его не переубедите, что дважды два — четыре. Вот если человек ищет в каком-нибудь направлении и встречает передового на этом пути, который уже уяснил себе то, что он ищет, тогда он, разумеется, с радостью хватается за его мысль.

Я сказал Горбунову, что не буду нынче играть на фортепиано, так как накануне не спал почти всю ночь. Лев Николаевич сразу понял, почему я не спал. Причина: вчерашний разговор по поводу пятидесяти пяти часов работы.

Лев Николаевич рассказывал про статью в каком-то немецком журнале по поводу его восьмидесятилетия. Ему понравилось, что автор указывает на пустоту и бессодержательность современной европейской литературы, противопоставляя ей русскую, в которой постоянно затрагиваются наиболее серьезные и важные вопросы человеческой жизни.

Разговор зашел о Художественном театре и будущей постановке «Синей птицы» Метерлинка. Горбунов кое-что рассказывал об этой вещи со слов Сулержицкого. Лев Николаевич, как и все остальные, недоумевал, каким образом может быть действующим лицом пролитое молоко.

Он сказал мне:

— Вы непременно сходите и нам расскажите. Это очень интересно.

Говоря о драме, Лев Николаевич сказал:

— Я говорил вчера с Александром Борисовичем, насколько опера ниже чистой музыки: в ней к музыке примешиваются посторонние элементы; так и драма — низший род произведений литературы. Кроме того, мне лично мешает, что я всегда чувствую механизм этого. Я вижу, как это сделано, как автор подгоняет действие к нескольким моментам, в которые совершается все то, что ему нужно. А потом еще эти условности игры: какое слово подчеркнуть, как произнести, — костюмы, декорации и т. д.

По поводу Художественного театра и «Синей птицы» Горбунов сказал:

— А вот наш милый Сулер теперь у них режиссером и с таким увлечением этим занимается!

Лев Николаевич сказал:

— Ах, Сулер, Сулер! Я боюсь, что он на нас обиделся. Вы, Иван Иванович, увидите его в Москве, скажите ему. Он написал нам недавно какое-то странное, не скажу неприличное, но нелепое письмо с какими-то шуточками, нехорошо как-то. Спрашивает — можно ли приехать. Саша ему ответила, что лучше не приезжать, и что-то ему намекнула о неприятном впечатлении, которое произвело его письмо [56].

Горбунов сказал:

— Да. Эта обстановка закулисного артистического мира во многом очень несимпатична.

На это Лев Николаевич сказал мне тихо:

— Вы вот и об этом, верно, думали, когда не спали?

Горбунов рассказал довольно любопытную вещь, что перед двадцать восьмым августа московский градоначальник Адрианов разослал во все редакции полуофициальное уведомление, в котором он просит редакции не упоминать в статьях по поводу юбилея Льва Николаевича ни слова о смертной казни, так как в противном случае он вынужден будет штрафовать их на три тысячи рублей.

У Льва Николаевича был нынче приходивший раз и в прошлом году очень странный студент, теперь преданный суду отчасти за распространение сочинений Льва Николаевича, а главным образом за революционную пропаганду [57]. У этого студента бывают какие-то подозрительные припадки, вроде падучей. Чертков почему-то думает, что это шпион и что припадки он симулирует. Лев Николаевич этому не верит и считает его за настоящего революционера.

Лев Николаевич рассказывал про свой разговор с этим студентом.

— Он и прошлого году говорил точь-в-точь то же самое, и пример приводил тот же самый, почему-то карандаши, что если положить в кучку тысячу карандашей и сто карандашей, то лучше уничтожить сто, чтобы спасти тысячу, а не наоборот! И это же говорят Столыпины: перевешать десятки, сотни и избавить отечество от резни. И как они этого не понимают! Кто их призвал выбирать — скольких и кого нужно уничтожить? Мое личное дело — знать, что убивать никого не нужно, и

поэтому никакого выбора я делать не должен. Но с ними говори, не говори — это все идет мимо.

Горбунов рассказывал, что он говорил с этим студентом, и тот сказал, что в жизни не может и не должно быть никаких идеалов. Идеалы если есть, то они берутся из обыденной жизни. Я вспомнил по этому поводу Менгера и его общественный идеал нравственности.

Лев Николаевич сказал:

— Разумеется, общественный идеал есть и может существовать, но только нужно руководящее направление, такое нравственное основание, которое, как говорил Кант, могло бы стать руководством поведения для всех людей.

Вечером я рассматривал фотографии Буллы (петербургский фотограф), и меня очень тронуло, что Лев Николаевич спрашивал Софью Андреевну, нет ли меня на этих снимках.

В начале вечера, когда мы играли в шахматы, Лев Николаевич сказал мне:

— Нет, я не могу исполнить вашей вчерашней просьбы. Из конца вчерашней статьи я вижу у автора совершенно чуждое мне мировоззрение, так что я в этом случае не могу сделать исключение.

Речь шла о просьбе Михаила Осиповича Гершензона надписать ему книгу (не помню, какую).

Потом Лев Николаевич рассказывал, что он получил письмо от Великанова, бывшего последователя Льва Николаевича, который в прошлом году беспрестанно бомбардировал Льва Николаевича ругательными письмами за то, что он отрицательно относится к деятельности революционеров. Льву Николаевичу наконец так надоели эти письма, что он перестал их распечатывать, собрал их и просил Горбунова отослать их так нераспечатанными обратно Великанову, с просьбой, если можно, больше не писать. Теперь Великанов сообщает, что у него был обыск, найдено кое-что компрометирующее и что сын его, чтобы выручить отца, взял это все на себя, но что нераспечатанные письма его ко Льву Николаевичу попались также в руки полиции и что это ему очень неприятно и, кроме того, письма эти могут служить против него уликой.

Лев Николаевич говорит, что письмо озлобленное, написанное тоном скрытого упрека.

Лев Николаевич сказал еще:

— Я теперь читаю мистика Angelus Silesius'а [58], ученика Беме, — превосходную книгу — и французский роман Галеви [59], где описан mr. le Cardinal, у которого две дочери, и он этих дочерей продает. А он рассказывает это с шутками, остроумием... Мне это отвратительно и ужасно, и я не могу смеяться над этим. Признаюсь, это плохо рекомендует Стаховича (М. А.) Он дал мне эту книгу и очень хвалил, говоря, что очень остроумно и хорошо написано.

1 сентября. Я играл что-то Шопена.

Лев Николаевич сказал:

— Когда вы играли, я совершенно слился с этой музыкой, как будто это воспоминание о чем-то, — такое чувство, будто я сочинил эту музыку.

— Ну, сыграем партию. А я было хотел больше не играть: шахматы вызывают недоброе чувство к противнику.

Я расставил шахматы, и мы сели за маленький столик около круглого стола.

Лев Николаевич сказал:

— Что ж, мы поговорим с вами?

— Если позволите.

— Мне жаль, что я так огорчил вас*. Я знаю, что вы сильны духом, но такая жизнь, как ваша, засоряет духовную жизнь.

Лев Николаевич спросил меня, почему я так живу, и когда я отчасти объяснил ему, он сказал:

— Я так и думал...

Лев Николаевич хотел прочесть «Исповедь» Горького. Я ему дал эту вещь — у меня она была. Дня два Лев Николаевич ахал и ужасался. Он почти всякого, приходившего в эти дни, заставлял наудачу раскрыть страницу и читать вслух.

Лев Николаевич спросил меня:

— Александр Борисович, вы не читали?

— Нет, Лев Николаевич.

— Прочтите, стоит увидать, до чего дошло.

---

* Речь была о бывшем 30 августа разговоре об уроках (см. стр. 246).

Лев Николаевич мало читает за последнее время новой литературы, а то бы ему «Исповедь» не показалась такой страшной.

Нынче Лев Николаевич получил хорошее письмо от француза — ученого [60], посылающего свою книжку (о Гомере); еще получилось письмо от Леонида Андреева, сообщающего о решении в ознаменование восьмидесятилетия Льва Николаевича предоставить свой рассказ «О семи повешенных» в общее пользование. Хорошо написанное письмо это очень тронуло Льва Николаевича, и он ему сейчас же ответил [61].

Тульские типографщики, бывшие у Льва Николаевича 31 августа, выразили желание прийти еще раз и побеседовать со Львом Николаевичем. Они оставили Черткову свою прокламацию.

Лев Николаевич, прочтя ее, ужаснулся и сказал:

— Мне, собственно, и говорить с ними не об чем — мы с ними говорим на разных языках.

Лев Николаевич проявляет интерес к самым разнообразным вещам. Нынче у него был какой-то слепой, а потом он очень подробно расспрашивал Душана Петровича о способах лечения слепоты.

Мы со Львом Николаевичем играли в шахматы. В комнате никого не было. Вдруг он сверкнул глазами и сказал:

— Александр Борисович, давайте с вами музыку сочинять!

2 сентября. Лев Николаевич чувствовал себя нынче неважно. Он лежал на кушетке и, лежа, играл со мной в шахматы.

Вечером явился странный гость: пожилой военный — казак, внук Епишки (Ерошка из «Казаков»), чуждый во всех отношениях человек [62]. Льву Николаевичу хотелось быть с ним как можно учтивее и приветливее, но это стоило ему, видимо, большого труда.

Льва Николаевича заинтересовали привезенные им снимки станичных, в которых Лев Николаевич узнавал знакомые ему по его кавказским воспоминаниям типы.

Лев Николаевич расспрашивал его о службе и говорил, что теперь, при постоянных волнениях и борьбе с местным населением, вероятно очень тяжело служить.

Но он с циническим (почти наивным) добродушием сказал:

— Что ж, как начальство прикажет, туда и пойдем, то и сделаем.

Лев Николаевич потом, когда он уехал, ахал, вспоминая его нравственную глухоту.

По поводу его посещения Лев Николаевич сказал еще:

— Вот все, что тогда на Кавказе было, я все помню, а что теперь, вчера — все забыл...

3 сентября. Лев Николаевич опять говорил о старом немецком мистике Angelus Silesius'е[63]. Лев Николаевич попросил принести его книжку (большой старинный том в желтоватом кожаном переплете) и прочел вслух, сразу переводя, несколько его изречений. Между прочим, прочтя мысль: «Если бы бог не любил в нас себя, мы не могли бы любить ни себя, ни бога», Лев Николаевич воскликнул:

— Эк, как загибает!

По поводу какого-то описания разговоров с ним Лев Николаевич сказал:

— Если бы я снова жил восемьдесят лет и все говорил бы, я бы не успел наговорить всего того, что мне приписывают, что я сказал.

Разговор зашел о социализме.

Лев Николаевич сказал:

— Я в этой дурацкой прокламации[64] читал, что каждый должен иметь одинаково для себя и для своей семьи. Девятилетние дети могут так говорить! Для меня на эти все проекты — одно возражение: надо исправить стародавнюю несправедливость владения землею. А разные эти проекты подоходного налога и т. д. — все это паллиативы, вроде как при отмене крепостного права были временнообязанные.

— А есть одно, — что земля не может быть предметом собственности, как человек не может быть предметом собственности. Да так и выходит: если земля собственность, то и человек, который на этой земле — тоже собственность.

— Говорят: а капитал? Что же? Да это совсем другое. Если я говорю, что в этой комнате много народу, а мне возражают, что в другой никого нет; да, но я-то

говорю об *этой* комнате. Да, наконец, как разделить капитал? Если я отниму капитал у миллиардера, то отчего же не у того, у кого три тысячи? А при подоходном налоге легко скрыть свои средства.

— Их возражения мне напоминают возражения защитников смертной казни: «А как же, кто убивает, как быть с ними?» Да я не знаю, что с ними делать, а тут я знаю, что *вам* делать: издать закон, что нет смертной казни.

— Да, наконец, и капитализм — это последствие накопления земельной собственности.

— Ге рассказывал про итальянские социалистические кооперации. Вероятно, он всю обратную сторону скрыл. Что у них потребительные лавки — это такие пустяки...

— В этом деле, — как было крепостное право, как земельная собственность, — это дело нравственное, почти религиозное.

— Вот у Джорджа земельный вопрос — это вопрос религиозный. И эта его энергия! Всегда серьезный тон... И замечательно — это отсутствие серьезных возражений. Все такие возражения: «А капитал?» — простите меня (Лев Николаевич обернулся в сторону сидевшей тут же С. А. Стахович), — дамские.

— Социалистическое учение хочет улучшить материальное благосостояние людей, а здесь — вопрос об уничтожении несправедливости.

— Я думаю — социалисты никак не должны давать Джорджа народу, так же как и правительство.

— Я вот всегда толкую яснополянским: если вам платить по пять рублей — вы осилите, а помещику придется пять тысяч, и он не в силах будет платить, и всё вам отдадут.

С. А. Стахович по поводу иронического названия «дамские» возражения сделала какое-то замечание в защиту женщин.

Лев Николаевич сказал:

— Вот где права женщин: вот, скажет, он пишет свои глупости, которые — он думает — очень умны, а в печке полено не горит, дети не ели... Вот чего нет у мужчин: нет того, чтобы жить для других.

Лев Николаевич сказал сегодня по поводу обилия своих фотографических снимков:

— Я так постоянно вижу себя на фотографиях, что часто замечаю, что, когда увижу свое лицо в зеркале, мне кажется — а ведь похоже!..

По поводу вчерашнего гостя Лев Николаевич вспомнил Епишку и его советы: «Ну пишешь, брось! Прости их...» и прибавил:

— Жаль, что я его не послушал тогда...

Лев Николаевич для своей задуманной художественной работы расспрашивал С. А. Стахович различные подробности о том, как росли ее братья; между прочим, спрашивал, как их одевали, когда им было лет по девяти.

4 сентября. Лев Николаевич сначала был вялый. Потом оживился. Играли в шахматы (ничья). Я играл на фортепиано.

Лев Николаевич сказал:

— Понимание музыки * дается временем. Сорок лет назад Константин Александрович Иславин играл Шопена как совсем новое и, казалось, неясное.

Когда я уезжал, Лев Николаевич трогательно заботился (была ужасная погода), чтобы я не простудился и благополучно доехал.

6 сентября. У Льва Николаевича опять болит нога. Он жаловался мне сегодня за шахматами, что ему надоела работа над «Кругом чтения».

— Я совсем недоволен этой работой. Я теперь безжалостно все выбрасываю.

После шахмат мы перешли в комнату, где Гусев и Александра Львовна переписывали работу Льва Николаевича. Душан Петрович вез Льва Николаевича в кресле.

Увидав Александру Львовну и Гусева за их работой, Лев Николаевич сказал им:

— Бросьте!

Льву Николаевичу всегда бывает как будто совестно, когда он видит, что кто-нибудь переписывает его работу.

Я спросил Льва Николаевича про ногу.

— Душан Петрович говорит, что болит. Хорошо было бы, — вот как зубы выпали, — если бы и ноги могли отболеть.

---

* Лев Николаевич обычно порицает это выражение, но на этот раз он так выразился.



Л. Н. Толстой беседует с крестьянами

Лев Николаевич сказал мне:

— Какие у меня нынче необыкновенные гости были!

Оказывается, он послал (для своей художественной работы) за деревенской бабкой, у которой он расспрашивал подробности о родах у крестьянок. Кроме того, он приглашал (для той же цели) священника из Кочаков Тихона Агафоновича, которого расспрашивал про семинарию[65]. Между прочим, Тихон Агафонович рассказывал, что семинаристов опять с трудом пускают в университет. Принимают не во все, а только в варшавский. Туда поляки не идут, а кинулись русские семинаристы.

Потом Лев Николаевич сказал еще:

— Невольно чувствуешь негодование к правительству. Что они делают по отношению к земельному вопросу. А главное — этот ужасный духовный обман народа!

По поводу все продолжающихся юбилейных поздравлений Лев Николаевич сказал:

— Мне кажется, я прав, что во мне уже давно нет тщеславия. Но поневоле все это не может не трогать. А в то же время я в свои восемьдесят лет так далеко от всего этого живу, так это все не нужно, стыдно... Нужно только одно: внутренняя духовная жизнь.

За чаем Душан Петрович говорил что-то о медицине. Лев Николаевич сказал:

— Я так и умру дурак дураком, а не верю всему этому. Как можно что-нибудь знать? Все это — так многообразно, что исследователь не может ничего узнать: он исследует один ряд явлений, а за этим рядом — сотни рядов, и так бесконечно...

Лев Николаевич сказал нынче:

— В искусстве самое главное — сказать что-нибудь свое, новое. Этим отличаются все большие художники. Вот Мендельсон, — его музыка прекрасная, но это всё — как все. А нужно сказать свое. Бетховен — я его не люблю, но он обладал этим. Никогда не знаешь, что он скажет. Так и в литературе и во всех областях.

7 сентября. Нынче мы с женой были в Ясной в последний раз, так как завтра переезжаем в Москву.

Во время партии в шахматы Лев Николаевич сказал:

— Играя в шахматы, да и во всякую игру, приятно выигрывать, и это нехорошо; но я люблю шахматы потому, что это хороший отдых; они заставляют работать головой, но как-то очень своеобразно и однообразно.

Ни воображением, ни какой другой стороной не занят, и потому голова отдыхает. Я очень утомился последнее время. Просто этот «Круг чтения» меня утомил и надоел мне. Я бросил. У меня есть теперь другая затея.

Мы кончали партию. Я проиграл.

— Ну вы отыграетесь за фортепиано, — сказал Лев Николаевич.

За чаем Лев Николаевич рассказал:

— Я нынче во сне видел изречение для «Круга чтения» — будто у меня в руках какая-то книжка, и на обертке, как объявление, изречение, что человек, кроме обыкновенной, должен выработать себе другую — культурную душу. Мне не понравилось выражение «культурная душа», но я подумал: «Хорошая мысль». Смотрю, подписано: Кант.

Лев Николаевич сказал мне:

— На вашу жизнь в Москве надо смотреть как на испытание и постараться и в этих условиях жить духовной жизнью. Я это всегда стараюсь делать по отношению болезни, но здесь только одного нельзя уничтожить — физических страданий.

Из письма Александры Львовны к моей жене:

«14 сентября... Нам очень недостает вас и Александра Борисовича. Папа̀ несколько раз после обеда говорил: «А сейчас приедут Гольденвейзеры!»

И в домике вашем мне грустно бывать... Папаша поправляется, ходит понемножку, очень много занимается: «Круг чтения» и написал еще благодарность всем, приветствовавшим его в день юбилея. Погода холодная, но красиво и ярко.

...Нынче воскресенье, и папа́ осадили посетители: восемь рабочих-революционеров, с которыми он много говорил и спорил, американец, еще рабочий, которому идти в солдаты и который хочет отказаться, финляндец-стихотворец и еще кто-то. Писем около сорока в день, и большая часть хороших.

Вчера папа́ сказал мне: «Хорошо ли это или дурно, но этот мой юбилей сделал то, что я стал очень популярен...»

Из письма Софьи Андреевны:

«18 сентября 1908 г.

...Лев Николаевич поправляется, два дня подряд он катался в пролетке на резинах и как будто удивился, что уже такая глубокая осень, а что лета для него, бед-

ного, как будто и не было. Ведь два месяца он сидел дома; а так любит он и движение и красоту природы! Вчера, в день моих именин, я весь день провела в лесах и полях с своей милой, чуткой на красоту Варей Нагорновой; и нам все хотелось и нарисовать и написать масляными красками. Какая была золотая береза на ярко-голубом небе — просто чудо! А сегодня уже пасмурно, скучно, и опять захватили меня материальные и хозяйственные дела, и чувствую себя я от этого несчастной. Да еще такая неприятность: нашего Гусева требуют завтра в Тулу, в жандармское управление, по неизвестным делам, но от охранного отделения, кажется. Сохрани бог, если возьмут от Льва Николаевича такого полезного помощника, который и ночью спит возле его комнаты и весь день занят его письменными делами...»

Из письма Александры Львовны:

«21 сентября... Папа̀ в общем чувствует себя недурно, но огорчает нас то, что каждый раз, как он начинает ходить, нога внизу распухает. Душан на это не очень огорчается и говорит, что так бывает. Последние несколько дней он опять сидит в кресле, а перед этим ходил и даже ездил кататься...»

9 октября. Вчера провел день в Ясной. Лев Николаевич сказал мне, что задумал художественную работу [66].

— Начинаю, — не знаю, осилю ли.

Лев Николаевич говорил о типе администратора «sans foi, ni lois» *.

Среди дня Лев Николаевич предложил мне съездить с ним к Чертковым. Мы поехали в пролетке. По дороге остановились в деревне Телятинки. Льву Николаевичу хотелось поговорить с тамошним крестьянином, стариком Андреем Масловым (бывший ученик, в те времена уже великовозрастный, Льва Николаевича по яснополянской школе), тип и судьба которого нужны были Льву Николаевичу для его художественной работы.

Когда мы после посещения Маслова выехали из деревни, Лев Николаевич жаловался мне, что из его беседы с Масловым ничего не вышло:

— Наш приезд произвел сенсацию, собрались любопытные. Надо будет как-нибудь прийти пешечком незаметно.

---

* без чести, без совести *(франц.)*.

По дороге Лев Николаевич сказал мне:

— Старикам свойственно жить духовной жизнью: нет ничего отвратительнее, как когда старик старается пользоваться радостями телесной жизни...

У Чертковых в разговоре кто-то сказал фразу:

— Хорошо, что есть время.

Я шутя заметил:

— Времени нет.

Лев Николаевич по этому поводу сказал:

— Вся ошибка этих рассуждений (об условности понятий пространства и времени) в том, что мы их не к тому прилагаем. Я давно уже много раз старался уяснить себе это, но все не удается. Приходишь к нелепости: начало и конец времени — предел пространства. Вся эта нелепость происходит от того, что мы эти рассуждения прилагаем к миру материальному, который вне форм пространства и времени немыслим; а в приложении к духовной области этой нелепости нет, и ясно сознаешь, что пространство и время — только формы нашего мышления.

По дороге от Чертковых в Ясную мы заехали в поселок «Дворики» (на киевском шоссе), где вчера один крестьянин нечаянно застрелился из ружья. Лев Николаевич хотел проведать вдову.

Мы зашли в избу. Лев Николаевич долго молча смотрел на прекрасное, спокойное лицо покойника.

Поговорив немного, как он один это умеет, просто, серьезно и как-то удивительно в самую точку, с вдовой, Лев Николаевич простился с ней, и мы поехали домой.

Когда мы ехали задами Ясной Поляны, Лев Николаевич сказал мне:

— Я весь полон своей работой.

Лев Николаевич просил меня сходить в Москве в редакцию «Русских ведомостей», достать там и прислать ему «Русские ведомости» за какие-нибудь два-три года восьмидесятых годов прошлого столетия. Ему хочется более живо восстановить в памяти общественное настроение того времени *.

---

* Я достал и послал Льву Николаевичу «Русские ведомости» за два года. Насколько мне известно, Лев Николаевич ими не воспользовался, так как скоро охладел к своей задуманной работе.

После обеда мы сыграли в шахматы. По окончании партии Лев Николаевич сказал мне:

— Когда мы с вами молчали за шахматами, я все думал, что предстоит еще радость — музыка.

Я, разумеется, вечером играл.

После музыки играли в винт. За винтом Андрей Львович извинялся, что рекомендовал Льву Николаевичу молодого человека Кулябко-Корецкого[67], бывшего у Льва Николаевича на днях.

Лев Николаевич сказал об нем:

— Я пробовал с ним, как всегда, серьезно говорить, но это совершенно бесполезно. Он объявил мне, что бога нет. Если в человеке нет религиозного сознания, до него слова не доходят. Это те же грабители-экспроприаторы, только им нет надобности прибегать к таким внешним действиям — они поставлены в другие условия. Это люди «sans foi, ni lois».

Андрей Львович сказал, что скоро снова начнется революция, на что Лев Николаевич ответил:

— Да она и не прекращалась! Ненависть с обеих сторон все растет.

Потом Лев Николаевич сказал еще:

— Мне это для моих мыслей нужно было, — я вот что думал: говорят, люди должны стремиться любить друг друга. Какая уж любовь! Сначала только бы не мешать друг другу: «Vivre et laisser vivre» *.

Софья Андреевна заметила, что нельзя религиозную жизнь считать для всех людей обязательной.

Лев Николаевич сказал ей:

— Религия не в Николае-угоднике и божьей матери, а в увеличении добра. Как в физическом мире ни один удар не пропадает, так и всякая мысль, слово, дело не пропадают.

По поводу мысли: «нет в мире виноватых»[68] Лев Николаевич сказал:

— В государственном строе все приспособлено так, чтобы каждый мог чувствовать себя невиноватым. В этом механизме вина незаметно перекладывается с одного на другого. Иначе никто не мог бы вешать!

Когда я уезжал, Лев Николаевич сказал мне:

---

* Жить и дать жить другим *(франц.)*.

— Прощайте, Александр Борисович, общение с вами мне было нынче особенно приятно.

Из письма Александры Львовны:

«8 ноября... если бы вы знали, как быстро летит день, и сколько надо успеть сделать... Только что написала в десяти экземплярах «Письмо к сербской женщине о присоединении Австрией Боснии и Герцеговины»[69] и, кроме того, переписываю начисто «Круг чтения», с чем Чертков страшно торопит, так как хочет, чтобы это было напечатано к первому января. Утро пишу, а в два часа папà ездит верхом, и так как мы боимся пускать его одного, я езжу за ним в санях. А вечер проходит за винтом. Нынче папà моется, и потому имею время написать вам.

Папà совсем почти поправился, очень много работает, бодр, весел, занимается опять с мальчиками и вообще совсем вошел в свою прежнюю колею.

Чертков бывает каждый день. Он очень мрачный, и в доме у него мрачно. Вы, верно, слышали о том, что все постройки его, кроме дома, сгорели. Так что его усадьба имеет очень мрачный вид...»

1909

Из письма Александры Львовны:

«2 января. У нас все хорошо».

Из письма Н. Н. Гусева:

«1 января... До вас большое дело. Если соберетесь, как хотели, в Ясную на этих днях, то заезжайте или пошлите к Сергею Петровичу Мельгунову, сотруднику «Русских ведомостей», за книгами, которые он обещал приготовить для Льва Николаевича. Книги эти касаются той темы, над которой теперь работает Лев Николаевич, — смертной казни. Ему важно иметь как можно больше материала... У нас все благополучно. Лев Николаевич почти кончил статью о Столыпине[1]. Здоровье его ничего. Остальные все живы, здоровы...»

10 февраля. Как-то зимой Софья Андреевна в присутствии Льва Николаевича очень резко осуждала В. Г. Черткова, отчего Лев Николаевич, как всегда в этих случаях, очень страдал. Это было утром. Среди

разговора Лев Николаевич встал и ушел к себе в комнату.

Через некоторое время он вышел опять в столовую, остановился в дверях и взволнованным голосом сказал:

— У нас в доме живет старая няня, я ее почти не знаю, а я люблю ее, потому что она Сашу любит... а если этого нет, нет настоящей любви...

Лев Николаевич произнес эти слова со слезами в голосе и потом повернулся и тихо пошел опять к себе. Нынче вечером Лев Николаевич сказал:

— Когда слушаешь музыку, это волнует, возбуждает, умиляет, но при этом совсем не думаешь. А вот когда я у себя пасьянс делаю, мне приходят самые счастливые мысли *.

14 февраля. Лев Николаевич написал замечательное письмо Александру Константиновичу Степанову[2].

Из письма Александры Львовны:

«3 марта... Хотелось написать вам, чтобы поблагодарить еще раз за чудную птицу, которой все восхищаются и которая совсем привыкла у нас, стоит в зале и выпаливает весь свой репертуар **. Спасибо вам...

Застала своих стариков в плохом виде. У отца опять воспаление вены на ноге. Он лежит. При ходьбе и ощупыванье больно. Общее состояние неплохо; хочет встать, но Душан и мы все умоляем его лежать с поднятой ногой, чему он до сих пор подчиняется.

Мать тоже нездорова. У нее каждый день подъем температуры, и она заметно худеет. На днях она соби-

---

* Известно, что Лев Николаевич, работая, особенно когда в работе встречалось какое-либо затруднение, раскладывал пасьянс (Лев Николаевич говорил обыкновенно «делать пасьянс»). Пасьянс он «делал», вероятно, плохо, но мысли ему приходили при этом «самые счастливые». Эту привычку он сохранил на всю жизнь. Работая над третьей частью «Воскресения», Лев Николаевич долго не мог решить судьбы Катюши Масловой: то Нехлюдов женится на ней, то нет. Однажды он решил: сделаю пасьянс, если выйдет — женится, нет — нет. Пасьянс не вышел. В другой раз Лев Николаевич рассказывал мне, что у него в работе не удавалось одно место. Он долго колебался и наконец решил и написал. После этого он загадал: если пасьянс выйдет — значит, хорошо, не выйдет — плохо. Пасьянс не вышел, а Лев Николаевич сказал себе: «Нет, врешь, так будет хорошо!» — и оставил, как писал.

** Я подарил Александре Львовне говорящего попугая.

рается ехать в Москву лечиться. Чертков второй день не был. У него сильный бронхит, и он лежит. Вот видите, как все у нас грустно... Попугай по папашиному желанию учится говорить: «Люби всех»...»

Из письма О. К. Толстой:

«21 марта... Лев Николаевич все еще не выходит. Ноге его лучше, но он очень слаб и температура иногда ненормальна».

Из письма Александры Львовны:

«23 марта... Папа̀ совсем здоров, выходит, много работает. Но у нас опять горе. Как приехали, Танечка [3] стала кашлять, чихать, а теперь у нее 40°, и Таня да и все мы очень встревожены...»

Из письма Софьи Андреевны:

«24 марта 1909 г. Я не отвечала вам до сих пор, дорогой Александр Борисович, потому что мы все время жили в тревоге. То плох был Лев Николаевич, то я два дня болела и даже очень страдала от болей в области моей прошлой операции; а то два дня горела в сильнейшем жару (39 и 3) маленькая Таня. Теперь все, слава богу, поправляемся, и старые и малые.

То, что мои друзья и знакомые одобрили мое письмо [4], — мне было очень приятно. Я написала его порывом чувства, и читали его все, даже «Times» напечатал...»

24 мая. Нынче я в первый раз приехал в Ясную.

Лев Николаевич спросил:

— Вы одни здесь?

— Да, с женой.

— Нет, а отец, брат? Постойте, да, помню, ваш брат учитель? Вот у меня какая память стала. Я не жалею. Все главное не забывается, а память сохраняет внешнее, ненужное. Сережа за обедом говорил, отчего растения лучше растут, когда кругом ничего нет на земле, чтобы вся сила земли уходила в растения. Так и в духовной жизни: все внешнее, ненужное, что сохраняет память, как сорные травы, заглушает истинную жизнь.

Лев Николаевич рассказывал о немецкой книге о Гете, которую ему прислал автор, с просьбой написать свое мнение [5].

Лев Николаевич сказал:

— Я ответил на его письмо учтиво, что в его книге много нового, нужного, но не писал ему подробно.

— Удивительно! Еще в двадцать четвертом году Гете писал, что искренность почти невозможна в искусстве, благодаря множеству газет, журналов, критик: художник читает их, невольно к ним подлаживается и не может быть вполне искренним. Что бы он сказал в наше время?!

Поленов прислал Льву Николаевичу альбом снимков со своей выставки из жизни Христа[6].

Лев Николаевич сказал по этому поводу:

— Поленов — хороший, почтенный тип художника, каких теперь мало — они переводятся.

Вчера и, кажется, также нынче утром был у Льва Николаевича купец, православный, но очень религиозный.

Лев Николаевич сказал мне о нем:

— Он мне вот в чем был полезен: я всегда осуждаю, когда стихи пишут; он тоже мне свои стихи давал, и на нем я убедился, что это писание плохих стихов источником своим имеет иногда самые лучшие, высшие чувства, которые человек не знает, как выразить, и пытается выразить в стихах. Вот Добролюбов[7] писал тоже стихи, а потом весь ушел в религиозные вопросы, которые совершенно перевернули всю его жизнь.

26 мая. У Льва Николаевича был студент с Кавказа[8].

Лев Николаевич рассказывал мне о нем:

— Сначала он произвел на меня нехорошее впечатление. Дал прочесть свое философское сочинение — какая-то монистическая теория — слабо. Как часто бывает, задавал вопросы — каждый день бывает, можно посмотреть, наверное и сегодня есть такое письмо — что такое бог? Что такое добро и зло? В чем смысл жизни? — и наивно думает, что ему первому пришли эти вопросы, а между тем, уже шесть-семь тысяч лет лучшие умы всех народов все силы свои отдают на разрешение этих вопросов. И он думает, что я, Лев Николаевич, должен и могу ему ответить, — и это комичнее всего.

Он оказался потом трогательный, хороший человек, и я расцеловался с ним под конец.

Лев Николаевич рассказывал про письма Герцена к заграничным деятелям, которые он читал в «Былом», между прочим и к Прудону[9].

— Давно я не читал его (Прудона) [10], надо перечитать *. Они оба чувствовали, что мешают одинаково обе стороны — правительство и революционеры, действующие во имя власти, успеха, выгод и т. д. Оба борются во имя идей социализма и часто близко подходят к религиозной основе, особенно Герцен, говорящий об общине и артельном начале как основе социализма в русском народе; но только как бы боятся договаривать до конца. Они говорят о социализме, забывая, что социализм — это только одна сторона христианства, экономическая. Надо просто сказать, что в русском народе еще живо настоящее религиозное чувство, которое на Западе, отчасти благодаря влиянию католицизма, совсем почти исчезло.

— А что у нас делает этот несчастный Столыпин! Во всех последних «аграрных» мероприятиях они стараются разрушить то настоящее отношение к земле, которое еще живет в русском народе.

Ужасаясь на Столыпина и нравы высших чиновников, Лев Николаевич сказал:

— Что это за среда ужасная! Я ее знаю. Когда я вырасту большой, я напишу повесть из этого быта.

Лев Николаевич, видимо, все-таки страдает от ослабления памяти, хотя он и сказал опять сегодня:

— Я все забываю: кто на ком женат, — но, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что все сильнее и яснее чувствую и сознаю главное.

29 мая. И. И. Горбунов рассказывал, как следователь в Москве, допрашивая его по поводу обвинения за издание книжки Льва Николаевича «О значении русской революции», сказал ему:

— Скверная книжка!

Лев Николаевич рассказал по этому поводу, что он получил письмо из Тобольска от какого-то сочувствующего ему человека, у которого был обыск. Становой, производивший обыск, стал просматривать книги, увидал книжки Льва Николаевича, заинтересовался ими и в результате даже попросил почитать.

Сидя в комнате Гусева, мы читали вслух указ

---

* Я помню, Лев Николаевич перечитывал Прудона в 1900 году, когда писал «Рабство нашего времени».

св. синода об открытии мощей Анны Кашинской. Лев Николаевич ужасался [11].

Рассказывая об этом позже за чаем, он сказал:

— Никакое несчастье, страдание не может меня заставить желать смерти, а когда я вижу, что теперь, в двадцатом столетии, могут всенародно делаться такие гадости и глупости, единственное, что остается, — умереть.

Потом Лев Николаевич сказал:

— Софья Андреевна имела счастье встретить оборванца, который ей сказал: «То был царь Николай Палкин, а теперь у нас Николай Веревкин. Ну, да мы до него доберемся!..»

Цуриков, учитель маленького Сережи, сына Сергея Львовича, спорил с Л. Д. Николаевой о вегетарианстве. Между прочим, он говорил, что если не убивать животных, то они слишком расплодятся и заполнят собой землю, и что мы все равно каждым дыханием уничтожаем миллионы живых существ и т. п.

Лев Николаевич молча слушал этот спор, а потом не выдержал и сказал Цурикову:

— Это обычное и, простите меня, самое пустое возражение — если нельзя достигнуть идеала, так не будем делать ничего.

30 мая. Приезжал Мечников с женой [12].

Мечникову было 64 года — это еще свежий старик, небольшого роста, скорее полный, с довольно длинными волосами, седой бородой, с добрыми глазами, смотрящими сквозь очки, с крупным мясистым носом. Он много рассказывал, и с ним было интересно, приятно, но особенной внутренней значительности я в нем не почувствовал...

Жена его значительно моложе его — годилась ему в дочери. Они были, по-видимому, дружны. Она говорила очень мало, держалась скромно, но как-то ничем не запоминалась.

Они приехали к Чертковым. Я пошел туда. Сидели сначала в комнатах, а потом на балконе у Ольги Константиновны. Мечников оказался очень милым, по-стариковски немного болтливым. Он хорошо рассказывал о своей женитьбе на теперешней (второй) жене, как он ей сначала давал уроки, вел умные разговоры, а потом понемногу дело дошло до брака.

Она была настолько наивна, что после свадьбы думала, что в браке и нет ничего, кроме умных разговоров.

Заговорили о вегетарианстве. Как раз вошла Анна Константиновна, и Мечников ей сказал:

— Ну, вы можете легко скомпрометировать вегетарианство [13].

Мечников рассказывал про опыты над животными, — что куры от мяса заболевают подагрой и быстро погибают, что собаки, которым прививают туберкулез, хуже с ними борются, если им не дают мяса, и часто выздоравливают при мясной пище и что относительно туберкулезных больных можно несомненно утверждать, что им лучше есть мясо; рассказывал про предполагаемые в широком размере опыты в английской армии, значительную часть которой предполагают разделить на три равные части и в продолжение известного периода времени питать: одну — преимущественно мясной пищей, другую — исключительно растительной и третью — смешанной с молоком и яйцами. Вопрос о вегетарианстве, с физиологической точки зрения, Мечников считает еще научно не решенным, признавая вескими многие доводы как за, так и против вегетарианства.

По поводу возражений против уничтожения живых существ Мечников сказал:

— В природе животные все равно погибают насильственной смертью. Достаточно посмотреть, например, на жизнь птиц, — какой ужасной смертью они большей частью погибают; может быть, им гораздо легче было бы погибнуть от ружья охотника.

Лев Николаевич возразил ему:

— Этого мы не можем знать и вообще здесь дело не в рассуждениях, а в непосредственном нравственном чувстве, живущем в человеке.

Мечников рассказывал Льву Николаевичу про религию конгойских людоедов, которая выражается главным образом в поклонении предкам. Он говорил, что об их религии и быте один французский путешественник Edouard Foa написал интересную книгу [14], и обещал прислать ее Льву Николаевичу *.

---

* Книжку Foa Мечников прислал впоследствии, и Лев Николаевич читал ее с интересом. Между прочим, там были записи песен дикарей, и Лев Николаевич просил меня сыграть их ему.

Лев Николаевич сказал ему:

— Их поклонение предкам — это все та же вера в единое вечное начало жизни, которое живет в человеке.

Мечниковы собрались уезжать. Тапсель и доморощенные фотографы защелкали аппаратами.

Лев Николаевич, прощаясь с Анной Константиновной, сказал ей:

— Что же это вы на меня насплетничали?

Лев Николаевич был как-то у нее и говорил ей о том, что желает смерти, а она написала об этом Владимиру Григорьевичу, высланному в это время из Тульской губернии. Владимир Григорьевич в письме ко Льву Николаевичу поставил в связь это желание смерти с тяжелыми сторонами личной жизни Льва Николаевича и упрекнул его, кажется, в слабости.

Лев Николаевич сказал ей:

— Я потому и хочу смерти, что мне хорошо.

Вечером я поехал в Ясную. Все сидели внизу и смотрели на играющих в городки. Корреспонденты и фотографы положительно не давали проходу.

Лев Николаевич сказал корреспонденту:

— Я бы поиграл в городки, если бы знал, что меня не станут фотографировать и что вы не станете об этом писать.

Мечников сказал одному из корреспондентов, стоявшему с аппаратом и преследовавшему его по пятам:

— А вы все-таки здесь под видом фотографа!

Потом Лев Николаевич, Мечников, Лев Львович и я сидели наверху на балконе у Льва Николаевича.

Мечников сказал, что в науке легче всего разрушать, а создать что-нибудь новое гораздо труднее.

Лев Николаевич ответил ему:

— Это во всем так, а особенно в философии.

Мечников рассказывал очень интересно про Пастера, Ру и Беринга.

Мечников заговорил о музыке. Он сказал:

— Как беременной женщине иногда хочется чего-нибудь кисленького, так мне сейчас почему-то захотелось услыхать третью часть седьмой симфонии Бетховена.

Мечников говорил о новой музыке, которой он не понимает. В Петербурге, в одном знакомом доме, какой-то хороший пианист играл ему сочинения Скрябина, от которых он пришел в ужас.

Когда все собрались в столовой, я довольно много играл на фортепиано.

За чаем Мечников говорил о старческой любви Гете и о своем взгляде на вторую часть «Фауста», как на произведение, вызванное этим чувством.

Лев Николаевич заинтересовался и сказал:

— А мне всегда казалось это слабым произведением. Я видел в нем старческое ослабление. Вот и я теперь пишу свою вторую часть «Фауста».

Мечников еще рассказывал про старческую любовь многих знаменитостей: Ибсена, Гюго и др.

Лев Николаевич сказал:

— Ну, я вам не доставлю материала в этом отношении.

Мечников думает, что любовь к женщине и сама эта любимая и любящая женщина могут вдохновить ученого или художника на создание того или другого произведения. В самостоятельное творчество женщины он не верит. Он рассказывал про Софью Ковалевскую, как, когда он молодым человеком был в Италии (кажется, работал в Неаполитанском аквариуме), ему писал туда Владимир Ковалевский про Софью Ковалевскую (свою будущую жену), расхваливал ее, уверял, что Мечников в нее влюбится, и прочил ее ему в жены. Но потом, когда Мечников познакомился с ней в Петербурге, он остался совершенно равнодушен.

По этому поводу он заметил:

— На меня никогда не производили впечатления женщины, у которых нет сердца. Ковалевский никогда не был с нею счастлив. Брак их сначала был фиктивный. Она уехала в Берлин учиться и там написала свое сочинение по математике, которое ее прославило. Однако история этого сочинения такова: она работала под руководством известного берлинского математика Вейерштрасса, уже в то время немолодого, который увлекся ею и под воздействием этого увлечения дал ей идею той работы, которую она только выполнила. Но природа взяла свое. Когда она уже потеряла обаяние молодости и как-то удивительно быстро пропала ее физическая

привлекательность, она страстно влюбилась в известного Максима Ковалевского. Он вел себя джентльменом, сказал, что готов жениться на ней, но откровенно сознался, что не питает к ней такого же страстного чувства, как она к нему. Тогда она уехала в Стокгольм, где вскоре умерла. Она постоянно страдала от того, что потеряла физическую привлекательность, и старалась вернуть себе ушедшую молодость: делала впрыскивания Браун-Секара и т. п.

Раньше, когда мы сидели на балконе, Лев Николаевич, говоря о том, как часто слишком поздно замечаешь дурное в себе, рассказал историю высылки Черткова и приезд чиновников от Столыпина для расследования этого дела[15].

— Я приезжаю к Чертковым, ко мне подходит Перна и, указывая на военного, говорит: «Полковник такой-то». Я Перне подал руку, а тому нет. Когда я вошел в комнаты, я уже почувствовал, что сделал что-то ужасное. Все шепчутся: «Не подал руки, не подал руки...» И действительно, это ужасно! Я мог сказать ему, что считаю вредной и дурной его деятельность; но я должен был с ним, как с человеком, быть учтивым. Мне, старому человеку, это непростительно! Я потом часто — ночью проснешься, вспомнишь и ахнешь (Лев Николаевич ахнул): как нехорошо!

Мечников за чаем рассказывал, что послал как-то Льву Николаевичу свою книгу «Этюды о природе человека». Кто-то передал ему, будто Лев Николаевич сказал:

— Эту книгу не стоит читать, в ней ничего нет для меня интересного.

— Я уже и не осмелился послать следующую книжку («Оптимизм») о «Фаусте» Гете, — прибавил Мечников.

Лев Николаевич рассмеялся и сказал:

— Спасибо, что вы простили мою неучтивость и все-таки приехали.

Я знаю, что это неверно: Лев Николаевич читал книгу Мечникова, когда еще она печаталась в виде статей в «Научном слове»[16], и у меня записан его отзыв об этой вещи. Сколько мне помнится, Лев Николаевич находил, что в этой книге очень много нового и интересного для него фактического материала, но отрицательно

отнесся к миросозерцанию или, вернее, отсутствию всякого религиозного миросозерцания у автора.

При прощании Мечников сказал Льву Николаевичу:

— Это один из лучших дней нашей жизни; хотя я и не говорил с женой, но знаю, что и для нее это так.

Лев Николаевич сказал, что ждал, что свидание будет приятно, но не ждал, что настолько.

— Постараюсь прожить сто лет, чтобы вам доставить удовольствие, — прибавил он, смеясь.

31 мая. Кто-то спросил Льва Николаевича, нужно ли думать о смерти.

— Нет, не думать, а запомнить и помнить постоянно, и тогда делать, что должно, а в сердце что-нибудь оборвется, и конец! Пока я живу, я должен делать свое дело и, разумеется, должно быть все равно — богат я или беден, здоров или нездоров. Это трудно, но можно постоянно приближаться к этому.

В том же разговоре Лев Николаевич сказал:

— Материальный мир в пространстве — это единица, деленная на бесконечность, то есть ничто; также и во времени. Но есть настоящее — бесконечно малая точка соприкосновения прошедшего и будущего, в котором я должен так или иначе поступить.

Нынче Лев Николаевич сказал мне:

— Я вчера вечером думал об ужасах нашего правительства и без всякого усилия жалел этих людей. Часто значительные события проходят незаметно, а пустяк заставляет многое понять. Я зимой как-то гулял, зашел далеко и устал. Меня нагнал стражник в санях, я подсел к нему и подумал, что нужно по-человечески поговорить с ним. В разговоре я спросил его, как он может служить в такой дурной должности.

«Что ж прикажете делать? Где нынче получишь тридцать пять рублей? А у меня семья большая, всех прокормить надо». Так и Столыпин. И я понял, что все в этом, и мне жаль стало этих несчастных людей.

2 июня. Лев Николаевич рассказывал о Мечникове.

— Когда мы поехали в Телятинки, я нарочно поехал с ним, чтобы поговорить о религиозных вопросах. Но попробовал и замолчал. Он верит в свою науку, как в священное писание, а вопросы религиозно-нравственные, вытекающие из простого нравственного чувства, ему совершенно чужды.

Получилась телеграмма от Куприна с вопросом, можно ли приехать[17].

Лев Николаевич сказал:

— Я «Яму»[18] не мог дочитать. Эти мерзости отвратительны. В одном месте он на трех страницах описывает все это со всеми подробностями. Как еще Гете говорил в двадцатых годах по поводу журналов и критик, — у теперешних писателей совершенно утрачено собственное чувство того, что хорошо, что дурно, что следует писать и чего не нужно. Вот Анатоль Франс! Я его «волшебные рассказы»[19] не мог читать, а вот в «Круге чтения» «Кренкебиль», ведь это и «Pauvres gens» Hugo * — шедевры. Ведь мог же он так написать!

— Самое главное, чтоб был *свой* суд. Я пробовал последнее время несколько раз писать художественные вещи, но не могу, потому что нет нужного страстного отношения к работе.

Софья Андреевна сказала на это:

— И не напишешь больше!

— Нет, не знаю, иногда бывает чувство...

Лев Николаевич сказал мне:

— Я нынче спал хорошо и работал, как иногда в неделю не наработаешь.

— Давайте в шахматы играть, я нынче буду хорошо играть. А может быть, и нет... может быть, я и с работой тоже ошибаюсь. Это часто бывает: кажется, что хорошо наработал, а на другое утро приходится все вычеркивать.

Немного погодя Лев Николаевич сказал:

— Я пятьдесят лет этим занимаюсь, и как у вас на фортепиано, и у меня есть некоторая техника. И я мог бы написать похоже на настоящее и, пожалуй, более похоже, чем Куприн; но если есть свой суд, то его нельзя обмануть. А тут, если не хуже Андреева или Куприна, ну и хорошо!

По поводу художественных работ Лев Николаевич говорил мне несколько дней назад, что, может быть, он потому не пишет художественных вещей, что у него память ослабела, и он часто не помнит — как люди одевались и тому подобные мелочи, и это мешает.

---

* «Бедные люди» Гюго *(франц.)*.

По поводу корреспондента[20] «Русского слова», который приезжал при Мечникове, Лев Николаевич сказал:

— Жаль, что я не попросил его, чтобы он непременно написал то, что я говорил о земле.

Лев Николаевич рассказывал про мужика, которого обвиняют в кощунстве[21]. Он прислал Льву Николаевичу обвинительный акт. Его обвиняют за то, что он сказал про иконы:

— Это деревяшки, сколько перед ними лоб ни бей, толку не будет.

— Дело будет разбираться при закрытых дверях,— сказал Лев Николаевич,— подсудимый имеет право привести в залу трех лиц. Я просил его записать меня и поеду (в Тулу).

5 июня. Нынче ночью уезжаю в Москву, а оттуда лечиться в Ессентуки. Получил нынче от Гусева из Ясной письмо.

Вот выдержка из него:

«Ясная Поляна, 5 июня. ...Посылаю вам статейку о Джордже. Расскажите в редакции ее историю: в то время, когда была получена телеграмма от Джорджа, у Льва Николаевича был корреспондент «Русского слова». Лев Николаевич под впечатлением этого известия написал эту статейку и передал корреспонденту для «Русского слова». «Русское слово» не напечатало[22].

У нас сын Генри Джорджа (приехал сегодня в 4 часа) с фотографом. Лев Николаевич слаб... Скажите «Русским ведомостям», что если они находят это менее рискованным, то могут поместить не как статью Льва Николаевича, а как разговор его».

27 июля. Вернулся с Кавказа. Привожу выдержки из писем жены о Льве Николаевиче и его окружающих во время моего отсутствия.

«11 июня. Тут все хорошо и благополучно. Лев Николаевич уехал в Кочеты, кажется, во вторник 19 июня. Анне Константиновне хуже; вчера посылали в Тулу за доктором...»

«13 июня. Вчера Ольга Константиновна рассказывала нам много интересного вообще и некоторые подробности о деле Владимира Григорьевича. Просто верить не хочется, что все это возможно в двадцатом веке, все эти сплетни, наговоры, Столыпины, Звегинцевы и компания...»

«21 июня. Мы сейчас собираемся пешком в Ясную. Софья Андреевна ждет нас к трехчасовому чаю... Вчера она была у нас с визитом и у Чертковых. Лев Николаевич остался еще в Кочетах. Он, слава богу, здоров и последнее время стал сам следить за своим здоровьем. В письме к Софье Андреевне говорит, что все ели ягоды и простоквашу, а он, вспомнив, что это вредно ему, воздержался. Дело Владимира Григорьевича все еще ничем не разрешилось. Получаются самые разнообразные сведения, то самого утешительного, то самого печального свойства. Вчера была от него телеграмма, что в понедельник оно так или иначе решится...»

Из письма моего брата:

«22 июня. В субботу здесь была Софья Андреевна и выражала надежду, что мы ее посетим в ее одиночестве. Вчера мы отправились туда днем к трем часам. Софья Андреевна была очень мила: прочла нам вслух «После бала», затем она читала нам описание своей аудиенции у Александра III. После обеда ходили гулять по купальной дороге...»

Из письма моей жены:

«25 июня. У нас скверные вести относительно Владимира Григорьевича. Ему окончательно и бесповоротно запрещен въезд в Тульскую губернию, даже на один день, чтобы повидаться с больной женой; до последней минуты он имел сильную надежду, потому что зять Столыпина, некто Сазонов, товарищ министра, кажется, иностранных дел, очень обнадеживал Владимира Григорьевича, говоря, что Столыпин очень к нему расположен и что этот, бывший здесь, полковник дал хороший отзыв, так что Владимир Григорьевич взял даже билеты на воскресенье вечером, чтобы ехать сюда. А в воскресенье утром Столыпин, вернувшись из шхер, позвал к себе Владимира Григорьевича и объявил ему это их решение. Очевидно, здесь не обошлось без «самого». Все Чертковы очень расстроены. Анна Константиновна не спала всю ночь. Ольга Константиновна тоже сама не своя. Они собираются везти Анну Константиновну через неделю в подмосковное имение Пашковых, куда, вероятно, переедут и все. Туда приедет и Владимир Григорьевич. Это все страшно грустно... даже на день не пустили, заявив, что «вам крестьяне овации устраивают; да и что за книги вы пишете, ваша «Революция» и т. д.

Лев Николаевич еще не вернулся из Кочетов и не собирается пока; Софья Андреевна поэтому не в духе и недовольна. Высылкой Владимира Григорьевича, кажется, очень довольна звегинцевская компания и, между прочим, братья Толстые, которые ей много способствовали...»

«27 июня. Лев Николаевич все еще у Сухотиных, и точно неизвестно, когда приедет. Говорили — в конце этой недели, но вот уже суббота, а его все нет...»

«28 июня. У Чертковых грустно, и идет спешная укладка.

...Нынче тут ненадолго была Александра Львовна и сказала нам, что Лев Николаевич все еще не приехал и что они ждут телеграммы о его выезде. А вчера мы видели Гусева, который уже здесь, и он нам сказал, что Лев Николаевич приезжает нынче. Ты не можешь себе представить, как странно в Ясной без Льва Николаевича! Ты, верно, никогда и не был там без него. Такая тишина и мертвенность, — очень неприятно...»

«1 июля. Вероятно, завтра приезжает наконец домой Лев Николаевич. В Кочеты на нынешний и вчерашний день ездил Владимир Григорьевич, чтобы проститься со Львом Николаевичем...»

«3 июля. Завтра уезжают Чертковы. Нынче ночью ждали возвращения Льва Николаевича, и если он приехал, то, наверное, заедет проститься с Анной Константиновной...»

«4 июля. Нынче у нас очень грустный день: проводили Чертковых... Рано утром все-таки приезжал проститься с ними Лев Николаевич, который наконец вчера ночью вернулся домой. Они были очень обрадованы его приездом, так как уезжать неизвестно куда и насколько — грустно, не повидав его. Пока едут в это имение Пашковых, а что дальше — неизвестно. Скоро и Ольга Константиновна уедет туда же. Дима тоже остался. А Владимир Григорьевич встретит их в Серпухове, и они в тот же вечер будут дома... Владимир Григорьевич ездил видеться со Львом Николаевичем. Ему Татьяна Львовна сняла избу за четыре версты от них — уже в Орловской губернии, и Лев Николаевич ездил туда к нему, так что столыпинские предписания остались во всей неприкосновенности. Владимир Григорье-

вич надеется, что его, может быть, к зиме вернут, но в это никто не верит. Все Толстые в каком-то странном настроении. Льва Николаевича не было дома больше трех недель, и они все очень определенно и ясно почувствовали, что вся притягательная сила их дома, как для знакомых, так даже и для собственных детей, только в нем и в нем одном...»

«7 июля. После отъезда Чертковых стало совсем тихо у нас... Христо Досев женится на дочери Скороходова. ...Говорят, она красавица, умница и очень милая. А Лев Николаевич сказал: «Лучше выбрать нельзя было, а жаль, что женится, одному лучше...» Лев Николаевич вернулся в очень хорошем настроении и здоров, но мы его не видели, потому что он был только раз у Чертковых, когда приезжал прощаться с ними. Софья Андреевна опять повеселела, и в доме опять стало попрежнему...»

«11 июля. Льва Николаевича все не видели. Гусев говорит, что здоров и хорош. Не соберемся туда, потому что Софья Андреевна все больна, даже лежит... Марии Александровне, слава богу, лучше. Вчера у нее был Душан...

Только что здесь был у нас Лев Николаевич верхом с Онечкой Денисенко. Такой бодрый, славный, ласковый! Ты знаешь, — он умеет всех заразить бодростью, веселостью, радостью жизни. Спрашивал, когда ты вернешься, и, узнав когда, решил, что теперь уже скоро. Я боюсь тебя огорчить, но, может быть, это только его мечта, — он собирается ехать в Стокгольм на конгресс мира, который будет 15 августа нового стиля [23]. Он считает, что это как раз тот случай, когда он всем сразу громко выскажет свое мнение... Он даже собирает материалы для этой поездки и, как видно, серьезно обдумывает ее...»

«13 июля. Очень интересно провели мы вчерашний вечер. Часов в шесть с половиной пошла к Чертковым... и зашла к Ольге Константиновне... Очень скоро туда приехали Лев Николаевич и Александра Львовна и Гусев. Лев Николаевич привез с собой новую статью [24], как и все последнее, разросшуюся из письма какого-то крестьянина, основавшего симбирское братство свободных христиан. Собралась молодежь, пришел Николаев; все уселись в столовой и стали читать. Сначала прочли

письмо этого крестьянина, очень длинное и очень умно написанное. Он спрашивает Льва Николаевича, нужна ли наука, и что она — дело хорошее или дурное, и чему и как надо учить детей. Сам он склонен смотреть на науку отрицательно и иллюстрирует свой взгляд многими очень интересными и ценными примерами. Вот Лев Николаевич и ответил ему на это письмо, и из этого образовалась длинная, захватывающая, с литературным отступлением в начале, статья. Написана так сильно, как давно он ничего не писал. Мысль не новая, он уже много раз писал об этом: о ложной и настоящей науке. Но как сильно, умно — поразительно! Впечатление от статьи было огромное, но прения без Владимира Григорьевича были вялые и скучные. Никто так не умеет попасть в самую сущность, как он, и притом в самой разношерстной компании. Но Льву Николаевичу все-таки было приятно. Он очень интересуется молодежью и ее жизнью здесь без Владимира Григорьевича, так что, кажется, хотел и еще приехать почитать. Собирался посидеть подольше и даже ужинать с ними, но его одолел какой-то кончивший сельскохозяйственный институт, который не давал никому раскрыть рот, даже Льву Николаевичу, так что было неловко, и очень заступался за науку. Очень несимпатичный!.. Все эти дни Лев Николаевич был очень бодр и страшно много работал. Он спит и видит ехать в Стокгольм. Вчерашнюю ночь даже не спал, так от этой мысли волнуется. Он уже приготовляет свою речь по-французски, а Душан роется в путеводителе и выбирает маршрут. Но, может быть, ничего и не выйдет, потому что Софья Андреевна все больна...»

«14 июля. Хочу тебя успокоить насчет поездки Льва Николаевича. Вчера днем я видела Гусева, и оказывается, что Лев Николаевич спутал числа этого конгресса. Он будет 14 августа *нашего* стиля, так что еще очень не скоро. Затем Гусев почти уверен, что Лев Николаевич не поедет, потому что Софья Андреевна этого страшно не хочет и его ни за что не пустит. Гусев меня совсем разубедил, и я спешу тебя уведомить об этом, чтобы ты не огорчался и спокойно доканчивал свое лечение...

А Софья Андреевна так расстроилась долгим отсутствием Льва Николаевича в Кочетах и теперь его наме-

рением уехать вторично, что захворала... Вчера вечером Коля * был в Ясной, и Лев Николаевич, видимо, так боится этих припадков Софьи Андреевны, что даже не заикался о Стокгольме. Так что будет то, чего хочет Софья Андреевна, а не Лев Николаевич, и, значит, он никуда не поедет. Коля вчера отправился с Николаевым в Ясную, и Лев Николаевич был с ним необыкновенно ласков и мил, так что Коля вернулся домой сияющим. Путешествие повлияло на Льва Николаевича великолепно, он смотрит превосходно, и Коля, который не видел его два года, был поражен его хорошим видом...»

«19 июля. Толстых совсем не видим. Софья Андреевна все больна...»

29 июля. В Ясной гостит Александр Сергеевич Бутурлин. За обедом и после обеда разговор зашел о Тургеневе. К сожалению, запись начала этого разговора мною потеряна.

Лев Николаевич сказал:

— Мне его миросозерцание претило: какое-то отношение ко всему с эстетической точки зрения. Странно, мне Мечников напомнил это. Он говорил о «Фаусте» и о старческой любви Гете. Все это и вообще мерзость, а старческое-то и вовсе. А здесь это выставляется как что-то необыкновенное. И это было в Тургеневе.

— Он никогда не мог понять взглядов другого, — прибавил Лев Николаевич.

Бутурлин вспомнил Василия Петровича Боткина, как типичного представителя этого рода воззрений.

Лев Николаевич не согласился:

— Нет, он (Боткин) мог понять. Я говорю это не из чувства самовосхваления — он высоко ценил меня, — но в нем была эта способность понимать точку зрения другого. Боткин был умнее. Тургенев был очень добрый, и я любил его, но мне претило это выставление выше всего именно того, что для меня ничего не стоит, — эстетической стороны. И во мне он ценил то, что для меня никакой цены не имеет; а если что есть дорогого, того не понимал. А Боткин, тот понимал.

Немного погодя, уже наверху, Александр Сергеевич спросил:

---

* Мой брат Н. Б. Гольденвейзер.

— Вы извините, я вас спрошу, Лев Николаевич: вот вы говорили о Тургеневе, что вам было чуждо его миросозерцание; а как вы могли быть всегда так дружны с Фетом, у которого были совсем другие взгляды и которого все эти вопросы, вероятно, совсем не интересовали?

Лев Николаевич задумался, потом сказал:

— Фет был настоящий поэт.

Потом опять помолчал и прибавил:

— Да, это трудно сказать.

Очевидно, Лев Николаевич не мог найти подходящего объяснения своему непосредственному чувству.

Я играл на фортепиано.

Перед этим Лев Николаевич сказал мне:

— Вы играть будете, а помните, что Шопенгауэр сказал о музыке? Когда слушаешь музыку, потом остается еще что-то как будто недоговоренное, неудовлетворяющее. И это совершенно верно.

Александр Сергеевич заметил, что это и во всяком искусстве.

— Да, но особенно в музыке, — сказал Лев Николаевич.

30 июля. Лев Николаевич говорил со мной по поводу пашковцев[25] о том, что они впадают в сектантство, в узкий догматизм, и прибавил:

— Я все думаю, нет ли и во мне этого.

31 июля. Я играл со Львом Николаевичем в шахматы около круглого стола. Тут же сидели сестра Льва Николаевича, Мария Николаевна, и Софья Андреевна. Лев Николаевич рассказал про одно ругательное письмо, которое он получил, и сказал, обращаясь к Марии Николаевне:

— Ах, Машенька, как я жалею, что я не православный!

— А что?

— Вот я сейчас ушел бы куда-нибудь в монастырь. Как это хорошо у буддистов: когда человек стареет, — он уходит в пустыню.

— А как же семья? — спросила Софья Андреевна.

— Ну, в таком возрасте уже все обязанности кончаются.

4 августа. Вчера приехал к нам в Телятинки мой дядя А. С. Гольденвейзер, которого Лев Николаевич

знает как автора статьи «Преступление как наказание и наказание как преступление» (по поводу «Воскресения»). Я говорил Льву Николаевичу об ожидаемом приезде дяди, и Лев Николаевич выразил желание познакомиться с ним.

Вечером мой брат, дядя и я отправились в Ясную.

Когда мы поднялись наверх, Лев Николаевич только что кончил читать что-то вслух. После представления и незначительных приветственных фраз сели за круглый стол.

Лев Николаевич спросил:

— Скажите, это с вами или с вашим сыном в Америке я переписывался?

— С моим сыном [26].

— А вы живете в Киеве?

— Да.

— В Киеве... там у меня есть двое друзей... в тюрьме. Сидят за отказ от воинской повинности.

Мой дядя сказал:

— Мой сын поступил довольно смело, по-американски, решившись обратиться прямо к вам за рекомендательным письмом к его переводу моего этюда о «Воскресении».

— Нет, отчего же, я охотно исполнил это его желание. Статья ваша очень хороша, и хотя мне, так в ней восхваляемому, и не совсем подобает рекомендовать ее, но я сделал это, так как в ней верно и очень удачно обрисованы бессмысленность и зло уголовного суда.

Дядя мой, выразив свою радость по поводу этого отзыва Льва Николаевича об его статье, заметил, что он слышал от некоторых судебных деятелей, что они до прочтения этого этюда неверно судили об отношении Льва Николаевича к суду и судьям, считая его описание суда даже карикатурным.

Замечание это подтвердил сидевший тут же И. В. Денисенко.

— Как это Варечка [27] говорит, — сказал Лев Николаевич, обращаясь в сторону Софьи Андреевны и сестры Марии Николаевны, — что она не в состоянии есть тех кур, которых она знала в лицо. Так вот и судьи: если бы они в лицо знали тех кур, над которыми они произносят свои приговоры, они скорее получили бы отвращение к своему ремеслу.

Мой дядя сказал Льву Николаевичу, что его смущает, что мы своим приходом прервали чтение. Лев Николаевич сказал, что он уже кончил, а что читал он доклад, приготовленный им для конгресса мира, предположенного в августе в Стокгольме.

Конгресс этот очень заинтересовал Льва Николаевича; ему было прислано приглашение, и он серьезно мечтал о поездке и личном выступлении на конгрессе. На этой почве возникли за последнее время тяжелые семейные осложнения. Софья Андреевна сразу восстала против плана поездки в Швецию и стала делать Льву Николаевичу сцены и истерические припадки по нескольку раз в день. Лев Николаевич вконец измучился и, разумеется, сказал, что никуда не поедет. Доклад же, который он написал, решил послать в Стокгольм. Болезнь и нервное расстройство Софьи Андреевны сразу как-то сошли на нет, как только Лев Николаевич сказал, что не едет в Швецию. Дяде моему Лев Николаевич сказал, что поехал бы в Швецию, да боится, что состояние его здоровья и здоровья Софьи Андреевны не позволит, так как она боится морского путешествия. Кроме того, Лев Николаевич опасается, что слишком официальный характер конгресса (предполагалось присутствие на открытии короля) помешал бы открытому, свободному обмену мыслей.

Лев Николаевич прибавил:

— С другой стороны, мне хотелось воспользоваться этим случаем, чтобы во всеуслышание сказать то, о чем я так много пишу; хотя я и сомневаюсь, чтобы им понравилось то, что я скажу. Моя мысль о непримиримости заповеди «Не убий» с военной службой так редко разделяется людьми. Мне иногда казалось, что если бы я там сам высказал свои мысли, может быть это на когонибудь и подействовало бы.

Позже, когда мой дядя рассказывал про свою поездку в Швецию, Лев Николаевич обратился к Софье Андреевне и сказал:

— Вот, Соня, человек, который ездил в Швецию и, как видишь, вернулся невредимым.

Я предложил Льву Николаевичу сыграть в шахматы. Он выиграл три партии подряд и был этим очень доволен.

Лев Николаевич попросил меня сыграть и захотел что-нибудь сильное с определенным ритмом. Я сыграл полонез Шопена и ряд других мелких пьес.

Разговор шел о музыке. Софья Андреевна вспомнила Никиша и восторгалась им.

Лев Николаевич сказал мне:

— Есть много вещей, в которые я, как ни стараюсь, не могу поверить. Я не верю в медицину, в солнечные пятна *, не верю в дирижерское искусство **.

Я старался, как умел, указать Льву Николаевичу на то, в чем и как дирижер может воздействовать на оркестр. Раз он перебил меня:

— Это вы верно заметили, что в ритме существуют бесконечно малые величины, от расположения которых часто зависит вся сила впечатления. Эти бесконечно малые величины существуют, впрочем, во всяком искусстве, и овладение ими и составляет задачу настоящего мастера.

Согласившись с этой моей, подчеркнутой им, мыслью, Лев Николаевич, хотя и не возражал мне, но, видимо, в глубине души остался при своем первоначальном мнении.

5 августа. Сегодня я приехал в Ясную к концу обеда. После обеда мы стали со Львом Николаевичем играть в шахматы. В это время раздался звон колокольцев и бубенчиков — кто-то приехал. Оказалось, приехали представители местной полиции арестовать Гусева [28]. Событие это всех взволновало и крайне расстроило. Гусева заставили в несколько минут собраться, еле дали ему уложить кое-какие вещи и сдать все бумаги и текущую работу, бывшую у него, как у помощника Льва Николаевича, на руках, и увезли...

Поразительны были негодование и гнев старой монахини, Марии Николаевны. В ней, очевидно, проснулась прежняя барская гордость, возмущенная бесцеремонным врыванием чужих людей в жизнь семьи. Когда все сошли вниз — проводить увозимого Гусева, и он, в сопровождении чинов полиции, пошел к выходной двери, она не удержалась и энергично плюнула им вслед. Хотя

* По поводу плохой погоды в то лето много говорили и писали в газетах о влиянии на погоду солнечных пятен и их изменений.

** Любопытно, что такой точки зрения на дирижерское искусство придерживался композитор Н. А. Римский-Корсаков.

этот жест и мало вязался с ее монашеским обликом, все-таки она вызвала своей непосредственностью и искренним негодованием большое сочувствие всех присутствовавших.

Лев Николаевич был расстроен больше всех, хотя и крепился. Его мучило сознание, что Гусева ссылают за него, а его не трогают.

Поразило меня его самообладание. Он был бледен, слезы стояли у него в глазах, но он все-таки предложил мне доиграть прерванную всей этой историей шахматную партию.

10 августа. Нынче я читал новую статью Льва Николаевича о науке, собственно ответ на письмо крестьянина, разросшийся в большую статью [29].

Лев Николаевич сказал мне:

— Вы прочли «О науке», а я думал: Струве приедет [30], и я прочту вам вместе. Я сегодня нездоров, все спал, думал — это сюда не относится, может быть потом вам скажу, это личное, — но мне вдруг стало так ясно, я так глубоко почувствовал... если приравнивать к отметкам, то иногда видишь на два или на три, а вдруг увидишь на пять с плюсом. Вот так и с этой статьей «О науке». Мне он писал (крестьянин), он пишет *ошибится* без мягкого знака, и *штоп,* но он думает и говорит о самом главном. А какой-нибудь Волков (накануне Сережа Сухотин, сидевший во время этого разговора тут же, рассказывал про А. Н. Волкова и про его книгу об искусстве) или (обращаясь к Сереже), вот как вы про ваших профессоров рассказываете, — такой Волков пишет свою книгу, — ему от скуки больше делать нечего, так он этими глупостями занимается; да и все мы... А вот когда нужно самому кормить себя и свою семью, то такой человек если уж начнет думать, то наверное о самом важном. Истинная наука только одна: как мне нужно получше прожить мою жизнь?

О записках Черткова [31], которые Лев Николаевич собирался как-нибудь прочесть вслух, он сказал:

— Я не хочу оказывать давление на мнение слушателей, но не могу не сказать, что они превосходно написаны. Да я думаю, что всякий может прекрасно написать, если только он будет писать просто, не увлекаясь красноречием, а главное, если будет рассказывать то, что он сам пережил.

Мы играли в шахматы. Во время партии Софья Андреевна, не помню по какому поводу, с кем-то заговорила о Щедрине.

Лев Николаевич сказал:

— Le secret d'être ennuyeux c'est tout dire *. Про Щедрина это вполне можно сказать. Он все всегда договаривал до конца. Я никогда не мог читать его.

11 августа. Лев Николаевич читал вслух очень хорошие воспоминания Черткова о его военной службе и нравственном состоянии в то время.

Потом играли в шахматы.

За шахматами Лев Николаевич сказал мне:

— Какой удивительный человек Чертков! И какой он совсем особенный, не похожий на других.

Потом он сказал еще:

— И вы тоже совсем особенный, в вас — соединение таких свойств, совсем не похожее на других.

Дорого бы мне было узнать, как и что он обо мне думает.

Да как спросить было?

Дня три тому назад Лев Николаевич говорил мне о моей игре. Он говорил, что очень ценит мою игру. Главным ее недостатком Лев Николаевич считает недостаточную простоту:

— Вы больше отдавайтесь вашему непосредственному чувству, не думая о том, что вас слушают.

В наличии во мне такого непосредственного художественного чувства он не сомневается. Я же в свои «таланты» плохо верю, несмотря на высокий авторитет Толстого.

Потом уже позже я спросил его про вчерашнее, про то, что он начал говорить и не сказал в разговоре по поводу статьи о науке.

Лев Николаевич не мог припомнить, а потом сказал:

— Ах, да! Как это вы вспомнили? Я вам это сейчас не могу хорошо сказать, а я это в дневнике записал. Я особенно ясно вчера почувствовал, что истинная жизнь бывает только тогда, когда живешь не в себе, а переносишься в другого. Когда бываешь один, с богом, или с духовным началом, которое в тебе живет, тогда

---

* Верное средство быть скучным — все договаривать до конца *(франц.)*.

чувствуешь это особенно ясно; а когда бываешь с людьми, то ошибаешься и делаешься все дальше от этого. Противоположное этому состояние — эгоизм. Эгоизм — это, собственно, ненависть к другим людям. Пока желаешь счастья себе, другие люди мешают этому, и с эгоистической точки зрения глупо думать не о себе, а о другом. Как намедни Танечка (Денисенко) — за обедом было мало квасу, и она вдруг почувствовала радость того, чтобы отказаться и уступить другим. Ей самой до смерти хочется квасу, а она отказывается и уступает. Это еще, кажется, Шопенгауэр сказал, что такие нравственные поступки в нас равносильны чуду, так как с точки зрения нашего рассудка они глупы.

— Я сегодня думал, но вам еще не могу сказать, — этого я еще не уяснил себе, — опять о пространстве и времени и о веществе и движении. Ведь это, собственно, одно и то же: вещество и движение, пространство и время — это корреляты одной идеи.

— Это великая заслуга Канта, что он доказал, что пространство и время только форма нашего восприятия.

— Я читаю теперь Канта «О религии» [32]. Вы читали эту книгу?

— Нет.

— А вообще Канта?

— Я читал его основные сочинения: критики чистого и практического разума [33].

— Я вам дам, и вы прочтите. Это удивительный мыслитель.

Под конец Лев Николаевич сказал:

— Вот вы меня допрашиваете, а я нынче плох.

— Вы вчера сказали, что скажете мне, поэтому я и спросил.

— А вы будете играть нынче? — спросил Лев Николаевич.

Я сказал, что не могу, так как три дня не играл.

Когда я уезжал, Лев Николаевич спросил меня:

— Почему вы не играли три дня?

— Сначала не мог: палец болел, а потом и не хотелось, отчасти причиной наш разговор.

— Да, я так и думал. Мне интересно, как вы будете играть... Отдавайтесь вашему чувству.

Я сказал, что буду теперь, наверное, совсем плохо играть.

Лев Николаевич сказал:

— Я понимаю и буду это иметь в виду.

12 августа. Были: Струве, Александр Александрович и Софья Александровна Стаховичи, Прасковья Николаевна Ге.

Когда я приехал, сидели на балконе.

Лев Николаевич говорил со Струве о Герцене, о том, что он с ним в Лондоне был очень близок.

— Герцена, как это ни странно, я сближаю с Шопенгауэром. Они оба, благодаря своему уму и силе непосредственного чувства, высказывали общечеловеческие истины, несмотря на то, что эти истины, казалось бы, идут вразрез у Герцена с его взглядами политического деятеля известной партии, а у Шопенгауэра с его философскими взглядами атеиста. Я у Шопенгауэра нахожу, несмотря на его атеизм, гораздо больше мест, подтверждающих мои религиозные верования, чем, не говорю уже у какого-нибудь Филарета, но и у многих мыслителей, считающихся христианскими.

— А Огарева вы знали? — спросил Струве.

— Да, как же. Но это был совсем незначительный человек. Я никогда не мог понять этой близости между ним и Герценом.

Лев Николаевич говорил еще, что хорошо помнит Бакунина.

— Он был какой-то шальной, но много в нем было привлекательного.

— А я все Канта читаю. И нынче читал и о вас думал, — сказал Лев Николаевич мне.

— Ну, пойдемте наверх! — обратился Лев Николаевич ко всем.

Наверху Александра Львовна дала мне прочесть любопытное письмо какого-то господина, неразборчиво подписавшегося[34]. Лев Николаевич хотел ему ответить, но он не сообщил своего адреса, и нельзя было разобрать фамилию. Он пишет о том, что епископ Иннокентий подал в синод заявление о книге Льва Николаевича «Учение Христа для детей», в котором он говорит, что пора положить предел зловредной деятельности Льва Николаевича, и, желая подчеркнуть эту зловредность, приводит выдержки из книги Льва Николаевича, кото-

рые, как справедливо пишет автор письма, словно библейский Валаам, благословивший вместо проклятия, ярко обрисовывают все учение Льва Николаевича с самой светлой стороны. Епископ Иннокентий настаивает на принятии против Льва Николаевича решительных мер. Автор письма считает своим долгом предупредить Льва Николаевича и высказывает опасение, что его постараются изолировать от общения с людьми. В возможность этого я не верю.

Лев Николаевич прочел вслух письмо симбирского крестьянина Абрамова о науке и свой ответ — статью «О науке».

Струве возражал Льву Николаевичу, что разделение на две касты — образованных и необразованных — существует только у нас в России, а на Западе часто кондуктор материально в лучшем положении, чем приват-доцент.

Лев Николаевич сказал:

— Все-таки приват-доцент не пригласит к себе кондуктора, а скажет ему еще, пожалуй, «er» вместо «sie». И эту пропасть можно уничтожить только образованием.

По поводу медицины Струве сказал, что сохранение человеческой жизни может быть поставлено целью.

Лев Николаевич отрицал это:

— Я вижу, к чему вы клоните. Это все равно, что я всякий день получаю письма о том, что бы я делал, если бы на моих глазах злодей убивал ребенка,— и следовало ли бы мне не препятствовать ему? Но я живу восемьдесят один год и до сих пор ни разу не встречал такого злодея, а от того насилия, которое оправдывается этим случаем, на моих глазах гибнут миллионы людей. Так и с вашим возражением.

— Разумеется, «Не убий» — первый нравственный закон в отношении к людям; но если я сохранение человеческой жизни поставлю целью, то тогда я должен убить того, кто хочет бросить бомбу, чтобы спасти сотни людей, и т. д.; из этого можно вывести все софизмы, на которых основан современный насильственный строй. Я знаю только одно — что, что́ выйдет в будущем, мне знать не дано; а мое дело только в том, как я должен поступить сейчас, в настоящем, перед богом или своей совестью.

О технических изобретениях, астрономии и т. п. Лев Николаевич сказал:

— Технические усовершенствования развивались сообразно потребностям господствующих классов, а что выработалось бы, если бы человечество развивалось нормально, знать нельзя. Может быть, все это совсем и не пригодилось бы. А все эти астрономии и биологии — это как кафе-шантаны, борьба и т. д. — прихоть праздных классов.

Я заметил Льву Николаевичу, что это уж слишком строго, что если даже смотреть на эти науки как на игру, то ведь и потребность игры и развлечений лежит в природе человека.

— Разумеется, — сказал Лев Николаевич, — но я все-таки не могу допустить, чтобы неиспорченное и неразвращенное человечество пришло к тому же, к чему пришли наши богатые классы. Что это было бы — я не знаю, но уверен, что совершенно не то, что современные квазинаучные знания.

Потом мы играли в шахматы. Лев Николаевич жаловался, что устал, и действительно играл плохо — проиграл три партии.

За чаем Лев Николаевич говорил со Струве о «Вехах»[35].

По поводу статей Бердяева и Булгакова Лев Николаевич сказал, что никогда не мог понять православия таких людей, как Соловьев и ему подобные.

— Вот такое православие, как моей сестры, я вполне понимаю.

— Почему? — спросил Струве.

— Да потому, что здесь человек, имея высшую потребность в религиозном отношении к жизни, но не имея сил критически отнестись к существующим религиозным верованиям, просто берет их на веру, удовлетворяя своей религиозной потребности. А когда человек уже раз усомнился, а потом начинает строить всякие софизмы, чтобы все-таки оправдать церковную веру, из которой он вырос, — этого я не могу понять! Это, как Кант сказал, что, раз усвоив себе известные воззрения, человек делается потом софистом своих заблуждений.

Струве сказал, что упрека в православии заслуживают только двое из участников «Вех», а из остальных — двое, например, евреи, которые уж совсем неповинны ни в каком православии.

— Да, но я не вижу вообще никакой определенной религиозной основы. Справедливы ваши упреки интеллигенции в нерелигиозности и, я бы еще прибавил, — в ужасающей самоуверенности. Но я не вижу той религиозной основы, во имя которой все это говорится, а ведь это главное.

Струве просил позволения прислать кое-какие свои замечания на статью Льва Николаевича, когда она появится[36]. Лев Николаевич сказал, что всегда рад и получить их и лично от него услыхать.

Лев Николаевич рассказывал мне и Горбунову о полученном им новом письме Великанова, который уже давно постоянно присылает Льву Николаевичу ругательные письма.

Лев Николаевич сказал:

— Я хотел написать ему, чтобы он не писал больше и не вызывал в себе дурного чувства. Я увидал его руку, начал, хотел бросить, но потом прочитал. Он пишет со своими шпильками по поводу высылки Гусева, что я прячусь за спины своих друзей и что как у Столыпина есть Николай Второй, так у моих близких есть Лев Первый, и все в этом роде.

— У меня в молитве есть слова: «Радуйся, когда тебя бранят». Когда бываешь один, в хорошем духе — это удается. Я нынче был в прекрасном настроении. А когда бываешь плох, и тяжело становится.

13 августа. С. А. Стахович привезла биографию Тютчева[37].

Лев Николаевич просматривал ее и восхищался многими приведенными там стихотворениями. Как-то позже, но еще на балконе, он сказал ей:

— Мы так развращены и испорчены, что радуемся этому. Я мало знал Тютчева, но чувствую в нем громадные духовные силы и не могу не жалеть, что они ушли на такие пустяки. А он, очевидно, думал, что писание стихов — это дело необыкновенной важности.

С. А. Стахович спорила и защищала поэзию. Она говорила о Льве Николаевиче, что есть люди, которые любят его и которым он дорог за его художественные произведения, а для других он дорог другими сторонами, и нельзя оспаривать значительности того, что оказывает на людей такое действие.

Лев Николаевич возразил:

— Сравнивать духовную деятельность и деятельность в области искусства — это все равно, что взять какого-нибудь Франциска Ассизского или, еще лучше, Марию Александровну и сказать ей: «Ах, какие у вас чудные волосы», — или Франциску: «Какие у вас удивительные усы!»

С. А. Стахович возмутилась этим сравнением.

Лев Николаевич сказал ей:

— Паскаль бросил свои научные занятия и считал их пустяками; но когда Торичелли стал делать опыты с пустотой, он заинтересовался, открыл тяжесть воздуха и сделал полный переворот во всей физике. А между тем, он всегда удивлялся, что люди придают значение этим ничтожным его делам, а того, что важно и нужно, не хотят знать.

Лев Николаевич сказал еще о каком-то хорошем человеческом чувстве и прибавил:

— Во мне этого свойства нет, потому что я — не Паскаль...

Сейчас же после этих слов Лев Николаевич стал любоваться на то, как просвечивает вышедший из облаков месяц сквозь дикий виноград, которым оброс балкон, что было, действительно, замечательно красиво.

С. А. Стахович заметила ему, что после своих слов он не имеет права восхищаться этой картиной.

Когда я только приехал, Александра Львовна, Варвара Михайловна, П. Н. Ге и Душан Петрович были на конюшне и смотрели хромую «Вьюгу». Туда явился какой-то странный полуинтеллигентный человек и спросил, чье это имение. Когда ему сказали, он стал просить работы, и Душан Петрович послал его к управляющему. Мы все заподозрили, что это шпион.

Потом, когда мы уже сидели на балконе и играли со Львом Николаевичем в шахматы и было уже почти совсем темно, этот человек подошел к балкону и произнес не без пафоса целый монолог о том, что хотел бы получить работу, что управляющий не счел его годным и т. д. и что он не хочет подачки. Лев Николаевич подошел и сказал ему, что ежедневно письменно и лично к нему обращаются десятки людей и что нет никакой возможности удовлетворить все эти просьбы. Поэтому

он просит простить его, но что ему подадут, как всем прохожим, а больше ничего сделать не могут.

В ответ на слова Льва Николаевича прохожий снова начал свой монолог, с аффектацией заявляя, что, кажется, имеет счастье беседовать с...

— Да, — перебил его Лев Николаевич, — со Львом Николаевичем.

Он стал извиняться, а Лев Николаевич сказал, что если он действительно не хочет быть ему неприятен, то пусть лучше уйдет.

Прохожий ушел, а Софья Андреевна вдогонку ему послала 12 копеек с Ленькой [38], которому он сказал, что наутро найдут в саду его бездыханное тело. Софья Андреевна очень переполошилась и посылала его искать, но его и след простыл.

Лев Николаевич долго не мог успокоиться, говорил, как жалок этот человек и как он сам в то же время чувствует себя глубоко виноватым, сидя тут в удобстве, а тот, может быть, голодный.

Вспоминая неприятное впечатление от этого прохожего, Лев Николаевич позже вечером сказал:

— Когда начинается это красноречие, — это хуже всего.

Лев Николаевич сказал С. А. Стахович (тут же сидела сестра Льва Николаевича, Мария Николаевна):

— Верить надо так, чтобы твердо стоять на своей вере, а то если стоишь на ходулях и балансируешь — дело плохо. Надо рыть под собой, пока до твердой земли не докопаешься. Когда баба верит в матушку казанскую, то ее с этого не собьешь, и за этим стоит то же, во что верили Эпиктет, Марк Аврелий, Кант. Но если уже усомнился и в матушку казанскую не можешь верить, тогда нельзя лгать. Хуже этого быть ничего не может.

С. А. Стахович молчала, как воды в рот набрала, а Мария Николаевна постаралась замять разговор и предложила перейти наверх.

Перешли наверх. Я собирался играть. С. А. Стахович сказала, что мне следовало бы отказаться, так как после того, что Лев Николаевич говорил об искусстве, не стоит играть.

Лев Николаевич прочитал вслух из «Круга чтения» несколько страниц из своей статьи о Паскале [39].

Потом я играл «Davidsbündler» Шумана и g-moll'ную балладу Шопена.

14 августа. Когда я приехал, сидели еще за обеденным столом в саду, и Лев Николаевич читал вслух книжку Щеглова о Гоголе[40]. Кончили первую главу и перешли на балкон. Стали говорить о Гоголе. Лев Николаевич говорил о том зле, которое с легкой руки Белинского произвели Михайловские, Писаревы и т. д.

Потом немного погодя он вдруг сказал:

— Да, сложны пути господни! Вы не знаете, к чему я это сказал? Да и нельзя узнать. У меня сложная филиация мысли: я вспомнил статью, которую читал в «Русских ведомостях» о самоубийствах малолетних[41]. У нас в России их больше, чем где-нибудь во всем свете. И знаете — главная причина — эти Михайловские и тому подобные писатели. И это не парадокс, а для меня так же несомненно, как то, что если я сейчас толкнул этот стул, то он упадет. Когда у людей нет не только никакой религиозной основы, а им еще внушается, что вся религия — это ненужный вздор, то ничего другого и не может получиться.

Потом читали дальше. Сначала Лев Николаевич, а потом С. А. Стахович.

Книга малозначительная — много болтовни и мало о Гоголе. Кое-что, однако, интересно. Очень интересно, например, многое об отце Матвее[42].

Льву Николаевичу очень не понравилось письмо Гоголя в Оптин монастырь с просьбой, чтобы об нем молились.

— Очень нехорошее письмо, — сказал Лев Николаевич. — Жалкое какое-то самоунижение и в то же время — преувеличенное значение своих писаний. Fais ce que dois *... а думать заранее, что это что-то важное, никак нельзя. Может быть, это ни на что не нужно и ничего не выйдет из этого.

Письмо о том, сколько и как Гоголь переделывал свои вещи, Льву Николаевичу очень понравилось[43].

Сцена знакомства с отцом Матвеем, когда тот назвал Гоголя «свиньей», — ужасна. Зато письма Матвея (не к Гоголю, — тех не сохранилось) Льву Николаевичу понравились.

---

* Делай, что должно (*франц.*).

Он сказал:

— В них хороший тон: это настоящая мужицкая грубость, но простые хорошие чувства.

Пошли наверх. Играли в шахматы. За чаем было довольно весело: шутили и смеялись. Лев Николаевич вспоминал какого-то священника, Ивана Петровича кажется.

— Помнишь, Машенька? Он был простой такой, никаких вопросов для него не существовало: он делал свое дело как ремесло, как какой-нибудь шорник; выпивал — я пьяненьких люблю — и был премилый человек. Среди священников я много знал очень милых людей.

Лев Николаевич очень трогательно заботился по поводу сборов Марии Николаевны на другое утро к обедне, чтобы не забыли предупредить кучера, чтобы ее разбудили. Потом попросил притащить какой-то складной стул, который ему подарила Татьяна Львовна, предлагая Марии Николаевне взять его с собой в церковь. Когда стул принесли, Лев Николаевич расставил его и, чтобы демонстрировать его удобство, заставил меня сесть. Я сел, но стул подо мной провалился, и я при всеобщем хохоте полетел на пол.

15 августа. Мы были в Ясной все четверо (мой брат с женой, я и моя жена). За обедом говорили о французской поэзии.

Лев Николаевич спросил:

— Какой мой любимый французский поэт?

Никто не знал, несмотря на то, что он сказал, что фамилия его начинается на букву «Б».

Лев Николаевич сказал:

— Беранже.

Когда мы приехали, Лев Николаевич разговаривал с двумя тульскими рабочими, которые пришли поговорить с ним. Лев Николаевич рассказывал о них тут же и потом позже вечером за чаем:

— Это тульские рабочие. Один из них отчаянный социалист. Он читал мои книги, но откровенно сознался, что бросил, не мог дочитать ни одной до конца, так ему казалось все это ни к чему не нужным. Он верит в какой-то непреложный закон, по которому неизменно совершается человеческая жизнь, и в то же время говорит, что нужно с чем-то бороться, и не хочет заметить противоречия этих двух утверждений. Мне он возражал:

«Зачем я буду любить людей? Я вовсе не люблю их. Все они так дурны, что я скорее ненавижу их!» Я спросил его: «Отчего же вы только один такой хороший, что видите, какие все дурные?»

Потом Лев Николаевич сказал еще:

— Как важно все то, что совершается сейчас у нас в народе. Пробуждается сознание. Я думаю, что если бы, не дай бог, революция удалась, было бы гораздо хуже. Я, разумеется, говорю это не из сочувствия правительству. Но неудача заставляет людей думать, и они думают и сомневаются в том, что раньше брали готовое на веру.

Говорили о школьном образовании. Брат мой рассказывал о нелепостях программ средних учебных заведений.

По поводу классического образования Лев Николаевич между прочим сказал:

— На Западе оно было естественно, потому что там многие ученые, богословы, философы писали на латинском языке, и знание его потому было нужно; а у нас общее классическое образование совершенно нелепо. Мы гораздо ближе к Востоку, и скорее следовало бы изучать языки индусский, китайский, даже персидский, и их удивительную философскую литературу.

Я спросил Льва Николаевича, читал ли он Блаватскую [44].

— Да, читал.

Я сказал Льву Николаевичу, что хотя и не читал Блаватской, но отношусь к ее писаниям с предубеждением.

— Нет, там много хорошего, — возразил Лев Николаевич. — Нравственная сторона их учения очень высока. Но когда они начинают говорить о загробной жизни и переселении душ, то это чепуха невообразимая.

16 августа. Я приехал довольно поздно с Л. Д. Николаевой.

У Льва Николаевича были какие-то два молодые человека из Тулы, которых он потом очень хвалил:

— Какие милые молодые люди! Они брали у меня книги и теперь принесли назад. Мы говорили с ними о самых важных вопросах.

Мы играли в шахматы, и я играл на фортепиано. Лев Николаевич опять говорил о загадочности музыки:

— Удивительно! Что такое музыка? Почему одни звуковые сочетания радуют, волнуют, захватывают, а к другим относишься совершенно равнодушно? В других искусствах это понятнее. В живописи, в литературе всегда примешан элемент рассудочности, а тут ничего нет — сочетание звуков, а какая сила! Я думаю, что музыка — это наиболее яркое практическое доказательство духовности нашего существа.

18 августа. Была девочка-пианистка Энери [45]. Мы с женой приехали к концу обеда. Скоро все пошли наверх. Энери много играла. Лев Николаевич был очень ласков с ней. Он необыкновенно умеет говорить с детьми. Всегда с полной серьезностью, но понятно и, главное, просто.

Игра Энери поразила Льва Николаевича. Действительно — ребенок необыкновенный. Направление ее фортепианного развития мне мало симпатично: слишком много бьет на внешний эффект, а настоящей основы мало. Но талант и физические данные изумительны.

Сочинения ее ценности, разумеется, не представляют, но для одиннадцатилетней девочки — замечательны (лучше других «Les larmes» *).

Лев Николаевич дал ей свой портрет и надписал: «Милой Ире — Лев Толстой».

Девочка читала «Детство», и Лев Николаевич, который обыкновенно не любит говорить о своих художественных произведениях, и тем более о том, кого он в них изобразил, на этот раз охотно отвечал ей и рассказал, кто были Любочка (бывшая тут Мария Николаевна), Катенька (Юзенька Копервейн **, описанная

---

* «Слезы» *(франц.)*.

** В связи с Юзенькой Копервейн Лев Николаевич рассказал мне однажды такой случай: когда после смерти отца Толстые жили в Москве, они отправились как-то с гувернером гулять; с ними была и Юзенька, тогда еще девочка. Гуляя, они зашли в Асташевский сад, как оказалось, для посторонних закрытый. Это был сад между Б. Бронной и Тверским бульваром. Владение это принадлежало некоему помещику Асташеву, который устроил сад со всякими затеями — цветниками, прудочками, беседками и проч. Войдя туда, они наткнулись на владельца, который, увидав хорошенькую девочку-подростка, был очень любезен, охотно все им показал и звал приходить опять... В другой раз они гуляли уже без Юзеньки, и когда решились зайти опять туда, помня приглашение хозяина, то были встречены настолько нелюбезно, что поторопились уйти и больше уже туда не ходили.

также в «Хаджи-Мурате»[46]), Володя (брат Сергей Николаевич), mr. Jerome (гувернер Льва Николаевича и его братьев — St. Thomas), Карл Иванович (Федор Иванович Рессель), Ивины (Мусины-Пушкины).

Я не был накануне, и Лев Николаевич (он последнее время все проигрывал мне в шахматы черными гамбит Альгайера) сказал мне:

— Представьте, я до того осрамился, что вчера — вы не приехали, — а я расставил шахматы и смотрел, как защищаться, и, кажется, нашел.

Я сыграл с М. С. Сухотиным две партии и обе выиграл (тот же дебют), а потом одну со Львом Николаевичем, и выиграл он. Ему, кажется, было приятно и то и другое.

20 августа. Днем Лев Николаевич был у нас в Телятинках верхом. С ним приезжали Александра Львовна и М. С. Сухотин. Лев Николаевич сидел на балконе, пил чай. Был очень ласков. Приходил Николаев. Лев Николаевич звал мою жену приехать вечером, и мы поехали оба.

В Ясной был Михаил Петрович Боткин[47] с двумя дочерьми.

Лев Николаевич вспоминал с Боткиным его брата, известного Василия Петровича Боткина.

Лев Николаевич сказал:

— Он был совсем особенный, — таких уже нет. Человек он был крутой, а вместе с тем мягкости необыкновенной. Меня тогда с этой стороны не интересовали люди, — он был человек совершенно арелигиозный. Тогда весь этот кружок был такого пошиба. Тургенев был такой же. У него с Тургеневым были какие-то столкновения.

Михаил Петрович сказал, что они впоследствии помирились.

Мария Николаевна (сестра Льва Николаевича) вспомнила, как она была у В. П. Боткина в Риме, незадолго до его смерти. Он лежал совсем больной — уже почти

Вместе с этим Лев Николаевич вспомнил еще, как однажды на рождестве их пригласили на елку к родственникам, князьям Горчаковым. На елке для детей были подарки; однако маленький Лев Николаевич с удивлением увидел, что для Горчаковых и богатых гостей подарки были одни, а для них, бедных родственников, совершенно другие.

не вставал. Ему прислали из России зернистой икры (он был большой гурман), и он жаловался, что и икра не доставляет ему удовольствия.

Михаил Петрович сказал, что он и к искусству относился с приемами гастронома, и вспомнил, как он читал ему вслух «Войну и мир» и как тот смаковал и все говорил: «Нет, ты постой, дай подумать! Как это хорошо!» — наслаждался и даже языком прищелкивал.

Лев Николаевич сказал:

— Да, это очень на него похоже.

Потом наверху мы опять две партии сыграли (гамбит Альгайера). Пришел Николаев. Лев Николаевич пошел с ним в кабинет, а я с М. С. Сухотиным сыграл еще одну партию, по окончании которой тоже пошел ко Льву Николаевичу. Он говорил с Николаевым о Джордже.

Накануне бывший у Льва Николаевича октябристский депутат Думы князь Тенишев[48] рассказывал ему, что на 250 миллионов десятин земли в России приходится больше трех миллиардов бюджета, то есть больше десяти рублей на десятину.

Цифры эти показались Льву Николаевичу удивительными, но потом оказалось, что Тенишев сделал «маленькую» подтасовку: цифру бюджета он сказал для всей России, а счет десятин — только для европейской; а между тем, если сюда включить и азиатскую, то от этих десяти рублей останется чуть ли не десятая доля.

Лев Николаевич ждет к себе Василия Маклакова и хочет посоветовать ему собрать тридцать подписей и внести в Думу проект о введении единого налога на землю.

Лев Николаевич сказал мне:

— Я вам уже тысячу раз говорил это, но для меня с каждым днем делается все более несомненно, что как во времена моей молодости стояло разрешение вопроса о крепостном праве, так теперь стоит земельный вопрос.

Я сказал Льву Николаевичу, что в Думе теперь едва ли поднимут этот вопрос, так как это равносильно тому, чтобы быть Думе или нет.

Первая дума только подняла вопрос о частичной экспроприации земли, и ее сейчас же распустили. Романовы и их приближенные являются у нас главными земельными собственниками; они никогда не допустят такого разрешения земельного вопроса.

Лев Николаевич возразил:

— Для меня такие соображения не существуют, так как я не думаю о практических последствиях того, что я говорю; а что из этого выйдет, я не знаю и не могу знать.

Я сказал Льву Николаевичу, что говорю не о нем, а о Маклакове и других депутатах.

Лев Николаевич прибавил:

— Кажется, трудно найти человека, который относился бы более отрицательно ко всякому правительству, чем я, но, странно сказать, я думаю, что сейчас у нас только правительство могло бы провести эту реформу. Я вчера говорил Тенишеву об этом, а он говорит мне: «Да как же, этого нигде в Европе нет?» Они боятся дать пример, сделать что-нибудь свое, новое.

Николаев возразил, что, по его мнению, если когда-нибудь осуществится земельная реформа, то сделают это нищие, слабые и молодые, а никак не правительство.

Лев Николаевич сказал ему:

— Ну, если бы какой-нибудь, как тогда Александр Второй, захотел провести, — он мог бы.

— Его бы убили, — сказал Николаев.

— Во всяком случае, я должен и постараюсь, как умею, сказать, что думаю, — прибавил Лев Николаевич.

— И никто не сумеет пустить так эти идеи в народ, как вы, — сказал Николаев.

Позже вечером я играл на фортепиано. Лев Николаевич сказал мне, что большей простоты он не мог бы желать и что следа не осталось от той искусственности, о которой он мне говорил раньше.

21 августа. Я приехал в Ясную поздно — была гроза — и сидел недолго. Никого не было. Было уныло. Лев Николаевич сидел у себя в кабинете. Я не зашел, боялся помешать.

Потом он спросил:

— Что же вы не вошли?

Я объяснил.

— Нет, я пустяками занимался — пасьянс делал, читал своих «китайцев» (английская книжка о китайской философии [49]).

Мы поиграли в шахматы. Софья Андреевна была не

совсем здорова и очень не в духе. Завтра ее рождение. Она раньше звала нас с женой.

Лев Николаевич спросил меня:

— Вы знаете, какое у нас завтра торжество?

Я ответил, что знаю.

Софья Андреевна стала говорить, что никакого торжества не будет и радости никакой нет, что годом старше стала.

Потом позже кто-то сказал, что завтра гости будут. Софья Андреевна опять стала говорить, что никого не будет. Было неприятно.

Когда я уезжал, Лев Николаевич сказал мне:

— Разумеется, до завтра.

Он боялся, что я приму на свой счет. Ну, да я Софью Андреевну давно знаю.

По поводу бывшего накануне Боткина Лев Николаевич сказал:

— Всякий дурной поступок — поджог из мести, убийство — я скорее понимаю, чем этот — ударить старика!

Речь шла о нашумевшей в Петербурге истории: по поводу каких-то недоразумений с открытием художественной выставки, заведующим которой был Боткин. Молодой человек, барон Врангель, желавший во что бы то ни стало открытия этой выставки, дал пощечину Боткину, бывшему против открытия. Боткин не захотел возбудить против него уголовного преследования и сказал, что это дело его (Врангеля) совести. Лев Николаевич, услыхав об этой истории и о поступке Боткина, написал ему сочувственное письмо, и Боткин приезжал в Ясную, как бы благодарить за это письмо [50].

22 августа. Мы с женой все-таки поехали вечером в Ясную, и Л. Д. Николаева с нами. Там были: Андрей Львович с женой, Мария Александровна и Митя Кузминский.

Когда мы приехали, все сидели в столовой у круглого стола.

Лев Николаевич сказал мне:

— Я занимаюсь Лао-цзы. Иван Иванович печатает и прислал мне корректуры [51]. Ну, давайте играть.

Я поставил столик, и мы сыграли три партии (две — гамбит Альгайера — я выиграл черными, белыми — ничья).

За шахматами Лев Николаевич был вял и как будто не в духе.

Я чувствовал, что присутствие Андрея Львовича и его жены ему тяжело.

Лев Николаевич, со свойственной ему чуткостью, как-то сквозь шахматы почувствовал, о чем я думаю, и сказал:

— Вы не думайте, что я не в духе, я просто слаб.

Днем к нам в Телятинки явилось странное шествие: повозка, которую на своих плечах везли молодые мужчина и женщина (беременная), а в повозке двое детей. Это оказался Гусаров с женой и детьми, таким способом переселяющийся в Бессарабию из Москвы. Моя жена и Л. Д. Николаева рассказали Льву Николаевичу об этом.

За чаем по этому поводу и по поводу плана Николаевых на их дальнейшую жизнь Лев Николаевич сказал Николаевой:

— Я не сочувствую этому (путешествию Гусаровых). Тогда уж не нужно иметь детей. И вам не советую путешествовать. (У Николаевых два проекта: кочевать по друзьям или строиться в Ясной.) Оставайтесь здесь. Сегодня у меня была княжна Енгалычева. Она бросила место учительницы, чтобы не служить правительству. Никогда не следует резко изменять внешнюю форму своей жизни. Такие люди большей частью только компрометируют идею, во имя которой так поступают. Никто не может вполне осуществить идеал, но нет таких условий, в которых нельзя было бы совершенствоваться. Разве я, или Александр Борисович, или вы живем как нужно? Даже Мария Александровна, — у нее чистая изба, корова, а другому есть нечего, голодная семья, грязь... Правда, что мне восемьдесят лет, а Гусарову тридцать. Внутренняя работа над собой всегда во всех условиях возможна. Но для этого не нужно *никуда* уходить и даже *ничего* резко менять. А то потом обыкновенно наступает разочарование, и человек махнет рукой, решит, что это все не то, и станет жить хуже, чем прежде. И я сколько примеров знаю.

За шахматами Лев Николаевич сказал мне:

— Саша получила очень хорошее письмо от матери Гусева, которая пишет, что сын ее уже на месте. Верно, телеграмму получила. Она нисколько не сер-

дится, а, напротив, благодарит. Видно, она очень хорошая женщина.

Гусева сослали в село Карепино, Тулпанской волости, Чердынского уезда, Пермской губернии.

Потом уже за чаем Лев Николаевич по поводу Гусева сказал:

— Мне кажется, что это еще все изменится. Главное, что нет для его ссылки никакого повода.

Я рассказал Льву Николаевичу о заявлении «Союза русского народа», о Черткове и Гусеве и о том, что эти господа даже цитируют революционные прокламации, которые якобы составлял Гусев, живя в Ясной[52].

Лев Николаевич сказал:

— Противно обращаться к этим людям, а то я почти уверен, что если бы я написал хотя бы тому же Столыпину, то можно было бы его вернуть. Но к ним просто невозможно обращаться.

— С. А. Стахович советует сказать Маклакову, чтобы они сделали об этом в Думе запрос. Я не буду говорить этого. Если они сами это сделают — еще другое дело; это естественно: указать в Думе на то, что делается, — а мне противно. Вот о Джордже я скажу.

— Неизвестно еще, как сам Маклаков относится к идее Джорджа, — заметил я.

Лев Николаевич сказал:

— Вот хорошая школа для неосуждения — теперешнее наше правительство! Так трудно удержаться, чтобы не негодовать на них!

Заговорили об отказавшемся от воинской повинности Засосове[53], которого теперь арестовали, и о тех наказаниях, которым такие люди подвергаются. Засосова судили раньше за заявление, которое он послал в воинское присутствие. Он мотивировал в нем свой отказ и, между прочим, назвал русское правительство и русскую армию «шайкой грабителей и убийц». Суд присудил его за это на три недели в крепость, или тюрьму.

Лев Николаевич удивлялся мягкости этого приговора и, смеясь, сказал:

— За такое легкое наказание можно доставить себе это удовольствие!

Лев Николаевич рассказал, что получил нынче письмо от немца[54], лакея из Берлина или Вены (не помню):

— Он отказался от воинской повинности, отбыл наказание и теперь служит лакеем. Он хорошо пишет — очевидно, развитой малый — и рассказывает, как дурно с ним обращались, когда он отбывал наказание. Когда он попросил вместо деревянной ложки металлическую, его за это отправили в карцер. Раз он при обходе попросил чиновника, чтобы ему дали отдельную умывальную чашку, так как в общей умывальной страшно грязно. Чиновник промолчал, а потом его опять посадили на несколько дней в карцер на хлеб и воду.

Не помню, по какому поводу Лев Николаевич сказал опять о «Яме» Куприна:

— Это мерзость! Он выдает себя с головой. Ведь нужно жить там, чтобы узнать все это!

Николаева пыталась защищать.

— Да нет, я знаю, что он как будто обличает. Но сам-то он, описывая это, наслаждается. И этого от человека с художественным чувством нельзя скрыть. Кто действительно испытывает отвращение, тому достаточно одного намека, чтобы заставить вас испытать это отвращение вместе с ним. А он сидит в этом и наслаждается. Нельзя твердить не переставая, что убивать дурно, — этим ничего не сделаешь. Мы все знаем, что когда человека рвет — противно. А когда человек воняет — зачем же копаться в этом?

— Другие вещи его мне нравились: «Allez!», «Поединок»[55]. У него, несомненно, есть талант. Но «Яма» — просто ужасна! Я не мог всего дочитать, просматривал. Ну, там под конец он пристегнул этот эпизод, но все это так слабо, незначительно.

— Вот ты, Саша (обратился Лев Николаевич к Александре Львовне), хвалила мне рассказ «Кадеты»[56] — тоже нехорошо, скучно.

— Я, папá, в вагоне читала. Мне понравилось.

— Ну, в вагоне, может быть, — сказал Лев Николаевич, смеясь.

На днях, когда я приехал, Лев Николаевич сидел с М. С. Сухотиным в столовой.

Он встретил меня вопросом:

— Александр Борисович, *что* должно быть величаво?

Я ничего не понял. Оказывается, они никак не могли вспомнить из стихов Пушкина на «19 октября 1825 года»—

Служенье муз не терпит суеты:
Прекрасное должно быть величаво[57] —

слово «прекрасное». Я помнил и сказал им.

Нынче Лев Николаевич сказал мне:

— Вот вы намедни вспомнили «прекрасное», может быть вы помните, — мы вспоминали Федора Толстого — «Американца»[58], как это у Грибоедова сказано про него?

Лев Николаевич прочел стихи, но не помнил первых двух строк:

Но голова у нас, какой в России нету, —
Не надо называть, узнаешь по портрету.

Лев Николаевич начал сразу дальше:

Ночной разбойник, дуэлист,
В Камчатку сослан был, вернулся алеутом
И крепко на руку нечист.
Да умный человек не может быть не плутом!

— Вы не помните начала?

Я тоже забыл.

— И что замечательно, — продолжал Лев Николаевич, — он встретил Грибоедова и говорит: «Что ж это ты, брат, про меня написал?! Подумают еще, что я взятки брал, а ты про карты!» Вот какие нравы были! А он был либерал, дружен с декабристами. У него был брат Петр Иванович, и сын этого брата Валериан Петрович, был муж Машеньки. Я его («Американца») хорошо помню.

23 августа. Вечером я уезжаю в Москву и поэтому отправился в Ясную днем, чтобы поехать, как мы условились накануне со Львом Николаевичем, верхом. Мы выехали садом. Лев Николаевич поехал через поле и «черту» и через овраги и кусты к шоссе.

Лев Николаевич сказал мне:

— Вы не обижайтесь, что я по такой плохой дороге еду: я все выбираю, как сократить путь.

Лев Николаевич рассказал мне, что получил от Гусева письмо.

Мы выехали на шоссе.

Лев Николаевич снова заговорил о Гусарове:



Л. Н. Толстой по дороге в деревню Ясная Поляна

— Я, признаюсь, вчера осуждал его и думал, что, прежде чем производить такие опыты над своей семьей, нужно было бы бороться с собой, стремиться к целомудрию и не иметь детей. А потом подумал, что это совершенно несправедливо, что каждый стремится к совершенству с своей стороны, и человек может достигнуть в одной области очень многого, а в другой, наоборот, гораздо меньшего.

Лев Николаевич говорил о Германе и о том, что они у себя в колонии ходят голыми[59]; удивлялся на это, но допускал в них полную чистоту.

Лев Николаевич опять заговорил о «Яме» Куприна. Он находит совершенно фальшивой сцену в начале, когда группа молодежи, возбужденная вечером, проведенным в обществе молодых девушек, под влиянием этого возбуждения отправилась в публичный дом.

Лев Николаевич сказал:

— Я был в молодости чувственным, но я отлично помню, что время, проведенное в обществе чистых молодых девушек и женщин, всегда благотворно действовало в нравственном отношении, а никак не разжигало чувственность. Это психологическая ложь.

Когда мы проезжали мимо той дачи на шоссе, где когда-то жили, Лев Николаевич с трудом это вспомнил.

Потом заговорили о месте, где жили Чертковы в Засеке, и от этого перешли на их колонию в Телятинках. Лев Николаевич считает всю эту затею ошибкой.

Проехав дачи, мы повернули налево в Засеку.

В лесу Лев Николаевич, указав мне на прелесть окружающего нас леса, сказал:

— Какая радость это у нас!

Мы помолчали, потом он сказал:

— Я сегодня утром встал рано и так хорошо гулял: роса, месяц облачком... Вижу, две девочки идут босиком; и в первый раз я это видел: они идут и за руки держатся.

Я спросил их:

«По грибы?» — «Нет, за орехами». — «А что ж без мешка?» — «Ну, мешок! Мы в подолы».

— Эти счастливы. А барышни, которые до десяти часов спят и хорошо одеты, этого счастья не знают.

Немного погодя я спросил Льва Николаевича:

— Вы не думали за последнее время писать что-нибудь художественное?

— Нет, очень думал. И, кажется, мог бы осветить многое с новой стороны. Не с точки зрения нравоучения, а мне как-то за последнее время особенно уяснились большие линии характеров, не то что Плюшкин и Собакевич — это более внешние мелкие подразделения, — а мне как-то уяснились целые категории характеров. Как в шахматы всякая фигура имеет свои, только ей свойственные, способы ходов, так мне уяснились таких восемь или десять разнообразных человеческих характеров.

Я сказал Льву Николаевичу, что художественные образы — могущественное средство и что многие остаются совершенно глухи к мыслям и чувствам, выраженным в отвлеченной форме, но на них эти же мысли и чувства могут произвести сильное впечатление в виде художественных образов.

Лев Николаевич сказал:

— Да, но только я боюсь, что у меня нет необходимой памяти для этого.

— Ну, не будем говорить, — прибавил он потом.

Во время верховых прогулок я старался обычно немного отстать, чтобы не мешать Льву Николаевичу ехать молча — отдыхать или думать. Иногда он доставал записную книжку и записывал, кладя книжку на холку лошади; так это было и на этот раз. Иногда Лев Николаевич придерживал свою лошадь, предлагал мне догнать его и вступал в беседу.

Мы долго ехали молча. Доехали до станции Рвы, около которой встретили довольно большую компанию гулявших интеллигентов, приветствовавших Льва Николаевича.

Когда мы от Рвов ехали Засекой, заговорили об условности понятий пространства и времени.

Я сказал:

— Та красота, которой я наслаждаюсь, глядя на природу, существует только во мне, и я совершенно не могу знать, какие ощущения при этом испытывает другое существо.

— Я сегодня ночью записал, — сказал Лев Николаевич, — когда мы воспринимаем материальный мир и вообще пространственные и временные формы, воспринимаем ли мы нечто большое или маленькое: маленький

лист или солнце, — мы все-таки воспринимаем ноль, умноженный на плюс, или минус бесконечность, то есть ничто. Я почувствовал, не подумал, а именно почувствовал, что этот Лев Николаевич, которым я так дорожу, — ничтожество, и такое же ничтожество, как нога какой-нибудь козявки. И это радостно[60].

Когда мы ехали дальше, Лев Николаевич вынул свою записную книжку и на ходу в ней что-то записывал. Потом на дороге попалось большое упавшее дерево. Лев Николаевич не стал объезжать его, а на Делире перемахнул через него.

Лошадь Льва Николаевича «Делир» — уже немолодой мерин — была довольно породистая, нервная, с превосходным крупным шагом. Лев Николаевич был отличный ездок и небольшие препятствия — рвы, канавы, поваленные деревья и прочее — обычно не объезжал, а брал как барьер, что доставляло ему видимое удовольствие.

Он заговорил о стражниках и об озлоблении, которое они вызывают в народе, и удивился сравнительной миролюбивости народа.

Лев Николаевич сказал:

— Теперь сухое время, везде лежит хлеб. Ничего не стоит поджечь. А между тем, никто не поджигает.

Когда мы проезжали мимо сторожки по дороге от Засеки к купальне, Лев Николаевич сказал:

— Ах, сейчас будет лаять собака! На меня это ужасно действует. Вы знаете, после работы я чувствую положительно физическое утомление мозга. Я нынче вышел к завтраку, тут Мария Николаевна с Софьей Андреевной говорили о своем, попугай трещал свое, да еще собаки залаяли, — совершенно невыносимо!

Лев Николаевич вспомнил про китайского мудреца и о распоряжении, которое он оставил друзьям на случай своей смерти, но не мог припомнить буквально.

Дома Лев Николаевич простился со мной на площадке наверху лестницы и сказал:

— Вернитесь поскорей, такой же здоровый, как теперь, — и уже в дверях добавил: — и такой же хороший, как всегда.

Потом, минут через пять, когда я сидел с Александрой Львовной и Варварой Михайловной (я думал, что он уже лег отдохнуть), он вышел с английской книжкой в руках и сказал:

— Я нашел это (завещание китайского мудреца).

Лев Николаевич прочел вслух прямо по-русски. Я не записал этого изречения; насколько мне помнится, это было приблизительно так:

«Когда мудрецу сказали, что тело умершего лучше оставлять на земле, чтоб над ним был свод небесный, солнце, луна и драгоценные камни звезд, и что лучше, чтобы он сделался добычей воронов и орлов, чем чтобы в земле его ели черви, он сказал: «Это все равно: и червей не надо лишать пищи».

27 августа. Я уехал 23-го ночью, а 24-го днем Лев Николаевич заезжал проведать мою жену. Он вошел через коридор в столовую, когда у нас обедали, и побыл несколько минут.

Нынче я приехал из Москвы и в Ясную попал поздно. Сидели на балконе. Было уныло.

Поиграли в шахматы; потом наверху ничего особенного не было, и я рано уехал домой.

28 августа (день рождения Льва Николаевича). Я, жена и брат приехали к обеду. Обедали в саду. Там были: Мария Николаевна, Татьяна Львовна, Андрей Львович с женой и с ними фотограф Протасевич из Калуги. Среди обеда приехали: Сергей Львович, Митя Кузминский, В. А. Маклаков, А. В. Цингер, М. А. Шмидт, И. И. Горбунов, С. Т. Семенов, и позже пришла Л. Д. Николаева.

Лев Николаевич был очень бодрый. За обедом особенно интересных разговоров не было, только почему-то заговорили об искусстве исполнителя, и Лев Николаевич сказал:

— В драматическом искусстве хорошая игра может произвести сильное впечатление и заставить забыть недостатки пьесы, а в музыке, как хорошо ни играй плохую вещь, никакого впечатления не произведешь. Не правда ли, Александр Борисович? — обратился он ко мне.

— Я, Лев Николаевич, сказал бы так: нет такого хорошего исполнителя, который мог бы заставить совершенно забыть недостатки пьесы, но и нет такой даже самой лучшей пьесы, которую не мог бы вконец испортить плохой исполнитель.

— Да, это совершенно верно, — сказал Лев Николаевич.

После обеда (обедали в саду) было уже почти совсем темно. Лев Николаевич со мною ходил по дорожке между домом и флигелем. Я спросил его, говорил ли он с Маклаковым о Джордже.

— Да, — сказал Лев Николаевич. — Он мало знает Джорджа. Я дал ему все книжки, но я вижу, что ничего из этого не будет. Если бы даже он и убедился, он ничего не может сделать, если партия на это не согласна. Эта их партийная дисциплина — это что-то ужасное! Ну да я сделал, что считал должным, а что из этого выйдет, об этом думать не нужно.

— А о Гусеве вы говорили?

— Я сказал ему, что думает Стахович[61], но сказал, что мне скорее это было бы неприятно. Он, кажется, не очень склонен поднять этот вопрос в Думе, и я думаю, что так будет лучше.

Наверху Лев Николаевич сыграл со мной две партии в шахматы. Потом я сыграл партию с Сергеем Львовичем, а Лев Николаевич в это время беседовал у себя в кабинете с Цингером о математике. К сожалению, я пришел уже к концу разговора. Когда я вошел, Лев Николаевич, разговаривая с Цингером, показал мне письмо и, обращаясь ко мне, тихо сказал:

— Вот неприятное письмо. Я нынче получил вырезки из петербургской немецкой газеты и еще какой-то и письмо. Это по поводу заявления Софьи Андреевны — вы знаете? — относительно книг. Надо отвечать. Это так тяжело[62].

Цингер рассказывал без меня о высшей геометрии, а при мне говорил о воображаемой геометрии с ее четырьмя, пятью и т. д. измерениями. Лев Николаевич расспрашивал его о значении Лобачевского. Цингер сказал, что Лобачевский один из главных творцов этой науки и что имя его пользуется теперь всемирной известностью. Существует даже международная премия его имени.

Лев Николаевич сказал, что помнит Лобачевского, который был ректором Казанского университета, когда он был там студентом.

Потом Лев Николаевич, Цингер и я смотрели на балконе звезды. Говорили о возможных обитателях Марса, который необыкновенно ярок в это лето.

Лев Николаевич сказал:

— В конце концов, факт восхода солнца реальнее, чем вращение земли. Это вовсе не парадокс, потому что если мы примем во внимание вращение солнца вместе со всей системой вокруг какой-то звезды, и той в свою очередь, и так до бесконечности, то получим — «а», деленное на бесконечность, то есть ноль. Так что эта гипотеза тоже совершенно условна, а минус ее, по сравнению с хождением солнца вокруг земли, тот, что она не имеет кажущейся очевидности первой.

Цингер сказал, что все-таки Коперник, когда он первый утверждал, что земля вертится, был велик.

— Огромная заслуга была уже в том, — сказал Лев Николаевич, — что этим нарушается непреложный авторитет библии. И Галилей, когда он сказал: «E pur si muove!» * — шел против векового авторитета церкви, и в этом его великая заслуга.

Потом я играл (между прочим скерцо cis-moll и полонез es-moll Шопена). Играл, кажется, очень удачно, но на этот раз ни на кого никакого впечатления не произвел.

Позже, уже перед самым отъездом, Кузминский затеял очень наивно со Львом Николаевичем спор о праве, защищая уголовное право и ссылаясь на авторитет профессора Сергеевского, мысли которого передавал крайне неясно.

Все подсели.

Лев Николаевич сказал Кузминскому:

— Вам профессор читает эту чепуху, гипнотизирует вас, и вы, желторотые, уши развесили и верите ему.

— Ваша наука о праве — это то же богословие.

— Да у нас много всяких теорий, — возразил Кузминский.

— И богословие тоже у католиков одно, у православных другое, у каких-нибудь молокан — третье. И всякий говорит, что он один знает истину.

Маклаков заметил, и Лев Николаевич совершенно с ним согласился, что ничего вообще не может быть нелепее науки о праве.

Маклаков сказал:

— Люди сами насочиняли законы, а потом изучают их и говорят о какой-то науке. Когда изучают законы

---

* А все-таки она вертится! *(лат.)*

природы — дело другое, а тут ни о какой науке и речи быть не может. Единственное, что еще может быть, — это изучение истории развития права.

29 августа. Я приехал во время обеда. Были Сергей Львович и Буланже с дочерью (в первый раз по возвращении из-за границы). Позже пришел Николаев.

Буланже сказал Льву Николаевичу по поводу книжки изречений Магомета, которую печатает «Посредник» с предисловием Гусева [63], что напрасно Гусев говорит об отрицательных сторонах последних лет жизни Магомета. Это не биография Магомета, а книга, которая должна привлечь читателя к нему. А между тем, такое предисловие может оттолкнуть многих, не говоря уже о том, что оно вызовет недобрые чувства у магометан. Лев Николаевич согласился с этим и просил И. И. Горбунова сделать изменения в этом предисловии.

Лев Николаевич, рассказывая про свои разговоры с Маклаковым, сказал:

— Я понимаю, что он не может поднять этого вопроса (о Джордже): он связан с партией. Он умный, способный, легко все схватывает; но эта деятельность развивает честолюбие. Он мне говорил про Челышева [64], того, что все о пьянстве в Думе говорит. Маклаков думает, что Челышев скорее других мог бы возбудить этот вопрос в Думе. Действительно, современный образованный человек, если он хочет заняться каким-нибудь вопросом добросовестно, должен прочитать целую гору. А такой, как Челышев, наивный, он рубит сплеча и скорее может взяться за это дело.

— Но все-таки правительство чувствует всю важность земельного вопроса. Даже нелепый закон девятого ноября [65] — это попытка что-то сделать в этом направлении, так как так оставаться не может. Это вроде как — я теперь плохо помню — в старину при освобождении крестьян были временнообязанные. Это было необыкновенно нелепо, но все-таки причина была — сознание, что дальше по-старому продолжаться не может.

— Маклаков очень интересно рассказывал мне про роспуск Думы. — Лев Николаевич пересказал известные факты: требование правительства выдачи социал-демократических депутатов и т. д.

— Нынче утром — я по утрам бываю не так глуп, как сейчас... Вы не думайте, что я жду, что вы ска-

жете, — обратился Лев Николаевич к Николаеву, — «Нет, Лев Николаевич, вы совсем не глупы», — я это серьезно говорю. Разница между мною сейчас, вечером, и утром — огромная, как между человеком сорока лет и трехлетним ребенком, — не преувеличиваю.

— Так я гулял утром и готовил целую речь, которую собирался сказать Маклакову. Вернулся, а он уже уехал. Было досадно. На него, впрочем, плоха надежда, но я все-таки хотел со своей стороны сказать ему все, что думаю.

— Я не понимаю, как можно быть теперь в России не анархистом? Россией управляет шайка грабителей, и начальника этой шайки охраняют ружьями вооруженные люди, и до него никому нельзя добраться. Как можно участвовать в таком правительстве? Если уж можно пойти в Думу и участвовать в правительстве, то только если хочешь добиться чего-нибудь большого, и, разумеется, таким большим делом является разрешение земельного вопроса.

Лев Николаевич довольно давно уже получил письмо от какой-то польки, которая ему написала по поводу его статьи о Боснии и Герцеговине[66].

— Она мне пишет, — сказал Лев Николаевич, — «Вы написали о Боснии и Герцеговине, а о Польше ничего не скажете. Здесь ничего не поделаешь с вашим дурацким непротивлением, а единственное средство — вооруженная борьба».

— Я тогда ей ответил небольшим письмом, которое меня не удовлетворило, и я его не послал.

— Я получаю аглицкий * журнал об Индии[67], который выходит в Лондоне и на котором как эпиграф написано: «Resistance» **. Аналогия этих двух явлений на разных концах света меня поразила, и я стал ей (польке) отвечать и теперь работаю над этим письмом.

— Они отвергают единственное возможное средство борьбы и проповедуют вооруженное сопротивление. Польша по отношению к России — все равно что пигмей, идущий на титана. А в Индии они забывают, что огромное большинство порабощающего их войска составляют сами же индусы.

---

* Лев Николаевич всегда говорил: аглицкий.

** «Сопротивление» *(англ.)*.

Лев Николаевич говорил об искусстве, между прочим о музыке. Очень хвалил мазурку Скрябина (Fis-dur op. 40) и эскиз Аренского F-dur.

— А вот вчерашнее скерцо (cis-moll Шопена) хорошо, но я в нем уже вижу искусственность. А ваш Бетховен — я его за это и не люблю — в нем много искусственного. Пушкин говорит: «Прекрасное должно быть величаво», а я бы сказал: «Прекрасное должно быть просто».

30 августа я в Ясной не был.

31 августа. Лев Николаевич заезжал ненадолго в Телятинки. Вчера, 30-го, он был весь день болен и ничего не ел. Нынче ему стало лучше, и он поехал верхом. Он на минутку слезал у Чертковых. Я побежал туда, но он уже уехал оттуда по направлению к нашему дому.

Поздоровавшись, Лев Николаевич спросил меня:

— Вы ко мне или просто гуляли?

— Нет, к вам.

Я пошел рядом с лошадью.

Лев Николаевич сказал:

— Что вам рассказать? У меня был нынче интересный человек, скопец из Румынии, без усов и бороды, молодой, сильный[68]. Я спросил его, добровольно ли он стал скопцом. Он сказал, что совершенно добровольно, что не мог бороться с половой страстью и оскопился. Говорит, что в послесловии к «Крейцеровой сонате» нашел какие-то слова в пользу скопчества. Я не помню — надо будет посмотреть. Он очень умный и интересный человек.

Когда мы приблизились к дому, я сказал Льву Николаевичу:

— Проезжайте здесь, тут ближе, — и показал ему калитку мимо нашего балкона.

— Нет, я мимо Николаевых проеду: я его давно не видал.

Он подъехал к дому Николаевых. Я шел рядом. Николаев вышел, поздоровался. Лев Николаевич поговорил с ним немного, сказал, что чувствует себя лучше, а вчера был совсем нездоров. Потом спросил:

— А где же Лариса Дмитриевна?

— Она у печки, стряпает что-то, — ответил Николаев.

В это время она вышла и поздоровалась с Львом Николаевичем. Я не заметил в ней ничего особенного, а Лев Николаевич спросил:

— Что с вами?

Она отвернулась, слезы выступили у нее на глазах, и сказала:

— Ничего, Лев Николаевич.

Лев Николаевич продолжал разговор с нами.

Потом сказал:

— Ну, прощайте, милые друзья, мне пора.

— Что ж это вы такая печальная? — спросил он опять Ларису Дмитриевну.

Она вспыхнула, и опять слезы...

— Ну, прощайте. Я сам нынче такой же, так что мы можем с вами разговаривать.

Лев Николаевич уехал. Мы с Николаевым пошли немножко ему вслед, и Николаев сказал мне:

— Насквозь видит!

И, правда, ему и говорить не надо: все чувствует.

Вечером Лев Николаевич вышел ненадолго из своей комнаты, сыграл со мной в шахматы. Потом ушел к себе и стал диктовать что-то Александре Львовне. Мне нужно было рано уехать домой, и я простился с ним.

Он спросил:

— Ну что? Вы потом видели Николаевых?

— Да, Лев Николаевич. У них, кажется, все обошлось, и они все вместе отправились гулять.

1 сентября. Мы были в Ясной с женой. Были Горбуновы. Лев Николаевич на днях уезжает к Черткову в Крекшино.

За обедом Лев Николаевич рассказывал, что получил письмо от какого-то полуграмотного крестьянина, который присылает ему свои стихи [69].

Лев Николаевич сказал:

— Стихи его совсем неграмотные, но у него есть, несомненно, талант. Это странная вещь, — я стихов не люблю, но понимаю, что ими можно выразить часто гораздо короче и сильнее то, чего иначе так сказать нельзя. И такая способность у этого крестьянина, несомненно, есть.

— Как это у Тютчева?

И паутины тонкий волос
Лежит на праздной борозде [70]

— Здесь это слово «праздной» как будто бессмысленно и не в стихах так сказать нельзя, а между тем, этим словом сразу сказано, что работы кончены, все убрали, и получается полное впечатление. В уменье находить такие образы и заключается искусство писать стихи, и Тютчев на это был великий мастер.

— А странно, я его помню, какой он был: по-французски он охотнее и свободнее говорил, чем по-русски, так что со мной, например, он сейчас же переходил на французский язык. А так любил и знал русскую природу и язык.

Есть одна старушка, ровесница Льва Николаевича, княжна М. М. Дондукова-Корсакова. Это очень почтенная женщина. Всю жизнь свою она посвятила заключенным, много помогала сидевшим в Шлиссельбургской крепости и до последнего времени вся отдается этому делу. Дондукова-Корсакова очень православна; она в хороших отношениях с Марией Николаевной, сестрой Льва Николаевича, переписывается с ней и написала ей в Ясную о Льве Николаевиче с просьбой показать ему это письмо. В письме своем она старается обратить Льва Николаевича на путь истины, то есть в православие, и скорбит об его отпадении [71].

Лев Николаевич написал ей прекрасное письмо, к которому прилагает свою молитву: «Знаю, что если я в любви, то я с тобою. А если я с тобою, то все благо. Так буду же всегда любить всех в делах, словах и мыслях».

Лев Николаевич рассказал мне, что в Ясной приказчик загнал корову и телят какой-то бабы, зашедших в сад. Приказчик не отпускал скотину и требовал от бабы отработать или денег. Лев Николаевич слышал, как она кричала во время завтрака:

— Ишь, черти, жрут тут!

Лев Николаевич сказал мне:

— Это дурное, тщеславное чувство, но не могу удержаться. Мне больно чувствовать, что я участник этого, что я не сумел устранить себя от этой жизни. А должно бы быть все равно, что скажут и думают, а нужно только делать свое дело, сколько хватает сил.

— У меня нынче были рабочие, — сказал потом Лев Николаевич, — оборванные, идут по проходному свидетельству. Они высланы куда-то и идут. Я поговорил с

ними. Один из них умный, совсем интеллигентный, разумеется — революционер. И какая глупость! Правительство их рассылает по отдаленным углам, где они, как огонь на сухое, попадают и распространяют свои мысли там, куда без них долго еще ничего бы не дошло. Они рассказывали, что проходили по полотну железной дороги там, где ждали проезда царя. Их арестовали стражники[72] и повели, а они стражникам стали говорить все что думают, и стражники согласились с ними, только говорят: «Что ж будешь делать? Кормиться надо». И этот умный рассказывает, что в народе страшное озлобление и в то же время — невежество: им говоришь про все, и про царя, они соглашаются, а потом спрашивают: «А как же, он ведь помазанник?»

— Вот когда я вырасту большой, я про все это роман напишу, — прибавил, смеясь, Лев Николаевич.

Он последнее время часто говорит и, видимо, мечтает о художественной работе.

2 сентября. Завтра Лев Николаевич уезжает. Мы с женой поехали прощаться. Была одна Мария Александровна. Лев Николаевич хорошо себя чувствовал, но волновался по случаю отъезда, как ребенок. Ему все казалось, что дела так много, что ничего не успеешь сделать. Дела оказалось, впрочем, действительно много, так что помогали ему все. Надо было разобрать все его бумаги и отобрать все, что пойдет с ним и что останется. Потом — разобрать его денежные дела и разные книги в его комнате. Наконец, накопилось невероятное количество (за долгое время) писем с просьбами автографов, на которые Лев Николаевич обычно всегда отвечает. Он сел, мы с Душаном Петровичем ему подавали, и он чуть ли не целый час на всех языках подписывал свою фамилию... Потом моя жена, Душан Петрович и я надписывали адреса, что было тоже порядочной работой.

Нынче утром приезжали француз и его помощник, представители французской компании кинематографов Пате, с просьбой, чтобы Лев Николаевич позволил им приехать в Ясную и снять его. Софья Андреевна пришла с этим ко Льву Николаевичу, когда он был занят. Он что-то неопределенное пробормотал, а она сказала приехавшим фотографам, что Лев Николаевич согласен,

что он завтра уезжает и вот, кстати, можно снять его отъезд *.

Днем Лев Николаевич поехал верхом и на прогулке с ужасом вспомнил, что завтра приедут фотографы. Вернувшись домой, он сказал об этом Александре Львовне. Она стала думать, как бы отменить их приезд. Мы с ней вечером составили телеграмму от имени Льва Николаевича, которую он одобрил, но сказал, что нужно показать ее «мамà». Благодаря общей поддержке, а главное благодаря заявлению Марии Николаевны, что она и проститься не выйдет, «ежели они будут сымать», Софья Андреевна согласилась на отправку телеграммы (их адрес случайно видела на карточке и запомнила Варвара Михайловна).

Все эти хлопоты затянулись почти до десяти часов.

Часов в десять я стал по просьбе Льва Николаевича играть на фортепиано, после чего мы с женой вскоре отправились домой.

Среди бумаг Льва Николаевича, которые он брал с собой, были начала художественных вещей и, между прочим, одна довольно большая тетрадка с заглавием «Павел» [73].

3 сентября. В половине двенадцатого утра я и жена отправились на станцию Щекино, с которой уезжал Лев Николаевич, так как в Засеке скорый поезд не останавливается. Я решил поехать проводить Льва Николаевича в Москву.

Вскоре по выезде на шоссе нас обогнали на совершенно загнанной тройке фотографы. К станции мы подъехали одновременно с Толстыми. Оказывается, что, несмотря на полученную телеграмму, фотографы все-таки явились. Они просили Льва Николаевича пройтись по аллее, но он отказался и вообще не дал согласия на фотографирование в Ясной, а сказал:

— Если же вы будете снимать где-нибудь на стороне, я не могу вам помешать.

— Наша фирма не позволит себе снять кого-либо без его согласия.

---

* Я как сейчас помню счастливо-возбужденное настроение Льва Николаевича в этот вечер. Он, как ребенок, радовался предстоящей поездке. Интересно ему было побывать в Москве, где он не был с весны 1901 года.

— Вот этого-то именно, давать свое согласие, я и не хочу.

Про этот разговор с фотографами мне рассказывал сам Лев Николаевич.

Однако, несмотря на их заявление о принципах их фирмы, они, получив телеграфный отказ и не получив устного разрешения, сняли Льва Николаевича при выезде из усадьбы и при выходе из экипажа на станции.

Поезд опоздал с лишком на час. Лев Николаевич пошел погулять. Фотографы поймали его, когда он возвращался с прогулки, и сделали снимок. Снимать станцию и поезд жандарм и начальник станции им не разрешили, несмотря на попытку дать взятку. Тогда они, воспользовавшись часовым опозданием, успели послать срочную телеграмму в Тулу жандармскому начальнику, который перед самым уже приходом поезда по телефону разрешил им сделать кинематографический снимок. Таким образом, они сняли Льва Николаевича и при входе его в вагон.

В вагоне (второго класса) Лев Николаевич, особенно сначала, чувствовал себя бодрым. Кое-кто из публики заговаривал с ним.

Народу ехало много, так что вагон был битком набит, да еще, кроме того, толпилось много любопытных из других вагонов. Лев Николаевич пересел в другое отделение. Там сидела Александра Львовна и какой-то, оказавшийся знакомым, господин из светского общества (забыл его фамилию). Он напомнил себя Льву Николаевичу.

Разговор зашел почему-то о стихах. Лев Николаевич, как всегда, говорил, что не любит стихов, за исключением очень немногих поэтов.

Лев Николаевич сказал:

— Так трудно выразить свою мысль вполне ясно и определенно, а тут еще связан рифмой, размером. Но зато у настоящих поэтов в стихах бывают такие смелые обороты, которые в прозе невозможны, а между тем, они передают лучше самых точных.

Лев Николаевич вспомнил стихи Фета:

Осыпал лес свои вершины,
Сад обнажил свое чело,
Дохнул сентябрь, и георгины
Дыханьем ночи обожгло [74].

— Как это хорошо: «Дыханьем ночи обожгло!» Это совсем тютчевский прием... Как смело, и в трех словах вся картина!

— Я беспрестанно получаю стихи. Такие длинные. Видно, ищет рифмы и, главное, ничего не оставляет недоговоренного.

— Это — как вы вспоминали как-то слова Шопенгауэра о музыке, — сказал я.

— Да, да, как раз то же самое.

Ближе к Москве Лев Николаевич стал заметно уставать. К Москве мы подъехали около восьми часов, так что было почти темно.

На вокзале Льва Николаевича встретили: В. Г. Чертков, И. И. Горбунов с членами редакции «Посредника» и сотрудник «Русского слова» С. П. Спиро. О приезде Льва Николаевича в Москве никто не знал. Все, что было на вокзале, разумеется, кинулось к вагону, так что Лев Николаевич шел, окруженный толпою. Дружески поздоровавшись с Горбуновым и его спутниками, Лев Николаевич обратился к Спиро и стал говорить ему о промедлении в печатании книги «На каждый день». Лев Николаевич очень дорожит этой своей работой, и ему хотелось, чтобы она поскорее была напечатана.

По поводу ее печатания между Чертковым и Горбуновым вышла даже небольшая размолвка. Ивану Ивановичу, естественно, хотелось напечатать «На каждый день» в «Посреднике», а Чертков, надеясь, что Сытин, как более богатый и расторопный издатель, скорее напечатает «На каждый день», чем «Посредник», советовал Льву Николаевичу поручить печатание Сытину, что Лев Николаевич и сделал. И вот теперь оказалось, что Сытин не только не спешит, но всячески затягивает печатание книги [75].

Увидав Спиро, Лев Николаевич сразу взволновался. Я редко видал его таким возбужденным, даже раздраженным.

Лев Николаевич шел довольно большими шагами и громко говорил Спиро:

— Передайте Сытину, что это ни на что не похоже! Это возмутительно! С ним нельзя иметь больше дела. Чуть ли не целый год прошел, а до сих пор не вышло ни одного месяца! Так не поступают, это возмутительно!

Лев Николаевич почти до самого выхода с вокзала все продолжал волноваться. Бедный Спиро краснел и бледнел и не знал, что ему говорить.

Едва ли он передал этот разговор, в особенности в такой форме, Сытину.

Я поспешил со станции вперед от остальных, так как Александра Львовна просила меня купить чего-нибудь съестного и заехать в вегетарианскую столовую Прохорова взять Льву Николаевичу обед, а в восемь часов все магазины запираются. Действительно, все уже было заперто; я застал только открытым магазин Кирпикова на Кузнецком мосту, где купил печенья и отправился к Прохорову. Там мне сначала сказали, что дать с собой ничего не могут, что у них нет посуды, все вышло и проч. Когда же я объяснил, для кого мне нужна еда, мне сейчас же дали целый обед в отличных кастрюльках. Я поспешил с обедом в Хамовники.

В Хамовниках ждал неприятный сюрприз: все думали, что жена Сергея Львовича и его сын уже в Москве. Оказалось, что они приезжают только завтра утром. В доме о приезде Льва Николаевича никто ничего не знал, так что там был полный беспорядок.

Наскоро Льву Николаевичу устроили спальню в гостиной наверху. Я привез обед, и его стали разогревать на керосинке. Лев Николаевич очень удивился появлению обеда, но ел мало и без аппетита. Он, видимо, очень устал.

Я поехал на минутку домой. Вернувшись, я застал в Хамовниках И. И. Горбунова. Вскоре приехал В. Г. Чертков с А. П. Сергеенко (они остановились в гостинице).

Лев Николаевич говорил с Горбуновым про издание ряда дешевых книжек о разных религиозных мыслителях: Лао-цзы, Магомете, Кришне и др.

— Из этих книжек может у нас получиться превосходная сюита, — сказал Лев Николаевич.

Я рассказывал как-то Льву Николаевичу, еще в Ясной, про аппарат «Mignon», превосходно воспроизводящий игру пианистов. Лев Николаевич заинтересовался и сказал, что ему хотелось бы послушать. По дороге в вагоне я сказал Льву Николаевичу, что, если он хочет, я постараюсь устроить, чтобы завтра утром он мог послушать «Mignon» в магазине Циммермана. Он очень обрадовался и просил меня устроить это.

Мы простились со Львом Николаевичем, так как он хотел лечь спать, и пошли вниз в столовую пить чай. Прощаясь со Львом Николаевичем, мы условились, что я завтра утром поговорю по телефону с магазином Циммермана и сообщу им о результатах этих переговоров, а сам к десяти часам буду в Хамовниках.

Внизу мы в очень радостном настроении посидели за чаем и довольно скоро разошлись, так как все очень устали.

4 сентября. Утром, сговорившись с управляющим музыкальным магазином Циммермана, Лембергом, которым мое предложение было встречено восторженно, и взявши с него слово, что при этом никто посторонний не будет допущен, я позвонил по телефону в Хамовники и узнал, что Лев Николаевич встал рано и отправился гулять, а вернувшись, стал заниматься.

Я поспешил в Хамовники.

Рано утром Лев Николаевич пошел гулять. Он рассказывал мне про свою прогулку. Вблизи дома он встретил Марию Николаевну[76] и Сережу[77], ехавших с вокзала. Сережа с радостью спешил в гимназию, и это очень удивило Льва Николаевича.

Лев Николаевич давно не был в Москве, и все его в ней поразило: высокие дома, трамваи, движение. Он с ужасом смотрел на этот огромный людской муравейник и на каждом шагу находил подтверждение своей давнишней ненависти к так называемой цивилизации.

Лев Николаевич, между прочим, рассказал:

— У ворот одного дома, я вижу, стоит немолодая женщина и просит дворника разобрать какую-то записку. Дворник, очевидно, не может разобрать. Я подошел и предложил помочь. Дворник, увидав перед собой невзрачного старичка, грубо закричал: «Что не в свое дело мешаешься, ступай отсюда!..»

— Люди здесь так же изуродованы, как природа.

Лев Николаевич ко всему присматривался, садился на конку (его узнал какой-то кондуктор, который возил его, когда он еще в Москве жил), кажется, и на трамвай.

Пора было отправляться к Циммерману, а оттуда на Брянский вокзал. Чертков уступил мне место на извозчика со Львом Николаевичем, и мы поехали. (Лев Ни-

колаевич, Чертков, Александра Львовна, Горбунов, я, Дима, А. П. Сергеенко, Тапсель и кто-то еще, не помню.)

По дороге Лев Николаевич продолжал мне рассказывать о впечатлениях утренней прогулки и все твердил:

— Мне так и хочется описать все это! Я непременно это опишу!

— Может быть потому, что я давно не был, но мне так все ясно. Все это производит на меня большое впечатление.

По дороге нас почти никто не замечал. Никто не знал, что Лев Николаевич в Москве, и потому на него не обращали внимания.

У Циммермана Льва Николаевича встретили очень торжественно. Александре Львовне поднесли букет цветов (кроме служащих, было только двое-трое из родственников управляющего). «Mignon» поразил Льва Николаевича. Особенно восхитили его некоторые вещи Шопена (баллада As-dur и полонез As-dur) в исполнении Падеревского и вальсы Штрауса в переделке и исполнении Грюнфельда («Waldesstimmen» и «Diner-Walzer»). «Feuerzauber» Wagner-Brassin в исполнении Гофмана, а пьесы Грига в его собственном исполнении совсем не понравились Льву Николаевичу.

Слушая музыку, Лев Николаевич вскрикивал от восторга, ахал, слезы были у него на глазах. Я даже боялся, что излишнее возбуждение может ему повредить.

Лев Николаевич очень благодарил управляющего магазином и, кажется, расписался у них в каком-то альбоме. Приглашенный магазином фотограф (Фишер) снял две группы.

После Циммермана мы поехали на вокзал. Со Львом Николаевичем сел Чертков.

Я, с кем-то еще, ехал следом за ними. Когда мы доехали до художественного магазина Аванцо на Кузнецком мосту, Лев Николаевич и Чертков остановились: Льву Николаевичу захотелось прогуляться. Его стали замечать. Встречные кланялись, кое-кто шел за ним. Лев Николаевич пошел назад, вверх по Кузнецкому по левой стороне. Мы за ним в некотором отдалении. Тут встретился старик Гржимали, который не подошел ко Льву Николаевичу, не желая его беспокоить, а просил меня передать ему свой привет. Встретился А. Л. Вишневский, который совершенно остолбенел и,

как заколдованный, ходил по Кузнецкому за Львом Николаевичем.

Лев Николаевич дошел до угла Рождественки и перешел на другую сторону. У книжного магазина Вольфа (или Тихомирова) он остановился и довольно долго рассматривал книги. Рядом с ним стоял какой-то студент, который тоже смотрел книжки и даже не посторонился. Он минуты две стоял рядом со Львом Николаевичем и не поднял глаз и не знал, с кем рядом стоит. Я еле удержался, чтобы не подтолкнуть его и не сказать. Потом я даже жалел, что не сделал этого: может быть, это ему было бы дорого...

Отойдя от книжного магазина, Лев Николаевич скоро сел на извозчика. К этому времени народу вокруг него становилось все больше и больше.

Мы поехали на вокзал. Чертков подъехал к недавно открытому памятнику Гоголя работы художника Андреева, чтобы показать его Льву Николаевичу. Я сказал нашему извозчику ехать за ними.

Лев Николаевич подошел к памятнику, внимательно посмотрел и сказал:

— Мне нравится, очень значительное выражение лица.

Чертков сказал Льву Николаевичу, что этот памятник большинство очень бранит.

Лев Николаевич сказал:

— Я вообще не люблю памятников. Трудно что-нибудь сделать. Художник должен передать душу человека, а ему нужно лепить его з....цу...

До вокзала мы добрались с опозданием, так как из-за прокладки трамвая ехали в объезд, да еще задержались на мосту. Приехали почти к самому поезду. На вокзале были: М. А. Маклакова и И. И. Горбунов с сыном. Посидели сначала минут десять в буфете. Кругом была толпа народу; Льву Николаевичу это было очень неприятно, так что он обрадовался, когда разыскали места, занятые заранее частью компании, и можно было идти в вагон.

Сели в вагон третьего класса. В поезде было и так тесно, а тут еще все столпились около вагона и внутри его, так что повернуться было негде. Мне пришлось побыть в вагоне недолго. Раздался третий звонок. Я простился со Львом Николаевичем и насилу протолкался

из вагона. В тот же день я отправился обратно в Телятинки.

Из письма О. К. Толстой:

«12 сентября. Лев Николаевич замечательно бодр, весел и здоров».

13 сентября. 8 сентября мы приехали совсем в Москву. Нынче мы с женой решили ехать в Крекшино. Я позвал с собою Б. О. Сибора, чтобы поиграть Льву Николаевичу. Кроме нас, в Крекшино собрался живущий там всегда летом виолончелист А. И. Могилевский, так что мы решили поиграть там трио. К нам присоединился еще его двоюродный брат, скрипач А. Я. Могилевский, которого Чертковы звали приехать с квартетом, и он хотел сговориться о дне своего приезда.

Александра Львовна была в Москве по своим делам и возвращалась в Крекшино тоже вместе с нами. Оказалось, что и Софья Андреевна едет с тем же поездом в Крекшино. Она, увидав, что туда едет много народу, сразу пришла в дурное расположение духа и стала ворчать. У нее болит нога; она показывала ее в Москве доктору и говорила, что доктор нашел ногу в очень плохом состоянии.

В Крекшине нас встретил Лев Николаевич.

Софья Андреевна, садясь в экипаж, неловко наступила на больную ногу. Она стала громко стонать и сердиться.

Настроение у всех сделалось подавленное...

Мы пошли пешком. Ко Льву Николаевичу подошли какие-то девицы и молодые люди из Москвы. Кто-то, как водится, стал снимать.

Лев Николаевич расстроился состоянием Софьи Андреевны, но я заметил, что он бодр и, очевидно, чувствует себя здоровым.

Когда мы пришли в дом (дом красивый и местность тоже), Софья Андреевна все время громко стонала. Ее положили. Доктор осмотрел ее ногу и не нашел ничего серьезного.

Перед обедом Лев Николаевич лег отдохнуть. Впрочем, перед отдыхом он попросил пустить для нас «Mignon» *, и мы прослушали несколько пьес. Помню балладу

* Магазин Циммермана прислал в Крекшино на все пребывание там Льва Николаевича «Mignon» и динамо-машину для него.

Шопена g-moll в исполнении Кареньо, баркароллу (не помню, в чьем исполнении) и вальсы Штрауса «Diner-Walzer» и «Waldesstimmen» в исполнении Грюнфельда (последнее бесподобно).

Лев Николаевич очень наслаждался музыкой, а потом пошел отдохнуть.

За обедом настроение было лучше. Софья Андреевна пришла к столу. Было многолюдно, и трогательно было обычное у Чертковых присутствие за столом прислуги, особенно Ильи Васильевича, в Ясной всегда подающего обед в перчатках.

После обеда мы играли трио: G-dur Гайдна, c-moll Бетховена и Аренского. Музыка доставила Льву Николаевичу, по-видимому, большое удовольствие. Особенно радовался он веселому финалу трио Гайдна, который просил повторить.

Было хорошо. Лев Николаевич был ласков и добр. Особенно значительных разговоров не велось. Лев Николаевич рассказывал про свои прогулки по окрестным деревням и показывал бирюльки и различные миниатюрные вещи из дерева, которые довольно искусно делают местные кустари.

Отравляло настроение болезненно-раздраженное состояние Софьи Андреевны, ежеминутно готовой сделать сцену или впасть в истерический припадок.

После чаю Лев Николаевич прослушал еще две-три пьесы в «Mignon», и мы рано разошлись спать. Перед сном В. Г. Чертков подарил Сибору и мне по большому портрету Льва Николаевича. Лев Николаевич подписал их для нас.

14 сентября. Утром Сибор и Могилевский уехали.

После обычной прогулки Лев Николаевич сел за работу. Часов в одиннадцать приехала Е. Э. Линева с мужем. Здесь благодаря близости Москвы ко Льву Николаевичу ежедневно приезжает много народу. Несмотря на все старания Черткова и других окружающих оградить Льва Николаевича от слишком большого числа и слишком назойливых или неинтересных посетителей, они все-таки его несколько утомляют, и это — единственный минус его пребывания в Крекшине. В общем же, Лев Николаевич, видимо, поправился и чувствует себя очень хорошо.

На прогулке, как-то на днях, Лев Николаевич заблудился в лесу и стал плутать и даже волноваться по этому

поводу, так как не знает крекшинских мест; но, по счастью, шедший ему вслед Чертков нашел его, и они вместе вышли на дорогу.

За завтраком приехал А. П. Сергеенко, которому Чертковы очень обрадовались. С ним произошел комический эпизод: он потерял, оставив на извозчике, саквояж со всеми подарками, которые он вез по поручению Чертковых из Англии.

Среди дня Лев Николаевич отправился с В. Г. Чертковым в соседнюю деревню, куда им нужно было по какому-то делу.

Вечером ждали народных учителей и учительниц земских школ Звенигородского уезда, которые хотели поговорить со Львом Николаевичем и были приглашены для этого. По случаю их прихода, Лев Николаевич написал небольшую как бы статью о своих взглядах на обучение детей, чтобы прочесть им. Над этой статьей он работал последние дни[78].

После обеда Е. Э. Линева демонстрировала свои фонографические записи русских песен и музыки рожечников, среди которых были очень интересные напевы. Однако, вероятно благодаря неприятному звуку фонографа, особенного впечатления эта музыка на Льва Николаевича не произвела, а скорее утомила его.

БЕСЕДА С УЧИТЕЛЯМИ

Вскоре после демонстрации фонографа пришли учителя и учительницы, думаю, человек сорок. Они уселись в столовой вокруг большого стола. Им приготовили чай.

Лев Николаевич вышел, поздоровался с ними и после нескольких приветственных слов сел и попросил сидевшего с ним рядом молодого учителя прочесть написанное им (Львом Николаевичем) по поводу посещения учителей.

Когда учитель кончил, Лев Николаевич сказал *:

— Вот мое мнение, что я считал себя вправе... позволил себе обратиться к вам.

Молодая учительница, сидевшая напротив: «Да, но на нравственную сторону детей мы бессильны влиять».

---

* Всю эту беседу я записывал, сидя тут же в комнате.

Лев Николаевич. Отчего же?

Учительница. Очень сильно влияние окружающей среды, с которым мы положительно ничего не можем сделать.

Лев Николаевич. Мне хотелось вам сказать, что хорошо было бы, чтобы вы хотя немного времени употребляли на эти беседы о нравственном начале или хотя бы постарались удержать их от некоторых соблазнов, ну хотя чтобы они не ругались; есть у вас, наверное, и курение.

Один из учителей. Это обычно.

Первая учительница. Это так привилось им от больших, они так привыкли ругаться, что и сами не замечают.

Лев Николаевич. Тем дороже то влияние, которое учитель может принести.

Один из учителей. Да не успеваешь...

Лев Николаевич. Кто знает? Из тех тридцати — сорока детей многие впустят в одно ухо, а выпустят в другое, а одному-другому и западет.

— То великое дело, которое вы делаете, — я, по крайней мере, думаю, что это дело большое, — может сказаться в их будущей жизни. Пока они дети, на них можно воздействовать.

Молодой учитель (второй налево от Льва Николаевича). Не одним словом мы должны были бы учить. Нужно самого себя воспитывать.

Лев Николаевич. Совершенно верно.

Молодая учительница. Скажешь: «не ругайся», — а тут же и рассердишься.

Лев Николаевич. Само собой разумеется.

Молодая учительница. Нам всегда тем больнее, что преподаем-то мы арифметику, грамматику и т. д., что не нужно, а о нравственном начале, об этом и не говорим.

Лев Николаевич. Это легко можно сделать, читая евангелие, а если вы подчеркнете, что это истины евангельские, то и родители их увидят, что учитель не из своей головы взял, а из считающейся священной книги евангелия.

Первая учительница. В том-то и беда, что это не от нас зависит, а мы должны учить тому, что от нас требуют.

Лев Николаевич. Ну, чем больше, тем лучше, а что из этого выйдет, я не могу судить. Вы верно сказали *(обращаясь к учителю налево)* — личный пример сильно действует. Я здесь не говорю *(Лев Николаевич указал на свою рукопись)*, а эта дисциплина, поднимание руки, к сожалению, неизбежны в классные часы. Но вы всегда можете выбрать время, сесть не на лавки в классе, дети бы окружили вас; и вы можете беседовать.

Многие. Да, они это очень любят.

Лев Николаевич. Я думаю, что это необходимо, и это дает нравственное удовлетворение и учителю, когда не все идет на изучение этой мертвечины.

Немолодая учительница. Да, но он пойдет домой и скоро опять забудет все, о чем мы беседовали.

Лев Николаевич. Знаю, знаю на своем опыте, но все-таки это нужно. Мои первые ученики — они уже деды теперь, — а я знаю, как они вспоминают до сих пор именно эти часы наших бесед.

Первая учительница. Ваша школа свободная была. Да вот и примером им не покажешь! Сам начинаешь волноваться, и слово с делом расходится.

Лев Николаевич. Но отчего же?

Первая учительница. Мы не найдем таких учителей, которые могли бы учить своим примером.

Лев Николаевич. Это совершенно верно. Мало только говорить. Надо и самому учиться. Вся жизнь в том, чтобы приближаться к совершенству, а его никогда не достигнешь. *(Обращаясь к немолодой учительнице)*. У вас много учеников?

Немолодая учительница. Шестьдесят пять.

Лев Николаевич. И все ходят?

Немолодая учительница. Да, почти все.

Лев Николаевич. И вы одна?

Немолодая учительница. Нет, нас двое.

Лев Николаевич. Ну, если тридцать человек, это можно установить человеческие отношения, а то если больше, выходит, как полк и командир.

Немолодая учительница. Да они в школе-то хороши, а вот как выйдет из школы, год-два пройдет, он сделается совсем другой.

Лев Николаевич. Рано кончают они у вас. Я здесь спрашивал некоторых, говорит — отучился; а

ему десять — двенадцать лет. А эти, что отучились, не ходят к вам?

Немолодая учительница. У меня хор в церкви, вот они и ходят на спевки, за книжками, так что связь с ними есть.

Лев Николаевич. А девочки все учатся?

Немолодая учительница. Да, многие.

Лев Николаевич. Меньше, чем мальчиков?

Учительница. Лет десять назад гораздо меньше было, а теперь больше половины девочки, и они у нас дольше учатся.

Лев Николаевич. Вот вам на них-то и нужно налегать побольше. Влияние женщины самое действительное.

Учительница. Мы являемся их учить, а в семье они что видят?

Лев Николаевич. Вот это-то и есть. Кроме вас, никто их не научит. Подумать только, что в этой огромной стомиллионной России вы одни можете оказать это влияние. Это дело такое большое...

Один из учителей. Да, если бы для нас было доступно это влияние. У нас связаны руки.

Лев Николаевич. Это несправедливо. Последнее время все стали сваливать на внешние обстоятельства, а все в самом человеке. У меня был друг мой, Сютаев, он всегда говорил: «Все в табе».

Один из учителей. Школа не может настолько воспитывать, чтобы это воспитание осталось на ребенке. Жизнь груба. Он уходит из школы и видит совсем другое, и отец его живет по-другому и совсем не руководствуется идеалами, о которых мы ему говорим.

Лев Николаевич. Я не говорю — насколько вы можете влиять. Как бы сказать? Одна, может быть, маленькая сила против многих других клонит к тому, чтобы возвратить ребенка к тому настоящему нравственному началу, которое живет во всех нас. Мы должны делать, что можем. Царство божие на земле мы осуществить не можем, и я думаю, что слава богу, что не можем. Но делать свое дело мы должны. Я скажу — у нас, у учителей, гораздо больше власти над народом, чем у министров и царя, если только чувствовать и прилагать свое чувство к делу. Не надо только унывать.

— Не знаю, как вы в своем опыте, у меня опыт был меньше, — но из этих тридцати мальчиков всегда бывает три-четыре, которые много выше остальных и по нравственности и по уму, и эти — самые драгоценные. Я не говорю, может быть из него выйдет пьяница и дурной человек, но все-таки они способны больше других удержать в себе то, что вы им говорите. И я по себе знаю, — нужно выдержать борьбу с собой, чтобы относиться ко всем ровно и не чувствовать к этим пристрастия.

Все согласились.

Лев Николаевич. Часто чувствуешь, что на слабых следовало бы особенно обратить внимание, и это бывает трудно. Есть эдакие неприятные дети, притворные, подольщаются. Я говорю, — если представить себе учеников как тело, то три-четыре способных ученика — это чувствительные, благородные органы этого тела. Да мало таких, да и их жизнь захватит. Вы будете говорить ему, что нехорошо ругаться, и это западет ему, а он придет домой, услышит, как отец славно отделал кого-нибудь, и начнет сам ругаться.

Сосед слева. Наряду с этой учебой наши убеждения идут вразрез. И на деле выходит одна неправда. Да часто правду и нельзя сказать. Например, урок закона божьего — заведомая ложь, и с трудом удерживаешься, видя этот систематический обман, а учитель должен или молчать, или коверкать душу детей.

Лев Николаевич. Я это и говорю. Есть три пути: первый путь — поддерживать ложь, учить закону божьему и т. п., второй — учить грамматике, орфографии, игнорируя нравственные вопросы, — эта деятельность самая пустячная, третий путь — бороться сколько есть сил, и это дело огромной важности, и как ни мало, но никто не может, кроме учителя, сделать это. Может быть, вас в острог посадят или повесят, но вы должны сказать, так как, кроме вас, некому. Еще, кроме вас, я думаю, многое может хороший священник. Вы знаете мои взгляды, но я все-таки скажу, что, если он с ними не о догматах будет говорить, а наляжет на нравственную сторону, я допускаю, что он может оказать хорошее влияние. Но это бывает очень редко, и учителю гораздо легче. А вы откуда?

Сидящие ближе стали отвечать, кто откуда.

Лев Николаевич. А кого больше, учителей или учительниц?

— Учительниц.

Немолодая учительница стала жаловаться, что трудно сделать что-нибудь с народом, что кругом все совершенно безграмотные.

Лев Николаевич. Вы вот сказали: неграмотные. Но я говорю, странно сказать, безграмотные мужики лучше грамотных, потому что если уже грамота, то надо возбудить в них вместе с этим и нравственные требования, а то вместе с грамотой они усваивают все самое худшее.

Учитель, сидевший напротив, стал почему-то говорить, как трудно и важно приучить детей говорить правду.

Лев Николаевич. Прямо говорить: говори правду — не должно. При нравственной жизни это само собой разумеется. Говорить правду — это не нравственный принцип, а только условие нравственной жизни.

— Может быть, я всем уже надоел, но я скажу, что прежде всего нужно говорить о любви, и я бы начал с любви к животным. Дети часто мучают лошадь, собаке лещатку на хвост наденут, птицу убьют. У детей раньше всего проявляется любовь к животным, но у них же часто бывает и жестокость к ним.

Кто-то. Часто у них бывают дурные привычки, и часто они бывают жестоки из молодечества.

Лев Николаевич. Ну, давайте бороться.

Немолодая учительница. Да если бы они хоть лет пять у нас бывали, а то поучится немножко...

Лев Николаевич. Если бы они все от нас родились, может быть еще лучше бы было. Да и мы-то хороши!

Первая учительница. А вот иногда бывает — он крысу поймал и радуется. Как его тут учить, что это нехорошо?

Лев Николаевич. Я о себе скажу. Я охотником был, убивал и ни малейшего сострадания не чувствовал. А теперь не могу вспомнить без ужаса. Пока не пробудится это чувство, ничего не поделаешь.

Учитель напротив. Да, Лев Николаевич, но эту любовь ко всем существам невозможно пробудить.

Лев Николаевич. Тут, в христианских обязанностях, нету правила: сделай так или иначе, а идеал есть — постоянное приближение к совершенству. Когда мы едим курицу, или теленка, или быка, разумеется, естественнее, прежде чем жалеть мух, жалеть эту курицу. Идеал недостижим, а есть только приближение к нему.

— А это рассуждение самое опасное: если нельзя всего, то и ничего делать не нужно. Это и по отношению к людям. Обыкновенно вопрос о непротивлении решают рассуждением, что так как для защиты ребенка нужно совершить насилие, то, значит, насилие законно. А ребенка этого никто никогда не видал, а от насилия, которое якобы во имя него совершается, стонет весь мир.

— А есть у вас между собой какое-нибудь общение, собрания?

Один. У нас бывают официальные съезды.

Другой. У нас нет общения.

Третий. Нет.

Четвертый. Мы почти не имеем случая общаться.

Пятый. Эти вопросы о нравственности и не поднимаются вовсе, а школа завалена учебой, грамматикой; мы забиты этим.

Лев Николаевич. Да, эта грамматика! Я получаю много писем, и когда бывают совсем безграмотные, я жду, что будет толк; ну, а когда все «яти» на месте, наверное будет вздор. Вам, учителям, в руках которых находится это дело, и нужно оказывать противодействие.

Учитель. Нас душат программы, мы еще...

Лев Николаевич. Да ведь что же делать? Перед вами дилемма: или бросить — это ваше личное дело, — или, насколько можно, вносить нравственное воспитание. Одно из двух.

В. Г. Чертков. Я хочу сказать по поводу этого вопроса, которого только слегка коснулись, а это вопрос самый важный: или бросить совсем, или приспособляться. От этого я и отказался от всякой учительской деятельности. Имеет ли право человек учить, когда всей своей деятельностью он лжет? Он исповедует православную веру, исполняет обряды, а дети не знают, что он их обманывает. И я знаю таких учителей, которые бросают. Не лучше ли действительно уйти?

Один из учителей. Тогда лучше из жизни совсем уйти?

В. Г. Чертков. Из жизни не уйдешь, а если кто не верит всему тому, чему он должен учить, тогда лучше не учить совсем.

Учитель. Можно сделать хотя немного добра, оказать небольшое противодействие.

Лев Николаевич. Это вопрос самый большой.

Учитель. Ну, он уйдет! А кто на его место поступит? Наверное, гораздо худший. Он выбьет и то немногое хорошее, что было, и дело от этого только ухудшится.

Лев Николаевич. Это вопрос самый коренной. Это вопрос внутренний. Мы не призваны руководиться в нашей деятельности предполагаемым добром, которое может произойти от нее. Если человек поступает так, как требует от него его религиозное сознание, если оно есть в нем, он поступит так, как Владимир Григорьевич говорит, а иначе, если такого религиозного сознания нет, он поступит, как вы говорите.

Учитель. Ну, а то доброе, что он мог бы сделать?

Лев Николаевич. Есть другая, высшая религиозная точка зрения. Если я буду рассуждать о добре, я увижу, что можно и убить вредного человека, а с религиозной точки зрения не может быть и рассуждения о том, можно ли лишить жизни человека, или нет. И здесь, как говорит Владимир Григорьевич, где меня заставляют заниматься одной учебой, преподавать закон божий, если только рассуждать — справедливо ли я делаю, остается одно — уйти.

Учитель. Вообще уйти из жизни.

Лев Николаевич. Вы говорите то самое, что я говорю. Те люди и уходят из жизни. У меня есть человек двадцать, я могу вам показать их письма. Они сидят по тюрьмам, потому что отказались исполнять воинскую повинность. Несмотря на то, что они ушли из жизни, я думаю, что деятельность этих людей очень плодотворна, и, я думаю, гораздо более плодотворна, чем тех, которые пошли на компромисс, и которые не уходят из жизни.

Второй учитель слева. Для кого же то, что вы нам говорили? *(Он указал рукой на рукопись.)*

Лев Николаевич. Да я с первых слов говорю... Я хотел написать там, что, разумеется, самое первое — бросить. В этих условиях находятся не одни учителя, а все мы, но вы, учителя и учительницы, большей частью

находитесь в этих условиях. А вопрос, насколько сильно религиозное убеждение, каждый решает сам.

Учитель слева. А если бросить дорогое дело, этим ближнему сделаешь зло. Он пробуждал нравственную сторону ребенка, и если он уйдет и на его место станет другой, менее чуткий, детям от этого будет зло.

Лев Николаевич. В этом я с вами совершенно не согласен. Человек, который поступает противно своему сознанию, делает зло, и самое важное — не обманывать себя, а если ты по слабости не можешь уйти и продолжаешь делать это дело, ты должен знать, что делаешь дурно, а, простите меня, эти софизмы — самое дурное. Ко мне часто приходят молодые люди, которым предстоит воинская повинность, и я всегда говорю им: «Если будут силы — откажитесь, а нет — идите служить, но не обманывайте себя, а знайте, что вы плохой человек, согласились идти на эту мерзкую должность». А на этих оправданиях основываются тюрьмы и казни. Правительственные люди всегда говорят: «Если мы уйдем, на наше место станут самые худшие люди» — слово в слово то, что вы говорите. Будете ли вы, делая свое дело, сознавать, хорошо вы поступаете или дурно, — кажется, небольшая разница, а между тем, все в этом. Вы прекрасно сделали, спросив меня, к кому я обращался. Мы все далеки от того, что̀ мы считаем истиной, но важно знать, что мы заблуждаемся, и не смотреть сверху вниз, а знать, что я сам мерзок. «Все в табе». Любить бога и любить ближнего — это одно и то же. Другим говорить о добре, а самому не делать, — это деятельность отрицательная. Какой-нибудь помещик, у него тысяча десятин земли, а он занимается благотворительностью, устраивает школы, а ему прежде всего надо не владеть землей... Так и все мы.

— Мои взгляды, — что в каждом человеке живет божественное начало, проявляющееся в нем любовью, и нам естественно любить всех; и насколько мы успеваем в этом, настолько и проявляется это божественное начало в нас. Ну, однако, мы заехали в метафизику... Но я не жалею.

— Чаще всего бывает так: он по своим религиозным убеждениям чувствует, что должен уйти, но никак не может: он женат или у него мать. Христос сказал: «Оставь отца своего и матерь свою и следуй за мной»; но он не может поступить так: он один, и его учительство — единственное средство поддержать их. Но он не

должен гордиться, а знать, что он поступил дурно и не мог поступить по своим религиозным убеждениям — по слабости. И если он не уйдет, то кто же из нас бросит в него камень?

Учитель. Владимир Григорьевич не то сказал.

В. Г. Чертков. Тогда нужно сознавать, что я живу дурно, и не ждать, что из этого выйдет что-нибудь хорошее.

Лев Николаевич. Нет, отчего же?

В. Г. Чертков. Если один ребенок узнает, что нельзя браниться, это — заслуга отрицательная, и смешно ждать от этого великих дел.

Лев Николаевич. Я и не говорю — ждать великих дел. Человек находится в таком положении, что по слабости не может уйти. Он считает себя слабым, но все-таки может стараться по мере сил сделать добро; если он сам по-матерну не ругается, может сказать и мальчикам, что это нехорошо.

В. Г. Чертков. Но большей частью они хотят делать более серьезное дело: помочь народу освободиться. Как же они могут освободить других, когда они сами заражены?

Один из учителей. Я и говорил только о той возможности помочь...

Другой. Я думаю, что, если кто захочет говорить всю правду, его сейчас же в тюрьму посадят.

Лев Николаевич. О последствиях мы не можем судить. Мы должны знать только то, что̀ я перед своею совестью могу и должен, а о последствиях, — я с Владимиром Григорьевичем согласен, — судить нельзя. Идеал — только в стремлении к нему.

Учитель. Я не понимаю.

Лев Николаевич. Мы благодаря возражению Владимира Григорьевича многое уяснили. Я повторяю: все мы должны стремиться к отдаленному идеалу, и я потому говорю слава богу, что его нельзя достигнуть, что если бы он был осуществлен, то и жизни бы не было.

В. Г. Чертков. Если мы стремимся к полному идеалу, то мы должны бросить деятельность, основанную на лжи.

Лев Николаевич. Мы все люди и все далеки от идеала. Жизнь полна соблазнов, и хотя мы не можем осуществить идеал, но его осуществление есть тот мате-

риал, над которым мы призваны работать. И в учительскую деятельность можно вносить, сколько сил хватит, это стремление к правде. Можно и в Чердынский уезд за это попасть. Ну, а насколько у вас силы хватит, — это уж ваше дело.

Лев Николаевич встал и вышел из комнаты. Учителя и учительницы стали разговаривать между собой.

Когда Лев Николаевич вернулся, он вмешался в разговор одной из групп и сказал:

— А с другой стороны, Владимир Григорьевич прав, что это дело настолько серьезное, что уж если говорить, то говорить вполне. Еще важно, чтобы у учителя не было отношения сверху вниз к тому материалу, над которым он работает, — к детям. Если он сам понимает, что он слаб, он лучше поймет детей, а если он думает: какие дети дрянные, а я вот какой хороший — это уж последнее дело.

Вот я и перебил вас, а я хотел подойти и послушать, как вы говорили. Это самое интересное, у каждого свое возражение, которое интересно.

Учительница. Мы не можем разобраться, мы недовольны...

Учитель. Если человек сознает, что он не может осуществить своих убеждений, сознает, что все не так, но не может ничего изменить, — в этом ужас нашего положения.

Лев Николаевич. Ужасно, но и хорошо в то же время. Вот в этом и есть движение.

Учитель. Иногда мучишься, а то жизнь заедает, и мучиться перестаешь.

Лев Николаевич. Это — самое ужасное! В вашей деятельности есть нечто подобное положению духовенства: дело это самое высокое, а вы должны лгать или заниматься пустяками.

Один учитель подошел ко Льву Николаевичу и сказал:

— Если двое должны идти в солдаты и один из них откажется и его посадят в тюрьму, а другой пойдет, но на войне убивать не станет, а будет на службе стараться оказывать хорошее влияние, — я не знаю, кто лучше поступит.

Лев Николаевич. Мы не знаем, что будет: станет он убивать или нет. Я про то и говорю только, чтобы чувствовать, что ты плохой человек и поступаешь дурно. Самая величайшая опасность состоит в том, что разум,



Л. Н. Толстой играет в городки

который дан нам, чтобы открывать истину, мы направляем, наоборот, на то, чтобы скрывать ее.

Я, по крайней мере, по опыту знаю. И это поразительно: я ни одного не видал, который бы тяготился своим положением. Я письма могу вам показать — спокойные, радостные. Они и в тюремщиках вызывают уважение. Одного я знаю — он чахоточный и знает, что, вероятно, там в тюрьме и умрет, а он всегда спокойный и радостный[79].

Учитель. А я все-таки не знаю, кто лучше сделает из тех двух, о которых я говорил.

Лев Николаевич. Разумеется, тот, который откажется. Я не понимаю даже, по какому мотиву он остался бы. Я бы показал вам письмо одного. В нем полковой командир принял участие и упрашивал его пойти в хлебопеки или санитары, но он от всего отказался[80].

Учительница. Как же, Лев Николаевич, я теперь буду жить? Руки опускаются!

Лев Николаевич. Нет, это вы напрасно, я вам вот что советую: вы попробуйте всякую минуту с детьми, с знакомыми, с дворником, с своим начальством, попробуйте, постарайтесь всегда обходиться любовно. Когда вам это удастся, вы увидите, какая это радость. Право, вы попробуйте; я вам это советую, вроде пилюль.

Лев Николаевич рассмеялся.

О религиозных вопросах Лев Николаевич сказал:

— Еще можно их обходить молчанием, но если уж ребенок спросил, то нужно прямо говорить всю правду, не думая о последствиях.

Многие еще рассказывали Льву Николаевичу, какие ужасные вопросы задают священники и начальство на экзаменах — о том, дозволено ли убийство на войне, или о присяге, и как преследуют всякую попытку, даже со стороны священника, обойти эти вопросы.

Лев Николаевич рассказал со слов жены Сергея Львовича, как священник на вопрос о том, как же это бог раньше создал свет, а потом солнце, луну и звезды, сказал, что это он светил радием.

Потом Лев Николаевич сказал о священниках:

— Ужасно их положение: отец кормил семью, состарился, он кончил семинарию, оглянуться не успел, его женили, дали приход, семья... И незаметно он затяги-

вается. И чем он проще, чем меньше старается оправдать свое положение, тем менее ужасна его деятельность.

При прощании все благодарили Льва Николаевича, и многие говорили, что этот вечер останется на всю жизнь как лучшее воспоминание.

После ухода учителей Лев Николаевич очень устал, но все-таки прослушал еще две-три пьесы в «Mignon», и мы разошлись.

15 сентября. Наутро мы с женой рано уехали в Москву и успели только проститься со Львом Николаевичем, который был при прощанье, так же как и все время, трогательно ласков и внимателен и просил нас еще раз приехать. Но большое количество гостей все-таки утомляет его, что̀ он и писал в эти дни в своем дневнике.

Вместе с нами в Москву ехала на несколько часов Александра Львовна, которая также записывала стенографически (но в середине бросила) вчерашнюю беседу с учителями. В вагоне мы сличали наши записи и вносили в них поправки.

Из письма О. К. Толстой:

«15 сентября. Выяснилось, что Софья Андреевна и Лев Николаевич останутся у нас до пятницы (18 сентября). Переночуют в Москве и в субботу выедут домой. Софье Андреевне много лучше».

17 сентября. Нынче я снова поехал в Крекшино. В одном поезде со мной поехал А. Я. Могилевский со своим квартетом (П. П. Ильченко, В. Р. Бакалейников, Д. З. Зиссерман).

В Крекшине настроение было нехорошее, так как нервность Софьи Андреевны все продолжалась, а нынче выразилась в бурной сцене.

Дело было в том, что Лев Николаевич хотел остаться в Крекшине весь следующий день и уехать 19-го утром без остановки в Москве, что было бы несомненно лучше, так как удалось бы избежать большого количества народу при его отъезде, но Софья Андреевна требовала в очень решительной и истерической форме, чтобы Лев Николаевич ехал с ней вместе на другой день и ночевал в Москве. Лев Николаевич сказал, что сделает по ее, и она понемногу успокоилась.

Я застал всех очень расстроенными.

Анна Константиновна сказала мне:

— Как хорошо, что вы приехали. Лев Николаевич решил сделать завещание и хотел вас попросить быть свидетелем [81].

Меня это известие взволновало и очень тронуло, как свидетельство доверия Льва Николаевича ко мне.

Мы в течение этого дня и на другой день утром совещались о той форме, в какой завещание должно быть написано, для того чтобы оно имело юридическое значение, так как Лев Николаевич решил сделать завещание, имеющее не только моральное значение, имея основание думать, что в противном случае его воля останется неисполненной.

Лев Николаевич предполагал сделать такое завещание, по которому его напечатанные произведения, написанные до 1881 года, остались бы пожизненной собственностью Софьи Андреевны, а все остальные (написанные после 1881 года или более ранние, но не напечатанные) поступили бы в общее пользование, с тем чтобы редактирование изданий и разборка рукописей была поручена В. Г. Черткову или, на случай его смерти, тому, кому он поручит это сделать.

Обед был все-таки довольно торжественный — именинный, так как нынче именины Софьи Андреевны и внучки Сонечки. После обеда мы со Львом Николаевичем сыграли одну-две партии в шахматы, а потом началась музыка. Квартетисты сыграли квартет Моцарта, D-dur'ный квартет Бетховена op. 18, «In modo antico» из квартета Глазунова и еще что-то, не помню. Играли они очень хорошо, но почему-то не произвели особенного впечатления. Отчасти я объясняю себе это неблагоприятной (слишком острой) для квартета акустикой, а главным образом дурным настроением, которое было у всех под влиянием предшествовавших событий.

Вечером за чаем особенно интересных разговоров не было, и мы все довольно рано легли спать. Квартетисты должны уехать завтра рано утром, а мы все среди дня.

18 сентября. Я встал рано, чтобы повидать еще раз уезжающих музыкантов. Мы пили утренний чай и кофе в столовой, когда вышел Лев Николаевич и отправился на свою утреннюю прогулку. С ним шел Чертков, кото-

рый обыкновенно оставлял Льва Николаевича одного, а сам шел за ним издали, чтобы не мешать его одинокой прогулке.

Уходя, Лев Николаевич простился с музыкантами и благодарил их за вчерашнюю музыку.

Мы сидели после ухода Льва Николаевича и беседовали минут десять, как вдруг дверь отворилась, и Лев Николаевич вернулся. Я сразу заметил, что он как-то взволнован. Оказалось, что когда он отошел уже довольно далеко от дому, ему вдруг показалось, что он слишком формально поблагодарил квартетистов и как бы не обратил на них должного внимания. Это стало мучить его, и он вернулся домой, чтобы высказать им свое чувство.

Лев Николаевич был взволнован и прерывающимся голосом тихо, почти со слезами сказал:

— Мне как-то совестно, что я с вами только как с музыкантами... что я не знаю вас. Я хотел сказать вам, что если вам кому-нибудь нужно, если вы захотите... я очень счастлив буду. А то мне, правда, совестно...

Лев Николаевич не смог договорить волновавшей его совесть мысли и вышел. Я почувствовал, что квартетисты не поняли всего происшедшего и не оценили поступка Льва Николаевича. Я ничего по поводу этого им не сказал, а они сейчас же весело заговорили о другом, как будто ничего и не произошло. Черткову тоже показалось, что они не поняли Льва Николаевича.

Квартетисты уехали. Вернувшись с прогулки, Чертков передал нам текст завещания, выправленный и дополненный рукою Льва Николаевича на листе с составленным нами вчера конспектом. Александра Львовна переписала этот текст, а Лев Николаевич пошел к себе работать. Нынче же утром Чертков снял Льва Николаевича с детьми Ольги Константиновны, Сонечкой и Илюшком на скамейке в то время, как Лев Николаевич рассказывал им сказку об огурце.

Лев Николаевич работал у себя довольно долго, и мы стали беспокоиться, что Софья Андреевна сойдет вниз и Льву Николаевичу не удастся подписать переписанное Александрой Львовной завещание.

Но вот Лев Николаевич вышел. Он вошел в маленькую комнатку, где мы все его ждали. У него был очень торжественный вид, он, видимо, был взволнован. Он сел

за стол, бегло взглянул на переписанный текст, взял перо и подписал. Вслед за ним подписали свидетели: я, Калачев и Сергеенко (сын).

Лев Николаевич встал и поблагодарил нас, пожав нам руки *.

Стали собираться. Сошла вниз Софья Андреевна, на этот раз в более благодушном настроении. Лев Николаевич захотел на дорогу еще раз послушать «Mignon» и прослушал две-три пьесы, между прочим вальс в исполнении Грюнфельда.

На станцию поехали частью в экипажах, кто-то верхом. Лев Николаевич пошел пешком. Нас пошло с ним несколько человек. По дороге беспрестанно щелкали фотографические и даже кинематографические аппараты.

Лев Николаевич был бодр и в хорошем расположении духа.

Недалеко от станции Лев Николаевич удалился в лес и высказал опасение, как бы и там его кто-нибудь не сфотографировал... Около самой станции нас обогнала Софья Андреевна в экипаже. Она у станции подождала. Кто-то поднес ей и Александре Львовне цветы. Вход ее со Львом Николаевичем на станцию был снят кинематографически. Фотографы и кинематографщики снимали все время и во время ожидания поезда [82].

Софья Андреевна попросила Льва Николаевича погулять с нею по платформе, чтобы их сняли вместе. Хотя Льву Николаевичу это и было очень неприятно, как всякая комедия, он сделал это для нее и под руку с ней прошелся по платформе, что, разумеется, и было снято для кинематографа. Приход и отход поезда и вход в вагон тоже фотографировали.

В вагоне по поводу недавно полученного от студента очень хорошего письма о праве [83] Лев Николаевич сказал:

— Особенно радостно видеть, что это научное суеверие начинает разрушаться. Мне это особенно радостно. Что его нет в передовом крестьянстве — неудивительно, а в так называемой интеллигентной молодежи это осо-

---

* Лев Николаевич четыре раза подписывал при мне свое завещание, и каждый раз я видел, что он делал это с некоторой торжественностью, я бы сказал строгостью, как дело, которое ему тяжело, но в нужности которого он не сомневается.

бенно радостно. Разумеется, это самое ничтожное количество, а большинство — в полном раболепстве перед наукой.

Среди публики в вагоне, между прочим, ехал один глухой. Он бывал прежде в Ясной; я однажды при нем на балконе читал Льву Николаевичу записанные мною его слова. Фамилию глухого я забыл. В вагоне он часто обращался ко Льву Николаевичу; разговор с ним очень утомлял Льва Николаевича и был тяжел еще потому, что трубка (на конце длинной резиновой кишки), в которую ему приходилось говорить, противно пахла. Об этом Лев Николаевич говорил мне тут же в вагоне, так как глухой без трубки ничего не слыхал. Льву Николаевичу это было, очевидно, очень мучительно, но он терпеливо и довольно долго отвечал на незначительные и довольно назойливые вопросы глухого *.

В Москву мы приехали часов в шесть вечера. На Брянском вокзале было довольно много народу. Здесь же была и жена моя, которая в этот раз в Крекшино не ездила.

Фотографы стреляли опять со всех сторон. Перед тем как садиться в коляску, ко Льву Николаевичу подошел странный человек, типа мастерового, Кочетыгов[84]. Он сказал, что бывал раньше у Льва Николаевича в Москве, и стал говорить, не закрывая рта, какой-то монолог, в котором были и похвалы Льву Николаевичу, и выражения радости по поводу его приезда, критика властей предержащих и т. п. — в каком-то странном хаотическом беспорядке. Лев Николаевич послушал его немного, потом простился и сел в экипаж. Было много полиции, которая, очевидно, собралась на случай демонстрации; городовые почтительно отдавали Льву Николаевичу честь.

Лев Николаевич улыбнулся и тихо сказал:

— Как комично!

Лев Николаевич, Софья Андреевна, Александра Львовна, Чертков и другие поехали в Хамовники, а мы с женой домой.

Вечером я отправился в Хамовники и так как застал там много народу, общее оживление и Льва Николаевича

* В отрывке моего дневника, напечатанного в сборнике «Толстой, памятники творчества и жизни», I, изд. «Огни», Петроград, 1917, в описании эпизода с глухим было неверно указано время и место встречи.

бодрым, решил остаться там весь вечер и вызвал по телефону жену, которая вскоре приехала.

Там были: Софья Андреевна, Александра Львовна, Сергей Львович с женой, В. А. Маклаков, А. С. Бутурлин, А. Н. Дунаев и др.

Опять приходил Кочетыгов и долго произносил свои бесконечные монологи. Лев Николаевич слушал его, стоя в передней, и хохотал до упаду *.

Александра Львовна была у присяжного поверенного Муравьева, показала ему завещание, и он сказал ей, что оно как юридический документ никуда не годится по многим причинам, и главным образом потому, что закон не предусматривает возможности оставить наследство «никому». Нужно непременно оставить его кому-нибудь, кто бы уже распорядился с ним по воле Льва Николаевича. Муравьев обещал обдумать и прислать примерный текст завещания в Ясную; Александра Львовна передаст его Льву Николаевичу, который решит, как быть.

Сидели в гостиной.

Лев Николаевич говорил о настроении крестьян:

— Как я сейчас рассказывал, как крестьянин говорил — умный старик, понимающий и сочувствующий нашим взглядам — революционное настроение живет в народе. Старики, те еще больше черносотенцы, а молодежь — вся революционеры. Если что случится, — и мы не удержим: они все в лоск положат. Они всех господ ненавидят. Одного царя еще некоторые почитают.

— Он (крестьянин) еще рассказывал, как изменилось отношение к помещику. У них богатый помещик, Голицын, приехал, а они всегда ходили поздравлять его с приездом. Нынешний год он приехал, а крестьяне говорят: «Что к нему идти на поклон?» Стали обсуждать вопрос: идти или нет. Один и говорит: «Что он нам по гривеннику даст?! Да приди он ко мне, я ему сам двугривенный дам!» Так и не пошли.

— Последнее время этот тон у них — знают, что ты барин. Мы с вами будем говорить и понимать друг друга, а тут, что ни говори, все равно что этому шкапу... очень это тяжело.

* Лев Николаевич рассказывал мне, что, когда Кочетыгов был в Ясной и произносил свои монологи, все слушали и хохотали; один Сережа Попов слушал серьезно и молча. Льву Николаевичу это очень в нем понравилось.

У меня записана чья-то фраза, которую передавал Лев Николаевич, но я не могу вспомнить, к чему она относится: «И кучера хорошие суть черносотенцы».

А. Н. Дунаев рассказывал Льву Николаевичу про какую-то немецкую книгу о Христе, хваля ее.

Лев Николаевич сказал ему:

— Видите, голубчик Александр Никифорович, я немножко боюсь этих книжек. Я вот вчера ходил на час, и там в ватер-клозете я стал спускать воду и, верно, не совсем выдвинул эту штуку, и она все течет. А потом я догадался совсем выдвинуть, и она остановилась. Так и в этих вопросах: надо или ничего не говорить, или всю правду.

Дальше, по поводу религиозных обманов, Лев Николаевич сказал:

— У меня часто спрашивают — почему-то англичане часто спрашивают: «Нужно ли в общении с людьми обличать религиозный обман?»

— Нет, не нужно. Но если уж меня спрашивают, то нужно говорить всю правду. Я никого не обращаю в свою веру, как в магометанство, но когда меня спрашивают, я говорю всю правду. Когда ко мне обращаются с вопросом: «Бог ли Христос?», я говорю, что величайшее кощунство говорить, что Христос — бог.

Льву Николаевичу хотелось пойти куда-нибудь в театр. Кто-то сказал, что если бы Лев Николаевич пошел в балет, как бы все удивились.

Лев Николаевич вспомнил своих знакомых балетчиков, которые ему были очень приятны, и сказал:

— Я одно время думал: пропала моя борода! Я хотел в балет идти, обрить бороду. У меня друзья в балете — на душе у него высокие мысли, а ноги пляшут. Я оттого и в балет хотел идти.

Сели чай пить. Лев Николаевич хотя и устал, был очень оживлен, и ему хотелось еще куда-нибудь пойти. Кто-то предложил отправиться в кинематограф. Лев Николаевич захотел непременно. Мы большой компанией поехали в кинематограф на Арбат, на угол Большого Афанасьевского переулка.

В кинематографе публика сразу узнала Льва Николаевича. Появление его произвело сенсацию. Картины кинематографа, и вообще глупые, на этот раз были особенно нелепы: представлялась какая-то скучная, бес-

смысленная мелодрама. Было очень жарко, так что, хотя Лев Николаевич и снял пальто, я боялся, что он простудится. Слушая ужасную музыку разбитого фортепиано, Лев Николаевич все оборачивался сочувственно ко мне, как бы жалея меня, что мне приходится слушать эту музыку. Как только кончилось первое отделение, Лев Николаевич встал, и мы все за ним. Он был поражен нелепостью представления и недоумевал, как это публика наполняет множество кинематографов и находит в этом удовольствие.

Кое-кто из нашей компании еще вернулся в Хамовники, но мы с женой простились со Львом Николаевичем и отправились домой, так как было уже поздно и Лев Николаевич видимо устал.

19 сентября. О приезде Льва Николаевича узнала вся Москва, и очевидно было, что при его отъезде на вокзале будет много народу, тем более что газеты разузнали, с каким поездом он едет, и напечатали об этом.

Моя жена отправилась прямо на вокзал, а я с утра поехал в Хамовники.

Когда я приехал, Лев Николаевич, как всегда, работал что-то у себя в комнате. Приходило много всякого знакомого и незнакомого народу. Пришел из «Русских ведомостей» Анучин, которого Лев Николаевич принял очень ласково (они давно знакомы) и просил его передать привет членам редакции. Лев Николаевич сказал ему несколько сочувственных слов о духе их газеты.

Потом пришел японец Конисси, занимающийся при университете экспериментальной психологией; он тоже когда-то раньше, в первый свой приезд в Россию, был у Льва Николаевича. Он был Льву Николаевичу скучен и очень утомил его.

Пришел также художник Пастернак и кое-кто еще.

Фотографы и кинематографщики выстроились во дворе. На дворе и на улице около дома стояла толпа народу. Когда Лев Николаевич вышел, кинематографщики завертели свои аппараты. Многие из публики подошли к нему, заговаривали с ним, выражали свои пожелания, некоторые жали ему руку.

Лев Николаевич сел в наемный экипаж с Софьей Андреевной, Александрой Львовной и Чертковым. За ними на извозчике поехал Сергей Львович со мной. Нас ехало несколько пролеток; кроме того, летели на лихачах

фотографы, которые старались заехать вперед, установить аппарат и успеть снять; они проделывали это по нескольку раз.

Встречные почти все кланялись Льву Николаевичу, начиная со священника и некоторых военных до извозчиков и многих из простого народа.

У вокзала оказалась многотысячная толпа. Почти на руках толпа внесла Льва Николаевича на вокзал. Все сняли шапки, кричали, махали платками. Было жутко, страшно за Льва Николаевича, но и радостно. Слезы стояли в горле. Я насилу протискался в вокзал. Давка была невероятная. Молодежь устроила цепь, благодаря которой удалось довести кое-как Льва Николаевича до вагона. Он был очень взволнован. На платформе и на всех путях было черно от народу. Многие взобрались на столбы, чтобы видеть Льва Николаевича. Я еле пролез в вагон, чтобы проститься с ним.

Чертков поехал проводить Льва Николаевича до Серпухова: дальше начинается Тульская губерния, куда ему въезд запрещен.

Перед отходом поезда Лев Николаевич подошел к окну вагона. Все сняли шапки, кричали... Поезд тронулся, и многие долго бежали ему вслед, крича и размахивая платками...

Все это было глубоко трогательно и радостно; но страх за здоровье Льва Николаевича был сильнее всего.

Из письма О. К. Толстой:

«22 сентября. Вы уже, должно быть, знаете, что Лев Николаевич был нездоров. Он стал плохо себя чувствовать еще в вагоне после Серпухова, а в Ясной стало еще хуже, и с ним было два обморока. Но затем ночью спал хорошо и на другой день опять гулял. Сегодня была телеграмма от Александры Львовны, что он гуляет и работает. Мы получили письмо от Беркенгейма с описанием дурноты, бывшей у Льва Николаевича, и так тяжело это читать, что не хочется повторять... Видно, Лев Николаевич слишком устал и взволновался на вокзале. Владимир Григорьевич, вернувшись, рассказывал, что их в толпе чуть не задавили и он очень боялся за Льва Николаевича. Да и в вагоне

Софья Андреевна не давала Льву Николаевичу покоя. Жутко думать о том, что может случиться с этой дорогой жизнью...»

4 и 5 октября я был в Ясной. Там я застал петербургского литератора Градовского.

Лев Николаевич был довольно здоров. Он только что написал статью об анархизме, которую он назвал «Чингис-хан с телеграфом» [85].

Статья очень сильно написана и, как всегда у Льва Николаевича, вначале более резкая, чем после окончательной отделки. А я особенно люблю у Льва Николаевича этот страстный, бичующий тон.

После нескольких приветственных слов Лев Николаевич сразу заговорил со мной о статье. Тут же был Градовский.

У Льва Николаевича статья была в руках. Он, очевидно, взял ее у Александры Львовны, которая, по обыкновению, с вечера переписывала сделанное им вчера. Лев Николаевич дал ее мне прочесть. Я стал читать вслух.

Лев Николаевич остался, сказав, что ему самому интересно прослушать ее целиком. Я сидел на углу стола, с того конца, где за обедом сидит обычно Александра Львовна, лицом к фортепиано, — Лев Николаевич на месте Александры Львовны, а Градовский напротив меня.

Я никогда не считал себя хорошим чтецом, так что меня удивило, что, по окончании чтения, Лев Николаевич очень хвалил меня, удивляясь, как я сразу схватывал смысл фразы, «не делая ни одного фальшивого ударения или интонации». По поводу статьи Лев Николаевич между прочим сказал:

— В настоящее время стало так очевидно, что невозможно принимать участие во всех их (правительства) делах. Если не исправить зло, то, по крайней мере, стараться не участвовать в нем самому. Ведь если бы пришел какой-нибудь Пугачев и стал вас заставлять совершать с ним злодейства, вы бы сказали ему: можете грабить меня, можете и меня самого убить, а я не стану участвовать в вашем деле. Так, если бы какому-нибудь Столыпину сказали бы думские деятели, губернатор, присяжный поверенный.

Я провел в Ясной два дня. По вечерам играл. Пятого пришел Сережа Булыгин и с ним его товарищ, Сережа Попов,

За срединдневным чаем заговорили о Мечникове. Кто-то сказал, что, боясь холеры, Мечников не ел в России плодов и, живя в Ясной, ни разу не мылся водой, потому что она не кипяченая.

Лев Николаевич сказал:

— Я по английской пословице — чтобы узнать человека, нужно побыть с ним вдвоем, — я и предложил ему поехать в Телятинки. Я начал разговор с того, как тяжело иметь слуг. Иногда старик слуга ходит за молодым. Мечников мне ответил: «Да, я расскажу вам вот какой случай...» и рассказал, как у его знакомой семьи французского буржуа, живущей в своем поместье, кажется где-то недалеко от Парижа, у всех членов семьи стали часто повторяться заболевания аппендицитом. Знакомые эти просили Мечникова приехать к ним, чтобы постараться найти причину этих заболеваний. Мечников поехал и, осмотрев все у них очень внимательно, сказал им: «Ничего нет удивительного, что вы хвораете: вы едите испражнения своих слуг». Оказалось, что в доме не было устроено для прислуг отхожих мест, и они для своих надобностей пользовались огородом. Рассказав это, Мечников прибавил: «Вот видите, наука приходит к тем же выводам». Это en toutes lettres *. И, представьте, он прислал мне свою книгу, и там рассказан этот случай, и повторяется это там в тех же выражениях. Я и замолчал... Он — милый, простой человек, но как бывает у людей слабость — другой выпивает — так и он со своей наукой.

— Вот мне не поверили, а я интересовался и смотрел в словаре. Как вы думаете, сколько ученые насчитали разных видов мух? Семь тысяч! Ну, где ж тут найти время для духовных вопросов?!

Вчера, рассказывая кому-то об этих мухах, Лев Николаевич сказал:

— Есть люди, пересчитавшие семь тысяч видов мух, а трудно встретить таких, кто мог бы изложить сущность хотя бы самых важнейших религиозных учений мира.

Перед обедом мы ездили верхом со Львом Николаевичем. Я рассказывал ему про «Анатэму» Леонида Андреева.

Лев Николаевич заинтересовался и сказал:

— Это утешительно, — и, помолчав немного, спросил:

---

* Это буквально так *(франц.)*.

— Вы знаете что?

Я сказал, что не понял, что он хочет сказать.

— А то, что, значит, Андреев видит, что зрители интересуются серьезными вопросами. Я бы посмотрел; это как-то совсем ново.

Я сказал Льву Николаевичу:

— Пьеса мне не понравилась. Когда я смотрел ее, я все время мучительно испытывал чувство стыда. Я думал о вас, и мне казалось, что вы и двух картин не высидели бы. Когда «Анатэма» выйдет из печати, если хотите, я вам ее пришлю [86].

— Да, но знаете, я вообще художественные вещи теперь с трудом читаю, а комедии особенно. Еще когда вслух читают — легче, а так совсем не могу.

Я рассказал еще Льву Николаевичу про «Анфису»[87].

Он слушал и ахал, а потом сказал:

— Он, очевидно, разделил публику на две части и хотел угодить и той и другой. Прежде довольствовались одной неверностью, а теперь, чтобы произвести впечатление, нужно их в одной пьесе, по крайней мере, три.

Говоря об искании так называемых новых путей в искусстве, Лев Николаевич сказал:

— Для этого, несомненно, есть основания. Все старые приемы уже так избиты. Я больше не могу читать. Когда я читаю: «Было раннее утро...» — я больше не могу, мне хочется спать. Больше нельзя описывать природу. Но вот в чем беда: они меняют внешность, а внутри ничего нет. Так это и во всех искусствах.

Вечером я вошел в комнату ко Льву Николаевичу. Он сидел с Булыгиным и Поповым.

Когда я вошел, Лев Николаевич говорил:

— Часто спрашивают: что такое жизнь? Есть немецкая поговорка: «Ein Narr kann mehr fragen, als zehn Weisen antworten!» Вот этот вопрос такого же рода. Я не могу и не должен знать, что такое жизнь вообще; но зато я должен знать, что я живу и что я должен делать; и это вопрос основной. Вы знаете Клечковского? Он все интересуется вопросом о боге-творце, — кто сотворил мир? Как будто бог как человек жил, а потом соскучился и вздумал создать человека.

---

* «Один дурак может задать больше вопросов, чем десять мудрецов ответить!» *(нем.)*

— Мне понравилось изречение Магомета, — продолжал Лев Николаевич, — оно грубо, но мне нравится. Как это? «Бог прежде существовал и не сознавал этого и сознал себя в человеке».

Лев Николаевич говорил мне потом о Попове и Булыгине:

— Попов ограниченный, а Булыгин умный, сильный.

Лев Николаевич спросил меня:

— У кого вы учились?

Я сказал ему, что почти никогда, кроме раннего детства, ни у кого ничему не учился за исключением музыки, — что я вполне автодидакт.

Лев Николаевич удивился и заинтересовался этим.

Градовский проводил почти все время с Софьей Андреевной, которая читала ему свои записки и рассказывала о Льве Николаевиче в том тоне, в котором она обычно это делает.

В этих рассказах по большей части находится ключ ко всем распространяемым в таком большом числе вымыслам о Льве Николаевиче, так мало похожим на него настоящего.

Мне было очень тяжело смотреть, как Градовский сидел и старательно записывал в записную книжку все, что Софья Андреевна ему говорила.

Мы уехали с ним вместе, и по дороге на станцию я постарался очень осторожно, но все-таки довольно определенно раскрыть ему глаза на то, что далеко не все в рассказах Софьи Андреевны похоже на действительного Льва Николаевича. Он отнесся к моим словам как-то неопределенно.

Из письма О. К. Толстой:

«23 октября. Лев Николаевич хотя и бодр, но все же не вполне тот, чем он был до Москвы. Лишь сегодня он хорошо и много поработал. Уже давно не говорит, что ему восемнадцать лет, а все — восемьдесят два. Несмотря на это, эти дни катался верхом по пятнадцати верст и умудрялся находить такие места, что надо было держаться за холку лошади, чтобы не упасть на крутизнах. Он в очень хорошем добром настроении. Вчера он *очень* наслаждался игрой скрипача Эрденко, заехавшего сюда с женой... Тут все еще очень хорошо, лишь вчера был небольшой дождик.»

3 ноября. Как я уже говорил, присяжный поверенный Николай Константинович Муравьев по поручению Александры Львовны должен был видоизменить составленное Львом Николаевичем завещание, чтобы сделать его действительным с юридической точки зрения. Два-три раза у него происходили совещания, на которых присутствовали: Чертков, Ф. А. Страхов и я. Когда проект завещания был более или менее составлен в нескольких версиях, нужно было эти проекты свезти Льву Николаевичу, чтобы он прочел их и остановился на каком-нибудь одном, или забраковал их все, если он найдет их не соответствующими его предположениям.

Надо было ехать 26 октября. Я был в этот день занят и не мог ехать, так что это поручение взял на себя Ф. А. Страхов.

Вернувшись из своей поездки, Страхов рассказал, что Лев Николаевич выразил твердое решение оставить в общую пользу не только сочинения, написанные им после 1881 года, как предполагалось раньше, но вообще *все* им написанное, — что было для нас всех совершенно ново и неожиданно. Так как В. Г. Чертков отказался быть юридическим наследником, то Лев Николаевич решил оставить формально все свои писания Александре Львовне и поручить ей распорядиться этим литературным наследием согласно его желанию. Соответственно этому новому решению Муравьев снова изменил текст завещания.

В ночь на 1 ноября мы со Страховым поехали ко Льву Николаевичу.

Страхов проехал в Телятинки, чтобы найти еще свидетелей (предполагались М. В. Булыгин и П. С. Апурин), на случай, если бы Лев Николаевич не захотел почему-либо написать текст завещания сам *.

Когда я приехал, все в доме еще спали, кроме Льва Николаевича. Душан Петрович был на деревне — принимал больных.

Поздоровавшись со мной, Лев Николаевич крепко пожал мне руку и сказал:

— Вот в каком деле вы помогаете мне. Вы заняты, вам трудно было бросить дела и приехать... Спасибо

* По закону, если завещатель написал завещание не собственноручно, требуется большее число свидетелей.

вам... да, я знаю, вы меня любите и рады сделать это для меня...

Лев Николаевич волновался. В голосе его слышны были слезы.

Придя в свою комнату, Лев Николаевич стал читать текст завещания и не нашел теперь ничего такого, что нуждалось бы в изменении.

Он только спросил меня:

— А исторический музей? [88]

Я объяснил ему, что слова: «Где бы ни хранились» — подразумевают и музей. Он посмеялся над слогом официально-юридической бумаги.

Лев Николаевич охотно стал писать текст завещания сам, очень стараясь не делать помарок, что ему вполне удалось. После него я подписал завещание в качестве свидетеля. Страхова еще не было. Спустя несколько минут он приехал. Я пошел с ним ко Льву Николаевичу. Лев Николаевич очень беспокоился, что поздно и что всякую минуту может войти Софья Андреевна, и затворил все двери из своей комнаты. Страхов подписал. Я спрятал завещание в портфель и отнес вниз к себе.

В течение дня не произошло ничего особенно значительного. Была Ольга Константиновна, и приезжал М. В. Булыгин. Я играл со Львом Николаевичем в шахматы. Играл на фортепиано.

Вечером Александра Львовна запечатывала письма, написанные за день Львом Николаевичем, и мы с ней о чем-то беседовали. Лев Николаевич вошел в комнату. Александра Львовна напомнила ему, что кто-то просил у него портрет с автографом.

Она дала ему портрет, который Лев Николаевич подписал и сказал:

— Мне это бывает очень затруднительно. Я всегда думаю: Einmal ein Kind sagt: * «Что такое говорят — Толстой? Ничего нет». Я один гуляю и думаю, как они не замечают, что ничего нет? А я должен вынести свою фотографию и дать как что-то... Мне совестно придавать значение своей персоне. Не думайте, что я жду, что вы (Лев Николаевич обратился ко мне) скажете — нет. Я действительно говорю — мне совестно.

---

* Когда-нибудь ребенок скажет (*нем.*).

Когда я уезжал, Лев Николаевич еще раз очень благодарил меня и сказал:

— Спасибо вам за вашу любовь...

Письмо Льва Николаевича ко мне, писанное Д. П. Маковицким под диктовку Льва Николаевича с собственноручной его припиской:

«Милый Александр Борисович!

Посылаю вам книгу «Die Greuel der christlichen Civilisation» для перевода [89]. Все, что не нужно по-моему, я зачеркнул, где же я поставил вопросительные знаки, это я предоставляю вам: выпустить все или хотя частью, или поставить в выносках. То, что я отметил синим карандашом — особенно хорошее.

12-е письмо не нужно.

Книга прекрасная. Предисловие постараюсь написать.

Если вы достали книгу в Москве, то пришлите мне вашу, а если вы не скоро этим займетесь, то эту верните назад, потому что нужна мне для писания предисловия.

Рукой Льва Николаевича: Любящий вас *Л. Толстой*

Рукой Маковицкого: 4 ноября 1909

Ясная Поляна.

Рукой Льва Николаевича: Пишу не сам, потому что очень занят. А на душе — что одно и нужно — очень хорошо, чего вам желаю.

Л. Т.»

Мое письмо ко Льву Николаевичу.

«11 декабря. Дорогой Лев Николаевич, посылаю Вам наконец полученную из-за границы книжку «Die Greuel der christlichen Civilisation», которую переводит Аня. К новому году перевод будет, вероятно, готов. В том экземпляре, который Вы мне дали, Вы лучшие места отметили синим карандашом, зачеркнули то, что совсем не нужно переводить, и отметили вопросительными знаками те места, которые Вы предоставляете на мое усмотрение. 12-е письмо Вы сказали пропустить совсем. Все эти знаки внесены в посылаемый мною экземпляр.

Немцы оказались не на высоте своей хваленой аккуратности и прислали экземпляр книги, в котором один печатный лист совсем отсутствует. Вы хотели написать

предисловие к книжке, но я думаю, что Вы напомните себе ее содержание и без этих 16-ти страниц...»

Из письма О. К. Толстой:

«14 декабря. Вы, вероятно, будете очень расстроены известиями о здоровье Льва Николаевича... Ему сразу стало лучше, и сейчас t° 36,5, пульс ровный и хороший. Заболел он сразу, хотя уже несколько дней плохо ел, немного жаловался на печень, но работал очень много. Днем в воскресенье, то есть вчера, он ездил верхом в Овсянниково (оттуда в санях), вернувшись, лег, встал к обеду и, выходя, пожаловался, что ему очень холодно. Ел мало, был молчалив, кроток. Вскоре после обеда чувство холода усилилось, и начался *потрясающий* озноб, так, что он даже кричал, ничем нельзя было его согреть. Около девяти часов смерили t°, и, о ужас! — 40°. Тотчас послали всюду телеграммы. Через некоторое время стало — 40,4, пульс доходил до ста двадцати с перебоями. Временами было забытье, но, в общем, сознание ясное, все время обо всех думал, отсылал спать. В час ночи температура понизилась до 39,7, но пульс был еще плох, и это смущало Душана Петровича. Ночь Лев Николаевич дремал хорошо. К утру стало 37,4. Сегодня Лев Николаевич с утра читал письма, «На каждый день» и много серьезно говорил с Булгаковым, поражая ясностью мышления. К вечеру приехала Софья Андреевна и Никитин, нашедший у Льва Николаевича легкий бронхит и неисправную печень, что и вызвало эти явления...»

Из письма Александры Львовны:

«15 декабря. Лев Николаевич получил ваше письмо, лежа в постели, дорогой Александр Борисович. У него был сильный жар, 40,4, теперь же лучше, жара нет, но болит печень. Книгу он прочтет без листа, это ничего. Очень будем рады, если приедете на праздники...»

ИЗ ПОЗДНИХ ВОСПОМИНАНИЙ

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ С ТОЛСТЫМ

До моего знакомства со Львом Николаевичем я видел его три раза. В первый раз это было на каком-то съезде естествоиспытателей в Москве[1]. Заседание происходило в большом зале Благородного (дворянского) собрания (теперешний Колонный зал Дома Союзов). Был доклад Бекетова и еще кого-то. Председательствовал, кажется, Тимирязев. Я не помню, до начала это было или (скорее) в антракте, я увидал в толпе вблизи двери в круглую артистическую комнату Льва Николаевича: серая блуза, серые волосы, серая борода, семенящая походка. Создавалось обманчивое впечатление маленького старичка, хотя Лев Николаевич все-таки был росту выше среднего и широк в плечах; но я ждал увидеть фигуру могучую, и поэтому так получилось. Узнанный немногими, Лев Николаевич поспешил пробраться в артистическую, явно не желая обратить на себя внимание. Я помню, что я был очень взволнован и счастлив, увидев Толстого. Началось (или возобновилось) заседание. Прежде чем дать слово очередному докладчику, председатель встал и сказал:

— Среди нас находится Лев Николаевич Толстой, я прошу его занять место за столом президиума съезда.

Из-за эстрады вышел смущенный, с видом человека, из темноты попавшего на яркий свет, Лев Николаевич. Весь зал, с президиумом съезда во главе, встал, как один человек. Раздались аплодисменты, какие-то крики, словом, овации, совершенно исключительные по общему воодушевлению. Волнение долго не могло улечься. Лев Николаевич был очень смущен (я убежден — все это

было мучительно для него) и вынужден был вставать и кланяться. Я плохо слушал докладчика, а все время старался изо всех сил своими молодыми глазами разглядеть великого человека. Я тогда и вообразить себе не мог, что на мою долю выпадет редкое, незаслуженное счастье многолетнего, близкого общения с ним.

Во второй раз я видел Льва Николаевича в том же зале. Шла репетиция консерваторского ученического концерта [2]. Не помню, почему я был на ней (я в концерте не участвовал). На репетицию пришел вдвоем с кем-то (сейчас не помню с кем, кажется с Дунаевым) Лев Николаевич. Не знаю, что заинтересовало его в этом концерте. Я сидел неподалеку и не спускал с него глаз, но видел его не очень ясно, так как зал, кроме эстрады, был почти не освещен. Концерт, репетиция которого происходила, пришелся, очевидно, на какой-то табельный день, и Сафонов прорепетировал с хором «Боже царя храни». В зале, кроме участвующих, находившихся на эстраде, публики почти не было. Сидел я рядом с пианистом Буюкли. Когда начался гимн, все находившиеся в зале встали, как полагалось в те времена. Лев Николаевич со своим спутником остались сидеть. Я и сидевший со мной рядом Буюкли тоже не встали. Мне всегда отвратительны были и этот гимн и это вставанье, но не встал я тогда вовсе не из намерения устраивать или присоединяться к какой-то демонстрации, а просто я глядел, разиня рот, на Льва Николаевича и забыл все на свете. Однако зоркая Александра Ивановна Губерт в темноте из другого конца зала заметила нас и незаметно подкралась.

— Гольденвейзер, Буюкли! Что это такое? Чего вы сидите?! «Другие» могут поступать как им угодно, а вы обязаны встать. — Гимн кстати окончился, и мы с Буюкли так и не встали...

В третий раз я видел Льва Николаевича за несколько дней до моего первого визита в Хамовники. Это было в Малом зале Дворянского собрания на концерте знаменитого Чешского квартета [3]. Лев Николаевич был все время за эстрадой в артистической и слушал оттуда сквозь полуоткрытую дверь, так что я видел его только перед концертом и после него, когда он проходил через залу.

ДОМ ТОЛСТЫХ В ХАМОВНИКАХ

Зубово сразу давало впечатление захолустья, тишины и полного отсутствия столичной сутолоки и шума. Пройдя небольшую Зубовскую улицу, мимо церкви Знамения в Зубове — старая церковь, теперь не существующая, стоявшая среди довольно обширного церковного двора, — попадаешь к началу Девичьего поля. Направо Усачевско-Чернявское училище — большое старинное здание с колоннами, а налево как-то необъятно широко начинается Долгий Хамовнический (теперь улица Толстого) переулок. На левом углу переулка при угловом доме стояло какое-то странное небольшое деревянное строение необычного вида — не то будка, не то беседка. Дальше переулок суживается. На правой руке, не доходя толстовского дома, большой Хамовнический пивоваренный завод, от которого пахнет пивом и бардой, а напротив — сияющая огнями шелковая фабрика Жиро. В находившемся вблизи переулке — парфюмерная фабрика Рале, распространяющая на далекое расстояние приторный, одуряющий запах мыла и всякой косметики. В этом окружении столь ненавидимыми Львом Николаевичем фабриками и заводами стоит дом Толстого. Стоит он как-то боком, не выходя на улицу. Направо от ворот — небольшой флигель. Налево — крыльцо с тамбуром. Примитивный старинный звонок. Дернешь за ручку — раздается дребезжащий, осиплый звон колокольчика. Обычно приходилось ждать. Дверь отворял лакей Илья Васильевич Сидорков или другой. Говорил: «Граф дома», или «Графиня дома», «Графа нет». К Софье Андреевне всегда, а иногда

и ко Льву Николаевичу лакеи обращались: «Ваше сиятельство».

В прихожей — деревянная простая мебель. Всегда много всяких шуб, пальто, калош, шляп и шапок, разбросаннах повсюду в большом беспорядке. Из прихожей в противоположной стене от входной двери — две двери. Правая — в небольшую нижнюю столовую. Левая — в коридор. О нижних комнатах — потом. Посередине стены — деревянная, крытая ковром лестница наверх. Старые ступени под ногами слегка скрипят. Лестница делает колено и образует небольшую площадку — уютный уголок, где любили посидеть, а иногда и пофлиртовать. На круглом столике — темная скатерть, на которой Татьяна Львовна заставляла некоторых ее гостей расписываться; подписи их она покрывала шелковой вышивкой. Поднявшись на лестницу, попадаешь в большую столовую — залу, того же типа, что в Ясной Поляне. У правой стены (более узкой) — трюмо, хвостом к двери — средней величины довольно разбитый рояль Беккера.

Противоположная от двери стена занята тремя окнами. В левой части комнаты — большой обеденный стол вдоль комнаты. В конце стены — диван. Вокруг стола и по стенам — стулья. Сзади рояля — еще небольшой круглый стол и небольшой соломенный диван. По стенам — канделябры со свечами. На столах — высокие бронзовые керосиновые лампы. За залой — большая ординарная и довольно безвкусно обставленная гостиная с диваном, круглым столом, креслами; копии яснополянских портретов; дальше — кажется, комната Софьи Андреевны, которую я плохо помню.

Из залы же с левой стороны задней стены маленькая дверь ведет в узкий коридорчик и оттуда в чудесный маленький кабинет Льва Николаевича: скромный, простой стол, кожаный диван и кресла; против двери — два небольших окна. Рядом — крошечная комнатка, где Лев Николаевич когда-то шил сапоги и где, я помню, лежали его сапожные инструменты [1].

В этом же коридоре была скромная комната Марьи Львовны и комната кого-то из прислуги.

Внизу — другая (небольшая), очень просто меблированная столовая, где часто ели и пили чай, если никого из гостей не было. На стене — часы с кукушкой. Из столовой направо — небольшая комната, где обитатели,

насколько помню, менялись. Одно время жил там Андрей Львович. В этой же комнате стоял второй рояль. Налево из столовой (у наружной стены) — дверь в спальню. Напротив двери из прихожей — дверь в коридор, где была комната Татьяны Львовны, «детская» и пр. Там же и выход в сад (на балкон выход из спальной). Сад чудесный, старый, запущенный, ранней весной полный подснежников. Зимой в саду устраивали поливной каток. К саду примыкает сзади еще больший сад — психиатрической клиники. В саду Толстых (в задней части) — горка с беседкой. С горки мы смотрели на больных в халатах в саду психиатрической клиники.

В первое время моего знакомства с Толстыми я очень стеснялся и не решался заходить ко Льву Николаевичу. Мне казалось, что его комната — какая-то «святая святых», куда я не чувствовал себя достойным свободно входить. Как я завидовал «толстовцам» *, бесцеремонно входившим туда толпою и поодиночке во всякое время. А «толстовцем» держался на более или менее короткий срок всякий, кому было не лень; и с каким плохо скрытым пренебрежением относились ко мне, одетому в пиджак и сидевшему в гостиной или зале, эти «толстовцы».

В доме Толстых в первые годы моего знакомства с ними я застал еще остатки царившего там раньше шумного оживления.

Кто составлял семью? Сергей Львович был женат тогда на своей первой жене, Марии Константиновне Рачинской, и жил с ней, кажется, частью у ее отца К. А. Рачинского (бывшего ректором Петровской Академии) в Разумовском, частью у себя в Никольском (Чернского уезда Тульской губернии) — родовом имении Толстых.

Илья Львович, рано (кажется, еще гимназистом) женившийся (на Софии Николаевне Философовой) [2], жил у себя в деревне (Гриневке) в Тульской губернии, но довольно часто наезжал в Москву. У них была куча детей, и семья быстро росла.

Лев Львович жил тогда в Швеции и лечился у доктора Вестерлунда, на дочери которого вскоре женился [3].

Андрей Львович поступил вольноопределяющимся в какой-то драгунский полк в Твери, где и жил тогда [4].

---

* Я не случайно ставлю эти кавычки, так как, разумеется, говорю не о тех, для кого их убеждения были делом их жизни.

Михаил Львович, тогда еще мальчик, учился в лицее.

Татьяна и Мария Львовна обе были еще не замужем. Александра Львовна была еще совсем девочкой. Младший сын, Ванечка, умер за год до моего знакомства с Толстыми [5].

Жизнь в доме была шумная, светская. По субботам бывали «журфиксы». Дом никогда не производил впечатления роскоши — все было просто, довольно уютно и, я бы сказал, несколько неряшливо. В общем же — было просто; все чувствовали себя свободно и непринужденно, не было натянутости, которая так легко могла получиться в доме «великого писателя и человека», да и просто в таком «светском» доме.

По субботам я не любил бывать у Толстых. Было шумно, и для меня, никогда не склонного «веселиться» в обществе и испытывавшего в таких случаях горькую тоску, особенно неприятно. Но так как в начале знакомства я стеснялся просто вечером пойти без всякого предлога и так как среди обычно многочисленного общества встречались и любители серьезной музыки, то мой приход помогал хозяйке занять этих гостей, угостив их «хорошей» музыкой. Таким образом, я встречал у Софьи Андреевны всегда радушный прием. Я не хочу сказать этим, что доброе к себе отношение Софьи Андреевны, которое я испытывал всегда (почти до конца жизни Льва Николаевича), я объясняю только так. Я говорю здесь о первом времени знакомства, когда у Софьи Андреевны могло быть ко мне только совершенно безразличное отношение.

Придешь, бывало, в субботу. Народу уже собралось много. У Льва Николаевича «темные», как называла Софья Андреевна «толстовцев». Позже Лев Николаевич выйдет к чаю и приведет их с собой. Наиболее нетерпимые проследуют через залу вниз, отказавшись от чая. В зале светло, зажжены все канделябры и лампы. Сидят частью на площадке лестницы (большей частью молодежь с Татьяной Львовной), частью в зале по уголкам, а более солидные в гостиной с Софьей Андреевной. Помню, на рождестве 1898 года я в первый раз после смерти моей матери (ум. 16 декабря 1898 г. ст. ст.) пришел к Толстым (о смерти матери я Льву Николаевичу написал). Еще в прихожей меня охватили звуки какого-то развеселого цыганского романса, который кто-то пел под гитару,

а довольно стройный хор молодых голосов бойко подхватывал... Контраст был ужасен. Я не выдержал и расплакался тут же в прихожей. Лев Николаевич, когда увидал меня наверху, сказал мне, как только он умел, несколько простых, но непередаваемо значительных слов...

В Хамовниках можно было встретить аристократа, заезжую знаменитость, светскую молодежь, серьезных людей; у Льва Николаевича бывали иногда и крестьяне... Все это пестрое и совершенно, казалось бы, несоединимое общество, чувствовало себя, однако, свободно и непринужденно. У Толстых в доме было очень легко, никто никого не стеснял и ко всем относились радушно (по крайней мере, внешне).

За чаем, с приходом Льва Николаевича, завязывался оживленный разговор. Лев Николаевич делился впечатлениями от интересного посетителя, прочитанной книги или статьи, — мыслями по поводу текущих событий. Часто загорались, иногда весьма горячие, споры. Друзей Льва Николаевича — Черткова и Бирюкова — зимой в Хамовниках я почти не видал, так как вскоре после моего знакомства с Толстыми они были высланы за границу. Иван Иванович Горбунов-Посадов по субботам бывал редко, Русанов был болен, и Лев Николаевич сам навещал его (я его так и не узнал лично). Постоянно бывал Александр Никифорович Дунаев. Это был человек под пятьдесят лет, тугой на ухо и, как все глухие, очень громко говоривший. Он вечно был возбужден, ни о чем не умел говорить хладнокровно, возмущался творившимися в России безобразиями и царившим бесправием. Он всегда что-нибудь горячо рассказывал или не менее горячо с кем-нибудь спорил. Он был одним из директоров «Торгового банка» в Москве. Льва Николаевича Дунаев любил страстно и готов был все для него сделать. Любил и в баню со Львом Николаевичем сходить и оказать ему всякую услугу. В последние годы он стал менее близок ко Льву Николаевичу: Толстые не жили больше в Москве, а в Ясную Дунаев не мог так часто приезжать, лишь летом гостил иногда по нескольку дней. А главное, после революции 1905 года Александр Никифорович стал очень сочувственно относиться к революционерам и их борьбе.

Что-то, кажется, и личное было между Львом Николаевичем и Дунаевым, чего я не знал, охладившее их

отношения. Все-таки и в конце жизни Лев Николаевич с любовью относился к Александру Никифоровичу, но его несколько однообразные, длинные и с усилившейся глухотой чересчур громкие разговоры, видимо, утомляли его.

Дунаев часто сопровождал Льва Николаевича в его прогулках или деловых хождениях по Москве и был с ним при известной демонстрации на Лубянской площади в день опубликования синодского «отлучения».

Павел Александрович Буланже, позже других высланный и довольно скоро вернувшийся в Москву, тоже часто бывал. Буланже занимал какой-то высокий пост в правлении Московско-Курской железной дороги. Одно время, особенно в период крымской поездки, он был ко Льву Николаевичу и семье его очень близок. Впоследствии всякие превратности его судьбы и некоторые еще причины отдалили его от Толстых...

Часто бывал Евгений Иванович Попов — сухой, внешне строгий, с наружностью фанатика сектанта. На словах строго догматически убежденный, но, кажется, менее строгий в жизни... Он был хорошим математиком и прекрасно учил, чем, если не ошибаюсь, и занимался.

Помню Льва Павловича Никифорова. Это был лохматый человек, в очках, с сильной проседью, с густыми бровями; внешне — тип «народника» семидесятых годов. Человек искренний, горячий, чистый.

Часто бывал до высылки на Кавказ Илья Петрович Накашидзе. Худой, черный, болезненный, типичный кавказец. От него осталось впечатление чего-то милого, искреннего, доброго. Любопытна история, случившаяся с братом Ильи Петровича. Он шел однажды по Тверскому бульвару и увидал, как городовые избивали какую-то женщину. Он вступился за нее; тогда городовые накинулись на него, жестоко его избили и сволокли в участок. Он тяжело хворал после этого (кажется, воспалением легких). Помню, Лев Николаевич обращался по этому делу к градоначальнику или тогда еще — оберполицеймейстеру (кажется, в то время Трепову) [6].

Художник Ге, друг Льва Николаевича, незадолго до того умер. Из сыновей его Петр Николаевич (живший в Петербурге) никогда близок к Толстым не был и в приезды свои в Москву только наносил визиты, Нико-

лай Николаевич же был «толстовцем» (и в те времена самым страстным) и своим человеком в доме Толстого.

Я любил его за ум, живой и острый, большую разносторонность, отсутствие узости и талантливость его натуры. К сожалению, его образ действия впоследствии заставил меня значительно в нем разочароваться.

У Н. Н. Ге было еще одно привлекательное свойство — талант рассказчика. Он умел рассказывать обо всем (а знал он, хотя, может быть, и поверхностно, очень многое) так, что слушать его было занимательно — было ли это о кооперации в Италии, кальвинизме в Швейцарии или даже о различных способах приготовления сыра.

Романические увлечения, слабость характера и лень были всегда его главными недостатками.

Черткова я ближе узнал по возвращении его из Англии. Встречался неоднократно с ним, разумеется, и до ссылки. Помню, как он жил верстах в шести-семи от Ясной в деревне Деменке. Он тогда был еще очень сильным и физически свежим человеком, высоким и красивым. Он часто носил своего сына Диму, тогда мальчика лет трех верхом у себя за спиной или на затылке. В нем было соединение большой умственной (слегка догматической) строгости, даже нетерпимости, с добротой и сердечностью натуры и типичной аристократической благожелательностью в обращении с людьми. Он любил молодежь и умел забавлять ее своими веселыми шутками и фокусами.

Жена Черткова, Анна Константиновна, рожденная Дитерихс, была тогда еще сравнительно молода. Всегда болезненная и крайне физически слабая, она горела внутренним духовным огнем большой силы. Она пела, и ее чуткая, глубокая душа звучала в ее грудном, в душу идущем голосе — слабом, но прекрасном по тембру.

Ничего я не сказал об Иване Ивановиче Горбунове-Посадове. Это человек, сумевший сохранить свою наивную, чистую душу сквозь длинную трудную жизнь. Он все силы всегда отдавал делу (издательство «Посредник»), которому служил беззаветно и с сохранившимся у него до старости юношеским увлечением.

Помню, как однажды я попал в Калугу для участия в каком-то благотворительном концерте (чуть ли не

Горбунов и был одним из его организаторов). Иван Иванович перед тем незадолго женился. Его жена, Елена Евгеньевна, тогда еще юная курсистка, была за «неумеренный радикализм» выслана из Москвы в Калугу[7]. В силу этого Ивану Ивановичу и пришлось с год там прожить. Они жили по-студенчески в маленькой квартирке; он — уже довольно зрелых лет, она — совсем юная; их чистые, товарищеские отношения, их светлая взаимная любовь и ласка, с которой они меня тогда приняли (им весь мир, вероятно, хотелось тогда обласкать), оставили радостный незабвенный след во мне на всю жизнь. Теперь, когда Иван Иванович и Елена Евгеньевна уже умерли, я вспоминаю их как милых, чистых, хороших друзей.

С Горбуновым часто приходил ко Льву Николаевичу Зонов (составитель издававшегося «Посредником» сельскохозяйственного календаря). Я его мало знал, но впечатление он производил человека честного и прямого. Еще также с Горбуновым приходил его помощник по «Посреднику» Александр Петрович Алексеев и его жена. Это были простые и милые люди.

Несколько позже появился на горизонте Сергей Дмитриевич Николаев. Николаев был своеобразным, умным и цельным человеком. Это был типичный человек одной идеи, которой он отдал все силы своей жизни. Идеей этой был «единый налог» Генри Джорджа. Сергей Дмитриевич был превосходным знатоком учения Джорджа и многие из его сочинений перевел на русский язык. Идеям Джорджа Николаев был предан фанатически; он даже казался слегка маниаком, только в эту сторону способным направлять свои умственные интересы.

Жена Николаева, Лариса Дмитриевна, происходила из довольно достаточной буржуазной семьи, для которой ее «толстовство» было большим ударом. Идеям мужа она старалась следовать совершенно искренне, но натура ее была совсем иная... У них была куча детей, жили они принципиально без прислуги. Приходилось ей тяжело. А Сергею Дмитриевичу все казалось, что они живут слишком роскошно, не по-христиански. Жизнь их была трудная, и оба они и духовно и физически очень страдали...

Близок ко Льву Николаевичу своими взглядами был Федор Алексеевич Страхов. Это был грузный, обрюзг-

ший человек из помещичьей среды. Всю жизнь он занимался вопросами религиозно-философскими и писал по этим вопросам книги. Большим, оригинальным мыслителем он не был. Лев Николаевич ценил в нем писателя, идейно ему близкого. Страхов (как и его брат) был от природы очень музыкален, импровизировал, сочинял музыку (кое-что даже напечатал). Он не получил специального музыкального образования и остался в музыке на всю жизнь дилетантом.

Страхов много лет работал над составлением свода мыслей Льва Николаевича. Этот огромный труд остался ненапечатанным [8]. Бывали в доме Толстых Олсуфьевы. Старика графа Адама Васильевича я хорошо помню. Их московская квартира одно время была в одном дворе с нашей. Я помню, как вскоре после того, как я познакомился с Толстым, поздно вечером у нас раздался звонок. Я отворил входную дверь и увидел на пороге Льва Николаевича. От неожиданности у меня сердце упало. Оказалось, что Лев Николаевич пришел к Олсуфьевым и по ошибке позвонил не в их, а в наш флигель. Я проводил его до крыльца Олсуфьевых, но долго не мог забыть радостного чувства, что он стоял на пороге нашего дома.

Дочь Олсуфьевых Елизавету Адамовну («Лиза Олсуфьева», как звали ее все у Толстых) я никогда не видал. Незадолго или вскоре после моего знакомства она умерла, заразившись скарлатиной у себя в деревне, где она самоотверженно занималась лечением больных крестьян [9].

Лев Николаевич очень любил старика Олсуфьева, бывал с ним приветлив и ласков. Старик производил чрезвычайно хорошее впечатление. Он был нетороплив и мало говорил.

У Адама Васильевича Олсуфьева было два сына: Михаил и Дмитрий, из которых особенно Дмитрия я хорошо знал. Михаил Адамович был уездным предводителем дворянства Дмитровского уезда Московской губернии. Некоторое время он был одним из многочисленных претендентов на руку Татьяны Львовны.

Дмитрий Адамович был председателем губернской управы в Саратове, а позже, в «думские» времена, — членом государственного совета.

Я бывал у него в Саратове. Он был страстным любителем музыки и недурно играл в шахматы. Убеждений

он был правых. Человек был весьма интеллигентный и умный. Лев Николаевич его любил.

Близка была к Толстым семья Стаховичей. Их имение «Пальна» было в Елецком уезде Орловской губернии. Жили они или там или в Петербурге. В Москве бывали наездами. Отца я видел раз или два в Москве; встретился с ним и в Ясной. Он был приятный, учтивый человек. Хорошо читал вслух. Он нередко читал в кругу приближенных у Александра III. Между прочим, читал там «Власть тьмы», тогда цензурой к печати еще не разрешенную [10]. Помню, раз или два читал вслух рассказ Тургенева «Два приятеля». Очень ценил Льва Николаевича как художника, но его религиозные и общественные идеи были ему чужды и, по-видимому, неинтересны. Его сын Алексей Александрович был актером и пайщиком Художественного театра. Он недурно пел. Помню, однажды он пел в Хамовниках с М. Н. Климентовой-Муромцевой дуэт «La ci darem la mano» из «Дон-Жуана» Моцарта, и я им аккомпанировал.

Часто бывал Михаил Александрович, орловский губернский предводитель дворянства, светский лев, пользовавшийся в обществе большим успехом. Он был, кажется, неплохой оратор и как общественный деятель играл довольно видную роль. Считался либералом, но впоследствии его либерализма хватило только до партии «семнадцатого октября». Раз как-то читали вслух напечатанную в газете одну из речей М. А. Стаховича по какому-то патриотическому поводу; там были приблизительно такие слова: «За отечество на плаху, за царя на штыки...» Лев Николаевич, сидевший в стороне, вдруг вставил: «А за двугривенный на все, что угодно».

Из сестер Стахович Мария Александровна бывала у Толстых только в первые годы моего знакомства. Потом она вышла замуж и перестала бывать, кажется, из-за резкого несочувствия взглядам Льва Николаевича. Софья Александровна была ближе всех к семье и бывала очень часто и в Москве и в Ясной до самой смерти Льва Николаевича. Она была консервативных убеждений и предана православию, но Льва Николаевича очень любила и преклонялась перед ним как перед художником.

Видел я в Хамовниках раза два старика генерал-адъютанта Аркадия Дмитриевича Столыпина (отца



Л. Н. Толстой на прогулке

братьев Столыпиных — министра и журналиста). Он заведовал дворцовой частью в Москве и жил в Кремле. Это был высокий сгорбленный старик, с очень некрасивыми, крупными чертами лица, седой, но с черными густыми бровями, приятный. Лев Николаевич был с ним на «ты» (они были товарищами по Севастопольской кампании) и относился к нему ласково. Помню, раз, в именины Татьяны Львовны, в гостиной играли в винт за одним столом Лев Николаевич и Столыпин. Я тогда впервые увидел Льва Николаевича за картами, и это зрелище меня очень поразило. Я в те времена еще наивно думал, что Лев Николаевич только и должен изрекать великие истины...

Часто видел я у Толстых дядю Софьи Андреевны Константина Александровича Иславина. Он был старый дерптский студент; мешал свою речь с немецким языком, которым владел в совершенстве. Любил музыку, сам был музыкален. Служил он каким-то смотрителем при Шереметевском странноприимном доме.

ТОЛСТОЙ В ЖИЗНИ

Особенности устной речи Льва Николаевича.

Лев Николаевич слегка пришепетывал. Слово «лучше», например, в его произношении звучало приблизительно так: «лутце». Не знаю, было ли это только следствием старческого отсутствия зубов, или Лев Николаевич говорил так и в молодые годы. К сожалению, я не спросил об этом ни у кого из знавших Льва Николаевича молодым. Характерно, что сестра его Мария Николаевна (тоже глубокая старуха, не имевшая уже зубов) говорила так же. Надо вообще заметить, что склад речи и в особенности произношение отдельных слов были у них весьма сходными. Оба они совершенно чисто произносили буквы «р» и «л». Букву «г» Лев Николаевич в некоторых словах произносил как легкое французское «h», например, в словах: «господи», «богатый», «богатство». В словах: «что», «скучно», «конечно», и т. п. Лев Николаевич произносил «ч» как «ш»; «што», «скушно», «конешно»; слово «конечно» Лев Николаевич, впрочем, употреблял редко, говоря обычно не «конечно», а «разумеется». Также он чаще говорил «ежели», чем «если». Слова «первый», «зеркало» Лев Николаевич произносил как бы с мягким знаком после «р» — «перьвый», «зерькало».

Благодаря кого-нибудь, Лев Николаевич употреблял часто слово «благодарствую», «благодарствуйте». В слове «неужели» делал ударение на «у» — «неу́жели». Восклицание — «ах, батюшки!» произносил — «ах, батюшка!» Лев Николаевич говорил: «Штокгольм», «пришпект», «кофей»; слово «кресло» чаще употреблял во множест-

венном числе: «кресла», «в креслах». Вместо «английский» — говорил «аглицкий». Непромокаемое пальто называл «кожаном», армяк — «свитой». Лев Николаевич говорил: «прошлого году», употреблял простонародные выражения: «намедни», «давеча»; редко говорил: «вежливый», «вежливость», а почти всегда — «учтивый», «учтивость». Слово «этакий» произносил «эдакой». Не говорил «дò смерти», «пять томòв книг», «шесть этажѐй», а «до смѐрти», «пять тòмов», «шесть эта̀жей». Или: не в «Русских ведомостя́х», а — «в Русских вѐдомостях»; вместо — «шлем в пика̀х» или «в трефа̀х» — «шлем в пи́ках», «в трѐфах».

Желая что-нибудь очень похвалить, Лев Николаевич употреблял слово «превосходно», подчеркивая и растягивая в нем первый слог. Иногда говорил также по-тульски: «дюже хорошо». Говорил «мама̀», «папа̀», не склоняя эти слова. О своих родителях, впрочем, говорил «моя мать», «мой отец». Тетушек своих называл — «тетенька». Уменьшительные женские имена в семье Толстых образовывал: «Машенька», «Лизанька», «Варенька» и т. п.

Лев Николаевич не говорил: «играть на рояле», а всегда — «играть на фортепиано» (что безусловно правильнее, так как фортепиано — понятие общее, а рояль — частное), слово «фортепиано» чаще употреблял во множественном числе: «играть на фортепианах». Слово «скрипка» произносил по-старинному — «скрыпка». В шахматной игре «проходную» пешку называл — «пройдѐная» пешка.

Лев Николаевич не говорил — «боронить», «бороновать», а употреблял местный тульский глагол «скородить». Не говорил — «пять братьев», а — «пять братов»; также — не «три рубля», а «три рубли». Не говорил — «раскладывать пасьянс» или «пасьянс сошелся», а — «делать пасьянс», — «пасьянс вышел». Также — не «заварить чай», а — «сделать чай».

Фамилию «Ноздрев» из «Мертвых душ» произносил «Нòздрев», как, вероятно, говорил и сам Гоголь, так как Толстой, несомненно, слышал эту фамилию от современников, знавших, как произносил ее Гоголь. В фамилии «Ростов» из «Войны и мира» делал ударение — «Рòстов». Княгиню Да̀шкову называл — Дашко́ва. Фамилию своей тетки Т. А. Ергольской произносил:

«Ёргольская» (с ударением на первом слоге). Фамилию композитора Шопена Лев Николаевич произносил по-французски — «Chopin» и не склонял.

Лев Николаевич не выносил, когда говорили: «одеть шляпу» (пальто и проч.) вместо «надеть», справедливо считая это безграмотным.

Крайне редко употреблявший какие бы то ни было грубые слова, Лев Николаевич про дурной запах обыкновенно говорил — «воняет», выражение, в старину гораздо более распространенное, чем сейчас.

Когда Льву Николаевичу хотелось спать, он говорил иногда: «я падаю, так спать хочу». При сильной усталости, особенно душевной, Лев Николаевич говорил: «Я весь вышел». Когда происходило что-либо неприятное, долго сидели скучные гости и т. п., Лев Николаевич иногда говорил: «Домой желаю!» Мне объясняли, но я теперь забыл происхождение этого семейного, толстовского выражения. В конце жизни, когда Льву Николаевичу было около восьмидесяти лет и за восемьдесят, он говорил, если плохо себя чувствовал: «Я себя чувствую так, как будто мне семьдесят лет».

Лев Николаевич любил вспоминать малоизвестные народные приметы или поговорки, например: «осаживай обручи до места», или — в дождливую погоду: «сено черное — каша белая» (то есть, когда от дождей сено чернеет, гречиха сильно цветет белым цветом); «февраль — кривые дороги»; или — «летом — день мокнет, час сохнет, осенью — час мокнет, день сохнет».

Когда Лев Николаевич был моложе, он часто выходил на шоссе и заговаривал с прохожими, странниками, богомольцами и нищими, запоминая и записывая их выражения и обороты речи. Он всегда восхищался русским языком простого народа, особенно крестьян. Говорил с крестьянами Лев Николаевич очень просто, но никогда не подлаживался под их речь. Крестьянам Лев Николаевич всегда говорил «ты». Обычно и они ему говорили «ты», но нередко проскакивало и «ваше сиятельство», на что он просто не обращал внимания. Лев Николаевич любил слегка подвыпивших и охотно беседовал с ними. Он говорил: «Я люблю пьяненьких».

В старости Лев Николаевич ходил сгорбившись и не казался крупным; на самом же деле он был выше среднего роста и очень широк в плечах. Волос на голове у

Льва Николаевича в последние годы оставалось немного, но лысым он не был. На голове его волосы не были совсем седыми, а скорее темными. Длинная же борода была седая, даже с желтизной, как у глубоких стариков. У Льва Николаевича были густые брови и глубоко сидящие небольшие глаза, вследствие чего на портретах и издали казалось, что в его лице есть что-то суровое. На самом же деле из-под густых бровей смотрели хотя и необычайно проницательные, но в то же время удивительно добрые, серо-голубые глаза, освещавшие все лицо Льва Николаевича ясным, мягким светом.

Походка у Льва Николаевича была очень своеобразная: он мягко ступал, широко расставив в разные стороны носки и наступая сначала на пятку. Его походку унаследовал Илья Львович.

Говорил Лев Николаевич большей частью тихо, но голос у него был очень сильный; когда ему приходилось окликнуть кого-нибудь издалека, меня всегда поражала сила его голоса.

Верхом Лев Николаевич ездил мастерски и, севши на лошадь, как бы преображался, делался моложе, бодрее, физически крепче. Лев Николаевич любил лошадей и знал в них толк. Говоря о лошадях и обо всем к ним относящемся, он употреблял специальные термины, которым при случае учил и меня. К лошадям был требователен, как знаток, и редко хвалил их без оговорок и критических замечаний.

В молодости Лев Николаевич был чрезвычайно силен. Довольно сильным он оставался до конца жизни. Помню, раз пробовали, сидя за столом, опершись локтями об стол и взявшись рука об руку, пригибать к столу руки, — кто сильней. Лев Николаевич одолел всех присутствующих (это было в 1908—1909 году). Я не мог оказать ему ни малейшего сопротивления.

У Льва Николаевича были большие, красивые, породистые руки, с крепкими, правильной формы ногтями.

Каждый человек обладает своим, ему свойственным, запахом. Я хорошо знал и помню тонкий запах, исходивший от Льва Николаевича. Так должны были, казалось мне, пахнуть отшельники в пустыне — что-то еле слышное, слегка напоминающее аромат кипарисового дерева.

Вставал Лев Николаевич обычно часов в восемь — в девятом и выходил до кофе на прогулку, во время которой любил быть один. Это было время его уединенной молитвы и размышлений о предстоящей работе. При возвращении домой Льва Николаевича почти всегда ожидали посетители, что бывало ему очень тяжело. Утренний кофе (ячменный) в небольшом кофейнике и два-три куска сухого хлеба Лев Николаевич брал с собой в кабинет, откуда иногда еще раз ненадолго выходил, если приезжал кто-нибудь из приятных ему гостей. Работал Лев Николаевич у себя большей частью часов до двух, после чего завтракал и отправлялся на прогулку, чаще всего верхом. Ел Лев Николаевич мало. За завтраком почти всегда — одно яйцо всмятку, которое он выливал в небольшой стаканчик и крошил туда белого хлеба. Кроме того, он съедал немного овсянки. После прогулки Лев Николаевич на полчаса или час ложился отдохнуть и большей частью спал. К обеду выходил, если был здоров, бодрой, легкой походкой, на ходу расправляя руками свою длинную бороду. За обедом Лев Николаевич ел несколько больше: суп, какое-нибудь второе (котлеты из риса, картофеля и т. п. или зелень) и сладкое. Лев Николаевич очень любил томаты и ел их сырыми, нарезая кружочками и поливая прованским маслом. Вино пил редко, но иногда, когда плохо себя чувствовал, выпивал небольшую рюмку крепкого вина — мадеры или портвейна. Иногда, если ему что-нибудь нравилось, например, ягоды (клубника), кефир и проч., Лев Николаевич бывал неосторожен и вредил своему здоровью. Молока Лев Николаевич не любил. Рыбу не любил также и не ел ее, по его словам, и тогда, когда не был еще вегетарианцем.

Лев Николаевич прежде много курил; он говорил мне, что насколько ему было легко перестать есть мясо, настолько трудно было отвыкнуть от курения. Это далось ему не сразу. Он несколько раз бросал курить и начинал снова, пока не бросил окончательно.

Одевался Лев Николаевич очень просто и скромно: темные брюки и серая, летом парусиновая или белая, блуза, перетянутая ремешком, за который Лев Николаевич часто засовывал одну или обе руки (всем известная его поза). Обувался Лев Николаевич или в сапоги — обычно из хорошей тонкой кожи — или в штиблеты.

Штиблет новых я на Льве Николаевиче не видал никогда: всегда старые, сношенные, часто заплатанные. Летом и осенью Лев Николаевич носил обыкновенного покроя двубортное пальто; на голову надевал или круглую шапочку, или мягкую легкую серую, довольно старую, но когда-то, видимо, дорогую фетровую шляпу. В жару надевал белую широкополую полотняную складную шляпу (на зеленой подкладке, довольно оригинального фасона, не помню кем ему подаренную) или белый полотняный картуз. Зимой носил валенки и тулуп. В сильные морозы надевал на голову башлык, который завязывал как-то по-бабьи, запрятывая в него и бороду.

Однажды в Москве — это было на другой день после свадьбы Татьяны Львовны [1], когда родные и друзья провожали ее на Брестском вокзале (она уезжала с мужем за границу) — я видел Льва Николаевича в хорошей меховой шубе с прекрасным воротником; вероятно, он носил ее прежде, когда еще одевался «барином». В тот день было холодно, а Лев Николаевич был не совсем здоров. В первую минуту я не узнал его, так мне было странно видеть его в такой одежде.

Когда Льву Николаевичу нездоровилось, он сидел обыкновенно у себя в комнате с книгой, в теплом халате, и надевал на голову круглую черную шелковую ермолку; при этом он иногда необыкновенно громко зевал (это бывало большей частью в сумерки), что, особенно летом при открытых окнах, раздавалось по всему дому и было верным признаком, что ему нездоровится. Если в комнатах было холодно, Лев Николаевич надевал вязанную не то куртку, не то кофту из коричневой шерсти, которую ему связала, кажется, одна из сестер Стахович. Когда Льву Николаевичу нездоровилось, особенно если у него были «перебои» пульса, он часто покашливал характерным сухим и коротким сердечным кашлем.

Смеялся Лев Николаевич детским, заразительным, необыкновенно искренним смехом, иногда до слез; но смеялся довольно редко. Плакал легко, больше не от горя, а когда рассказывал, слышал или читал что-нибудь трогавшее его. Часто плакал, слушая музыку.

Лев Николаевич странно держал перо: он не выставлял вперед ни одного пальца, а держал их все горсточ-

кой и водил пером по бумаге круглыми движениями, почти не отрывая пера от бумаги и не делая нажимов. Черновые рукописи Льва Николаевича читаются трудно и требуют для разбора большой привычки. Он писал сначала ряд строк, часто зачеркивая и исправляя, потом вписывал новый ряд между прежними, делал разнообразные сноски и вставки на полях, поперек написанной страницы, а также на отдельных клочках бумаги,— многие слова не дописывал, а часто вместо слова писал одну букву. Такая рукопись на первый взгляд производит впечатление какой-то черной икры, в которой нет возможности разобрать отдельные слова. Бывали случаи, когда он сам не мог разобрать им написанного. Впрочем, несколько близких ко Льву Николаевичу лиц, прибегая иногда к помощи лупы, почти всегда в конце концов разбирали все им написанное.

Лев Николаевич трогательно любил детей и умел с ними обращаться. Дети шли к нему и охотно слушали его рассказы.

Животных, особенно лошадей и собак, Лев Николаевич любил, но лая собак не выносил; когда вблизи лаяла собака, он испытывал от этого положительное страдание. Не любил также, когда при нем насвистывали,— это его всегда раздражало и шокировало — как бы казалось неприличным.

Лев Николаевич очень любил цветы. С прогулки он постоянно приносил букет полевых цветов. Из садовых цветов больше всего любил душистый горошек и гелиотроп.

На пустяки Лев Николаевич был скуп: жалел бумагу — писал часто на клочках; не любил проигрывать в карты, хотя в Ясной играли всегда по очень маленькой, и игра кончалась копейками; жалел надевать новые вещи.

Часто Лев Николаевич увлекался чем-нибудь, о чем услышит или прочтет. Такие увлечения обычно скоро проходили. Это были: гимнастика, кумыс, кефир, чай из черники и проч. Однажды у Льва Николаевича был посетитель, рассказавший о себе, что он раз в неделю сутки ничего не ест. Лев Николаевич попробовал и это.

Лев Николаевич любил купаться и до конца жизни летом, если бывал здоров, купался. Плавал Лев Николаевич как-то по-лягушечьи. Он купался, как мужики,

оставаясь недолго в воде, и, как они, купался серьезно, не торопясь, как будто дело делал.

Когда я в 1896 году летом был в Ясной, Лев Николаевич сказал мне:

— Нынешнее лето я в первый раз не работаю в поле. Стар стал, чувствую, что мне это было бы трудно.

Лев Николаевич прекрасно читал вслух — просто, но в художественных вещах изменяя интонации для различных действующих лиц. Я слышал от него, между прочим, «Пиковую даму» Пушкина (не целиком); Герцена: «Поврежденный» (эту вещь Лев Николаевич ставил очень высоко, но говорил, что конец слабее остального — искусствен и сентиментален); «Доктор, умирающий и мертвые» (не целиком); отрывки статей из «Колокола», например описание смотра войск, на котором были австрийский император и Николай I (это описание, неизменно приводившее Льва Николаевича в восхищение, он при мне читал вслух несколько раз) [2]; Чехова: «Душечка» (несколько раз), «Мужики», «В овраге».

К неточностям и ошибкам при описании крестьянского быта Лев Николаевич относился очень строго. Помню, когда он читал «Мужиков» Чехова, он сделал несколько таких замечаний. Это было очень давно, так что я сейчас не припомню, в чем они заключались. Чехова Лев Николаевич ставил чрезвычайно высоко, ценя его художественный талант, ум и тонкое знание русского языка, но его драматические произведения не любил совсем.

Лев Николаевич умел ярко и сжато пересказать содержание прочитанного или вспомнившегося ему художественного произведения. Слушать такие пересказы было истинным наслаждением.

Хорошо зная языки, Лев Николаевич свободно, почти без запинок, переводил французские, английские или немецкие печатные произведения и читал их сразу вслух по-русски.

Льву Николаевичу редко приходилось, и он не любил и избегал, говорить публично. Он говорил мне, что в те немногие разы, когда он выступал публично, он выбирал среди публики одно какое-нибудь обратившее на себя его внимание лицо и говорил все время, как бы обращаясь к нему. Это помогало ему сосредоточиться

и справляться с волнением, возникавшим от непривычки говорить публично.

Когда Лев Николаевич писал художественные вещи, он старался изучить обстановку и особенности быта описываемой эпохи или среды и был в этом отношении очень к себе строг. Работая над «Хаджи-Муратом» или начиная повесть о «Федоре Кузьмиче» (работа, к которой он относился с большим увлечением и любовью), он обращался за справками к разным лицам, между прочим к В. В. Стасову, который высылал ему из петербургской Публичной библиотеки печатные материалы (гоффурьерские журналы, мемуары и т. п.), а также копии и выдержки из различных рукописных источников.

Однажды Стасов прислал Льву Николаевичу копию с письма одного из многочисленных случайных фаворитов Екатерины Второй с цинически-откровенными, ужасными подробностями об Екатерине. Лев Николаевич показывал мне это письмо, а одной подробностью из него воспользовался в своем неоконченном наброске повести о «Федоре Кузьмиче» [3].

Лев Николаевич очень любил сказки «Тысяча и одна ночь». Много раз при мне он вспоминал отдельные сказки и пересказывал их содержание. За год или два до его смерти ему кто-то прислал новое полное французское издание «Тысячи и одной ночи» [4]. Лев Николаевич снова с радостью их перечитывал и высказывал сожаление, что из-за обилия слишком откровенных подробностей эротического характера он не может дать этой книги никому из женщин.

Читал Лев Николаевич необыкновенно много самых разнообразных по содержанию книг: философских, экономических, научных, художественных, журналов и т. п. на нескольких языках. Получал он книги и периодические издания со всех концов света в огромном количестве. Не успевая всего читать, Лев Николаевич также многое, менее его интересовавшее, просматривал, поразительно схватывая даже при беглом просмотре самую сущность книги и счастливо попадая на особенно характерные или интересные места.

Из искусств Лев Николаевич менее чуток был к живописи. Чисто живописные красоты его как бы совершенно не интересовали и оставляли равнодушным. Он

подходил к живописи главным образом со стороны ее содержания (сюжет) или со стороны психологической.

Едва ли не больше всех искусств захватывала Льва Николаевича музыка. Сам от природы музыкальный и в молодости одно время сильно увлекавшийся игрой на фортепиано, Лев Николаевич ни в какой мере не был музыкантом, а воспринимал музыку как любитель. Тем не менее он обладал выдающейся чуткостью к музыке. Ему нравилось только самое лучшее как из музыкальных произведений, так и в области музыкального исполнения. Не нравилось ему или оставляло его равнодушным иногда то, что, с моей точки зрения, было прекрасным (например, музыка Вагнера), но то, что ему нравилось, было всегда действительно хорошо.

Из всех композиторов Лев Николаевич, как известно, больше всех любил Шопена. В Шопене Льву Николаевичу близка была его родственная славянская душа, но было, по-видимому, в самой индивидуальности Шопена что-то особенно близкое Льву Николаевичу. Он у Шопена любил все: баллады, сонату (си-бемоль минор, я не знаю, слыхал ли он когда-нибудь си-минорную), скерцо, ноктюрны, прелюдии, мазурки — все, все... Помню, я играл как-то целую большую серию мазурок — десять — двенадцать, и Лев Николаевич слов не находил, хваля их. Прелюдии я играл ему все. Слушая Шопена, Лев Николаевич испытывал чувство полной художественной удовлетворенности, чувство, что именно так это должно быть — ничего лишнего, ничего недосказанного.

Девятую симфонию Бетховена Лев Николаевич в оркестре никогда не слыхал. В конце его жизни мы с Танеевым снова играли ее в Ясной, на этот раз в переложении для двух фортепиано, и снова она произвела на него сильное впечатление[5]. Интересно отношение Льва Николаевича к Бетховену. Когда Лев Николаевич о нем говорил или писал, он сердился на него, осуждал его творческие пути и считал его началом и причиной упадка в музыкальном искусстве. Он сказал как-то:

— Музыкальный разврат начался с Девятой симфонии.

Между тем, когда он слушал музыку Бетховена, она почти всегда его восхищала, захватывала. Он неодно-

кратно после исполнения какой-нибудь из сонат Бетховена говорил мне:

— Вы меня нынче примирили с Бетховеном.

Но проходило время, снова речь заходила о Бетховене, и Лев Николаевич опять возвращался к своей обычной точке зрения.

Одно время мы с женой часто играли в Ясной в четыре руки симфонии Гайдна, которые Лев Николаевич, как вообще музыку Гайдна, очень любил.

Льву Николаевичу казалось вероятным предположение о славянском происхождении Гайдна, так как в его веселых, народного характера темах слышно больше славянского, чем немецкого элемента. Переиграли мы много симфоний. Помню G-dur, B-dur fis-moll (Abschied simphonie), C-dur и др.

Играли классические увертюры (Лев Николаевич очень любил увертюры Вебера) и другие из имевшихся в Ясной Поляне нот. Лев Николаевич этой музыке всегда радовался.

Лев Николаевич любил музыку с определенно выраженным ритмом, мелодически ясную, веселую или полную страстного возбуждения. Музыка с сентиментальным оттенком или ноюще-грустная мало трогала его. В сложном изложении он не всегда мог (особенно с первого раза) разобраться и потому судил не всегда справедливо, не отличая действительных нагромождений, неясностей и усложнений ради усложнений от моментов, насыщенных богатым содержанием, хотя и сложных, но по существу ясных и логичных.

Когда Лев Николаевич слушал музыку, если исполняемое и исполнитель ему нравились, она очень сильно его захватывала. Он иногда не мог даже удержаться и во время исполнения как-то одобрительно кряхтел, а то даже и вскрикивал: «А-а!» Чаще же всего обливался слезами. Иногда, прослушав какую-нибудь вещь своего любимого Шопена, он вскрикивал:

— Вот как надо писать! — или: — Das ist Musik! *

Мне не очень часто случалось наблюдать Льва Николаевича во время музыки, так как большей частью я играл ему сам.

---

* Вот это музыка! *(нем.)*

Во время игры он обычно садился в старинное, низкое и широкое дедовское кресло, обитое дешевой материей, стоявшее как раз у хвоста рояля.

Льва Николаевича всегда глубоко интересовал вопрос о том, что такое музыка, и о философском обосновании ее внутренней сущности. В «Крейцеровой сонате» он восклицает: «Вообще страшная вещь музыка! Что это такое? Я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что делает?»[6] Страшную силу музыки Лев Николаевич неоднократно подчеркивает.

Сущность музыки действительно является трудно-объяснимой. Почему звуки различной высоты и степени силы, отдельные или одновременно звучащие многие, следуя друг за другом во времени и соединяясь в какие-то мерные ритмические построения, способны оказывать такое мощное, заражающее воздействие на душу человека (отчасти и животного)? Почему в одном случае эти звуковые сочетания являются бессмысленным набором звуков, а в другом — симфонией Бетховена? Загадка эта была и остается неразрешенной, а может быть, и неразрешимой.

Самое существо музыкального искусства неустойчиво. Всякое музыкальное произведение протекает во времени, а этот его временной строй не может быть точно зафиксирован. Всякая запись музыки является более или менее несовершенным приближением. Вообще самое существование записанного музыкального произведения только потенциально — это лист бумаги, испачканный черной типографской краской. Между автором и слушателем неминуемо должно существовать третье лицо — исполнитель, без которого музыки нет, а музыкальное произведение — фикция. Исполнитель вынужден всякий раз заново (и всегда различно) творчески воссоздать замысел автора. Всякое музыкальное исполнение всегда однократно, и никогда не бывает оно вполне адекватно замыслу автора.

Я не хочу сказать, что все высказанное здесь мною точно выражает мысли Льва Николаевича о музыке. Но обо всем этом мне много раз случалось с ним беседовать, и все это очень его интересовало.

Из различных попыток философского объяснения музыки Льву Николаевичу казалось наиболее значительным смелое и своеобразное воззрение на музыку Шопенгауэра, хотя он и не считал его действительно объясняющим ее сущность [7].

Лев Николаевич проводил аналогию между музыкой и сном. Во сне в нас часто бывает несоответствие между видимыми событиями и нашими ощущениями; переживаемые нами во сне чувства часто не соответствуют вызвавшим их поводам. Это происходит оттого, что во сне мы как бы впадаем в различные состояния: любви, злобы, радости, умиления и т. п., которые совершенно не зависят от случайных, возникающих в нас образов, но по привычке невольно нами связываются с ними в цепь причин и следствий. Так же, по мнению Льва Николаевича, и музыка не порождается внешними образами и не вызывает их в нас (эти образы во всяком случае — элемент привходящий, не определяющий существа музыки); музыка же порождается «состояниями» любви, радости, печали, страсти и т. д. и вызывает их в нас.

Лев Николаевич был от природы (как большинство членов семьи Толстых) очень музыкален. Были у него в молодости периоды страстного увлечения музыкой, когда он часами занимался на фортепиано и даже, по-видимому, слегка мечтал стать музыкантом. Изучал он одно время и теорию музыки. В одном письме 50-х годов Лев Николаевич пишет: «В очень несовершенном виде испытал счастье артиста».

При мне у Льва Николаевича были из выдающихся артистов: Ф. И. Шаляпин (был в Москве в Хамовниках), М. А. Оленина д'Альгейм приезжала в Ясную [8]. Ее театральная, несколько аффектированная манера исполнения мало тронула Льва Николаевича. «Полководец» и «Детская» Мусоргского показались Льву Николаевичу совершенно фальшивыми — «стыдно слушать». Превосходно спетые ею (без сопровождения) несколько русских народных песен привели Льва Николаевича в восторг.

Приезжала несколько раз в Ясную и привозила с собою клавесин Ванда Ландовска [9]. Она играла очень много на фортепиано и на клавесине и доставляла Льву Николаевичу большую радость. Он восхищался

до слез старинными композиторами в ее исполнении. Однажды Ландовска играла Льву Николаевичу сочинения Шопена, но исполнение ею Шопена понравилось ему значительно меньше.

С. И. Танеев был близок к Толстым, часто бывал у них и два лета (1895—1896 гг.) прожил в Ясной Поляне. Сочинения Танеева совершенно не нравились Льву Николаевичу. Как пианиста Лев Николаевич ценил его очень высоко и слушал его игру с большим наслаждением. Из крупных вещей при мне Танеев играл Льву Николаевичу: сонаты ор. 26 (с похоронным маршем) и ор. 31, d-moll Бетховена, его же четвертый концерт и «Davidsbündler» Шумана.

Из больших музыкантов был при мне в Хамовниках однажды Римский-Корсаков[10]. Римский-Корсаков враждебно относился к взглядам Льва Николаевича на искусство, но высказываться остерегался, так что, помню, особенно интересных разговоров не было, а шел обычный светский разговор за вечерним чаем.

Французский ансамбль старинных инструментов во главе с братьями Казадезюс, приезжавший осенью или зимою, кажется, 1909 года в Ясную вместе с С. А. Кусевицким (контрабас)[11], понравился Льву Николаевичу меньше, чем я ожидал.

Незадолго до моего знакомства с Толстым Лев Николаевич был в концерте знаменитого Чешского квартета, а после и «чехи» были в Хамовниках и много ему играли. Лев Николаевич от их игры был в восторге.

Несколько раз при мне Лев Николаевич вспоминал с большим восхищением игру братьев Рубинштейнов, особенно Антона[12].

Лев Николаевич очень любил русские народные песни, больше веселые, чем протяжные. Любил балалайку, гитару, даже гармонику. Любил также цыганские старинные романсы (семейное толстовское пристрастие).

Лев Николаевич любил всякую игру и интересовался ею. Известно, что в молодости у него был даже период увлечения азартной игрой (карты, «китайский биллиард»). Лев Николаевич увлекался гимнастикой, коньками, велосипедом (на котором научился ездить, будучи почти семидесяти лет от роду), крокетом, теннисом, городками и проч.

В Ясной играли также в винт. Иногда месяцами не играли совершенно, а иногда наступала полоса винта, и играли по вечерам часто, правда очень недолго. Обыкновенно час или полтора после вечернего чая. В винт Лев Николаевич играл довольно плохо, но азартно. Играли по самой маленькой, так что игра всегда кончалась копейками, и небольшими (случая, чтобы расчет доходил до рубля, при мне ни разу не было). Лев Николаевич по-детски любил выигрывать, а проигрышем огорчался. В винт играли «с покупкой» и «с гвоздем», а то еще «с пересадкой» (я уже не помню, в чем эта игра заключается). «Распасовку» тоже разыгрывали. Софья Андреевна в винт играла совсем плохо, так что с нею играть было скучно. Она этого не замечала и обижалась, если ее не приглашали в игру, поэтому Лев Николаевич всегда или сам звал ее, или посылал за ней кого-нибудь.

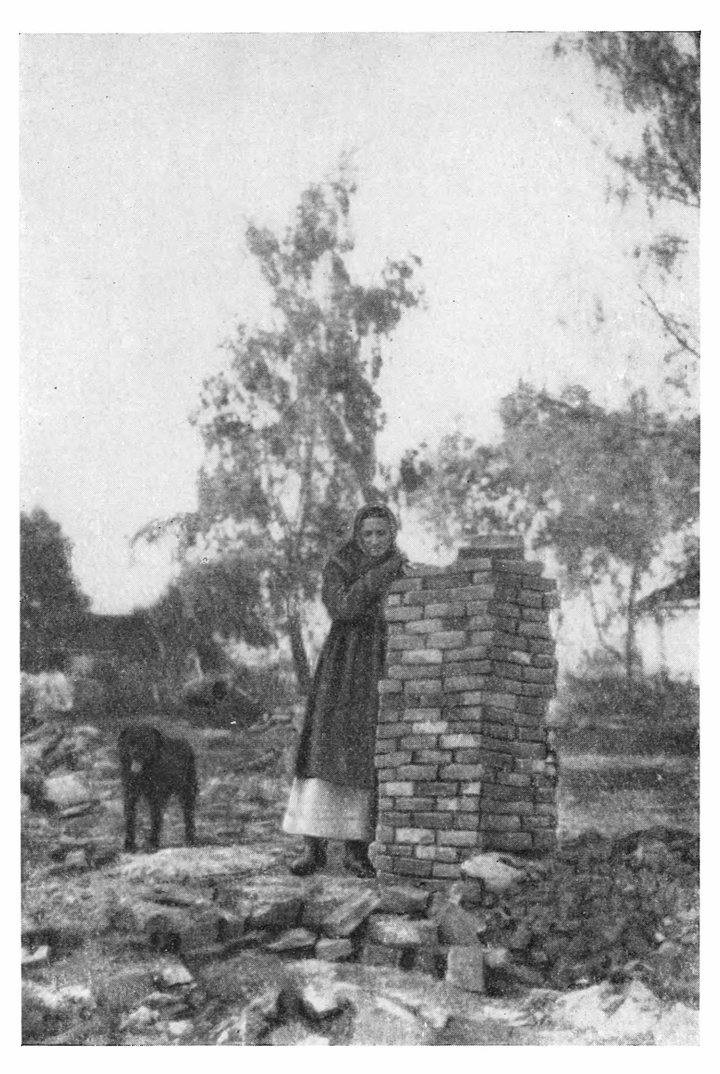
Из всех игр только к одной, однако, он сохранил любовь и живой интерес от молодых лет до глубокой старости — это к шахматам.

Лев Николаевич никогда не был шахматистом в серьезном смысле этого слова. Он никогда не проявлял особого интереса (и едва ли только по отсутствию необходимого для этого досуга) к шахматной теории и знал, и то почти только по названию и первым определяющим ходам, два-три дебюта. Тем не менее шахматная игра как борьба двух интеллектов и двух волевых индивидуальностей, несомненно, его увлекала. Лев Николаевич утверждал, что шахматы не утомляют его, что они, как это ни странно, являются лучшим для него умственным отдыхом; он объяснял это тем, что шахматы занимают, по-видимому, совсем другие мозговые центры, чем те, которые утомлены его предшествовавшей умственной работой.

Лев Николаевич не относился к шахматам только как к своеобразной игре ума. Шахматы его, несомненно, увлекали, и недаром он, всегда строгий и чутко следящий за собою, сказал мне однажды:

— Надо бросить играть в шахматы, они вызывают недоброе чувство к противнику.

Однако Лев Николаевич шахмат не бросил и охотно играл до конца дней своих.



М. А. Шмидт у своего сгоревшего дома

Стиль его игры был неизменно атакующий. Он атаковал во что бы то ни стало, а потому хотя и менее изобретательным, но более искушенным в игре и более осторожным противникам проигрывал. В момент катастрофы, когда его увлекательные шахматные комбинации рассыпались, как карточный домик, от простого, но им не предусмотренного хода, Лев Николаевич приходил в неописуемый ужас, хватался за голову и вскрикивал так громко, что не знавшие, в чем дело, пугались.

Когда же атака удавалась и партия приходила к победному концу, Лев Николаевич искренне радовался. Он сохранил до конца дней своих эту способность подлинного гения испытывать детскую, непосредственную радость...

Я был шахматным партнером Льва Николаевича в течение почти пятнадцати лет. За это время мы сыграли с ним около семисот партий. К сожалению, я не догадался записать ни одной из них. Если даже лучшие из них едва ли представили бы серьезный интерес для шахматиста, то как лишний штрих к выяснению исключительной личности Льва Николаевича они, разумеется, были бы весьма интересны.

Кстати, вспоминаю рассказ Льва Николаевича о Тургеневе. Случай этот Тургенев рассказал Льву Николаевичу сам в один из своих последних приездов в Ясную. Тургенев был страстным любителем шахматной игры и практическим игроком значительной силы. Однажды он принимал участие в любительском турнире в одном из парижских кафе. Играя решительную партию с каким-то поляком, опасным противником (выигрыш партии давал Тургеневу первый приз), он после хода противника заметил возможность хода, выигрывающего ладью. Не допуская мысли о грубой ошибке сильного игрока, он стал искать скрытой ловушки, очень долго думал и наконец, ничего не усмотрев, робко сделал свой ход. Противник, не делая ответного хода, сдался.

Кроме всевозможных посетителей, желавших побеседовать со Львом Николаевичем, спросить его совета, помощи или, наконец, просто взглянуть на него, в Ясную заходило великое множество нищих, как прохожих, случайных, так и местных, более или менее постоянных. Лев Николаевич всем им подавал и всем поровну, если не ошибаюсь, по гривеннику. Для Льва Николаевича

это было крайне мучительно, — он болезненно сознавал бесцельность, а часто и вред такой помощи, однако не подавать им также не мог. Он испытывал после таких посещений нищих положительно физические страдания.

Был в окрестностях Ясной нищий Фаддей (из деревушки Деменки) — особенно назойливый и неприятный; он никогда ничем не был доволен, все ему было мало, и избавиться от него было очень трудно: он ворчал, ругался и упорно не желал уходить. Лев Николаевич старался и с ним быть кротким, но это ему не всегда удавалось, — он не выдерживал и раздражался.

Ко Льву Николаевичу часто обращались знакомые и незнакомые за советами в трудных случаях жизни. В этих случаях Лев Николаевич очень не любил давать советы, не желая и считая вредным оказывать нравственное давление.

Когда к нему обращались, например, молодые люди, собирающиеся по религиозным убеждениям отказаться от военной службы, он обычно отговаривал их, справедливо полагая, что самое обращение к нему за советом уже является признаком недостаточной твердости готовящегося к отказу.

Помню юмористический случай, переданный мне самим Львом Николаевичем.

Один молодой человек рассказал ему историю своего романа и заключил ее вопросом: жениться ли ему?

Лев Николаевич ответил:

— Разумеется, нет!

И на недоумение вопрошавшего сказал:

— Да ежели бы вам следовало жениться, вы никогда не стали бы меня об этом спрашивать.

Лев Николаевич проявлял довольно часто, особенно в полушутливых беседах, черты женофобства, скептически отзываясь об умственных и моральных качествах женщин. В то же время в его отношении к женщинам проявлялась старинная рыцарская учтивость.

Чистотой женских нравов Лев Николаевич очень дорожил, часто принимая, например, меры, чтобы слишком откровенная книга не попала в руки кому-либо из его уже совершенно взрослых дочерей.

Лев Николаевич отличался удивительной терпимостью к людям. Когда при нем кого-либо осуждали, он

останавливал осуждавших и говорил: «Простите его» или «богу всякие нужны».

Общаясь с людьми заведомо порочными или совершившими какой-нибудь поступок морально-предосудительный, Лев Николаевич никогда не давал им почувствовать, что он осуждает их или относится к ним с некоторым пренебрежением. Было, однако, людское свойство, к которому он относился строго. Это — самомнение и самоуверенность. К самоуверенным людям Лев Николаевич относился отрицательно, каковы бы ни были их положительные качества. К ним он иногда бывал нетерпим и даже резок с ними, не умея сдерживать проявление своей антипатии, в чем потом очень каялся.

Не склонный ни к какому суеверию, Лев Николаевич все-таки обращал внимание на некоторые приметы. Например, отмечал роль 28-го числа в его жизни: родился 28 августа 1828 года; первый сын родился у него 28 июня, и многие другие значительные события его жизни приходились на 28-е число — вплоть до ухода его из Ясной — 28 октября 1910 года.

В дневнике Льва Николаевича есть запись, указывающая, что ему послышался как бы какой-то голос, назвавший не помню какое число, кажется, пятнадцатое марта. Льву Николаевичу казалось, что он должен в это число умереть, — на это есть несколько указаний в его дневнике [13].

Лев Николаевич придавал значение снам; интересовался вопросом о происхождении и психологии сновидений; неоднократно видел во сне художественные сюжеты. Один из последних своих рассказов Лев Николаевич назвал: «Что я видел во сне» [14]. О таком же художественном сне он говорил Александре Львовне в Шамардине, но не рассказал его содержания, которое с ним и погибло [15].

Полушутя, Лев Николаевич иногда загадывал на картах — выйдет ли пасьянс.

Лев Николаевич был в высшей степени мужествен и смел. Я не могу себе представить его испуганным, боящимся чего-либо.

Припоминаю один случай, бывший, если не ошибаюсь, зимою 1908—1909 года.

Я приехал в Ясную утром. Был мороз градусов пять-шесть и небольшой ветерок, но, в общем, погода хоро-

шая. Лев Николаевич сказал мне, что ему прислала какая-то дама (не помню, из-за границы или из России) несколько сот рублей, с тем чтобы на эти деньги он помог кому-нибудь из нуждающихся крестьян Ясной Поляны или ее окрестностей.

Лев Николаевич слышал о нужде в одной из небольших деревень верстах в восьми-девяти от Ясной по ту сторону Московско-Курской железной дороги и предложил мне съездить с ним перед обедом туда.

Мы отправились вдвоем в маленьких санях. Лев Николаевич правил. Когда мы подъезжали к станции Засека, начиналась небольшая метель, которая становилась все сильнее, так что в конце концов мы сбились с пути и ехали без дороги. Поплутав немного, мы заметили невдалеке лесную сторожку и направились к ней, чтобы расспросить у лесничего, как выбраться на дорогу.

Когда мы подъехали к сторожке, на нас выскочили три-четыре огромные овчарки и с бешеным лаем окружили лошадь и сани. Мне, признаться сказать, стало жутко...

Лев Николаевич решительным движением передал мне вожжи и сказал: «Подержите», а сам встал, вышел из саней, громко гикнул и с пустыми руками смело пошел прямо на собак.

И вдруг страшные собаки сразу затихли, расступились и дали ему дорогу, как власть имущему. Лев Николаевич спокойно прошел между ними и вошел в сторожку.

В эту минуту он со своей развевающейся седой бородой больше похож был на сказочного героя, чем на слабого восьмидесятилетнего старика.

Метель все усиливалась, мы повернули обратно и поехали в Ясную.

СЕСТРА ТОЛСТОГО

Сестру Льва Николаевича, монахиню Марию Николаевну Толстую, я знал очень хорошо. Она каждый год гостила в Ясной, а после смерти Льва Николаевича жила летом в Телятинках в 1911 году, где и мы проводили лето.

Мария Николаевна была маленького роста, довольно полная; благодаря широкой черной монашеской одежде никаких контуров ее тела не чувствовалось, было впечатление черной сплошной фигуры, на которой выделялись только кисти рук, маленьких, породистых, — на правой руке черные четки. Небольшая голова, всегда покрытая черной монашеской скуфейкой, закрывающей и часть лба. Из-под бровей смотрели, хотя и закрытые широкими очками, большие черные глаза, светившиеся умным, слегка лукавым блеском. Крупный нос, похожий на нос Льва Николаевича, сжатые губы с чуть заметной, как бы насмешливой улыбкой. Говоря, Мария Николаевна шамкала и пришепетывала беззубым старческим ртом. Складом своей речи и манерой говорить она удивительно была похожа на Льва Николаевича.

Несмотря на свое монашество и искреннюю православную религиозность, Мария Николаевна мало походила на святую. Это была живая, умная, темпераментная старуха, не лишенная черт властной избалованной помещицы «доброго старого времени»; думаю, что дочерям и состоявшим при ней монашкам-послушницам не всегда было с ней легко. Но это была правдивая, честная, прямая натура, полная подлинного внутреннего благородства, натура, такая родственная Льву Николаевичу. Ма-

рия Николаевна была музыкальна и, говорят, смолоду хорошо играла на фортепиано. Музыку она любила страстно и радовалась, когда заставала меня в Ясной, так как всегда мечтала в своем монастырском уединении о хорошей музыке. Лев Николаевич и Мария Николаевна трогательно любили друг друга. Лев Николаевич звал ее Машенькой, она его — Левочкой. Сходясь, они часто вспоминали старину. В прежние времена в доме Толстых постоянно живали какие-то странные люди — чудаки, юродивые. Мария Николаевна и Лев Николаевич любили их вспоминать. Оба они обладали замечательным даром художественного рассказа; часто умилялись, а иногда до слез смеялись своим воспоминаниям. Мария Николаевна помнила больше и лучше, и Лев Николаевич всегда удивлялся:

— Как это ты, Машенька, помнишь?!

Не могу простить себе, что так мало записал их рассказов.

О религиозных вопросах Лев Николаевич при Марии Николаевне говорить избегал, уважая ее православные убеждения и не желая ее огорчать.

Софья Андреевна явно не любила Марию Николаевну. Чувствовались в ней остатки той враждебности, семейной, «Левиных и Щербацких», о которой рассказал Лев Николаевич в «Анне Карениной» и которая так ярко отразилась в молодых дневниках Софьи Андреевны, хотя бы в ее отношении к «тетушке» Льва Николаевича...

Свое отношение к трагическому концу семейной драмы Льва Николаевича Мария Николаевна ясно выразила тем, что после смерти Льва Николаевича приехала летом 1911 года не в Ясную, а к Александре Львовне в Телятинки, где тогда жили Чертков со своей женой и сыном и многочисленной колонией и мы с женой и моими семейными. Мария Николаевна охотно проводила время со всеми нами. Я часто ей играл. Жена моя записала с ее слов некоторые ее воспоминания. К сожалению, после смерти жены мне до сих пор не удалось разыскать эту запись.

М. А. ШМИДТ

Что можно сказать о Марии Александровне Шмидт? Святая! Сгорбленная, худая — кожа да кости, глаза горят, в чем душа держится?! Истинно святые всегда радостны. Радостна была и Мария Александровна... Вся светилась. Душа чистая, наивная. Льва Николаевича она бесконечно любила и чувствовала изнутри по-настоящему. Приедешь с Львом Николаевичем к ней в Овсянниково верхом или в шарабане — она выскочит, увидит Льва Николаевича, задохнется от радости, закашляется... Залает ее шавочка. Лев Николаевич войдет и скажет:

— Хорошо, Мария Александровна!

— Хорошо, Лев Николаевич, — ответит она.

И чувствуешь, что это у них не слова. Лев Николаевич, как всегда, посидит недолго, однако успеет все-таки что-нибудь интересное рассказать; выскажет мысль какую-нибудь хорошую...

Была у Марии Александровны лошадка, старая, плохонькая — Воронок. Она на нем плетется медленно, долго. Привезет, бывало, к нам в Телятинки клубнику (мы у нее покупали ее на варенье). Такая слабая, больная. Всякому слово ласковое скажет. Когда я при ней в Ясной играл, она не говорила лишних слов, но я всем существом чувствовал, какая ей от музыки была радость... Никого Мария Александровна никогда не осуждала, а на зло только ужасалась и ахала... Ее все любили; Софья Андреевна относилась к ней заботливо, любовно. Милая, чудесная Мария Александровна! Нет у меня таких слов, какими я хотел бы рассказать о ней!

О ЧЕХОВЕ

С Чеховым я познакомился еще в Москве. Однажды меня позвали к Толстым обедать и предупредили, что у них будет Чехов. Чехову, видимо, хотелось прийти ко Льву Николаевичу и поговорить с ним. Встречи с Чеховым хотел и Толстой. Софья Андреевна не поняла этого и позвала к обеду «на Чехова» гостей, правда не очень многочисленных. Из этого визита Чехова ничего не вышло. Лев Николаевич с ним вовсе не оставался с глазу на глаз. Чехов был смущен, не в своей тарелке, почти все время молчал. Меня заставили играть, хотя моя музыка явно никому не была нужна. Чехов вскоре ушел.

Как-то ранней весной на пасху я поехал в Ялту (это была моя первая поездка в Крым). Чехов тогда жил уже в Ялте. Незадолго до моего отъезда из Москвы в журнале «Жизнь», кажется, был напечатан большой рассказ Чехова «В овраге». Лев Николаевич читал его в Хамовниках вслух и, как всегда, восхищался чеховским мастерством.

На другой день по приезде в Ялту я зашел в городской сад и встретил там Чехова, который, зябко кутаясь в свое осеннее пальто, несмотря на очень теплый солнечный день, шел по дорожке сада. Я подошел к нему, поздоровался и, так как он, видимо, меня не узнал, напомнил ему, где мы с ним встречались. Во мне было тогда еще много молодой наивности. Думая сделать Чехову приятное, я сказал ему:

— Я на днях слышал ваше новое «произведение»... (и понесла же меня нелегкая употребить такое нелепое слово!).

Чехов весь передернулся, как от электрического тока, и с отвращением перебил меня:

— Какое произведение?!

Он особенно подчеркнул это слово.

Почувствовав всю глупость своей фразы, я пробормотал:

— Я был у Льва Николаевича. Он читал вслух ваш рассказ «В овраге» и очень его хвалил, — и, не дождавшись его ответа, поспешил откланяться.

Я так обрадовался, увидев Чехова, которого через его писания всегда любил как человека, так мне хотелось ему как-нибудь выразить свое чувство, а вместо того вышло настолько неприятно, что сразу мое хорошее настроение улетучилось. Мне до сих пор больно вспоминать эту встречу до такой степени, что я никогда никому о ней не рассказывал.

Когда Чехов приезжал при мне в Гаспру, он произвел на всех чарующее впечатление. Его тихий, низкий голос, простая речь, тонкая, меткая, со скрытым мягким юмором. Он рассказывал, как зимой воет ветер, а они с матерью сидят одни, каждый в своей комнате, и какая бывает тоска...

Чехов трогательно относился ко Льву Николаевичу. В нем видно было глубокое чувство любви, уважения, я бы сказал даже — преклонения, и прежде всего перед моральным авторитетом Льва Николаевича.

Лев Николаевич был с ним ласков. Огорчался его плохим здоровьем.

Лев Николаевич высоко ценил художественное дарование и ум Чехова-писателя, а язык его произведений считал едва ли не лучшим в русской литературе. К Чехову-человеку он относился с большой симпатией и теплотою. Неопределенность мировоззрения Чехова, отсутствие в нем религиозной основы огорчали Льва Николаевича и умаляли для него значение Чехова-писателя. Когда Чехов в 1897 году захворал кровохарканьем и лежал в клинике профессора Остроумова, Лев Николаевич пошел к нему его проведать. Чехов был очень тронут этим посещением, но попытка Льва Николаевича заговорить с ним о самом для него важном не

встретила в Чехове отклика. В другой раз Лев Николаевич проведал Чехова, когда он уже выписался из клиники и переехал на свою московскую квартиру в Дегтярном переулке на Малой Дмитровке, в дом Шешкова. Когда Лев Николаевич шел от него по одному из бульваров (Тверскому или Никитскому), я встретил его. Он рассказал мне, что был у Чехова, и я проводил его по Пречистенскому бульвару и Пречистенке домой.

ПРИМЕЧАНИЯ

1896

[1] Имеется в виду Мария Николаевна Климентова-Муромцева, певица, близкая знакомая Толстых.

[2] *Толстая* Татьяна Львовна (1864—1950) — старшая дочь Толстого; с 1899 г. замужем за М. С. Сухотиным (1850—1915).

[3] Это воспоминание не может относиться по времени ранее конца 1896 г. В одной из редакций трактата об искусстве, написанной в первой половине 1897 г., говорится: «Нынешней зимой одна дама научила меня делать из бумаги... петушков, которые, когда их дергаешь за хвост, махают крыльями. Выдумка эта от Японии». «Произведение такого петушка» Толстой причислял к разряду «хорошего искусства» (см. т. 30, стр. 410).

[4] *Танеев* Сергей Иванович (1856—1915) — композитор и пианист; близкий знакомый Толстых, часто и подолгу гостивший в Ясной Поляне.

[5] *Толстой* Лев Львович (1869—1945) был в то время в Швеции.

[6] *Чертков* Владимир Григорьевич (1854—1936) — единомышленник и друг Толстого, издатель его сочинений. Лето 1896 г. Чертков вместе со своей женой проводил в Деменке.

[7] *Толстая* Мария Львовна (1871—1906) — дочь Толстого; с 1897 г. замужем за Н. Л. Оболенским (1872—1934).

1897

[1] Разговоры о декадентстве были вызваны работой Толстого над трактатом «Что такое искусство?» (1897—1898). Этим же объясняется и интерес его к драмам М. Метерлинка.

[2] 31 января 1897 г. Толстой с Татьяной Львовной уехал к своим старым знакомым А. В. и А. М. Олсуфьевым в их подмосковное

имение Никольское-Обольяново. 6 февраля, получив известие о высылке В. Г. Черткова, П. И. Бирюкова и И. М. Трегубова за помощь преследуемым царским правительством сектантам-духоборам, Толстой уехал в Петербург для их проводов. 13 февраля он вновь вернулся к Олсуфьевым и прожил у них до 3 марта.

[3] *Булгаков* Сергей Николаевич (1871—1944) — экономист и философ-мистик, в 1890-х гг. примыкавший к группе легальных марксистов; но уже с начала 1900-х гг. окончательно порвал с марксизмом; в 1918 г. принял сан священника; белоэмигрант.

[4] В главе I трактата «Что такое искусство?» Толстой описал свое посещение репетиции оперы А. Г. Рубинштейна «Фераморс», готовившейся учениками Московской консерватории под руководством директора консерватории В. И. Сафонова (см. т. 30, стр. 28—31).

[5] *Касаткин* Николай Алексеевич (1859—1930) — художник-жанрист; познакомился с Толстым в конце 1880-х гг. и часто бывал у Толстого в Москве и в Ясной Поляне. В этот приезд Касаткин пробыл в Ясной Поляне с 4 по 7 августа.

[6] *Гинцбург* Илья Яковлевич (1859—1938) — скульптор. Ему принадлежат несколько скульптур Толстого. В этот приезд в Ясную Поляну Гинцбург лепил статуэтку Толстого во весь рост с книгой (см. И. Я. Гинцбург, Из прошлого, Л. 1924, стр. 93—95).

[7] *Соболев* Михаил Николаевич (р. 1869) — в то время студент, впоследствии приват-доцент Московского университета.

[8] *Ломброзо* Чезаре (1839—1911) — итальянский криминалист и психиатр. Был в Ясной Поляне 11—13 августа 1897 г., куда приехал из Москвы со съезда психиатров и криминалистов, в котором он принимал участие. Толстой 15 августа 1897 г. записал в дневник: «Был Ломброзо, ограниченный, наивный старичок» (т. 53, стр. 150). О своем посещении Толстого Ломброзо написал воспоминания, в русском переводе напечатанные под заглавием «Мое посещение Толстого» (изд. М. К. Элпидина, Женева 1902).

1898

[1] Речь идет о сектантах-молоканах, крестьянах Бузулукского уезда Самарской губ. В. Т. Чепелеве, И. П. Болотине и Ф. И. Самошкине, у которых в апреле 1897 г., по распоряжению местной администрации, были отняты дети и отданы в монастыри для воспитания их в православном духе. Толстой по делу молокан трижды писал царю: 10 мая и 19 сентября 1897 г. и 25 января 1898 г. Первые два письма, переданные царю через А. В. Олсуфьева, последствий не имели. Третье письмо было отдано Толстым Самошкину для пере-

дачи Т. Л. Сухотиной, которая в то время была в Петербурге. Татьяна Львовна добилась свидания с К. П. Победоносцевым и сама прочла ему письмо Толстого к царю. Победоносцев сказал, что в этом деле «переусердствовал» самарский губернатор и обещал написать ему о том, чтобы детей освободить. Было ли передано письмо Толстого Николаю II, неизвестно. Дети были освобождены только в середине февраля 1898 г. (см. т. 70, письма №№ 81 и 166, и т. 71, письмо № 21).

[2] Единственный пятилетний сын был взят у Ф. И. Самошкина.

[3] Толстой воспользовался пребыванием Т. Л. Сухотиной в Петербурге и просил ее письмом и потом телеграммой помочь молоканам (см. т. 71, №№ 20 и 23).

[4] Имеется в виду статья Толстого «Голод или не голод?», написанная 22—26 мая 1898 г. в связи с его работой по оказанию помощи голодающим в Чернском и Ефремовском уездах Тульской губ. и в Мценском уезде Орловской губ. в апреле — мае 1898 г. Опубликована была впервые в Англии в № 1 периодического сборника «Свободное слово» за 1898 г. (Christchurch, изд. В. Г. Черткова); в России — с значительными цензурными пропусками — в газете «Русь» (1898, №№ 4 и 5 от 2 и 3 июля, второе изд.). Гольденвейзер читал статью в рукописи.

[5] Эти произведения, в то время еще далеко не законченные, Толстой решил отделать и отдать в печать с тем, чтобы причитающийся с них гонорар употребить на помощь духоборам, решившим, в связи с преследованием их царским правительством, переселиться с Кавказа в Канаду. В середине июля Толстой приступил к работе над «Отцом Сергием». Проработав над ним до конца месяца, он отказался от мысли печатать эту повесть в пользу духоборов. В середине июля Толстой взялся за переработку и дополнение «Воскресения», которое и было в 1899 г. закончено и напечатано в журнале «Нива» и одновременно в Англии в изд. «Свободное слово». Весь гонорар был передан в фонд помощи духоборам (см. т. 33).

[6] *Ляпунов* Вячеслав Дмитриевич (1873—1905) — крестьянин Тульской губ., поэт. Ляпунов принес Толстому тетрадь своих стихов. Толстой «начал читать» стихи «с презрением, кончил с умилением» (см. т. 70, № 210). 5 октября он переслал стихотворения Ляпунова в редакцию «Русской мысли» со своим письмом, в котором писал, что стихи «очень хороши и не только стоят того, чтобы быть напечатанными, но должны обратить на себя внимание, если будут напечатаны» (см. т. 70, № 187). «Русская мысль» напечатала лишь одно его стихотворение «Пахарь» (1898, № 1).

Ляпунов, по предложению Толстого, поселился у него и сначала

помогал ему в переписке, а затем Софье Андреевне по хозяйству, и прожил у них около двух лет.

[7] Речь идет о машинописной копии статьи «Христианское учение», которая в то время печаталась в Англии в изд. «Свободного слова» (см. т. 39).

[8] Имеется в виду Михаил Львович Толстой, который 29 августа уехал в Москву на переэкзаменовку для перехода в седьмой класс лицея. Переэкзаменовка «кончилась успешно», как записала в дневнике 2 сентября С. А. Толстая («Дневники С. А. Толстой. 1897—1909», изд. «Север», М. 1932, стр. 78).

[9] Изложенный А. Б. Гольденвейзером отрывок «Воскресения» относится к черновикам четвертой редакции романа. Опубликован в т. 33, стр. 197—200 (вариант № 80 из рукописи № 24).

[10] Имеется в виду написанное в апреле — мае 1891 г. начало повести «Мать» (см. т. 29), которое С. А. Толстая предполагала дать прочесть на вечере в честь 70-летия Толстого.

[11] Речь идет о вечере, посвященном 70-летию Толстого, устраивавшемся «Обществом народных развлечений», где председателем был профессор Московского университета А. И. Кирпичников. Вечер должен был состояться 28 ноября, но в связи с цензурными затруднениями состоялся лишь 19 декабря.

[12] *Погожева* Анна Васильевна (ум. 1908) — деятельница в области народного образования, член общества распространения полезных книг. Погожева была заместительницей А. И. Кирпичникова по устройству вечера в честь Толстого.

[13] *Гржимали* Иван Войтехович (1844—1915) — скрипач и педагог, профессор Московской консерватории; был лично знаком с Толстым. В упоминаемом вечере не участвовал.

[14] *Лавровская* Елизавета Андреевна (по мужу Цертелева) — певица, профессор Московской консерватории; близкая знакомая Толстых.

1899

[1] *Катков* Михаил Никифорович (1818—1887) — реакционный публицист, издатель «Русского вестника» и редактор «Московских ведомостей». В 1859—1877 гг. Толстой печатался в его журнале. Никогда не разделяя взглядов Каткова, Толстой общался с ним исключительно на деловой почве.

[2] *Чичерин* Борис Николаевич (1828—1904) — юрист и философ-идеалист, знакомый Толстого с 1856 или 1857 г. В первые годы знакомства Толстого и Чичерина связывала дружба. Однако уже к концу 1850-х гг. оба они остро почувствовали расхождение во взгля-

дах. Толстого отталкивали «узость» и консерватизм Чичерина. С годами идейные разногласия между ними стали еще значительнее и их общение почти прервалось. О знакомстве с Толстым Чичерин упоминает в своих воспоминаниях: «Москва сороковых годов» (изд. М. и С. Сабашниковых, М. 1929).

[3] Толстой занимался изучением греческого языка с начала декабря 1870 г. по август 1871 г. (см. т. 61, №№ 319, 321, 323 и 344).

[4] *Джордж* Генри (1839—1897) — американский экономист, автор теории «единого налога» на землю как способа решения земельной проблемы. Толстой сочувствовал его взглядам и старался их популяризировать. *«Прогресс и бедность»* (1879) — одно из основных сочинений Джорджа.

[5] «The Science of Political Economy», 1898 («Наука политической экономии»). Джордж был противником марксистского экономического учения.

[6] Verus I. G. Vergleichende Üebersicht der vier Evangelien, Leipzig 1897.

[7] По указу царя правительствующий сенат 28 июля 1899 г. ввел некоторые изменения в текст «клятвенного обещания» (присяги) в связи со смертью наследника престола великого князя Георгия Александровича, последовавшей 28 июня 1899 г. Имя наследника в ней вообще больше не упоминалось.

[8] Имеются в виду введенные особым совещанием министров «Временные высочайше утвержденные правила 29 июля об отбывании воинской повинности воспитанниками высших учебных заведений, удаляемыми из сих заведений за учиненные скопом беспорядки».

[9] Альфред *Дрейфус* (1859—1927) — офицер французского генерального штаба, еврей, обвиненный в государственной измене. Процесс по делу Дрейфуса, начатый в 1894 г. и окончившийся в 1906 г. оправданием Дрейфуса, обострил борьбу прогрессивных сил страны против шовинистов, клерикалов и антисемитов. Горячими обличителями подлогов и незаконных действий генерального штаба и суда выступали Э. Золя, Ж. Жорес и др.

[10] Речь идет о «покушении» на бывшего короля Сербии Милана I Обреновича, отрекшегося от престола в пользу своего сына Александра I и занимавшего в 1898—1899 гг. пост главнокомандующего сербской армией. «Покушение» было совершено 24 июня 1899 г. Дьюри Кнежевичем, якобы подкупленным оппозиционно настроенными радикалами, и вызвало жестокие репрессии со стороны правительства. Было арестовано несколько тысяч человек. Однако, как потом выяснилось, покушение это было инсценировано самим Миланом в целях дискредитирования своих противников. Кнежевич

стрелял в него холостыми зарядами. Об этом в то время много писали газеты.

[11] Это упоминание связано с чтением в «Новом времени» фельетона: Не-фельетонист. По югу России (Дорожные картинки). I. Соль и ртуть. II. На ртутном заводе (№№ 8406 и 8413 от 24 и 31 мая 1899).

Автор фельетона, посетивший завод акционерного общества «Ртутное дело А. Ауэрбаха и К°», близ села Зайцева в Бахмутском уезде Екатеринославской губ., рассказывает о невозможно тяжелых условиях работы на этом заводе и о поголовном отравлении рабочих. «Мне показывали, — пишет он, — несколько больных (легких). Руки у них тряслись, лицо подергивалось. Но они просились на работу», потому что «жалования больным никогда не выдают ни в половинном, ни в четвертном размере», и они «вынуждены умирать медленной смертью».

[12] Известная в то время мастерская дамских нарядов.

[13] *Трубецкой* Петр Петрович (Паоло, 1867—1938) — скульптор, неоднократно бывавший в Ясной Поляне. Трубецкой вылепил пять скульптур Толстого: три бюста и две статуэтки — на лошади. Летом 1899 г. он вылепил один бюст.

[14] Толстой тяжело заболел 21—22 ноября и в тяжелом состоянии находился до начала декабря.

[15] Имеется в виду книга: Harrisson Swift. Imperialism and Liberty, Los-Angelos, California 1899.

[16] О какой брошюре идет речь, выяснить не удалось.

[17] Толстой читал это стихотворение по тексту, напечатанному в статье В. Буренина «Критические очерки. Сочинения Тютчева. Стихотворения и политические статьи» («Новое время», 1899, № 8524 от 19 ноября).

1900

[1] *Ден* Владимир Эдуардович (1867—1933) — экономист, с 1898 г. — приват-доцент Московского университета, а с декабря 1902 г. — профессор Петербургского политехнического института по кафедре экономической географии.

[2] *Шаляпин* Федор Иванович (1873—1938) был у Толстого 9 января 1900 г. вместе с С. В. Рахманиновым.

[3] *«Новое рабство»* — одно из первоначальных заглавий статьи, названной в окончательной редакции: «Рабство нашего времени», над которой Толстой работал с 27 декабря 1899 г. по август 1900 г. Впервые опубликована была в Англии в изд. «Свободное слово» (Christchurch 1900).

[4] *Девичье поле* — район Москвы, одно из мест «народных гуляний». Толстой ходил «под Девичье» в связи с начатой в январе 1900 г. драмой «Живой труп».

[5] На Девичьем поле в дни народных гуляний обычно в балаганах ставились пьесы на «героические» темы неизвестных авторов. К таким пьесам, очевидно, принадлежат и упомянутые: «Чуркин» — из жизни легендарного русского разбойника — и «Степан Разин».

[6] В так называемые работные дома заключались для принудительных работ нищие, просившие на улицах милостыню. В Москве работный дом помещался в Б. Харитоньевском переулке в усадьбе Б. Н. Юсупова. Его Толстой посещал в начале 1880-х гг., когда писал статью «Так что же нам делать?» (см. т. 25).

[7] Разговор этот вызван происходившей в то время англо-бурской (трансваальской) войной, начавшейся 11 октября 1899 г. Об отношении Толстого к англо-бурской войне см. т. 72, № 214.

[8] Толстой пробыл в Лондоне с 18 февраля по 4 марта 1861 г.

[9] Имеется в виду эпизод из похода отряда русских войск под начальством кн. А. И. Барятинского против Шамиля в январе — марте 1853 г., в котором Толстой участвовал в качестве фейерверкера.

[10] Толстой предполагал прочесть доклад о Тургеневе в публичном заседании Общества любителей российской словесности, посвященном памяти Тургенева, которое должно было состояться в конце октября 1883 г. Об этом Толстой писал жене 30 сентября, прося известить председателя общества С. А. Юрьева (см. т. 83, № 245). Однако, по распоряжению министра внутренних дел Д. А. Толстого, предупрежденного начальником Главного управления по делам печати о предполагаемом выступлении в заседании Общества Л. Н. Толстого, который «может наговорить невероятные вещи», московский генерал-губернатор В. А. Долгоруков 23 октября предложил С. А. Юрьеву отложить заседание «на неопределенное время».

[11] *Громека* Михаил Степанович (1852—1883) — автор известного в свое время этюда о Толстом «Последние произведения графа Л. Н. Толстого» (напечатан впервые в «Русской мысли», 1883, 2—4, и 1884, 11), который был положительно оценен Толстым (см. т. 63, № 142). Познакомился с Толстым в 1874 г., будучи студентом Московского университета. В 1883 г. Громека заболел психическим расстройством и кончил жизнь самоубийством.

[12] А. Л. Толстой был тогда женат на Ольге Константиновне Дитерихс (1872—1951).

[13] Имеется в виду вспыхнувшее в июне 1900 г. национально-освободительное движение китайского народа, известное под названием «боксерского восстания», жестоко подавленное европейскими государствами и Японией.

[14] Ссылка в Сибирь, занимавшая главное место в системе наказаний царской России, по закону от 10 июня 1900 г. была ограничена за счет расширения других видов наказания, главным образом тюремного заключения, а не отменена.

[15] Речь идет о деле тульского священника В. И. Тимофеева, обвиненного в убийстве крестьянина Н. Аксенова. Тульским окружным судом Тимофеев был оправдан. Однако приговор был кассирован, и дело рассматривалось вторично в Орловском окружном суде 15 июня 1900 г. Подсудимый был приговорен к каторжным работам сроком на 20 лет.

[16] *Мамонтов* Савва Иванович (1842—1918) — промышленник, меценат; был привлечен к суду по обвинению в крупных растратах и подлогах. Суд состоялся в июне 1900 г. в Москве под председательством Н. В. Давыдова, при участии защитников Ф. Н. Плевако, В. А. Маклакова, Н. П. Карабчевского и других. По суду Мамонтов был оправдан.

[17] *Давыдов* Николай Васильевич (1848—1920) — юрист и общественный деятель, в то время председатель Московского окружного суда; знакомый Толстого с 1878 г.

[18] Статья «Патриотизм и правительство», начатая Толстым в феврале и законченная 10 мая 1900 г. Впервые опубликована в Англии в изд. «Свободное слово» (Christchurh 1900).

[19] Эпиграф из «Капитала» К. Маркса в статью «Рабство нашего времени» Толстой не ввел. Указанное место первоначально цитировалось в главе VIII. Однако в окончательный текст статьи оно не вошло (см. т. 34, стр. 495—496). В переводе Толстого оно читается: «С развитием капиталистического производства во время промышленного периода общественное мнение Европы потеряло последний остаток стыда и совести. Нации стали цинически хвалиться всякою мерзостью, которая была средством для капиталистического накопления».

[20] Eltzbacher P., Der Anarchismus, Guttentag, Berlin 1900 (П. Эльцбахер, Анархизм). Отзыв об этой книге см. в т. 72, № 341.

[21] *Иванюков* Иван Иванович (1844—1912) — экономист, автор книги «Основные положения экономической политики с Адама Смита до настоящего времени» (1881).

[22] *А. Волынский* — псевдоним Акима Львовича Флексера (1863—1926) — журналист и литературный критик декадентского направления. Упоминаемая книга — «Леонардо да Винчи» (СПб. 1900).

[23] Цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Что толку жить!.. без приключений...» (1832).

[24] Предисловие к роману немецкого писателя В. фон Поленца «Der Büttnerbauer» («Крестьянин») Толстой вчерне набросал 22 мая 1900 г. Окончательной обработке предисловие подверглось в период с 17 июля по 11 августа 1901 г. Опубликовано впервые в книге: В. фон Поленц, Крестьянин, перевод В. М. Величкиной. С предисловием Л. Н. Толстого (изд. «Посредник», М. 1902).

[25] Имеется в виду подавление «боксерского восстания» в Китае.

[26] Убежденный в несправедливости владения личной собственностью, Толстой решил отказаться от всех прав на свое имущество. Не желая осложнять свои отношения с семьей, он согласился на раздел имения между членами семьи, с тем чтобы самому избавиться от собственности: Оформление раздельного акта состоялось 7 июля 1892 г. По семейному разделу Самарское имение Толстого досталось Андрею и Михаилу Львовичам и Александре Львовне Толстым.

[27] На эту тему Толстым был написан рассказ «Булька и волк», включенный в третью книгу «Азбуки» (1872). По содержанию напечатанный рассказ во многом отличается от рассказанного Толстым А. Б. Гольденвейзеру (см. т. 22, стр. 407).

[28] Сведений об этой книге не имеется.

[29] *Кольридж* Сэмюэль Тэйлор (1772—1834) — английский поэт, критик. Цитированное А. Б. Гольденвейзером высказывание Кольриджа Толстой включил в «Круг чтения» на 13 декабря под № 2 (см. т. 42, стр. 340).

[30] *Торо* Генри Давид (1817—1862) — американский писатель анархического направления. Автор книг: «Философия естественной жизни» (изд. «Посредник», М. 1903), «Вальден, или Жизнь в лесах» (изд. «Посредник», М. 1910) и др. Многие изречения Торо Толстой включил в «Круг чтения» (см. тт. 41—42).

[31] Макс *Нордау* — псевдоним немецкого публициста Макса Зидфельда (1849—1923). О Толстом Нордау писал в своей книге «Entartung» («Вырождение», русский перевод 1893 г.), причисляя его к явлениям вырождения. Об упоминаемом студенте-поляке, написавшем возражения Нордау, сведений не имеется.

[32] Описанный случай относится не к последнему приезду Тургенева в Ясную Поляну, а к маю 1880 г. (см. об этом: С. Л. Толстой, Очерки былого, М. 1956, стр. 310—311.) В последний раз Тургенев был в Ясной Поляне 22 августа 1881 г.

[33] 30 октября Толстой начал писать «Обращение к китайскому народу» (см. т. 34, стр. 339). Работал над ним до начала февраля 1901 г. Оно не было закончено.

[34] Это было письмо П. А. Кропоткина к В. Г. Черткову от 20 сентября н. с. с критическим отзывом о статье Толстого «Не убий».

Письмо было переслано Толстому А. К. Чертковой (см. т. 88, № 608).

[35] Имеется в виду библейский патриарх Моисей.

[36] *«Когда мы, мертвые, пробуждаемся»* — пьеса Г. Ибсена.

1901

[1] Толстой стал изучать голландский язык зимой 1897—1898 гг. Однако он вскоре бросил свои занятия. Вторично Толстой стал заниматься голландским языком с октября 1900 г.

[2] В основу драмы «Труп», впоследствии названной «Живой труп», положено судебное дело супругов Н. С. и Е. П. Гимеров, окончившееся для Гимеров присуждением их к тюремному заключению на один год. Однако благодаря связям и подкупам приговор в исполнение приведен не был, и они находились на свободе. В ноябре 1900 г. сюжет драмы Толстого, из-за переписчика А. П. Иванова, рассказавшего его репортеру «Новостей дня», стал достоянием общественности. В № 6289 от 22 ноября 1900 г. газеты «Новости дня» была опубликована заметка с рассказом А. П. Иванова. Сын Гимера просил Толстого от имени матери не опубликовывать драмы, чтобы не возбудить интереса к заглохшему судебному процессу. Об этом же просил Толстого и Н. С. Гимер.

[3] *«Simplicissimus»* — сатирический немецкий журнал, издававшийся в Мюнхене с 1896 г. По просьбе издателя несколько номеров этого журнала были посланы Толстому переводчиком его сочинений на немецкий язык В. Чумиковым с просьбой дать отзыв об этом журнале (см. т. 73, №№ 41 и 53).

[4] Имеется в виду портрет Толстого в лесу босиком, под названием «На молитве», начатый И. Е. Репиным в 1891 г. и законченный в 1901 г. Находится в Государственном Русском музее в Ленинграде. Этюд к портрету (1891) — в Государственной Третьяковской галерее.

[5] Картина И. Е. Репина, впоследствии названная «Иди за мною, сатана» (1897—1898).

[6] 24 февраля в «Церковных ведомостях», № 8 за 1901 г., было опубликовано «Определение святейшего синода от 20—22 февраля 1901 г., № 557, с посланием верным чадам православныя греко-российския церкви о графе Льве Толстом». На другой день «Определение синода» появилось в печати.

[7] *Толстая* Александра Андреевна (1817—1904) — двоюродная тетка Толстого, камер-фрейлина. Об упоминаемом разговоре ее с К. П. Победоносцевым сведений нет.

[8] В 1900—1901 гг. в связи с введением «Временных, высочайше утвержденных правил 29 июля 1899 года», на основании которых около 200 студентов Петербургского и Киевского университетов были отданы в солдаты за участие в студенческом движении, студенческие волнения приняли крупные размеры. Протесты студентов высших учебных заведений по всей России вызвали много арестов, в Москве группа студентов была заключена в Бутырскую тюрьму. В связи с этим студенты пришли к Толстому, который вышел во двор и там беседовал с ними.

[9] О каком «немце-писателе» идет речь, неизвестно.

[10] *Шмит* Эуген Генрих (1851—1916) — венгерский публицист. Письмо Толстого к Э. Шмиту от 2 марта 1901 г. с рекомендацией А. Б. Гольденвейзера см. в т. 73, № 43.

[11] Имеется в виду статья «Царю и его помощникам», начатая Толстым около 15 марта и оконченная 26 марта 1901 г. Опубликована впервые в Англии в «Листках свободного слова» 1901, № 20. В России до 1917 г. распространялась в гектографированных и рукописных копиях (см. т. 34).

[12] Письмо Толстого к П. И. Бирюкову о воспитании в ответ на его письмо от 17 апреля н. с. 1901 г. было начато 10 апреля и окончено 10 мая (см. т. 73, № 71).

[13] *«Что нужно рабочему народу»* — одно из первоначальных заглавий статьи «Единственное средство», над которой Толстой работал с апреля по 31 июля 1901 г. Впервые опубликована в Англии в «Листках свободного слова» 1901, № 24 (см. т. 34).

[14] Над повестью «Хаджи-Мурат» Толстой работал с перерывами с 10 августа 1896 г. по 19 декабря 1904 г. В 1901 г. Толстой занимался повестью с последних чисел февраля и до июля.

[15] *Стасюлевич* Александр Матвеевич (ок. 1830—1867) — брат редактора-издателя «Вестника Европы» М. М. Стасюлевича, подпоручик Эриванского полка, в 1852 г. разжалованный в солдаты «за противозаконные поступки по отправлении должности караульного начальника» и сосланный на Кавказ. В конце 1850-х гг. был вновь произведен в офицеры и служил в 65-м Московском пехотном полку. Толстой познакомился с ним на Кавказе в 1853 г.

[16] *«Встреча в отряде с московским знакомым»* — под таким заглавием был напечатан рассказ Толстого «Разжалованный» («Библиотека для чтения», 1856, № 12). Изменение заглавия вызвано было цензурными условиями (см. т. 3).

[17] *Кашкин* Николай Сергеевич (1829—1914) — старший сын декабриста С. Н. Кашкина, член кружка петрашевцев, арестованный и 1849 г. приговоренный к смертной казни, которая ему была заменена

ссылкой рядовым на Кавказ. В 1856 г. получил «помилование». Толстой познакомился с ним летом 1853 г. в Железноводске.

[18] Об истории рядового 65-го Московского полка Василия Шибунина, давшего пощечину офицеру и присужденного за это 16 июля 1866 г. военно-полевым судом к смертной казни, и об участии Толстого в качестве защитника на суде рассказано в письме Толстого к П. И. Бирюкову, написанном в начале мая 1908 г. (см. т. 37 — «Воспоминания о суде над солдатом»; там же и речь Толстого, произнесенная на суде).

[19] Это письмо Толстого к А. А. Толстой неизвестно. Ответ ее также неизвестен.

[20] *Шопов* Георгий Стоилович (р. 1879) — болгарин, судившийся за отказ от военной службы по религиозным убеждениям и приговоренный 11 ноября 1900 г. к трем годам дисциплинарного батальона. Редакция болгарской газеты «Свободна мисъль» при письме от 14 мая 1901 г. прислала Толстому номер газеты, в котором была напечатана речь на суде Г. С. Шопова. Толстой ответил редакции «Свободна мисъль» 29 мая 1901 г.

[21] Тут очевидное недоразумение, так как писем Толстого к Г. И. Шопову, написанных до 20 июня 1901 г., нет. Речь, очевидно, идет о письме Толстого в редакцию «Свободна мисъль» от 29 мая 1901 г., которое было опубликовано в этой газете в июне (см. т. 73 № 98).

[22] См. примечание 13.

[23] В Восточную войну 1853—1856 гг. Толстой, участвуя в обороне Севастополя, провел в Крыму с 7 ноября 1854 г. до середины ноября 1856 г.

[24] А. П. Чехов 24 сентября 1901 г. писал Горькому: «Перед отъездом из Ялты я был у Льва Николаевича, виделся с ним; ему Крым нравится ужасно, возбуждает в нем радость чисто детскую, но здоровье его мне не понравилось. Постарел очень, и главная болезнь его — это старость, которая уже овладела им» (А. П. Чехов, Собрание сочинений, т. 12, М. 1957, № 735).

[25] В. Шведов, «Письма с Запада» («Курьер», 1901, № 252 от 12 сентября) — по поводу постановки «Власти тьмы» в «Немецком театре» в Берлине. Шведов приводит отзыв Метерлинка о «Власти тьмы» как о драме, «поднимающейся над миром обычной действительности и в то же время не впадающей в старые химеры».

[26] Имеется в виду книжка Б. Н. Чичерина «Россия накануне двадцатого столетия», изданная в Лондоне в 1900 г. за подписью «Русский патриот», в которой автор подвергает критике монархиче

ский строй. О Толстом в книге упоминается в связи с помощью, оказанной им духоборам.

[27] *Цебрикова* Мария Константиновна (1835—1917) — писательница народнического направления. В 1880-х гг. написала «Письмо к императору Александру III», в котором смело разоблачала «язвы» царского режима. Письмо это было напечатано за границей в издании «Фонда вольной русской прессы», вып. 15; в России же распространялось в рукописных копиях. В 1889 г. Цебрикова в связи с этим была выслана на север России.

[28] *«Азбука социальных наук»* — сочинение (1871) Василия Васильевича Берви (псевдоним: Н. Флеровский, 1829—1918), русского экономиста, одного из представителей утопического социализма, знакомого Толстого еще по Казанскому университету. Первоначально было издано в России, но конфисковано; затем вышло за границей в издании «Фонда вольной русской прессы» (вып. 10—12).

[29] На земском собрании в селе Сергиевском Тульской губ. 27—29 сентября 1877 г. Толстой был выбран секретарем земского собрания, а потом губернским гласным от Крапивенского земства.

[30] *Джунковская* Елизавета Владимировна, рожд. Винер (1862—1928). О школе Е. В. Джунковской сведений не имеется.

[31] *Маяк* — на мысе Ай-Тодор, в двух километрах от Гаспры. Заведующим маяком в то время был Федор Пантелеймонович Федоров, керченский художник-пейзажист.

[32] Статья «Что такое религия и в чем сущность ее?», начатая 10 августа 1901 г. и оконченная в конце декабря 1901 г. или в начале января 1902 г. Впервые напечатана в Англии в изд. «Свободное слово» (Christchurch 1902) (см. т. 35).

[33] *«Солдатская памятка»* и *«Офицерская памятка»*, написанные в течение июля — августа 1901 г. Впервые опубликованы в Англии в изд. «Свободное слово» (Christchurch 1902). В России «Солдатская памятка» была издана в 1906 г. издательством «Обновление», но была конфискована (см. т. 34).

[34] Статья «О веротерпимости» написана Толстым в декабре 1901 г. Вызвана выступлением орловского губернского предводителя дворянства М. А. Стаховича на миссионерском съезде в Орле в сентябре 1901 г., в котором он отстаивал «свободу совести» и «свободу вероисповеданий». Эту речь Стаховича высмеял В. И. Ленин в статье «Внутреннее обозрение» («IV. Две предводительские речи», т. 5, стр. 265—267). Статья Толстого впервые опубликована в Англии в изд. «Свободное слово» (Christchurch 1902). В России напечатана в 1906 г. в изд. «Всемирного вестника» (см. т. 34).

[1] Письмо к Николаю II было начато 26 декабря 1901 г. и окончено 16 января 1902 г. В нем Толстой писал о тяжелом положении «рабочего народа» в России, о «теперешней деятельности» царя и о требованиях народа (т. 73, № 204). Письмо это было впервые опубликовано в Англии в «Свободном слове», 1904, № 14. В России напечатано в 1905 г. в газете «Обновленная Россия», № 19 от 15 декабря.

[2] 26 октября 1895 г. «Власть тьмы» была впервые поставлена в Москве, в народном общедоступном театре «Скоморох» М. В. Лентовского. О посещении Толстым театра «Скоморох» сведений нет.

[3] *Маццини* Джузеппе (1805—1872) — итальянский революционер и мыслитель; борец за освобождение Италии. Упоминается его книга «Об обязанностях человека». Перевод Л. П. Никифорова, изд. «Этико-художественной библиотеки», М. 1902.

[4] Письмо Толстого без даты. Почтовый штемпель на конверте: «Кореиз, 25 января 1902 г.».

[5] Толстой, будучи больным, в конце января и начале февраля диктовал П. А. Буланже и Е. В. Оболенской поправки и вставки в статьи: «О веротерпимости» и «Что такое религия и в чем сущность ее?» (см. т. 34).

[6] *Пастернак* Леонид Осипович (1862—1945) — художник, академик, знакомый Толстого с 1893 г. Сделал много зарисовок Толстого и создал серии иллюстраций к произведениям Толстого: «Чем люди живы», «Война и мир» и «Воскресение». Упоминаемая его картина «Л. Н. Толстой в семье» была написана во время пребывания его в Ясной Поляне 2—14 июня 1901 г. (хранится в Государственном музее Л. Н. Толстого; второй экземпляр — в Русском музее в Ленинграде).

[7] Речь идет о крестьянском восстании в Полтавском и Константиноградском уездах Полтавской губ. и в Валковском и Богодуховском уездах Харьковской губ. в конце марта — начале апреля 1902 г., вызванном непомерной эксплуатацией крестьян помещиками. Крестьяне громили крупные имения и экономии. Восстание было жестоко подавлено войсками. К арестованным вожакам восстания и «более упорным его участникам» власти применяли «телесное наказание» (из правительственного сообщения, опубликованного в «Правительственном вестнике», 1902, № 94 от 30 апреля). В связи с этим Толстой 30 апреля занес в записную книжку: «Страшное правительственное сообщение о беспорядках. Хочется писать об этом» (т. 54, стр. 306).

[8] *Капнист* Павел Алексеевич (1842—1904) — попечитель Московского учебного округа, знакомый Толстых. Когда Капнист передавал Толстому рассказ о «переодетых студентах», неизвестно.

[9] Неточно переданная цитата из гл. XIII «Капитанской дочки»: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный».

[10] Известна телеграмма Толстого брату Сергею Николаевичу от 31 января 1902 г., продиктованная П. А. Буланже и подписанная Толстым: «Левочка» (см. т. 73, № 213) и посланная, когда Толстой был болен ползучим воспалением легких. Письмо же или телеграмма к М. Н. Толстой за это время неизвестны.

[11] Л. Л. Толстой с конца 1890-х годов стал выступать с произведениями, направленными против взглядов своего отца. В связи с тем, что в журнале «Ежемесячные сочинения» (№№ 1—12) начал печататься его автобиографический роман «Поиски и примирение», редактор журнала И. Ясинский сделал в газете «Биржевые ведомости» (1901, №№ 343 и 346 от 16 и 19 декабря) объявление, что в романе «Льва Толстого-сына» изображается «толстовство». По-видимому, об этом писал Толстой в уничтоженном письме. 10 февраля Толстой написал второе письмо сыну, в котором высказал сожаление, что «сказал слово, которое огорчило» его, но при этом добавил: «о прощении речи не может быть» (см. т. 73, № 215).

[12] Речь идет о рассказе И. А. Бунина «Счастье».

[13] Имеется в виду рассказ М. Горького «Дело с застежками» (1895).

[14] *Марков* Евгений Львович (1835—1903) — педагог и публицист. Упоминаемая его статья: «Горькие мысли о горьких явлениях литературы» («Новое время», 1902, № 9417 от 24 мая).

[15] Скульптор Гинцбург обладал способностью изображать мимически (или рассказывать) комические сценки. Толстой любил исполнение таких сценок и обыкновенно просил об этом Гинцбурга.

[16] Письмо В. Г. Белинского к Гоголю от 15 июня 1847 г. с резкой критикой книги «Выбранные места из переписки с друзьями».

[17] П. А. Сергеенко написал драму «Сократ» (напечатана в литературных приложениях к журналу «Нива» за 1899 г.) и предполагал начать писать драму из жизни Будды. Однако своего замысла он не осуществил.

[18] *Хохлов* Петр Галактионович (1867—1896) — бывший студент Московского высшего технического училища, единомышленник Толстого. В 1895 г. заболел психически и был помещен в Преображенскую психиатрическую лечебницу, где и умер.

[19] В конце июля Толстой вновь приступил к писанию «Хаджи-Мурата» и интенсивно работал до 23 сентября (см. т. 35).

[20] *Рескин* Джон (Ruskin, 1819—1900) — английский историк искусства и моралист, высоко ценимый Толстым. Многие его афоризмы помещены в «Круге чтения» и «На каждый день» (см. тт. 41—44).

[21] *Фоканов* Тарас Карпович (1852—1924) — бывший ученик Толстого.

[22] Толстой занимался педагогической деятельностью в 1859—1863, 1872 и 1873 гг. Воспоминания Толстого относятся к 1859—1862 гг. — ко времени организации им первой школы для крестьянских детей. 7 августа 1862 г. Толстой писал А. А. Толстой: «Вы знаете, что такое была для меня школа с тех пор, как я открыл ее, это была вся моя жизнь» (т. 60, № 248).

[23] Статья «К духовенству» была начата 23 сентября 1902 г. и окончена в конце декабря того же года. Статья впервые опубликована в Англии в изд. «Свободное слово» (Christchurch 1903) под заглавием «Обращение к духовенству». В России напечатана в 1906 г. в изд. «Обновление» (см. т. 34).

[24] Легенда, в окончательной редакции названная «Разрушение ада и восстановление его», задумана была Толстым как «иллюстрация» к статье «К духовенству». Написана она на сюжет, рассказанный Толстому еще в 1879 г. сказителем В. П. Щеголенком. Толстой начал работу над нею 31 октября 1902 г. и окончил к началу января 1903 г. Впервые опубликована в Англии в изд. «Свободное слово» — «Листки для народа», 1903, № 3 (см. т. 34).

[25] Последнее заглавие этой драмы — «И свет во тьме светит». Начатая еще в 1880-х гг., она не была окончена. В дневнике он называл это автобиографическое произведение «своей драмой».

При жизни Толстого «И свет во тьме светит» напечатана не была.

[26] Ф. М. Достоевский был привлечен по делу Петрашевского и 21 декабря 1849 г. приговорен к смертной казни, которая была заменена ему ссылкой «в каторжные работы» на четыре года. По отбытии каторги Достоевский прослужил два года рядовым. В 1858 г. возвратился из Сибири.

[27] *Мережковский* Дмитрий Сергеевич (1865—1941) — беллетрист и публицист, автор декадентских мистических произведений. Был одним из основателей Религиозно-философского общества и писал статьи на религиозные темы в духе «неоправославия». Белоэмигрант.

[28] *Розанов* Василий Васильевич (1856—1919) — литературный критик и публицист, реакционер и мистик; сотрудник «Нового вре-

мени». 6 марта 1903 г. Розанов посетил Толстого. Толстому он был «малоинтересен» (см. т. 74, № 71).

[29] Имеется в виду Алексей Степанович *Хомяков* (1804—1860) — поэт и публицист, один из основателей славянофильства, автор ряда статей о православной церкви. О «хомяковском» определении церкви Толстой писал в своем трактате «Исследование догматического богословия» (см. т. 23, стр. 220—224).

1903

[1] Ввиду плохого здоровья Толстого предполагалась новая поездка в Крым, которая не состоялась.

[2] *Сухотина* Наталья Михайловна (1882—1925) — падчерица Татьяны Львовны.

[3] *«Сон Попова»* — сатирическое стихотворение А. К. Толстого.

[4] В мае — августе 1902 г. Толстой написал статью «К рабочему народу». Она напечатана в Англии в изд. «Свободное слово» (Christchurch 1902). А в начале февраля 1903 г. Толстой приступил к писанию «Послесловия к статье «К рабочему народу», которое было закончено 9 мая и напечатано под заглавием «К политическим деятелям» — в изд. «Свободное слово» (см. т. 35).

[5] С начала января 1903 г. Толстой был занят «философским изложением истинной жизни» (см. дневник 5 февраля, т. 54, стр. 154). В дневнике и записных книжках он делает ряд записей на эту тему.

[6] *Игумнов* Константин Николаевич (1873—1948) — пианист, профессор Московской консерватории; знакомый Толстого с середины 1890-х гг.; неоднократно играл у Толстых. В этот приезд Игумнов провел у Толстого 22 и 23 июня.

[7] 24—25 июня у Толстого был корреспондент американской газеты «New-York Herald» Джемс Крильман.

[8] Этот эпизод из «Тысячи и одной ночи» Толстой использовал в своей сказке «Ассирийский царь Ассархадон» (см. т. 34).

[9] *Федоров* Николай Федорович (1824—1903) — библиотекарь Румянцевского музея в Москве; автор большого труда, опубликованного после его смерти, «Философия общего дела» (т. 1, Верный 1906, т. II, М. 1913). Толстой близко знал Федорова и относился к нему с большим уважением.

[10] Имеется в виду письмо Ф. М. Достоевского к Н. П. Петерсону от 24 марта 1878 г. Напечатано не полностью в статье Н. П. Петерсона «Из записок бывшего учителя» («Международный Толстов-

ский альманах», составленный П. Сергеенко, М. 1909, стр. 265—266) и полностью — в «Русском архиве» (1904, № 3).

[11] *Петров* Григорий Спиридонович (1867—1925) — священник и публицист. В 1908 г. Петров был лишен сана. В 1914—1917 гг. — военный корреспондент «Русского слова». После Октябрьской революции — белоэмигрант. Был у Толстого 24—26 февраля 1908 г.

[12] *Амвросий* (Александр Михайлович Гренков, 1812—1891) — иеросхимонах Козельской Введенской Оптиной пустыни. Толстой виделся с ним трижды: в 1877, 1881 и в 1891 гг. и беседовал на религиозные темы (см. С. А. Толстая, Четыре посещения гр. Л. Н. Толстым монастыря Оптина пустынь, «Толстовский ежегодник 1913 года», отдел III, стр. 3—7).

[13] *Розов* Яков Иванович (1879—1909) — слепой крестьянин деревни Овчинниково, Юрьевского уезда Костромской губ., в то время сочувствовавший взглядам Толстого. Позднее отошел от толстовства. В 1906—1908 гг. трижды приходил к Толстому, обличая его за барскую жизнь и требуя отдать землю крестьянам.

[14] Впервые легенду на эту тему Толстой слышал от олонецкого сказителя В. П. Щеголенка в 1879 г. и тогда же занес ее в записную книжку под заглавием «Старик в церкви» (см. т. 48, стр. 211—212). В 1907 г., начав составлять «Детский круг чтения», Толстой написал на эту тему коротенький рассказ (см. т. 40).

[15] Желание это было вызвано чтением немецкого теософского журнала «Theosophische Wegweiser» (1903, № 5), в котором была напечатана сказка анонимного автора под заглавием «Das bist du» («Это ты»). Вскоре Толстой ее перевел. Впервые она была напечатана в книжке: «Л. Н. Толстой. 1. Это ты. 2. Карма», изд. «Посредник», М. 1906 (см. т. 34).

[16] Толстой в первый раз был в Большом театре в Москве 9 ноября 1837 г. Ему было тогда 9 лет.

[17] *Блудов* Дмитрий Николаевич (1785—1864) — государственный деятель; с 1855 г. — президент Академии наук. Блудов был приятелем В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, П. А. Вяземского, А. И. Тургенева; хорошо знал Н. М. Карамзина и Пушкина; был одним из основателей литературного кружка «Арзамас», в то же время участвовал в качестве делопроизводителя в Верховной следственной комиссии по делу декабристов.

Толстой познакомился с Блудовыми в 1855 г. и в первые годы знакомства (до 1861 г.) неоднократно бывал в их доме. У Блудовых 20 апреля 1856 г. Толстой читал свою повесть «Два гусара».

[18] 27 апреля 1903 г. к Толстому обратился с письмом писатель С. Н. Рабинович (Шолом-Алейхем), в котором просил принять уча-

стие в сборнике, издаваемом в пользу евреев, пострадавших от погрома в Кишиневе 6—8 апреля 1903 г. Толстой 6 мая ответил, что он «очень рад будет содействовать» сборнику. Все три сказки опубликованы в переводе С. Н. Рабиновича на еврейский язык в сборнике «Гилф», изд. «Фолксбилдунг», Варшава (1903). На русском языке в России были напечатаны лишь две сказки: «Ассирийский царь Ассархадон» и «Три вопроса» (изд. «Посредник», М. 1903); третья сказка «Труд, смерть и болезнь», запрещенная цензурой, напечатана впервые по-русски в Англии в изд. «Свободное слово» (Christchurch 1904, см. т. 34).

[19] Первоначальный набросок сказки на этот сюжет сделан Толстым в письме к В. Г. Черткову от 20 июня 1887 г. (см. т. 86, стр. 62—63). В этой редакции сказка была напечатана Чертковым в сборнике «Цветник» (1887) под заглавием «Мудрая девица». Очевидно, тогда же Толстой сообщил сюжет сказки и Н. С. Лескову, который и положил его в основу рассказа «Час воли божией», напечатанного в ноябрьской книжке «Русского обозрения» за 1890 г.

[20] *«Отец и дочь»* — одно из первоначальных заглавий рассказа «После бала». Первый набросок его датирован 6 августа 1903 г. Работа над ним продолжалась до 20 августа 1903 г. При жизни Толстого рассказ этот не печатался.

[21] Упоминаемое посещение Ясной Поляны Касаткиным относится к 2 августа.

[22] *Орлов* Николай Васильевич (1863—1924) — художник. Его картины из народной жизни высоко ценил Толстой. В 1908 г. он написал предисловие к альбому картин Н. В. Орлова «Русские мужики», изд. Голике и Вильборг (см. т. 37).

[23] Возможно, что Толстой вспоминал свое посещение воинского присутствия в 1881 г. В плане ненаписанной статьи «Московские прогулки», составленном в декабре 1881 г., один из пунктов озаглавлен: «Прием рекрут» (см. т. 25).

[24] До 1917 г. во всех русских изданиях эта глава (XV) по цензурным условиям печаталась в сильно сокращенном виде (более чем наполовину).

[25] В январе 1898 г. И. Е. Репин просил Толстого, через его дочь Татьяну Львовну, дать ему сюжет для картины. Толстой 3 февраля сообщил Татьяне Львовне, что «ему пришел в голову один сюжет... Это момент, когда ведут декабристов на виселицу. Молодой Бестужев-Рюмин увлекся Муравьевым-Апостолом, скорее личностью его, чем идеями, и все время шел с ним заодно и только перед казнью ослабел, заплакал, и Муравьев обнял его, и они пошли так вдвоем к виселице» («Из дневника Т. Л. Сухотиной-Толстой» — «Толстой.

Памятники творчества и жизни», 3, М. 1923, стр. 66—67, запись 4 февраля 1898 г.).

[26] *Нагорнова* Варвара Валерьяновна, рожд. Толстая (1850—1921) — дочь Марии Николаевны, сестры Толстого.

[27] Толстой жил у Тургенева в Петербурге в его квартире на Фонтанке, в доме Степанова, по приезде из Севастополя с 21 ноября 1855 г. и до конца года.

[28] Около апреля 1856 г. Григорович, Островский, Толстой и Тургенев (Дружинин не участвовал) заключили с редакцией «Современника» (Некрасовым и Панаевым) «обязательное соглашение», по которому обязались впредь четыре года печататься исключительно в «Современнике». Это было напечатано на обложках книжек «Современника», начиная с октябрьской. Узнавший об этом М. Н. Катков сделал в «Московских ведомостях» (1856, № 138 от 17 ноября) заявление о том, что Тургенев и Толстой изменили данному ими слову дать свои произведения в «Русский вестник». Толстой (как и Тургенев) ответил Каткову письмом (от 1 декабря), в котором писал, что он на приглашение сотрудничать в «Русском вестнике», переданное через брата Каткова, «ответил общими фразами полуобещания и благодарности» и что поэтому не считает себя обещанием обязанным перед «Русским вестником» (т. 60, № 42). Относительно же доказательств того, что «Тургенев ничего Каткову не обещал», в письме Толстого не упоминается. Ошибочно также и приводимое Гольденвейзером утверждение Толстого, что Катков напечатал письмо Толстого в искаженном виде. Катков совсем не напечатал его, так как сам Толстой предоставлял на усмотрение Каткова «напечатать или нет это письмо» (там же).

[29] *Карнеджи* Андрью — североамериканский промышленник-миллиардер. Занимался филантропической деятельностью. Пожертвовал 5 миллионов долларов на библиотеку в Нью-Йорке; кроме того, жертвовал на основание университетов, музеев и т. п. Выступал в печати со статьями «о нравственных обязанностях богачей» («Евангелие богачей», «Обязанности богачей» и др.).

[30] Некоторые произведения В. В. Вересаева Толстой читал с большим интересом. Особенно нравилась ему повесть «Конец Андрея Ивановича». В записной книжке 6 января 1902 г. Толстой отметил: «Читал Вересаева «Андрей Иванович». Очень хорошо» (т. 54, стр. 265).

[31] Толстой работал над статьей о Шекспире с 13 сентября 1903 г. по 19 января 1904 г. Впервые она была напечатана под заглавием «О Шекспире и о драме» в «Русском слове» 1906, №№ 277—282 и 285 от 12, 14—18 и 23 ноября (см. т. 35).

[1] *Гафиз* Шели-Эддин-Мохаммед (1300—1389) — персидский поэт. Возможно, что Толстой хотел воспользоваться сочинениями Гафиза для составлявшегося им тогда «Круга чтения». Одна мысль Гафиза, взятая из сборника «суфийской мудрости», помещена в «Круге чтения» под 22 июня (см. т. 41, стр. 424).

[2] *Волконский* Сергей Григорьевич (1788—1865) — декабрист. Был женат на Марии Николаевне Раевской. Толстой познакомился с ним в декабре 1860 г. во Флоренции.

[3] *Поджио* Александр Викторович (1798—1873) — декабрист. Упоминание о том, что Поджио «приехал к Волконскому, чтобы у него умереть», неточно. Поджио действительно перед смертью вернулся из-за границы и умер в имении Волконского (Воронки, Черниговской губ.), но самого Волконского уже не было в живых. В имении жила его дочь. О взаимоотношениях Поджио и Волконской см. О. Попова, История жизни М. Н. Волконской. «Звенья», 3—4, «Academia», М. — Л. 1934.

[4] О художнике Никитине упоминает и художник А. А. Иванов в письмах к отцу из Рима в январе 1839 г. (см. «А. А. Иванов. Его жизнь и переписка», СПб. 1880, стр. 112 и 118).

[5] *Белоголовый* Николай Андреевич (1834—1895) — врач. Был знаком со многими русскими писателями: Герценом, Тургеневым, Некрасовым, Салтыковым, Толстым и др. Написал ряд воспоминаний, собранных в книге: Н. А. Белоголовый, Воспоминания и другие статьи, М. 1897. Последняя статья в ней посвящена Толстому: «Свидание с гр. Л. Н. Толстым».

Знакомство Толстого с Белоголовым состоялось в конце 1870-х или в начале 1880-х гг. в Петербурге у А. А. Толстой.

[6] С конца мая по 9 июня Толстой участвовал в осаде Силистрии, но «не был в деле» (дневник 15 июня 1854 г., т. 47, стр. 4).

[7] *Лихтенберг* Георг (1742—1799) — немецкий физик, философ и писатель-сатирик. В середине февраля 1904 г. Толстой читал книгу: «Georg Christoph Lichtenberg. Vermischte Schriften nach dessen Tode aus den hinterlassenen Papieren gesammelt und herausgegeben von G. Chr. Lichtenberg und Fr. Kries», Band I—IV. Göttingen 1800—1802 («Георг Христоф Лихтенберг. Собрание сочинений, извлеченных после его смерти из оставшихся его бумаг»). Многие афоризмы Лихтенберга, взятые из этого издания, были включены Толстым в «Круг чтения». Часть афоризмов, выбранных Толстым, издана отдельно в переводах Л. П. Никифорова и А. Б. Гольденвейзера в книжке: «I. Мысли Иммануила Канта. II. Избранные мысли Лихтенберга», изд. «Посредник», М. 1906.

[8] Толстой и Н. Н. Ге 17 апреля 1888 г. отправились из Москвы пешком в Ясную Поляну, куда пришли 22 апреля.

[9] Толстой был занят работой по сравнению «Наказа» Екатерины II с «Духом законов» Шарля де Монтескье 18—26 марта 1847 г.

[10] С Антоном Григорьевичем Рубинштейном (1824—1894) Толстой был знаком с 1870-х гг. Последний раз он виделся с ним 8 января 1892 г., когда Рубинштейн давал концерт в пользу голодающих (письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской 8 января 1892 г.).

[11] Имеется в виду сборник: А. И. Герцен. Из «Колокола» и «Полярной звезды» (Женева).

[12] Толстой познакомился с Герценом, будучи в Англии 18 февраля — 3 марта 1861 г.

[13] Запись хронологически ошибочна. П. И. Бирюков вернулся из-за границы 24 декабря 1904 г. В «Воспоминаниях» Н. А. Огаревой не приводится конкретно никакого разговора Толстого с Герценом. Она глухо упоминает о «горячих» спорах Толстого с Тургеневым и о рассказах Толстого о Крымской войне. Возможно, П. И. Бирюков и имел в виду переданный Огаревой рассказ Толстого о Крымской войне.

[14] Н. А. Огарева в 1877 г. вернулась в Россию и поселилась в имении Тучковых Долгоруково (Яхонтово), Пензенской губ. 14 апреля 1887 г. там был убит крестьянами управляющий имением А. В. Станиславский, отличавшийся грубым самоуправством. По этому делу было привлечено к суду 30 крестьян, из которых 14 человек были приговорены к смертной казни и двое к исправительным арестантским отделениям, 14 — оправданы. Впоследствии приговор для первой категории обвиняемых был изменен: к смертной казни приговорены двое, остальные — к каторжным работам.

8 августа 1890 г. Толстой писал американскому публицисту Джорджу Кеннану, что это дело «даже при том освещении, которое дано этому правительственными органами, возбуждает страшное негодование и отвращение» (см. т. 65, № 123).

Н. А. Огарева упомянула об этом деле в письме к Толстому от 23 апреля 1892 г. Толстой в неизвестном письме просил сообщить подробности убийства и суда. В ответных письмах от 1 и 13 июня 1892 г. Огарева, выгораживая управляющего, перенесла всю вину на крестьян. Толстой не ответил на эти письма. Тогда Огарева 21 июля написала еще письмо, в котором спрашивала, получил ли Толстой ее письма и какое они произвели на него впечатление («Письма Толстого и к Толстому. Юбилейный сборник», Госиздат, М. — Л. 1928, стр. 190—209). Толстой ответил ей коротеньким письмом от 6 августа (т. 66, № 324).

[15] Упоминаемое письмо и ответ на него Толстого неизвестны (см. т. 75, № 3).

[16] *Бух* Лев Константинович (1847—1917) — публицист и экономист; в 1904 г. — редактор «Экономической газеты». Приезжал к Толстому 14 июня 1904 г. На другой день Толстой писал о нем своей корреспондентке Е. В. Молоствовой: «Вчера был... петербургский ученый, очень умный» (см. т. 75, № 169).

[17] Толстой имеет в виду печатную полемику, которую в 1887—1889 гг. вел Н. Н. Страхов с К. А. Тимирязевым, А. С. Фаминцыным и другими дарвинистами в связи с их критикой книги Н. Я. Данилевского «Дарвинизм» (1885).

[18] Упоминаемое письмо неизвестно; какая американская газета с описанием катастрофы была получена Толстым, не установлено.

[19] Речь идет о легенде об иноке и ангеле, рассказанной Толстому олонецким сказителем В. П. Щеголенком в 1879 г. и записанной Толстым в записной книжке 1880 г. (см. т. 48, стр. 199). Легенду эту Толстой, однако, не стал обрабатывать, но в начале мая 1905 г. написал рассказ «Молитва», по мысли близкий к упомянутой легенде (см. тт. 41 и 42).

[20] Статья «Одумайтесь!» написана в связи с русско-японской войной. Над этой статьей Толстой работал в январе — апреле 1904 г. Впервые опубликована в Англии в изд. «Свободное слово» (Christchurch 1904). В России была напечатана в 1906 г. в изд. «Обновление», но была конфискована (см. т. 36).

[21] Письмо к Николаю II от 16 января 1902 г. было передано царю через великого князя Николая Михайловича. 15 апреля Николай Михайлович писал, что царь, принимая письмо, «сказал, что прочтет оное с интересом» (см. т. 54, стр. 607).

[22] Известны четыре письма Герцена к Александру II: от марта? 1855 г., 20 сентября 1857 г., 2 мая 1865 г. и 31 мая 1866 г. (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. К. Лемке, т. VIII, № 774, т. IX, № 966, т. XVIII, №№ 2602 и 2809). Письма эти, написанные по разным поводам, преследовали одну главную цель: убедить царя заставить его изменить политику, вызвать смягчение репрессий.

[23] *Алексеев* Василий Иванович (1848—1919) — участник народнического движения, в 1877—1881 гг. — учитель старших детей Толстого, автор «Воспоминаний» («Летописи Государственного литературного музея», кн. 12, М. 1948, стр. 232—330).

Алексеев имел большое влияние на Толстого в период его «духовного перелома». Толстой, оценивая это влияние, писал ему в июле 1884 г.: «Я вам во многом обязан в том спокойствии и ясности моего миросозерцания, до которого я дошел» (см. т. 63, № 238).

[24] Около 29 апреля 1903 г. Толстой получил от И. И. Мечникова его книгу «Etudes sur la nature humaine. Essai de philosophie opti-

miste» par Elie Metchnikoff, professeur à l'Institut Pasteur. Paris 1903 («Этюды о природе человека. Опыт философии оптимизма») и тогда же прочитал ее. В дневнике 29 апреля Толстой записал: «Книга от Мечникова. Хочется написать о ней» (см. т. 54, стр. 169). Однако намерения своего Толстой не выполнил.

1905

[1] *Святополк-Мирский* Петр Данилович (1857—1914) — генерал-адъютант, государственный деятель. С 26 августа 1904 г. — министр внутренних дел. При вступлении в должность министра Святополк-Мирский сделал заявление о том, что правительство идет на путь «доверия» к обществу (пресловутая «эра доверия»). Он пытался путем незначительных уступок задержать развитие революционных событий в стране. Однако, потерпев поражение, после 9 января он вынужден был уйти в отставку.

[2] *Коркунов* Николай Михайлович (1853—1904) — юрист, профессор С.-Петербургского университета. Упоминаемая книга «Русское государственное право» (2-е изд., СПб. 1899) служила долгое время учебным пособием для студентов.

[3] Статья «Единое на потребу» написана в период с 19 декабря 1904 г. по июнь 1905 г. Впервые опубликована в Англии в изд. «Свободное слово» (Christchurch 1905). В России была напечатана в 1906 г. в изд. «Обновление», но была конфискована (см. т. 36).

[4] *«Круг чтения»* — сборник изречений на каждый день года, принадлежащих как самому Толстому, так и другим мыслителям. Толстой начал составлять его в начале января 1904 г., а 23 декабря того же года отослал И. И. Горбунову-Посадову для издания в «Посреднике» (см. тт. 41—42).

В «Круге чтения» после каждых семи дней помещены «Недельные чтения». Не удовлетворясь материалами, включенными в отосланный в Москву экземпляр «Круга чтения», Толстой 5 января 1905 г. сообщил в письме И. И. Горбунову-Посадову, что ему «хотелось бы» еще «написать рассказы на чтения» (см. т. 75, № 281). В то же время он набросал в записной книжке 34 темы для таких рассказов (см. т. 55, стр. 301—302). Однако из них были обработаны только пять: 1) «Ушедший странствовать от жены» («Корней Васильев»). 2) «Паскаль», 3) «Письма Петра Васильевича Ольховика», 4) «Мой отказ от военной службы» А. Шкарвана, 5) «Ангел велит убить ребенка» («Молитва»). Эти пять произведений были предназначены для «Недельных чтений», но два из них (№№ 3 и 4) были исключены цензурой.

[5] В «Недельном чтении» после 2 июня помещен рассказ А. П. Чехова «Душечка». И. И. Горбунов-Посадов, получив рукопись «Круга

чтения», в письме от начала января 1905 г. высказал сомнение относительно помещения этого рассказа в «Круге чтения». «Слишком шутлив тон его, — писал Горбунов, — а это как будто и не идет к «Кругу чтения». 5 января, по поручению Толстого, Д. П. Маковицкий ответил Горбунову-Посадову, что рассказ этот *«надо* поместить, Лев Николаевич настаивает на этом» (см. т. 42, стр. 566 и 610—611).

В связи с этим, боясь ложного понимания этого рассказа, Толстой в начале января написал послесловие к нему, которое и было помещено вслед за рассказом Чехова (см. т. 41, стр. 374—377).

[6] Все эти три произведения включены как «Недельные чтения» в «Круг чтения» (см. тт. 41 и 42).

О «Молитве» см. прим. 19, стр. 419.

[7] Сборник «Мысли мудрых людей» был составлен Толстым в январе (1—23) 1903 г. Мысль о составлении такого сборника пришла Толстому во время его болезни в декабре 1902 г. В феврале рукопись сборника была послана в набор в изд. «Посредник». Сборник вышел в последних числах августа 1903 г. под заглавием: «Мысли мудрых людей на каждый день» (см. т. 40).

[8] *Вогюэ* Анри де — сын Э.-М. де Вогюэ — французского публициста и литературного критика. Приезжал к Толстому 12 февраля 1905 г. и прожил до 14 февраля.

[9] Письмо М. де Вогюэ к Толстому о переводе рассказа «Три смерти» неизвестно.

Рассказ «Три смерти» написан Толстым 15—24 января 1858 г. и напечатан в № 1 «Библиотеки для чтения» за 1859 г. (см. т. 3).

[10] *Добролюбов* Александр Михайлович (р. 1876) — один из первых русских поэтов-символистов. С 1899 г. вел страннический образ жизни; одно время был в монастыре послушником, но через год вышел оттуда и с тех пор ходил по России, проповедуя свою «добролюбовскую веру», близкую к мистицизму.

«Из книги невидимой» (М. 1905) — одна из книг Добролюбова с изложением его религиозных взглядов, изданная его друзьями.

[11] Книга Генри Джорджа «Избранные речи и статьи» в 1905 г. вышла вторым изданием в «Посреднике» (первое — в 1902 г.).

[12] *Поступаев* Федор Емельянович (1879—1931) — поэт-самоучка. Работал на заводе слесарем. За революционную деятельность несколько раз арестовывался и подвергался административным высылкам. 23 ноября 1905 г. Поступаев вместе с Н. Н. Гусевым приезжал в Ясную Поляну (см. его воспоминания «У Л. Н. Толстого» — «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник», Гиз, 1928, стр. 238—240). Стихи Поступаева были изданы отдельной книжкой: Ф. Поступаев, У земли и у котла, изд. «Посредник», М. 1906.

[13] Имеется в виду книга: «The life of Henry George» by his son H. George, New-York 1900.

[14] Имеются в виду *Костровский* Михаил Романович и *Поспехин* Александр Александрович — в то время артисты балета Большого театра. Вскоре под влиянием Толстого оставили театр.

[15] *«Начало конца»* — одно из первоначальных заглавий статьи «Конец века», писавшейся в июне — ноябре 1905 г.

[16] 14 июля 1905 г. у Толстого был корреспондент газеты «The New-York Times» Стэфен Мэккен.

[17] 14 июня 1905 г. началось революционное восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический», окончившееся неудачей. 25 июня броненосец вошел в румынский порт Констанцу и сдался румынским властям.

[18] В Цусимском морском сражении 14—15 мая 1905 г. (у островов Цусимы, в Корейском проливе), окончившемся полным поражением русской эскадры, в бою 15 мая сдался в плен японцам отряд контр-адмирала Н. И. Небогатова, в составе четырех броненосцев и одного эскадренного миноносца.

[19] Петр *Хельчицкий* (ок. 1390—1460) — чешский мыслитель, автор сочинения «Сеть веры» (ок. 1440), в котором проповедуется необходимость морального совершенствования человека, смирение и непротивление злу насилием. Толстой высоко ценил это сочинение и два отрывка из него поместил в «Круг чтения». Толстому принадлежит также статья «Петр Хельчицкий» (см. т. 42, стр. 46—50).

[20] Толстой имеет в виду Алонзо Холлистера — шекера, с которым он был в переписке с 1889 г. (см. тт. 64—65).

[21] *Похитонов* Иван Павлович (1850—1923) — русский художник, живший большей частью во Франции. В свой приезд в Россию летом 1905 г. 14—18 июня был в Ясной Поляне и сделал ряд зарисовок Ясной Поляны и ее окрестностей.

[22] Об этих посетителях сведений нет.

[23] *Великанов* Павел Васильевич (1860—1945) — учитель, знакомый Толстого с 1891 г. В начале знакомства сочувствовал взглядам Толстого, потом разошелся с ним; писал ему обличительные письма, которые иногда заканчивал грубыми ругательствами.

[24] П. И. Бирюков работал тогда над первым томом биографии Толстого, вышедшим в 1906 г. в изд. «Посредник» под названием: «Лев Николаевич Толстой. Биография. Составил П. И. Бирюков по неизданным материалам».

[25] Свои «Воспоминания» Толстой начал писать в связи с работой П. И. Бирюкова над его биографией, который часто обращался к Толстому с вопросами, касающимися его жизни. Воспоминания

писались с середины декабря 1902 г. по 1906 г. неравномерно, с большими перерывами. Окончены они не были.

[26] *Воейков* Николай Сергеевич — брат опекуна малолетних Толстых А. С. Воейкова. В молодости служил в гусарах, потом ушел в монастырь, откуда был изгнан за пьянство; последние годы жил «приживальщиком», главным образом у Н. Н. Толстого. Толстой пытался изобразить его в лице Николая Петровича Серпова в неоконченном рассказе, озаглавленном редакцией «Два путника» и относящемся к 1875—1876 гг. (см. т. 17).

[27] *«Учение 12-ти апостолов»* — один из памятников ранней церковной письменности, напечатанный в 1883 г. Толстой познакомился с ним в 1885 г. и тогда же перевел его с греческого и написал к нему введение и заключение (см. т. 25). В апреле 1905 г., подготовляя извлечения из «Учения 12-ти апостолов» для помещения в «Недельные чтения» «Круга чтения», Толстой написал новое предисловие (см. т. 42).

[28] *Урусов* Сергей Семенович (1827—1897) — товарищ Толстого по Севастополю; занимался математикой и был хорошим шахматистом. В статье «По поводу конгресса о мире. Письмо к шведам» Толстой рассказывает, как Урусов, «очень храбрый офицер» и «большой чудак», во время осады Севастополя приходил к начальнику гарнизона Д. Е. Остен-Сакену «затем, чтобы предложить вызов англичанам сыграть партию в шахматы на передовую траншею перед 5-м бастионом, несколько раз переходившую из рук в руки и стоившую уже нескольких сот жизней» (см. т. 90, стр. 61—62).

[29] *«В чем моя вера?»* — сочинение Толстого религиозно-философского характера, написанное в 1883 г. (см. т. 23).

[30] № 9 «Современника» за 1852 г., в котором была напечатана повесть Толстого «Детство», был прислан Толстому Петром Алексеевичем Картавовым, в то время комиссионером императорской Публичной библиотеки в Петербурге. Толстой ответил ему благодарственным письмом 16 июня 1905 г. (см. т. 75, № 365).

[31] Рассказ М. Н. Толстой хронологически неточен. Тургенев познакомился с ней в октябре 1854 г. и, следовательно, не мог читать Марье Николаевне и Сергею Николаевичу повесть «Детство» как новинку, так как повесть эта напечатана в сентябрьской книжке «Современника» за 1852 г. «О «Детстве» С. Н. Толстой писал Льву Николаевичу в ноябре 1852 г. Кроме того, неверно и то, что чтению «Детства» предшествовало чтение Тургеневым «Рудина» «по рукописи». «Рудин» был начат Тургеневым 5 июня 1855 г.

[32] Образ Веры Ельцевой в «Фаусте», по свидетельству Тургенева, был навеян М. Н. Толстой (см. И. Л. Т о л с т о й, Мои воспоминания, М. 1914, стр. 256).

[33] Достоевский в образе Кармазинова в «Бесах» создал пародию на Тургенева. Об этом Тургенев в негодующем тоне писал М. Л. Милютиной («Первое собрание писем Тургенева», СПб. 1884, стр. 208).

[34] Вражда Гончарова с Тургеневым основывалась на подозрениях Гончарова, что Тургенев для романа «Накануне» воспользовался материалами «Обрыва» (еще не опубликованного). Дело дошло до третейского суда, который, однако, нашел обвинение необоснованным (см. об этом в книге: «И. А. Гончаров и И. С. Тургенев по неизданным материалам Пушкинского дома», Пг. 1923).

[35] *Завалишин* Дмитрий Иринархович (1804—1892) — декабрист. Его записки напечатаны частично в «Русской старине» (1881—1882); полностью — в Мюнхене в 1904 г. под заглавием: «Записки декабриста Д. И. Завалишина». Это издание привезла Толстому дочь Завалишина 26 июня 1905 г. («Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, рукопись).

[36] А. П. Чехов посылал получаемые им книги в городскую библиотеку Таганрога.

[37] Н. К. Шильдер, Император Николай I, его жизнь и царствование, два тома, изд. А. Суворина, СПб. 1903.

1906

[1] *Аренский* Антон Степанович (1861—1906) — композитор; был лично знаком с Толстым; посетил его в Ясной Поляне 11 марта 1904 г.

[2] *Боткин* Василий Петрович (1811—1869) — публицист и литературный критик. Толстой познакомился с Боткиным в 1856 г. и одно время находился с ним в дружеских отношениях.

[3] М. Н. Толстая.

[4] Свадьба С. Л. Толстого с Марией Николаевной Зубовой (1867—1939) состоялась 30 июля 1906 г.

[5] Статью «О значении русской революции» Толстой начал писать после чтения брошюры Д. А. Хомякова «Самодержавие, опыт систематического построения этого понятия» (изд. С. Шарапова, М. 1905). Толстой работал над ней в марте — сентябре 1906 г. В ноябре того года статья появилась в изд. «Посредника», но была конфискована (см. т. 36).

[6] *Трепов* Дмитрий Федорович (1855—1906) — генерал, с 1896 г. — московский обер-полицмейстер; после 9 января 1905 г. — петербургский генерал-губернатор, а с мая того же года — товарищ министра внутренних дел и командующий отдельным корпусом жандармов; реакционер, жестоко расправлявшийся с революционерами.

[7] *Семенов* Сергей Терентьевич (1868—1922) — крестьянский писатель, знакомый Толстого с конца 1886 г. и высоко им ценимый; автор «Воспоминаний о Л. Н. Толстом» (СПб. 1912). Толстой написал к первому тому его «Крестьянских рассказов» предисловие (1894). В 1905—1906 гг. Семенов дважды арестовывался за участие в Крестьянском союзе. Был приговорен к ссылке в Олонецкую губернию, которая была ему заменена высылкой за границу.

[8] *Милютин* Владимир Алексеевич (1821—1855) — товарищ детства братьев Толстых; впоследствии профессор государственного права в Петербургском университете. Об упоминаемом «сообщении» молодого Милютина Толстой рассказывает в гл. I своей «Исповеди», относя этот эпизод к 1838 г. (см. т. 23, стр. 1).

[9] *Боборыкин* Петр Дмитриевич (1836—1921) — писатель-беллетрист. Был лично знаком с Толстым с 1881—1882 гг.; автор воспоминаний «В Москве у Толстого» («О Толстом. Международный Толстовский альманах», изд. «Книга», М. 1909, стр. 1—11). Упоминаемый рассказ — «Безвестная» («Вестник Европы», 1886, №№ 5—6).

[10] Толстой писал Боборыкину в июле — августе 1865 г. по прочтении его романа «Земские силы» («Библиотека для чтения», 1865, №№ 1—8). В письме он касался и романа Боборыкина «В путь дорогу» («Библиотека для чтения», 1864) и сообщал, что «полюбил сильно» его талант. Письмо это отправлено не было (см. т. 61, № 135).

[11] 8 января 1900 г. Толстой был избран почетным академиком по отделению русского языка и словесности, о чем его известил и выслал ему диплом вице-президент Академии наук М. И. Сухомлинов при письме от 24 апреля 1900 г. Сухомлинов также сообщил, что предстоит избрать еще трех почетных академиков, и просил указать кандидатов «числом не более шести». Толстой 2 мая 1900 г. ответил Сухомлинову, предлагая к избранию в почетные академики П. Д. Боборыкина, «повторяя это предложение шесть раз» (т. 72, № 276).

[12] Фамилия этого «доцента» и его письмо неизвестны.

[13] В Зоден к больному брату Николаю Николаевичу Толстой приехал 14 августа 1860 г.; 17 августа они уехали в Гиер.

[14] *Ауэрбах* Бертольд (1812—1882) — немецкий писатель, автор «Шварцвальдских деревенских рассказов». Толстой виделся с Ауэрбахом в Берлине 9 апреля 1861 г.

[15] *Маковицкий* Душан Петрович (1866—1921) — словак, врач, друг и единомышленник Толстого, живший в качестве домашнего врача в Ясной Поляне с 18 декабря 1904 г. по день ухода Толстого. Находился при Толстом до его смерти в Астапове. Вел подробные «Яснополянские записки» (дневник), опубликованные до настоящего времени лишь частично («Яснополянские записки», изд. «Задруга»,

вып. 1 и 2, М. 1922 и 1923; «Голос минувшего», 1923, № 3; «Яснополянский сборник» 1955; «Музей-усадьба Ясная Поляна. Лев Толстой. Материалы и публикации», Тула 1958).

[16] См. А. С. Пушкин, Евгений Онегин, гл. VI, строфа XXXII.

[17] Толстой познакомился с Ф. И. Тютчевым 23 ноября 1855 г. на вечере у И. С. Тургенева в Петербурге. Сведений о посещении Тютчевым Толстого не имеется.

[18] 20 августа к Толстому приезжал приват-доцент Московского университета Иван Александрович Ильин.

[19] *Брайан* Уильям Дженнигс (1860—1925) — американский политический деятель, член демократической партии. Брайан трижды (1896—1908) выставлял свою кандидатуру на пост президента, но избран не был. Брайан 5 декабря 1903 г. приезжал к Толстому. Толстой сочувственно относился к его кандидатуре в президенты, полагая, что «Брайан будет сторонником земельной реформы в духе Генри Джорджа» (см. т. 78, № 254).

[20] *Герценштейн* Михаил Яковлевич (1859—1906) — экономист и политический деятель, кадет; член Государственной думы первого созыва. Убит 18 июля 1906 г. черносотенцами.

[21] Толстой читал книгу Д. И. Менделеева «К познанию России» (СПб. 1906) 2 августа 1906 г. Д. П. Маковицкий в тот же день записал слова Толстого об этой книжке: «Данные интересны, но рассуждения плохи» («Яснополянские записки», рукопись). Толстой в своем дневнике записал 24 августа 1906 г.: «Прочел у Менделеева, что назначение, идеал человека — размножение. Ужасно нелепо. Вот глупость (не свойство, а поступок слова) — последствие самоуверенности» (см. т. 55, стр. 237).

[22] С. А. Толстая заболела 22 августа. Вызванный В. С. Снегирев нашел необходимой операцию. Для консультации был приглашен из Петербурга проф. Н. Н. Феноменов, который в назначенный им срок — утро 2 сентября — не приехал. Положение больной ухудшалось, и тогда Снегирев решил не ждать Феноменова и сделать операцию. Операция прошла благополучно, что и подтвердил приехавший вечером Феноменов.

[23] Имеется в виду статья «Единственное возможное решение земельного вопроса», начатая 6 июня 1906 г. Статья была закончена 10 сентября. Напечатана впервые в книге: «I. Единственное возможное решение земельного вопроса. II. Предисловие к русскому переводу книги Генри Джорджа «Общественные задачи» (изд. «Посредник», М. 1907).

[24] А. Л. Толстая продала крестьянам деревни Телятинок всю принадлежавшую ей пахотную землю, оставив себе только усадьбу и сад.

[1] В газете «Биржевые ведомости», № 9699 за 17 января, сообщалось, что в декабре Толстой болел инфлуэнцией в тяжелой форме, а теперь заболел бронхитом.

[2] И. П. Похитонов в свой приезд в июле 1905 г. нарисовал пейзажи с видом той части оврага «старого Заказа», где, по уверению старшего брата Толстых Николеньки, была зарыта «зеленая палочка», долженствующая осчастливить людей.

[3] В конце декабря 1906 г. Толстой начал по вечерам занятия с крестьянскими детьми, с разъяснением им «закона божия». Свои уроки Толстой записывал. Эти записи явились материалом для «Детского круга чтения». Однако работу эту Толстой не довел до конца. Собранное им для «Детского круга чтения» вошло в состав «Нового круга чтения» для взрослых, получившего в окончательном виде заглавие «На каждый день» (см. тт. 43—44).

[4] В. Г. Чертков с семьей, высланный в 1897 г. за границу за помощь духоборам, после революции 1905 г. получил разрешение вернуться в Россию. Чертковы приехали 19 июня 1907 г. и временно остановились в Ясной Поляне, до устройства арендованных ими двух домов в усадьбе помещиков Гужона и Кулешова, близ деревни Ясенки, в пяти километрах от Ясной Поляны.

[5] *Рессель* Федор Иванович — домашний учитель-немец у Толстых.

[6] *Сютаев* Василий Кириллович (1819—1892) — крестьянин деревни Шевелино, Новоторжского уезда Тверской губ., самобытный религиозный мыслитель, имевший большое влияние на Толстого в период его религиозных исканий.

Сын Сютаева — Иван Васильевич — последователь отца. В 1885 г. работал в «Посреднике» в качестве артельщика.

[7] «Павловский мысок» (или Павловский форт) в Севастополе был взорван 28 августа 1855 г. Толстой был очевидцем этого взрыва. Рассказ Толстого об этом взрыве записан в «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого 24 мая 1905 г. и 17 июля 1906 г.

Голицын — офицер, знакомый Толстого; *Ильин* — ошибочно названный капитан-лейтенант Д. В. Ильинский.

[8] *Трегубов* Иван Михайлович (1858—1931) — близкий знакомый Толстого, во многом разделявший его взгляды. В 1897 г. был выслан в г. Бауск за помощь духоборам. Под его «проповедью» Толстой имеет в виду его выступления на различных съездах, собраниях, а также и в печати по вопросам религии и морали, в которых он возражал Толстому и доказывал, что «молодые энергичные люди» не могут ограничиться одним «пассивным отношением к жизни» и потому

«уходят в ряды борцов, далеких от христианства» (см. т. 76, стр. 16—17).

[9] 13 января 1862 г. к Толстому явилась незнакомая дама под вуалью и передала ему тысячу рублей при письме, в котором указывалось, что деньги эти назначаются на «нужды народа». Об этом Толстой сделал объявление в № 1 своего журнала «Ясная Поляна» за 1862 г. В №№ 2 и 3 Толстой сообщил, что «все деньги... розданы почти поровну на все общества Ясенецкой волости. В обществах — розданы самым бедным по 5, 7 и 10 рублей по приговорам стариков». Кроме того, основана школа в сельце Телятинки — «в одном из самых бедных селений участка» (см. т. 8, стр. 356—358; Н. Н. Гусев, Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1855 по 1869 год, изд. Академии наук СССР, М. 1957, стр. 463).

[10] *Языков* Семен Иванович (1787—1865) — тульский помещик, владелец деревни Бутырки, Белевского уезда, товарищ Н. И. Толстого по охоте; крестный отец Льва Николаевича. После смерти Н. И. Толстого был опекуном (вместе с сестрой Николая Ильича, А. И. Остен-Сакен) малолетних детей Толстых.

[11] Речь идет об Александре Ивановне *Воиновой* (р. 1887), приславшей Толстому при письме от 10 июля (почт. шт.) рукопись своей первой повести (заглавие неизвестно, рукопись была возвращена) (см. т. 77, письмо № 185). Впоследствии Воинова написала ряд пьес для крестьянского театра.

[12] Ольденберг Г., Будда, его жизнь, учение и община. Перевод с 4-го немецкого издания А. Н. Ачкасова, изд. Д. П. Ефимова, М. 1905.

[13] Письмо к П. А. Столыпину о необходимости уничтожения собственности на землю путем установления «единого налога» Генри Джорджа (см. т. 77, № 192) было написано 26 июля 1907 г. Толстой рекомендовал С. Д. Николаева как знатока учения Джорджа, с которым советовал ему познакомиться. Столыпин ответил только 23 октября (почт. шт.) письмом с возражением Толстому и защитой принципа собственности (см. «Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник», М. 1928, стр. 91 и 92).

[14] Статья «Не убий никого» написана в связи с арестом одного из руководителей издательства «Обновление» Н. Е. Фельтена за напечатание статьи Толстого «Не убий» (1900). Статья писалась от 9 июля до 14 августа 1907 г. Опубликована была в выдержках многими газетами («Слово» — 6 сентября 1907 г.; «Речь», «Товарищ», «Русские ведомости», «Голос Москвы», «Столичное утро» — 8 сентября; см. т. 37).

[15] Речь идет о комедии «Зараженное семейство», написанной в

декабре 1863 — январе 1864 гг. Комедия не была поставлена на сцене; не была также тогда напечатана.

[16] Беседа эта началась по поводу статьи Толстого «Как освободиться рабочему народу», в которой проводится мысль, что рабочие, идя на службу к правительству и богачам, тем самым несут вину за свое угнетенное положение. Далее в беседе были затронуты вопросы, связанные с революционной деятельностью. Беседа эта записана подробно Н. Н. Гусевым (см. Н. Н. Гусев, Два года с Л. Н. Толстым, М. 1928, стр. 16—23).

[17] В книге «Путь жизни», составленной в 1910 г., книжка XXVIII носит название «Зло» (см. т. 45).

[18] Имеется в виду заметка, подписанная «Ю—н», о книге Н. М. Гутьяра «Иван Сергеевич Тургенев» (Юрьев 1907), напечатанная в «Новом времени» (1907, № 11308 от 5 сентября).

[19] *Урусов* Леонид Дмитриевич (ум. 1885) — бывший тульский вице-губернатор, разделявший взгляды Толстого. Упоминаемый спор Урусова с Тургеневым происходил 22 августа 1881 г. в Ясной Поляне (см. С. Л. Толстой, Очерки былого, М. 1956, стр. 312—313).

[20] Телеграмма Л. Н. Андреева не сохранилась. Телеграмма Толстого Л. Н. Андрееву от 7 сентября опубликована в т. 77, № 219. Несмотря на приглашение Толстого, Андреев в 1907 г. не приезжал в Ясную Поляну.

[21] Упоминаемое письмо и фамилия адресата неизвестны.

[22] Н. Н. Гусев был арестован 22 октября 1907 г. в Телятинках. При обыске у него были взяты письма к нему и некоторые книги. Из Телятинок его препроводили на становую квартиру, которая помещалась в усадьбе А. Е. Звегинцевой, где дважды посетил его Толстой. На шестой день Гусев был отправлен в Крапивну и помещен сначала в полицейское управление, а затем в тюрьму. 4 ноября Толстой посетил Гусева в тюрьме.

В связи с арестом Гусева Толстой написал письма тульскому губернатору Д. Д. Кобеко 28 октября и Д. А. Олсуфьеву 8 ноября (см. т. 77, №№ 271 и 282). 1 ноября Толстой был в Туле у Кобеко и лично просил его об освобождении Гусева. 20 декабря Гусев был освобожден, а 21-го приехал в Ясную Поляну.

1908

[1] Имеется в виду фонограф, присланный Толстому Т. Эдисоном.

[2] Толстой диктовал Н. Н. Гусеву свой перевод рассказа В. Гюго «Un athée», который под заглавием «Неверующий» включил в «Круг чтения», в «Недельное чтение», после 21 июля (см. т. 41).

[3] *Волков* Александр Николаевич — художник-акварелист, живший за границей. О какой книге идет речь, не удалось установить.

[4] *Молочников* Владимир Айфалович (1871—1936) — единомышленник Толстого, по профессии слесарь; с Толстым познакомился 31 декабря 1907 г. В конце марта 1908 г. был привлечен к ответственности за хранение и распространение запрещенных цензурой статей Толстого. 7 мая был приговорен выездной сессией Петербургской судебной палаты к заключению в крепость на один год. 10 апреля Толстой получил от Молочникова письмо и при нем обвинительный акт, составленный по его делу. Все это Толстой переслал Н. В. Давыдову.

[5] Письмо к Н. В. Давыдову написано 11 апреля 1908 г. (см. т. 78, № 121).

[6] Имеется в виду рассказ В. Гюго «Guerre civile». Свое изложение этого рассказа Толстой под заглавием «Сила детства» включил в «Круг чтения», в «Недельное чтение» (см. т. 42).

[7] Имеется в виду рассказ «Un athée» (см. прим. 2).

[8] Сообщение о казнях Толстой прочел 11 мая в газете «Русь» (1908, № 127 от 9 мая), где было напечатано: «Херсон. 8. Сегодня на Стрельбицком поле казнены через повешение двадцать крестьян, осужденных военно-окружным судом за разбойное нападение на усадьбу землевладельца Лубенко в Елисаветградском уезде». В связи с этим Толстой 12 мая записал в дневнике: «Вчера мне было особенно мучительно тяжело от известия о 20 повешенных крестьянах. Я начал диктовать в фонограф, но не мог продолжать» (см. т. 56, стр. 117). Н. Н. Гусев в своем дневнике записал то, что Толстой сказал в фонограф: «Нет, это невозможно! Нельзя так жить!.. Нельзя и нельзя. Каждый день столько смертных приговоров, столько казней; нынче 5, завтра 7, нынче двадцать мужиков повешено, двадцать смертей... А в Думе продолжаются разговоры о Финляндии, о приезде королей, и всем кажется, что это так и должно быть» (Н. Н. Гусев, Два года с Л. Н. Толстым, изд. 2-е, М. 1928, стр. 156).

[9] Статья «Не могу молчать», протестующая против непрекращавшихся смертных казней, писалась с 13 мая по 15 июня. Она переделывалась семнадцать раз (см. т. 37). Статья вскоре же получила самое широкое распространение. Впервые опубликована в отрывках 4 июля 1908 г. во многих газетах: «Русские ведомости», «Слово», «Русь», «Современное слово» и др. Все эти газеты были оштрафованы. В августе 1908 г. статья была напечатана в нелегальной типографии в Туле. Помимо этого, она получила широкое распространение в гектографированных и рукописных списках. Толстой в связи с опубликованием статьи получил много писем как с выражением сочувствия, так и «ругательных».

[10] Ветринский Ч. (В. Е. Чешихин), А. И. Герцен (СПб. 1908). В дневнике Толстой записал в связи с чтением этой книги: «Читаю о Герцене. Автор — узкий социалист» (см. т. 56, стр. 134).

[11] Над статьей «Закон насилия и закон любви» Толстой работал с 20 января 1908 г., с перерывами, по начало августа того же года. Впервые опубликована неполностью и с цензурными купюрами в газете «Киевские вести», 1909, №№ 47, 49 и 52 от 17, 19 и 22 февраля (см. т. 37).

[12] А. И. Герцен. Aphorismata по поводу психиатрической теории д-ра Крупова. Сочинение прозектора и адъюнкт-профессора Левиафанского. Впервые опубликована на французском языке в газете «Kolokol» (1868, № 6 от 1 апреля); по-русски — в «Полярной звезде», 1869, кн. III. Толстой читал этот рассказ в Собрании сочинений А. И. Герцена («Genève — Bale — Lyon» H. Georg, Libraire-Editeur.)

[13] *Розов* Яков Иванович — см. прим. 13 на стр. 414.

[14] *Каменская* Анна Алексеевна — председательница Российского теософического общества, редактор журнала «Вопросы теософии», автор многих статей по теософии, печатавшихся за подписью «Alba»; *Писарева* Елена Федоровна — сотрудница журнала «Вестник теософии» (подписывалась инициалами: Е. П.). *Унковская* Александра Васильевна — скрипачка, автор нескольких статей в журнале «Вопросы теософии».

[15] Арабское сказание знаменитого проповедника Джеллаледина, помещенное в статье К. П. Победоносцева «Вера» («Московский сборник», изд. 4-е, М. 1897, стр. 163).

[16] *Лясота* Юлий Иванович — скрипач оркестра Большого театра; в 1887 г. в хамовническом доме Толстых исполнял «Крейцерову сонату» Бетховена.

[17] *Пестель* Павел Иванович (1793—1826) — декабрист, член и директор Южного общества, составитель «Русской правды». Казнен 13 июля 1826 г.

В главе первой «Русской правды» «О земельном пространстве государства», в § 2, «Распределение иноплеменных народов», значится: «Итак, по правилу народности должна Россия даровать Польше независимое существование» (П. И. Пестель, Русская правда — «Восстание декабристов», т. VII, Госполитиздат, 1958, стр. 123).

[18] 4 июля Толстой записал в дневник: «Читал статью Вивекананда о боге превосходную. Надо перевести». Чтение Вивекананды также отмечено и в дневнике 5 августа (см. т. 56, стр. 138 и 142).

Вивекананда Суоми (1861—1902) — индусский религиозный писатель. Какое сочинение Вивекананды читал Толстой, не установлено.

[19] Корреспондент американской газеты «New-York Times» Герман Бернштейн посетил Толстого 25 июня. Толстой 26 июня записал в дневнике: «Был американский корреспондент. Хорошо поговорил с ним» (см. т. 56, стр. 137).

[20] Ершова была в Ясной Поляне 7 июля.

[21] *Соловьев* Иван Ильич (1854—1918) — священник, с 1883 г. — законоучитель Московского лицея им. цесаревича Николая; автор книжки: «Послание святейшего синода о графе Льве Толстом» (М. 1901). Толстой ответил на его письмо 8 июля письмом, в котором, рассказав содержание легенды о пастухе и Моисее, прочитанной им в «Московском сборнике» (см. прим. 15 на стр. 431), добавлял: «Легенда эта мне очень нравится, и я просил бы вас смотреть на меня как на этого пастуха» (см. т. 78, № 196).

[22] К восьмидесятилетию Толстого П. А. Сергеенко готовил сборник из произведений Толстого, вышедший под заглавием: «Хрестоматия из писаний Льва Толстого. Составлена группой детей под редакцией П. Сергеенко» (изд. «Книга», М. 1908). С. А. Толстая протестовала против помещения в хрестоматии отрывков из произведений Толстого, написанных до 1881 г. и являвшихся собственностью семьи («Детство», «Отрочество», «Азбука» и др.). 28 июля С. А. Толстая написала письмо в газеты (было опубликовано в ряде газет 4 и 5 августа), в котором напоминала, что Толстой отказался от авторского права лишь на сочинения, написанные после 1881 г. В ответ на это в «Раннем утре» (№ 217 от 6 августа) было напечатано письмо в редакцию И. Воского, в котором сообщалось, что, согласно существующему законодательству (приложение к ст. 420, т. X Свода законов), помещение отрывков из произведений в хрестоматиях не является самостоятельным изданием.

[23] I. Huncer, Chopin, the man and his music, 1901.

[24] Имеется в виду первое прозаическое произведение А. Франса — повесть «Иокаста» (1879).

[25] *Бессмертники* — религиозная группа, основанная в начале 1900-х гг. в Москве И. И. Морозовым. Бессмертники верили, что можно достичь физического бессмертия силой веры в бога.

30 июля 1908 г. к Толстому приезжал последователь этой группы Сергей Казаков, находившийся с Толстым в переписке (см. т. 78).

[26] *Клечковский* Маврикий Мечиславович (1868—1938) — преподаватель музыки; сотрудник журнала «Свободное воспитание». Был в Ясной Поляне 24 июля. С. А. Толстая записала в своем «Ежедневнике»: «Играет приятно, грациозно фразирует».

[27] Толстой имеет в виду письмо крестьянина села Малышев Лог, Тульской губ., Алексея Степановича Гаврилова, который писал ему 26 июня 1908 г. о своем «разочаровании» в православии и спрашивал,

где «живут последователи учения Христа». Толстой ответил ему 23 июля (см. т. 78, № 211).

[28] Толстой получил письмо от Федора Константиновича Грекова со станции Саблино, Николаевской ж. д., от 15 июля 1908 г., в котором он, между прочим, извещал Толстого о посылке книги: Ф. Палеолог, Извещение. Благовестие мира. (Раскрытие вечных истин), изд. Грекова, СПб. 1906.

В Яснополянской библиотеке сохранился экземпляр этой книги с надписью: «Великому писателю Истины Льву Николаевичу Толстому от Ф. Палеолога».

[29] О каком письме говорит Толстой, не установлено. Во второй половине июля Толстой получил письма от троих отказавшихся от военной службы: А. И. Кудрина, А. В. Варнавского и А. И. Иконникова (см. т. 78, №№ 203, 210 и 212).

[30] 7—8 июля в Ясной Поляне были фотокорреспонденты «Нового времени» Булла с сыном и сделали много снимков Толстого к его восьмидесятилетию.

[31] Упоминаемая записка Д. Маццини не сохранилась.

[32] См. прим. 13 на стр. 428.

[33] Имеется в виду сборник «На каждый день».

[34] «Русское слово».

[35] Толстой имеет в виду лубочные книжки, выпускавшиеся Сытиным. *«Еруслан Лазаревич»* — «Сказка о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче, о его храбрости и невообразимой красоте царевны Анастасии Вахрамеевны».

[36] О ком здесь идет речь, не установлено. Из сидевших в то время в тюрьме за отказ от военной службы и бывших в переписке с Толстым был болен туберкулезом А. В. Варнавский. Умер в тюрьме в 1911 г.

[37] См. прим. 11 на стр. 431.

[38] 10 июля в газете «Слово» было опубликовано следующее письмо И. Е. Репина по поводу статьи Толстого «Не могу молчать»: «Лев Толстой в своей статье о смертной казни высказал то, что у всех нас, русских, накипело на душе и что мы по малодушию или неумению не высказали до сих пор. Прав Лев Толстой — лучше петля или тюрьма, нежели продолжать безмолвно ежедневно узнавать об ужасных казнях, позорящих нашу родину, и этим молчанием как бы сочувствовать им. Миллионы, десятки миллионов людей, несомненно, подпишутся теперь под письмом нашего великого гения, и каждая подпись выразит собою как бы вопль измученной души. Прошу редакцию присоединить мое имя к этому списку».

[39] *Уайлд* Оскар (1856—1900) — английский писатель и поэт; «De

profundis» — его «исповедь», в которой он рассказывал историю своего «обращения от Диониса к Христу».

[40] Это письмо неизвестно.

[41] Толстой диктовал Н. Н. Гусеву письма и затем запись в дневник (см. Н. Н. Гусев, Два года с Л. Н. Толстым, М. 1912, стр. 187).

[42] Н. Л. Оболенский в то время собирался жениться на Н. М. Сухотиной.

[43] По инициативе М. А. Стаховича в начале 1908 г. были начаты подготовительные работы по организации чествования Толстого в связи с его восьмидесятилетием (28 августа 1908 г.). В Петербурге был создан комитет почина, в который входили М. М. Ковалевский, В. Г. Короленко, И. Е. Репин и др. Секретарем избрали М. А. Стаховича, который был командирован за границу для установления контакта с иностранными комитетами. В Париже был образован комитет с участием А. Франса, Ж. Жореса, П. Буайе и др.; в Лондонском комитете участвовали Р. Киплинг, Э. Моод и др.; Берлинский комитет возглавил Г. Гауптман. Предполагалось превратить юбилей Толстого в грандиозное национальное торжество с участием иностранных депутаций, представители которых и должны были приветствовать Толстого в Ясной Поляне.

[44] Письмо в газеты с просьбой не устраивать ему чествование по случаю восьмидесятилетия Толстой написал 25 марта. Однако это письмо он не послал в газеты, а попросил Н. В. Давыдова, который был председателем Временного бюро Московского комитета по организации чествования Толстого, прочитать его на заседании комитета. Давыдов 2 апреля огласил это письмо, и комитет постановил прекратить свою деятельность.

[45] Речь идет о петербургской табачной фабрике «Оттоман». Письмо Толстого с благодарностью за «подарок» написано 3 сентября (см. т. 78, № 249).

[46] М. О. Гершензон, И. В. Киреевский («Вестник Европы», 1908, № 8).

[47] Имеется в виду приветственная телеграмма Г. Гауптмана от 29 августа 1908 г., присланная к восьмидесятилетию Толстого. Толстой ценил драму Гауптмана «Ткачи» и одно время думал написать предисловие к русскому переводу этой драмы (см. т. 88, № 590).

[48] *Рудольф* — имя опустившегося музыканта, с которым Толстой познакомился в мае 1849 г. в Москве. Уезжая в Ясную Поляну, Толстой взял Рудольфа с собой. Дальнейшая его судьба неизвестна.

[49] *«Альберт»* — рассказ, написанный в 1857 г. — марте 1858 г. Впервые напечатан в «Современнике», 1858, № 8 (см. т. 7).

[50] Имеется в виду письмо Толстого Федерации лиг единого земельного налога в Австралии от 2 сентября 1908 г. в ответ на их приветственный адрес по случаю восьмидесятилетия Толстого (см. т. 78, № 244).

[51] М. О. Меньшиков в 1908 г. поместил в «Новом времени», издаваемом А. С. Сувориным, две статьи, направленные против Толстого: в № 11614 от 13 июля — «Лев Толстой как журналист» и в № 11642 от 10 августа — «Толстой и власть». В первой из них, написанной по поводу появления статьи Толстого «Не могу молчать», Меньшиков, пытаясь оправдать смертную казнь, резко нападал на Толстого и писал: «По раздраженному тону, по анархизму банальных идей, по партийной озлобленности, по ожесточенной ненависти к «правительству» и «попам» Лев Толстой падает иногда до какого-нибудь плебея мысли». Во второй утверждал: «Он стремится подговорить власть к величайшему насилию, какое мог бы придумать тиран, к отмене частной собственности. Но до чего силен инстинкт собственности, можно судить по тому факту, что сам Толстой ни в молодости, ни позднее не подарил земли крестьянам, бедственную жизнь которых он всю жизнь наблюдал».

По поводу второй статьи Толстой 20 августа 1908 г. написал Меньшикову письмо, в котором сообщал, что, прочитав эту статью, он не испытал к нему «не только неприятного чувства», а испытал чувство «прямо любви» к нему (см. т. 78, № 228).

[52] Стихотворение Алексея Михайловича Жемчужникова (1811 — 25 марта 1908) «Л. Н. Толстому на 28 августа 1908 года» было написано незадолго до смерти автора и опубликовано наследниками его в «Вестнике Европы» № 9 за 1908 г.

[53] К. К. Арсеньев, Л. Н. Толстой. 1828—1908, «Вестник Европы», 1908, № 9.

[54] Имеется в виду рассказ «За одно слово», написанный яснополянским крестьянином, бывшим учеником школы Толстого в 1858—1863 гг. В. С. Морозовым на сюжет, взятый из действительной жизни. В конце июня Морозов принес его Толстому, прося поместить в какой-нибудь журнал, с целью получить гонорар. Толстой поправил рассказ (2 июля), написал к нему предисловие (18 июля) и послал его в «Вестник Европы», где он и был напечатан в № 9 за 1908 год.

[55] Эти четверо революционно настроенных типографских рабочих из Тулы приходили к Толстому вторично 14 сентября. Н. Н. Гусев подробно записал беседу Толстого с ними (см. Н. Н. Гусев, Два года с Л. Н. Толстым, М. 1912, стр. 196—207, и Лев Толстой против государства и церкви, Берлин 1913, стр. 42—55; см. также т. 78, № 253).

[56] Упоминаемое письмо Л. А. Сулержицкого неизвестно. Также неизвестен и ответ ему А. Л. Толстой.

[57] Фамилия этого студента неизвестна. В дневнике Н. Н. Гусева 1 сентября записано: «Вчера у Льва Николаевича был харьковский студент, который задал ему вопрос о том, можно ли во имя блага многих пожертвовать благом одного». Далее приводится ответ Толстого (см. Н. Н. Гусев, Лев Толстой против государства и церкви, Берлин 1913).

[58] *Ангелус* Силезиус — псевдоним немецкого поэта-мистика Иоганна Шеффлера (1624—1677). Толстой несколько раз читал его сочинения и перевел ряд изречений для «Круга чтения» и «На каждый день» из его книги «Cherubinischer Wandersmann», Iena und Leipzig 1905.

[59] *Галеви* Луи (1834—1908) — французский драматург и романист. Упоминаемый его роман: «Madame et Monsieur Cardinal».

[60] Вероятно, от французского филолога-ориенталиста Мишеля Бреаля. В архиве Толстого сохранилось его письмо, относящееся к сентябрю 1908 г. Бреаль прислал Толстому свою книгу: «Pour mieux connaître Homère» (Paris 1906).

[61] Письмо Л. Н. Андреева опубликовано в «Сборнике Государственного толстовского музея», М. 1937, стр. 239. (Ответ Толстого см. т. 78, № 242.)

[62] *Сехин* Дмитрий Михайлович — внучатный племянник Епифана Сехина (Енишки, прототипа Ерошки в «Казаках»). Здесь отмечается его второе посещение Толстого; впервые он был у Толстого 20 февраля 1908 г.

[63] См. прим. 58.

[64] Текст прокламации неизвестен.

[65] Толстому эти сведения были нужны для задуманной им художественной работы, которую он вскоре начал, но не стал продолжать. Начало это напечатано под заглавием, данным редакцией, — «Роженица» (см. т. 37).

[66] Повесть на тему «нет в мире виноватых» (см. прим. 68).

[67] Один из представителей тульской администрации, бывший у Толстого за несколько дней перед тем.

[68] Эта мысль занимала Толстого давно. 3 марта 1863 г. он записал в дневнике: «Идеал есть гармония. Одно искусство чувствует это. Только то настоящее, которое берет себе девизом: нет в мире виноватых» (см. т. 48, стр. 53). Осуществить эту мысль Толстой отчасти пытался, по словам С. А. Толстой, в «Анне Карениной», где он хотел изобразить Анну «только жалкой и невиноватой» («Дневники С. А. Толстой», М. 1928, стр. 32). Роман о декабристах он также начал писать с желанием показать, что «не было виноватых» (см. т. 62,

стр. 397). В 1908—1910 гг. эту мысль Толстой пытался осуществить в двух своих произведениях: «Кто убийцы? Павел Кудряш» (1908—1909) и «Нет в мире виноватых» (1909—1910), представляющих собой как бы два варианта произведения, написанных на одну и ту же тему. Оба они не были закончены (см. тт. 37 и 38).

[69] В ответ на письмо сербки Анджии Петровичевой от 7 октября, просившей Толстого выступить в защиту аннексированных Австрией Боснии и Герцеговины, Толстой написал статью «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии» (см. т. 37).

[70] О занятиях Толстого с крестьянскими мальчиками см. прим. 3, стр. 427.

1909

[1] Имеется в виду статья, в окончательной редакции названная «Смертная казнь и христианство». Написана в связи со статьей А. А. Столыпина «Заметки» («Новое время», 1908, № 11772 от 18 декабря, подпись: «А. Ст—н»), в которой автор пытался оправдать смертную казнь текстами из евангелия. Толстой начал писать эту статью 21 декабря 1908 г. и закончил 2 января 1909 г. (см. т. 38).

[2] Письмо к А. К. Степанову см. в т. 79, № 74. Об адресате сведений не имеется.

[3] Дочь Татьяны Львовны.

[4] Речь идет о письме С. А. Толстой от 6 марта 1909 г. в редакции газет в связи с высылкой В. Г. Черткова из Тульской губернии. Черткову 6 марта было объявлено постановление исполнявшего должность тульского губернатора В. И. Лопухина с предписанием покинуть пределы Тульской губернии, так как пребывание его здесь «найдено опасным для общественной тишины и спокойствия». (Дело о В. Г. Черткове хранится в Государственном музее Л. Н. Толстого.) С. А. Толстая в письме своем выражала протест против действия тульской администрации. 11 марта письмо было напечатано в «Русских ведомостях» (№ 57) и затем перепечатано многими московскими и петербургскими газетами.

[5] Имеется в виду книга «Goethe Kalender auf das Jahr 1909», Leipzig 1908, присланная Толстому издателем Теодором Вейхером при письме от 25 мая н. с. 1909 г., в котором он просил Толстого сообщить об отношении его к Гете. Толстой ответил Вейхеру 27 мая (см. т. 79, № 248).

[6] *Поленов* Василий Дмитриевич (1844—1927) — художник, автор ряда картин из жизни Христа; был знаком с Толстым с 1887 г. Поленов прислал Толстому свой альбом «Из жизни Христа» (тип. А. И. Ма-

монтова, 1909), частично раскрашенный им самим. Толстой ответил Поленову 3 июля (см. т. 79, № 259).

[7] *Добролюбов* А. М. — см. прим. 10 на стр. 421.

[8] *Скипетров* Михаил Павлович (1883—1911) — в то время студент физико-математического факультета Петербургского университета; был болен туберкулезом, в связи с чем некоторое время жил на Кавказе.

[9] Толстой читал статью М. О. Гершензона «Западные друзья Герцена» («Былое», 1907, № 4, стр. 63—82; № 5, стр. 205—227), в которой были напечатаны некоторые письма Герцена.

[10] *Прудон* Пьер-Жозеф (1809—1865) — французский экономист и философ, теоретик анархизма. В 1861 г. Толстой посетил Прудона в Брюсселе, к которому его направил А. И. Герцен, дав письмо к нему.

[11] Анна *Кашинская* (ум. 1359) — жена великого князя Михаила Ярославича. После ее смерти были открыты ее «мощи», и она была признана «святою»; затем при Алексее Михайловиче ее лишили «святости». В мае 1909 г. было опубликовано постановление «о восстановлении церковного почитания» Анны, и в Кашине, Тверской губ., месте ее погребения, проводились торжества.

[12] *Мечников* Илья Ильич (1845—1916) — выдающийся русский ученый-биолог; в то время директор Пастеровского института в Париже. Жена его — Ольга Николаевна, рожд. Белокопытова (1858—1944) — художница.

И. И. Мечников написал воспоминания о посещении Толстого «День у Толстого в Ясной Поляне» («Русское слово», 1912, № 225 от 30 сентября); О. Н. Мечникова описала это посещение в книге: «Жизнь И. И. Мечникова» (Гиз, М. 1926, стр. 161—165).

[13] А. К. Черткова была болезненная и худая.

[14] Foà Edouard, La traversée de L'Afrique, du Zambèse au Congo Française, Paris, s. a. (Путешествие по Африке, от Замбези до Французского Конго).

[15] Для расследования дела В. Г. Черткова по поручению П. А. Столыпина 24 мая приезжал в Телятинки полковник Анатолий Григорьевич Лубенцов. Толстой поехал в этот день в Телятинки именно для того, чтобы поговорить с Лубенцовым о деле Черткова, но, встретившись с ним у крыльца, Толстой «почувствовал к нему гнев» и изменил свое решение (см. Н. Н. Гусев, Эпизоды из жизни Л. Н. Толстого, «Красная нива», 1928, № 37).

[16] Имеется в виду книга И. И. Мечникова: «Essais optimistes», Paris 1907 («Оптимистические этюды»). Эту книгу Мечников прислал Толстому в середине июля 1909 г. Толстой читал ее 17—19 июля. «Этюды о природе человека» Толстой читал на французском языке — 29 апреля 1903 г. См. прим. 24 на стр. 419.

[17] Телеграмма А. И. Куприна С. А. Толстой от 2 июля из Житомира с вопросом: «не обеспокоит» ли он С. А. и Л. Н. Толстых, если «в средине июля заедет всего на час». В ответ Куприну сообщили, чтобы он отложил свой приезд до осени, так как Лев Николаевич уезжает к дочери Татьяне Львовне.

[18] Толстой читал третью книжку «Земли» за 1909 г. с первой частью «Ямы».

[19] В начале июня 1909 г. Толстой читал сказки А. Франса: «Les sept Femmes de la Barbe Bleue et autres contes merveilleux» («Семь жен Синей Бороды и другие чудесные рассказы»), Calmann-Levy, Paris, s. a. Д. П. Маковицкий в своем дневнике отмечает, что Толстой назвал книжку «глупой»: «Сперва живо, интересно, к концу скучно». Однако некоторые из них, «больше понравившиеся», Толстой прочел вслух своим домашним («Яснополянские записки», рукопись). Книжка эта сохранилась в Яснополянской библиотеке.

[20] *Спиро* Сергей Петрович — журналист, драматург и актер; автор воспоминаний «Беседы с Л. Н. Толстым (1909—1910)», М. 1911.

Спиро в 1909—1910 гг. интервьюировал Толстого несколько раз. Статья Спиро «Толстой о И. И. Мечникове» была напечатана в «Русском слове» в номере от 3 июня 1909 г.

[21] О ком здесь идет речь, не установлено. Об этом же есть запись в дневнике Д. П. Маковицкого 3 июня («Яснополянские записки», рукопись).

[22] 2 июня Толстой получил телеграмму от сына Г. Джорджа с просьбой разрешить посетить его. Толстой немедленно ответил согласием. В тот же день Толстой продиктовал Н. Н. Гусеву статью о земельном вопросе, которую отправил в редакцию «Русского слова» с корректурами заметки С. П. Спиро о посещении Толстого И. И. Мечниковым. Однако «Русское слово» статьи Толстого не напечатало. Статья появилась в «Русских ведомостях» (1909, № 130 от 9 июня) под заглавием: «Новая статья Л. Н. Толстого».

[23] Толстой получил уведомление об избрании его почетным членом XVIII международного мирного конгресса, назначенного на 14 августа в Стокгольме. 12 июля Толстой продиктовал ответ президенту конгресса, в котором благодарил за избрание и, между прочим, говорил, что «если силы позволят», он «сделает все возможное, чтобы прибыть в Стокгольм», или пришлет в письменном виде то, что он хотел бы сказать (см. т. 80, № 29). 14 июля он набросал программу доклада, а к началу августа уже закончил составление его. Однако 4 августа было получено сообщение, что конгресс отложен до 1910 г. якобы из-за забастовки в Швеции, которая могла бы помешать нормальному проведению конгресса. Высказывалось пред-

положение, что конгресс отложен из-за боязни выступления Толстого. Это мнение разделял и сам Толстой.

[24] Имеется в виду статья «О науке», написанная 1—20 июля 1908 г. в ответ на письмо от 22 июня симбирского крестьянина Ф. А. Абрамова с вопросами о том, «что есть наука?» и «чего должно требовать от науки?». Впервые опубликована в «Русских ведомостях» (1909, № 258 от 10 ноября) и в «Киевских вестях» (1909, №№ 300—302 от 10—12 ноября) (см. т. 38). 12 июля Толстой читал не вполне законченный вариант статьи.

[25] *Пашковцы* — сектанты, последователи В. А. Пашкова. По учению пашковцев, люди вследствие грехопадения бессильны спастись своими делами, а только верой в искупление смертью Христа. Пашковцы отвергают иконы, таинства, иерархию. Секта пашковцев распространялась преимущественно в аристократических кругах.

[26] *Гольденвейзер* Эммануил Александрович — сын известного юриста А. С. Гольденвейзера, с 1900 г. жил в Америке. Известно письмо к нему Толстого от 14 февраля 1909 г. по поводу статьи его отца о «Воскресении» (см. т. 79, № 75).

[27] В. В. Нагорнова.

[28] Н. Н. Гусев был арестован 4 августа. Вечером этого дня в Ясную Поляну приехали помощник крапивенского исправника с становым приставом и объявили постановление министра внутренних дел от 15 июля 1909 г. о высылке Гусева сроком на два года в Чердынский уезд Пермской губ. под гласный надзор полиции за «революционную пропаганду и распространение недозволенных к обращению литературных произведений». Поводом к аресту послужила посылка им в 1908 г. нескольких запрещенных статей Толстого одному крестьянину по его просьбе. Гусев после ареста был направлен в Крапивенскую тюрьму (см. Н. Н. Гусев, Из Ясной Поляны в Чердынь, М. 1911).

5—6 августа Толстой написал «Заявление об аресте Н. Н. Гусева», в котором с возмущением говорил о произведенном насилии над Гусевым, которое должно было бы быть употреблено против него, Толстого, — «единственного и главного виновника и появления и распространения этих неугодных... мыслей» (см. т. 38).

[29] См. прим. 24.

[30] *Струве* Петр Бернгардович (1870—1944) — литератор и общественный деятель; в середине 1890-х гг. — представитель легального марксизма. Позднее — один из основателей партии кадетов; белоэмигрант. Струве приезжал к Толстому 12 августа с А. А. Стаховичем. Толстой записал в дневнике, что они ему были «лично мало интересны и тяжелы, особенно Струве» (см. т. 57, стр. 115).

[31] Записки В. Г. Черткова, которые Толстой читал в рукописи, были напечатаны под заглавием «Страница из воспоминаний. Дежур-

ство в военных госпиталях» («Вестник Европы», 1909, № 11, стр. 141—161).

[32] Кант И., Религия в пределах только разума (1793).

[33] Имеются в виду книги И. Канта «Критика чистого разума» (1781) и «Критика практического разума» (1788).

[34] Имеется в виду письмо от 8 августа из Чернигова, подписанное одной фамилией: «Никитин» (адреса нет). Никитин писал Толстому о появившейся в «Церковных ведомостях» (1909, № 30 от 25 июля) статье тамбовского епископа Иннокентия, написанной по поручению синода для представления в совет министров, о книжке Толстого «Учение Христа, изложенное для детей». Иннокентий предлагал возбудить против Толстого судебное преследование по ст. 73 Уголовного уложения «за богохульство, глумление, издевательство и кощунство над божественной личностью» Христа.

[35] *«Вехи»* — сборник статей реакционно-мистического направления, изданный в начале 1909 г. группой русской буржуазной интеллигенции. В сборнике помещены статьи: П. Б. Струве, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона и др.

[36] Струве своих «замечаний» на статью Толстого «О науке» не написал.

[37] И. С. Аксаков, Федор Иванович Тютчев. Биографический очерк, М. 1874.

[38] *Ленька* — сын слуги Толстых И. В. Сидоркова.

[39] Статья «Паскаль» помещена в «Недельных чтениях» «Круга чтения» (см. т. 41).

[40] Щеглов И., Подвижник слова. Новые материалы о Н. В. Гоголе, изд. «Мир», СПб. 1909.

[41] Хорошко Вас., К вопросу о самоубийстве детей в нашей действительности, «Русские ведомости», 1909, № 185 от 13 августа.

[42] См. Ив. Щеглов, Подвижник слова, СПб. 1909, гл. III, «Перл создания», стр. 17—18 (по воспоминаниям Н. В. Берга).

Автор книги цитирует ранее публиковавшиеся в разных изданиях отрывки из писем «отца Матвея» (Константиновского Матвея Александровича, ржевского священника) к его корреспондентам как образец его стиля — «простонародно-фамильярного» и «аскетически-нетерпимого» (см. там же, стр. 85—87).

[43] Имеется в виду письмо Н. В. Гоголя к иеромонаху Оптиной пустыни Филарету от 19 июня 1850 г. Впервые опубликовано без указания адресата в журнале «Домашняя беседа», 1863, 20, стр. 460 (см. Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., изд. Академии наук СССР, т. 14, М. 1952, стр. 191).

[44] *Блаватская* Елена Петровна (1831—1891) — путешественница,

писательница-теософка; автор книги «Голос безмолвия. Семь врат. Два пути» (перевод с английского, 1908). Толстой пользовался этой книгой при составлении сборника «На каждый день».

[45] *Горяинова* Ирина Алексеевна (артистическое имя — Ирина Энери) — дочь знакомой Сухотиных Марии Ивановны Горяиновой. В связи с ее приездом Толстой отметил в дневнике 19 августа: «Девочка, из которой делают предмет» (см. т. 57, стр. 119).

[46] Фамилия Копервейн встречается в черновиках десятой редакции «Хаджи-Мурата», в главе, посвященной Николаю I (в последней редакции главы XV). Эту фамилию носит «дочь шведской гувернантки», с которой Николай I встретился в маскараде (см. т. 35, варианты 120, 126, 147, 149, стр. 504, 511, 537, 539). В окончательной редакции фамилия эта опущена.

[47] *Боткин* Михаил Петрович (1839—1914) — художник, академик; обладатель обширной художественной коллекции. Был знаком с Толстым с конца второй половины 1850-х гг.; однако с тех пор с ним не виделся.

[48] *Тенишев* Вячеслав Вячеславович — член Государственной думы третьего созыва. Был в Ясной Поляне 18 и 19 августа. Толстой пытался убедить Тенишева поднять в Думе вопрос о введении единого земельного налога по Генри Джорджу.

[49] О какой книге идет речь, не установлено. В дневнике под 21 августа Толстой записал: «начал читать Photer о Китае» (см. т. 57, стр. 121).

[50] 10 ноября 1908 г. должно было состояться открытие выставки в помещении Общества поощрения художеств в Петербурге, устроенной журналом «Старые годы». Генеральным комиссаром выставки был Н. Н. Врангель. За несколько минут до открытия последовало распоряжение градоначальника отложить открытие по техническим причинам, разрешив лишь некоторым влиятельным лицам, уже приехавшим на выставку, осмотреть ее. По их отъезде вице-президент Общества М. П. Боткин отдал приказ Врангелю тушить свет; тот отказался. Произошли препирательства, в результате которых Врангель дал Боткину пощечину. Дело было передано в суд, и Врангеля приговорили к двум месяцам тюремного заключения. После приговора Боткин объявил, что прощает Врангеля. Однако Врангель отказался воспользоваться прощением и подал кассацию. Приговор был утвержден, и Врангель отбывал наказание в феврале — марте 1909 г. в арестном доме в Петербурге.

В газетах этот инцидент был освещен иначе. Было опубликовано интервью с Боткиным («Биржевые ведомости», 1908, № 10806 от 12 ноября), в котором приводились слова Боткина, «по-христиански»

прощавшего своего обидчика: «Он еще молод, его будет совесть мучить — это для него лучшее наказание».

Эти сообщения и дали Толстому повод написать Боткину 18 ноября 1908 г. письмо, в котором он писал, что «поступок» Боткина «умилил» его и доставил «большую радость» (см. т. 78, № 294). Письмо Толстого было напечатано рядом газет. Врангель, прочитав его, написал 31 марта 1909 г. Толстому уже из арестного дома, объясняя происшедшее. Толстой ответил советом «подавить в себе недоброе чувство к Боткину и от души простить его» (см. т. 79, № 153).

[51] В изд. «Посредник» в то время печаталась книжка: «Изречения китайского мудреца Лао-цзе, избранные Л. Н. Толстым». В книжке было помещено предисловие Толстого под заглавием, данным редакцией: «О сущности учения Лао-цзе». Книжка вышла в 1910 г. (см. т. 40).

[52] Имеется в виду напечатанная в черносотенной газете «Русское знамя» № 8 от 11 января 1909 г. статья «Закономерная пропаганда», где говорилось о «зловредной революционной пропаганде», которую ведет «известный противохристианский и противоправительственный пропагандист, отставной гвардии штаб-ротмистр Чертков» среди крестьян Крапивенского уезда Тульской губ.

В статье указывалось, что в доме Черткова имеется «печатный станок», на котором печатаются прокламации, побуждающие крестьян поджигать помещичьи усадьбы. Н. Н. Гусев написал статью «Неудачный донос» («Русские ведомости» 1909, № 35 от 13 февраля), в которой указывал на провокационный характер выступления «Союза русского народа».

[53] *Засосов* Владимир Иванович (1886—1910) — крестьянин Клинского уезда Московской губ., отказавшийся от военной службы по религиозным убеждениям. Засосов вскоре был освобожден из-под ареста, так как по болезни (туберкулез) был признан негодным к несению службы.

[54] Это письмо неизвестно.

[55] Рассказ А. И. Куприна «Allez!» Толстой читал в декабре 1906 г. по третьему тому рассказов в изд. «Мир божий» (1906).

«Поединок» А. И. Куприна Толстой читал 8—13 октября 1905 г. и нашел «превосходным» («Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, рукопись). Не понравилась ему лишь речь Назанского в гл. XX повести, которую он назвал «мерзостью» (см. т. 76, № 64).

[56] Повесть «Кадеты» под таким заглавием впервые была опубликована в журнале «Нива» (1906, №№ 49—52). В расширенной редакции под заглавием: «На переломе. (Кадеты)», вошла в т. 5 собрания сочинения, изд. «Московское книгоиздательство».

[57] Цитата из стихотворения Пушкина «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...» 1825).

[58] *Толстой* Федор Иванович (1782—1846) — двоюродный дядя Льва Николаевича; участник кругосветной экспедиции капитана Крузенштерна 1803—1804 гг., высаженный командиром экспедиции в районе Алеутских островов и вынужденный провести там некоторое время, за что был прозван «Американцем». Ф. И. Толстой поддерживал дружеские связи со многими русскими писателями (Пушкин, Д. Давыдов, Гоголь, Грибоедов, Жуковский, Вяземский, Баратынский, Герцен и др.). Известна его ссора с Пушкиным, едва не кончившаяся дуэлью.

Цитируемые стихи Грибоедова вложены в уста Репетилова в комедии «Горе от ума» (действие IV, явление 4).

[59] О ком здесь идет речь, не установлено.

[60] См. запись в дневнике 22 августа 1909 г. (см. т. 57, стр. 122).

[61] С. А. Стахович.

[62] В 1908 г., в связи с исполнявшимся восьмидесятилетием Толстого, училищная комиссия Петербургской городской думы, предполагая выпустить сборник избранных произведений Толстого для раздачи ученикам, дважды обращалась к С. А. Толстой за разрешением и дважды получила отказ. Письмо С. А. Толстой было опубликовано в «Русском слове» 15 июля 1908 г. В 1909 г. в петербургской газете «St. Petersburger Zeitung» появилась заметка об этом, причем неверно сообщалось, что вторичный отказ последовал от самого Толстого. Это сообщение было подхвачено реакционной немецкой прессой. В немецких газетах появился ряд статей, стремившихся дискредитировать Толстого. 28 августа Толстой получил две вырезки из газет: одну из города Lötzen со статьей «Philosoph und Geschäftsmann» («Философ и делец») и другую — от д-ра В. Фельдмана, члена редакции «Berliner Tageblatt», вырезку из газеты «Die Welt am Montag» (от 6 сентября н. с. 1909 г.) со статьей «Tolstoï in schlechten Händen» («Толстой в плохих руках»). На эти выступления Толстой не ответил.

[63] Книжка вышла под заглавием: «Изречения Магомета, не вошедшие в Коран. Избраны Л. Н. Толстым» (изд. «Посредник», М. 1909). Предисловие (под заглавием: «Кто был Магомет») было подписано: «Н. Г. (под редакцией Л. Н. Толстого)».

[64] *Челышев* Михаил Дмитриевич (1866—1915) — член Государственной думы третьего созыва от города Самары, октябрист. Приезжал к Толстому 8 октября 1909 г. Толстой записал о нем в дневнике: «Соединение ума, тщеславия, актерства, и мужицкого здравого смысла, и самобытности, и подчинения. Не умею описать, но очень интересный» (см. т. 57, стр. 149—150).

[65] Закон 9 ноября 1906 г. о праве крестьян выходить из общины «на отруба», изданный П. А. Столыпиным, преследовал цель образования кулацких хозяйств как оплота правительства в деревне.

[66] В марте 1909 г. Толстой получил письмо из Галиции (село Закопане) от Стефании Ляудвен, которая упрекала Толстого за то, что он, откликнувшись печатно на аннексию Австрией Боснии и Герцеговины, ничего не пишет о положении польского народа. Толстой написал тогда же ответ ей, но, не удовлетворившись им, не послал. К переработке своего ответа Толстой приступил во второй половине августа и закончил ее 8 сентября. «Ответ польской женщине» впервые опубликован в журнале «Жизнь для всех» (1909, № 12) с большими цензурными сокращениями (см. т. 38).

[67] Речь идет о журнале «The Free Hindustan», несколько номеров которого было прислано Толстому из Вашингтона редактором этого журнала Таракуатта Дас. Эпиграфом журнал взял цитату из восьмой главы «Социологии» Г. Спенсера: «Сопротивление против агрессии не только законно, но необходимо, непротивление причиняет ущерб и альтруизму и эгоизму» (перевод с английского).

[68] 31 августа у Толстого был скопец Андрей Марухин из Добруджи (Румыния), посланный единоверцами узнать мнение Толстого об оскоплении.

[69] Речь идет о письме крестьянина с. Пестровки, Нижегородской губ., Кирилла Павловича Ерофеева (р. 1880). При письме от 28 августа из Уральска, где он в то время жил, Ерофеев прислал Толстому для отзыва свои стихи. Толстой ответил ему 2 сентября (см. т. 80, № 118).

[70] Цитата из стихотворения Тютчева «Есть в осени первоначальной...» (1857).

[71] *Дондукова-Корсакова* Мария Михайловна (1828—1909) — дочь вице-президента Академии наук М. А. Дондукова-Корсакова. Познакомилась с Толстым в 1860 или 1861 гг., в Париже или в Брюсселе, и с тех пор с ним не встречалась. В упоминаемом письме к М. Н. Толстой М. М. Дондукова-Корсакова писала: «Очень сожалею, что Лев Николаевич живет не по вере, а по человеческому заблуждающемуся разуму». Толстой написал ей (см. т. 80, № 115). В свою очередь М. М. Дондукова-Корсакова предполагала ответить Толстому, но смерть помешала этому.

[72] 26 августа 1909 г. Николай II проезжал через станцию Козлова-Засека, Московско-Курской ж. д., в Крым (Ливадию). В связи с проездом царя была введена усиленная охрана пути. Вдоль линии железной дороги были выстроены отряды полиции и сельских старост.

В статье «Пора понять», написанной в сентябре — декабре 1909 г., Толстой упоминает об этом проезде царя и описывает условия, при которых он проходил (см. т. 38).

[73] Имеется в виду рукопись начатой повести из жизни революционеров «Кто убийцы? Павел Кудряш». Толстой работал над повестью с 17 декабря 1908 г., с перерывами, по 24 февраля 1909 г. Окончена она не была (см. т. 37).

[74] Цитата из стихотворения А. А. Фета «Осенняя роза» (1886).

[75] Сборник «На каждый день» был составлен Толстым в 1907—1908 гг. Весной 1909 г. сборник был передан В. Г. Чертковым И. Д. Сытину для печати. Сытин, боясь судебного преследования за помещение в сборнике многих мыслей и не сочувствуя антицерковным взглядам Толстого (Сытин был строго православным и к тому же был церковным старостой одного из кремлевских соборов), всячески затягивал выход этой книги. При жизни Толстого, в 1909—1910 гг., вышло всего шесть выпусков «На каждый день», то есть только половина сборника (см. тт. 43—44).

[76] *М. Н. Толстая* — жена Сергея Львовича.

[77] *С. С. Толстой* — сын Сергея Львовича.

[78] *«В чем главная задача учителя».* — Впервые опубликована в журнале «Свободное воспитание», 1909—1910, № 3 (см. т. 38).

[79] Речь, вероятно, идет об Александре Васильевиче Варнавском (1886—1911), крестьянине, в 1907 г. отказавшемся от военной службы. Умер в херсонской тюрьме.

[80] *Соловьев* Александр Николаевич (1887—1911) — воспитанник Новгородской сельскохозяйственной школы; в 1908 г. за отказ от военной службы был приговорен к четырем годам заключения в арестантских отделениях, где и умер от туберкулеза.

[81] Составление завещания было вызвано намерениями сыновей Толстого, Льва, Андрея и Михаила, в случае смерти Толстого предъявить права на все сочинения Толстого, в том числе и на написанные после 1 января 1881 г. и переданные им в общее пользование. В дневнике 17 сентября Толстой записал: «Говорил с Чертковым о намерении детей присвоить сочинения, отданные всем. Не хочется верить» (см. т. 57, стр. 141).

По завещанию от 18 сентября 1909 г. все произведения Толстого, написанные (или впервые напечатанные) с 1 января 1881 г., не должны были составлять после смерти Толстого «ничьей частной собственности, а могли бы быть безвозмездно издаваемы и перепечатываемы всеми, кто этого захочет»; рукописи же и бумаги должны были быть переданы В. Г. Черткову с тем, чтобы он «распоряжался ими, как он распоряжается ими теперь» (см. т. 80, № 394).

Завещание это оказалось юридически недействительным, так как не было указано лицо, на чье имя составлялось завещание. После этого завещание переделывалось несколько раз (см. тт. 80—82 и 58).

Текст этого завещания см. в т. 80, № 395.

[82] Фотографировали Толстого корреспонденты «Русского слова» С. П. Спиро и А. Смирнов, фотограф А. Тапсель и др.; кроме того, сделал ряд снимков приехавший из Москвы оператор кинематографической фирмы А. И. Дранкова.

[83] 16 сентября Толстой получил письмо от 14 сентября студента медицинского факультета Московского университета Василия Ефимовича Крашенинникова (р. 1889) и рукопись его статьи «О праве». Отвечая ему, Толстой писал 17 сентября: «Прочел вашу статью о праве... Очень мне приятно было видеть в ее авторе так редко встречающуюся свободу от суеверия «науки» и потому самобытное отношение к вопросу» (см. т. 80, № 130).

[84] Кочетыгов бывал у Толстого и в 1910 г. (см. В. Ф. Булгаков, Лев Толстой в последний год его жизни, М. 1957). Послужил Толстому до известной степени прототипом прохожего в пьесе «От ней все качества» (1910).

[85] *«Чингис-хан с телеграфом»* — одно из первоначальных заглавий статьи «Пора понять», писавшейся в сентябре — декабре 1909 г. (см. т. 38). Заглавие это связано со статьей А. И. Герцена «Письмо к императору Александру II (по поводу книги барона Корфа)», где Герцен писал: «Если б у нас весь прогресс совершался *только* в правительстве, мы дали бы миру еще небывалый пример самовластья, вооруженного всем, что выработала свобода; рабства и насилия, поддерживаемого всем, что нашла наука. Это было бы нечто вроде Чингис-хана с телеграфами, пароходами, железными дорогами, с Карно и Монжем в штабе, с ружьями Минье и с конгревовыми ракетами под начальством Батыя» (Собрание сочинений, изд. Академии наук СССР, т. 13, М. 1958, стр. 38).

[86] Пьеса Л. Н. Андреева «Анатэма» была поставлена Московским Художественным театром. Толстой, просмотрев снимки этой постановки в журнале «Искры» (1909, октябрь), сказал, что теперь он «боится» приезда Андреева («Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, запись 15 октября 1909 г.). Позднее, 13 мая 1910 г., Толстой говорил: «Я прочел пролог к «Анатэме» Леонида Андреева. Это сумасшедше, совершенно сумасшедше!.. Полная бессмыслица!» (В. Ф. Булгаков, Лев Толстой в последний год его жизни, М. 1957, стр. 245).

[87] *«Анфиса»* — пьеса Л. Андреева.

[88] Вопрос Толстого касался его рукописей, переданных на хранение в Исторический музей в Москве.

[89] «Die Greuel der christlichen Civilisation». Briefe eines buddhistischen Lama aus Tibet. Herausgegeben von Bruno Freydank. Leipzig 1907. В переводе А. А. Гольденвейзер напечатано под заглавием: «Письма буддиста к христианину» («Вегетарианское обозрение», 1910, №№ 5—10) (см. т. 80, № 246).

ИЗ ПОЗДНИХ ВОСПОМИНАНИЙ

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ С ТОЛСТЫМ

[1] Толстой присутствовал 11 января 1894 г. на заключительном заседании девятого съезда естествоиспытателей и врачей, происходившего под председательством К. А. Тимирязева. Толстой пришел во время доклада В. Я. Цингера «Недоразумения во взглядах на основания геометрии», который он прослушал, сидя в артистической комнате на эстраде. После перерыва, перед докладом проф. М. А. Мензбира (о теории наследственности), Толстой по настоянию Тимирязева вышел на эстраду и занял место рядом с ним. Его появление вызвало бурную овацию (см. А. В. Цингер, У Толстых, «Международный Толстовский альманах», составленный П. Сергеенко, изд. «Книга», М. 1909). Толстой, вспоминая об этом 24 января 1894 г., записал в дневнике: «Глупое положение на съезде натуралистов, которое было мне очень неприятно» (см. т. 52, стр. 108).

[2] Об этом посещении Толстым репетиции консерваторского ученического концерта сведений не имеется.

[3] Точной даты посещения Толстым концерта чешского квартета нет. Во всяком случае, это было не «за несколько дней» до первого визита А. Б. Гольденвейзера Толстому. В «Ежедневнике» С. А. Толстой под 19 декабря 1895 г. отмечен концерт чешского квартета в доме Толстых в Хамовниках; между тем чехи выразили желание приехать к Толстому уже после того, как он слушал их из «артистической комнаты Благородного собрания» (В. Ф. Лазурский, Дневник — «Литературное наследство», 37—38, М. 1939, стр. 486).

ДОМ ТОЛСТЫХ В ХАМОВНИКАХ

[1] Толстой в 1884 г. учился сапожному ремеслу у яснополянского сапожника П. П. Арбузова и несколько лет продолжал заниматься этим делом.

[2] И. Л. Толстой женился на С. Н. Философовой 28 февраля 1888 г., то есть когда ему было 22 года.

[3] Л. Л. Толстой уехал лечиться от неврастении в Финляндию, а затем переехал в Швецию, где 15 мая 1895 г. женился на дочери лечившего его врача Э. Вестерлунда — Доллан.

[4] А. Л. Толстой в декабре 1895 г. поступил вольноопределяющимся в драгунский полк и служил в Твери.

[5] Иван Львович Толстой умер 23 февраля 1895 г., семи лет.

[6] Речь идет об Александре Петровиче Накашидзе. По просьбе его брата, И. П. Накашидзе, Толстой 24 января 1901 г. написал письмо московскому обер-полицмейстеру Д. Ф. Трепову, в котором с возмущением писал о том, что «случилось с молодым Накашидзе» (см. т. 73, № 14).

[7] *Е. Е. Горбунова-Посадова,* будучи слушательницей Бестужевских курсов в Петербурге, в июне 1897 г. была арестована по делу о пропаганде среди рабочих Шлиссельбургского тракта и несколько месяцев содержалась в Доме предварительного заключения и приговорена к ссылке в Астрахань. Однако благодаря хлопотам Астрахань была заменена Калугой, где она и прожила до 1900 г.

[8] Составление «Свода мыслей» Л. Н. Толстого — систематического собрания его мыслей, извлеченных из его произведений, дневников и писем, было начато В. Г. Чертковым в 1889 г. и велось свыше 35-ти лет при помоши многих сотрудников; основным среди них был Ф. А. Страхов. Работа не была закончена, весь материал хранится в отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого.

[9] Е. А. Ольсуфьева умерла 27 февраля 1898 г.

[10] А. А. Стахович 27 января 1887 г. прочел драму «Власть тьмы» на квартире министра двора И. И. Воронцова-Дашкова в присутствии Александра III, царицы, великих князей и других приближенных к царскому двору лиц.

ТОЛСТОЙ В ЖИЗНИ

[1] Свадьба Т. Л. Толстой и М. С. Сухотина состоялась 14 ноября 1899 г. На другой день они уехали за границу.

[2] Описание смотра войск в присутствии Николая I и австрийского императора Фердинанда сделано Герценом в гл. II («A la port») статьи «Августейшие путешественники. (Статья вторая)», впервые напечатанной в «Колоколе», 1867, № 244—245 от 1 июля. Толстой читал эту статью по изданию: «Колокол». Избранные статьи А. И. Герцена (1857—1869)», с предисловием Л. Тихомирова, Женева 1887.

[3] По свидетельству Д. П. Маковицкого, В. В. Стасов прислал Толстому не копию письма одного из фаворитов Екатерины II, а изложение «содержания документа» «о распутстве Екатерины», хранящегося в Публичной библиотеке в Петербурге (см. Д. П. Ма-

ковицкий, Яснополянские записки, I, изд. «Задруга», М. 1922, стр. 51). Это письмо Стасова неизвестно. О нем Стасов упоминает в письме к Толстому от 10 ноября 1904 г., в котором, между прочим, сообщая о имеющихся материалах о Екатерине II в Публичной библиотеке, он пишет: «К нам пришло новое изданьице под заглавием «Высочайшие амуры»... Но вот что курьезно: тут рассказана (только очень кратко) та самая история, которую я Вам недавно сообщал. Только, по моим сведениям, на сцене был Измайлов, а в берлинской брошюре напечатано, что это — Римский-Корсаков». («Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка 1878—1906», изд. «Прибой». Л. 1929, стр. 362). Упоминаемые Измайлов Михаил Львович и Римский-Корсаков Иван Николаевич (1775—1831) — одни из многочисленных фаворитов и любовников Екатерины II, сделавшие быструю карьеру и ставшие обладателями огромного состояния.

Сведения о жизни Екатерины II и ее времени нужны были Толстому для его работы над повестью «Посмертные записки старца Федора Кузмича» (см. т. 36).

[4] Новое французское издание сказок «Тысяча и одна ночь» Толстой получил от одного из своих корреспондентов в мае 1907 г.

[5] Известно исполнение девятой симфонии Бетховена на двух фортепиано А. Б. Гольденвейзером и С. И. Танеевым у Толстых 1 апреля 1897 г., а затем 11 февраля 1906 г. По окончании Толстой сказал: «Боюсь, что это не музыка, а то, что погубило музыку» («Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого, записи 9—11 февраля, рукопись; «Ежедневник» С. А. Толстой 11 февраля).

[6] Цитата из гл. XXIII «Крейцеровой сонаты» (см. т. 27, стр. 61).

[7] Толстой всегда отрицательно относился к «мистической» теории музыки А. Шопенгауэра. В гл. XII трактата «Что такое искусство?» Толстой называет ее «столь же нелепой, как и сама музыка Бетховена... последнего периода» его творчества (см. т. 30, стр. 126, 379, 400).

[8] *М. А. Оленина д'Альгейм* была в Ясной Поляне 25—26 декабря 1903 г.

[9] *Ванда Ландовска* приезжала в Ясную Поляну трижды: 24—26 декабря 1907 г., 14—15 января 1909 г. и 28 декабря 1909 г. — 1 января 1910 г.

[10] Н. А. Римский-Корсаков был у Толстого 3 января 1898 г. С. А. Толстая под этим числом записала в дневнике: «Обедали у нас Стасов, Касаткин, Гинзбург и Матэ... Позднее приехали Римский-Корсаков с женой... Были разговоры об искусстве, очень горячие и громкие. Стасов молчал, Лев Николаевич кричал, а Римский-Корсаков горячился, отстаивая красоту в искусстве и развитие для понимания его» («Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1897—1909»,

изд. «Север», М. 1932, стр. 15). Толстой отметил в дневнике 4 января кратко: «Вчера Стасов, Римский-Корсаков, кофе, глупый разговор об искусстве» (см. т. 53, стр. 176).

[11] Французский ансамбль из «Société des instruments anciens» приезжал в Ясную Поляну с С. А. Кусевицким 20 ноября 1909 г. Толстой 20 ноября отметил в дневнике: «Очень уж все искусственно. Даже утонченно искусственное возвращение к старому. Все французы очень милые, льстивые... Музыка очень физически волнует» (см. т. 57, стр. 174).

[12] Игру А. Г. и Н. Г. Рубинштейнов Толстой часто слушал в 1857—1859 гг. в Москве в доме А. В. Киреевой. Игру Н. Г. Рубинштейна в последний раз Толстой слышал 26 октября 1880 г. в Туле; А. Г. Рубинштейна — 8 января 1892 г. в концерте, устроенном Рубинштейном в пользу голодающих в Москве.

[13] В дневнике Толстого 16 марта 1909 г. записано: «Как ни совестно признаться, вчера, 15 марта, я ждал чего-то, самого вероятного — смерти. Она не пришла, но здоровье все плохо, все жар» (см. т. 57, стр. 38).

[14] Рассказ «Что я видел во сне» был написан 13 ноября 1906 г. (окончательной отделки он не получил, см. т. 36). Сюжет этого рассказа связан с событием, имевшим место в семье брата Льва Николаевича — С. Н. Толстого. Возможно, как отмечает комментатор т. 36, такое заглавие именно и было дано рассказу, чтобы устранить у читателей всякое предположение о действительном случае.

[15] См. т. 82, № 290.

УКАЗАТЕЛЬ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

А

Абрамов Федор Андреевич (1875—1918), симбирский крестьянин — 288, 440.

Абрикосовы — 210.

Аввакум (1621—1682), протопоп, идеолог религиозно-общественного движения старообрядчества, писатель — 156.

Аврелий Марк (121—180), римский император и философ-стоик — 292.

Андрианов — 250.

Аксаков И. С., «Федор Иванович Тютчев. Библиографический очерк» — 290, 441.

Аксаковы — 244.

Александр I (1777—1825) — 88, 173.

Александр II (1818—1881) — 89, 90, 99, 154, 299, 419.

Александр III (1845—1894) — 99, 275, 368, 449.

Алексеев Александр Петрович — 366.

Алексеев Василий Иванович — 154, 419.

Алексеева Вера Ипполитовна — жена А. П. Алексеева — 366.

Альтшулер Исаак Наумович (1870—1943), врач — 106, 107.

Амвросий (А. М. Гренков) — 128, 414.

Ангелус Силезиус — 252, 254, 436.

Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — писатель — 23, 114, 208, 209, 222, 253, 273, 348, 349, 429, 436, 447.

— «Анатэма» — 348, 349, 447.

— «Анфиса» — 349, 447.

— «Бездна» — 114.

— «Рассказ о семи повешенных» — 253.
Андреев Николай Андреевич (1873—1932), скульптор — 323.
— Памятник Гоголю — 323.
Анна Кашинская — 18, 267, 438.
Анучин Дмитрий Николаевич (1843—1923), географ и зоолог, профессор Московского университета, член редакции «Русских ведомостей», знакомый Толстого с 1890-х гг. — 345.
Апурин Петр Семенович (1865—1918), управляющий имением Е. И. Чертковой Лизиновка, Воронежской губ. — 351.
Апухтин Алексей Николаевич (1841—1893), поэт — 58.
— «Судьба» — 58.
Аренский Антон Степанович — 5, 6, 40, 182, 183, 313, 325, 424.
— Сюита — 39, 183.
— Эскиз F-dür — 313.
Арсеньев К. К., «Л. Н. Толстой» 1828—1908 — 248, 435.
Архангельская — 201.
Асташев — 296.
Ауербах Бертольд — 189, 425.
«Ауэрбаха А. и К° ртутное дело» — 54, 402.

Б

Бакалейников Владимир Романович, скрипач и альтист — 338.
Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), идеолог анархизма — 67, 114, 287.
Бебель Август (1840—1913), один из виднейших деятелей и основателей германской социал-демократической партии и II Интернационала — 164.
Бекетов Андрей Николаевич (1825—1902), ботаник, профессор — 357.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848), — 114, 293, 411.
Белоголовый Николай Андреевич — 142, 417.
— «Воспоминания и другие статьи» — 142, 417.
Беме Якоб (1575—1624), немецкий философ-мистик и теософ — 252.
Беранже Пьер-Жан (1780—1857), французский поэт — 294.
Берви Василий Васильевич — 99, 409.
— «Азбука социальных наук» — 99, 409.
Бердяев Николай Александрович (1874 — ум.?), в 1890-х гг. легальный марксист, позднее — идеалист и мистик; белоэмигрант — 289.
Беркенгейм Григорий Моисеевич (1872—1919), врач; в 1903—1904 гг. жил в Ясной Поляне в качестве домашнего врача — 213, 240, 241, 346.
Беринг Эмиль-Адольф (1854—1917), немецкий бактериолог, врач — 269.

Бернар Клод (1813—1878), французский физиолог — 80.
Бернштейн Герман — 222, 432.
Бертенсон Лев Бернгардович (1850—1929), врач-терапевт — 106, 107.
Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1801—1826) — 136, 415.
Бетховен Людвиг ван (1770—1827) — 38, 39, 42, 65, 166, 257, 269, 313, 325, 379, 380, 381, 450.
— Девятая симфония — 42, 183, 379, 450.
— Квартет D-dur, op. 18 — 339.
— Седьмая симфония — 269.
— Соната op. 26 — 39, 383.
— Соната op. 31 — 65, 383.
— Соната op. 57 — 42.
— Трио c-moll — 325.
— Четвертый концерт — 183, 383.
Бибиков Александр Николаевич (1827—1886), тульский помещик — 216.
«Биржевые ведомости», петербургская газета — 196, 427.
Бирюков Павел Иванович (1860—1931), один из друзей Л. Н. Толстого и его биограф — 21, 87, 89, 149, 150, 170, 172, 192, 193, 200, 202, 363, 398, 406, 418, 422.
— «Лев Николаевич Толстой. Биография» — 172, 422.
Блаватская Елена Петровна — 295, 441.
Блудов Дмитрий Николаевич — 131, 414.
Боборыкин Петр Дмитриевич — 186, 187, 425.
— «Безвестная» — 186, 187, 425.
— «В путь дорогу» — 187, 425.
«Боже царя храни», гимн царской России; слова В. А. Жуковского, музыка А. Ф. Львова — 358.
Большой театр — 55, 130, 164, 414.
Бомонда дневник — 74.
Борман Жорж — кондитерская фабрика в Москве — 242.
Боткин Василий Петрович — 11, 183, 279, 297, 298, 424.
Боткин Михаил Петрович — 297, 298, 300, 442, 443.
Брайян Уильям Дженнигс — 192, 426.
Бугаев Николай Васильевич (1837—1903), математик, профессор Московского университета — 174, 175.
Бугаева — 174.
Будда (Сакиа-Муни) — 65, 75, 115, 182, 202, 226.
Буланже Павел Александрович (1864—1925), служащий правления Московско-Курской ж. д., близкий знакомый Л. Н. Толстого — 85, 93, 94, 95, 97, 111, 142, 143, 228, 311, 364, 410, 411.
Булгаков Валентин Федорович (р. 1886) — 9, 354.
— «Лев Толстой в последний год его жизни» — 9, 447.

Булгаков Сергей Николаевич — 42, 289, 398.
Булла, петербургский фотограф — 233, 251, 433.
Булыгин Михаил Васильевич (1863—1943), бывший гвардейский офицер; владелец хутора «Хатунка» вблизи Ясной Поляны, сочувствовавший взглядам Л. Н. Толстого — 231, 351, 352.
Булыгин Сергей Михайлович (1889—1946), сын М. В. Булыгина, единомышленник Л. Н. Толстого — 347, 349, 350.
Бунин Иван Алексеевич (1870—1953), писатель — 112, 411.
— «Счастье» — 112, 411.
Буткевич Андрей Степанович (1865—1948), врач, знакомый Л. Н. Толстого — 112, 114.
Бутурлин Александр Сергеевич (1845—1916) — 156, 237, 238, 279, 280, 343.
Бух Лев Константинович — 151, 418, 419.
Буюкли — 358.
«Былое», журнал — 265.

В

Вагнер Рихард (1813—1883), немецкий композитор — 379.
Валаам, библейский персонаж — 288.
«Ванька Клюшник» — 133.
Василий, дворник — 51.
Вебер Карл-Мария (1786—1826), немецкий композитор — 380.
Вейерштрасс Карл-Теодор (1816—1897), немецкий математик, профессор в Берлине — 270.
Великанов Павел Васильевич — 171, 251, 290, 422.
Вересаев Викентий Викентиевич (Смидович, 1867—1945), писатель — 104, 139, 416.
Верн Жюль (1828—1905), французский писатель — 190.
Верус П. «Vergleichende Uebersicht der vier Evangelien» — 53, 401.
Вестерлунд Эрнст Теодор (1840—1924) — 361, 448.
«Вестник Европы», журнал — 244, 248, 435.
Ветринский Ч. (В. Е. Чешихин), «А. И. Герцен» — 215, 431.
«Вехи», сборник — 289, 441.
Виардо Полина (1821—1910) — 190.
Вишневский Александр Леонидович (1861—1943), артист Художественного театра в Москве — 322.
Вогюэ Анри де — 160, 421.
Вогюэ Эжен-Мельхиор де (1848—1910) — 160, 421.
Воейков Николай Сергеевич — 173, 423.
Воинова Александра Ивановна — 201, 202, 428.

Волков Александр Николаевич — 210, 284, 430.
Волков Модест Павлович, управляющий Тульским отделением Московского учетного банка; приятель А. Е. Звегинцевой — 188, 197.
Волконская — 207.
Волконская Мария Николаевна — 141, 177, 417.
Волконский Сергей Григорьевич — 141, 177, 417.
Волынский А. Л. — см. Флексер А. Л.
Вольтер Франсуа-Мари-Аруэ (1694—1778) — 77.
Вольфа М. О. книжный магазин — 323.
Врангель Николай Николаевич (1882—1915), историк искусства; один из участников журналов «Старые годы» и «Аполлон» — 300, 442, 443.

Г

Гаврилов Алексей Степанович — 231, 432.
Гайдн Иосиф (1732—1809), немецкий композитор — 28, 58, 166, 177, 325, 380.
— Трио G-dur — 325.
Галилей Галилео (1564—1642), знаменитый математик и физик — 310.
Галеви Луи — 252, 436.
— «Madame et Monsieur Cardinal» — 252, 436.
Гаррисон Уильям Ллойд (1805—1879), американский прогрессивный политический деятель и поэт — 190.
Гауптман Гергарт (1862—1946), немецкий драматург — 245, 434.
— «Ткачи» — 245, 434.
Гафиз Шели-Эддин-Мохаммед — 140, 417.
Ге Николай Николаевич (1831—1894), художник — 159, 178, 364.
— «Тайная вечеря», картина — 178.
Ге Николай Николаевич (1857—1940), сын художника Н. Н. Ге; близкий знакомый Л. Н. Толстого, одно время разделявший его взгляды — 52, 55, 82, 90, 146, 246, 247, 255, 365, 418.
Ге Петр Николаевич (ум. 1922) — 291, 364.
Ге Прасковья Николаевна — 146, 287.
Гегель Георг-Вильгельм-Фридрих (1770—1831) — 190, 191.
Герман — 305.
Герцен Александр Иванович (1812—1870) — 11, 93, 114, 116, 149, 150, 190, 191, 207, 215, 216, 222, 234, 265, 266, 287, 377, 418, 419, 438, 447, 449.
— «Августейшие путешественники» — 377, 449.
— «Aphorismata по поводу психиатрической теории доктора Крупова» — 217, 431.

— «Былое и думы» — 116.
— «Доктор Крупов» — 217.
— «Доктор, умирающий и мертвые» — 149, 377.
— «Из Колокола и Полярной звезды» — 149, 377, 418.
— «Поврежденный» — 377.
Герценштейн Михаил Яковлевич — 192, 426.
Гершензон Михаил Осипович — 154, 244.
— «И. В. Киреевский» — 244, 248, 251, 434.
Гершензон Мария Борисовна, сестра А. Б. Гольденвейзера — 167.
Гете Иоганн-Вольфганг (1749—1832) — 61, 86, 116, 147, 264, 265, 270, 271, 273, 279.
— «Герман и Доротея» — 61.
— «Фауст» — 61, 143, 270, 271, 279.
Гинцбург Илья Яковлевич — 45, 114, 118, 398, 411.
— «Из прошлого» — 398.
Глазунов А. К., «In modo antico» — 339.
Глебова Софья Николаевна (1854 — ум.?), мать жены М. Л. Толстого — 85.
Глебовы — 198.
Глинка Михаил Иванович (1804—1857), композитор — 166.
Гоголь Николай Васильевич (1809—1852) — 11, 23, 93, 114, 116, 180, 222, 293, 323, 371, 411, 441.
— «Коляска» — 93.
— «Мертвые души» — 93, 116, 306 (Плюшкин, Собакевич), 371.
— «Невский проспект» — 93.
— «Ревизор» — 93.
— «Тарас Бульба» — 93.
— «Шинель» — 93.
Годвин Уильям (1756—1836), английский писатель — 67.
Голицын — 200, 427.
Голицын Сергей Николаевич, помещик, владелец имения Ржавы, близ Кочетов — 343.
Гольденвейзер Александр Борисович (р. 1875) — 5, 32.
— «Мой творческий путь» — 6.
— «Свет Октября», кантата — 6.
Гольденвейзер Александр Соломонович (1855—1915), юрист — 280, 281, 282, 440.
— «Преступление как наказание, а наказание как преступление. Мотивы толстовского «Воскресения» («Вестник права», 1901, № 7) — 281, 440.
Гольденвейзер Анна Алексеевна, рожд. Софиано (1881—1929), жена А. Б. Гольденвейзера — 126, 141, 142, 143, 177, 178, 179, 181, 183,

195—197, 220, 221, 224, 242, 243, 258, 274, 275, 300, 301, 308, 316, 317, 345, 353, 390.
Гольденвейзер Борис Соломонович, юрист, публицист, отец А. Б. Гольденвейзера — 177, 178.
Гольденвейзер Николай Борисович (1871—1924), преподаватель истории и юрист; брат А. Б. Гольденвейзера — 172, 179, 275, 279, 295.
Гольденвейзер Эммануил Александрович — 281, 440.
Гомер — 253.
Гончаров Иван Александрович (1812—1891) — 11, 12, 92, 176, 424.
— «Обломов» — 12, 424.
— «Обрыв» — 424.
— «Обыкновенная история» — 12.
Горбунов Николай Иванович (1861—1931), старший брат И. И. Горбунова-Посадова, артист Малого театра — 323.
Горбунов-Посадов Иван Иванович (1865—1940), редактор-издатель «Посредника» — 77, 85, 156, 158, 159, 161, 162, 228, 248, 249, 250, 251, 266, 290, 300, 308, 311, 319, 320, 322, 363, 365, 366, 420, 421.
Горбунова-Посадова Елена Евгеньевна (1878—1955) — 248, 366, 449.
Горбуновы — 314.
Горчаковы — 297.
Горький Алексей Максимович (1868—1936) — 12, 13, 27, 30, 62, 69, 104, 105, 106, 109, 113, 121, 129, 143, 144, 156, 252, 408, 411.
— «Враги» — 13.
— «Двадцать шесть и одна» — 69.
— «Дело с застежками» — 113, 411.
— «Исповедь» — 13, 252, 253.
— «Мальва» — 62.
— «Мать» — 13.
— «Мещане» — 13, 113.
— «Мужик» — 69.
— «На дне» — 13, 121.
— «Трое» — 113.
— «Человек» — 13, 143.
Горяинова Ирина Алексеевна — 296, 442.
— «Les Larmes» — 296.
Гофман Иосиф (р. 1876) — 322.
Градовский Григорий Константинович (1842—1915), либеральный публицист (псевдоним — Гамма); автор воспоминаний о Л. Н. Толстом: «Поездка в Ясную Поляну» («Публицист-гражданин», сборник, посвященный памяти Г. К. Градовского, Пгр. 1916, стр. 142—183) — 347, 350.

Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855), профессор всеобщей истории Московского университета, друг Белинского и Герцена — 80.
Греков Федор Константинович — 231, 433.
Гржимали Иван Войтехович — 49, 322, 400.
Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — 10, 11, 304, 444.
— «Горе от ума» — 10, 304, 444.
Григ Эдвард (1843—1907), норвежский композитор — 322.
Григорович Дмитрий Васильевич (1822—1899) — 13, 69, 113, 137, 416.
— «Антон Горемыка» — 69.
Громека Михаил Степанович — 62, 63, 403.
— «Последние произведения графа Л. Н. Толстого» — 63, 403.
Грюнфельд Альфред (1852 — ум.?), австрийский пианист-виртуоз — 322, 325, 341.
Губерт Александра Ивановна, инспектор Московской консерватории — 358.
Гурьев — 144.
Гус Ян (1369—1415), чешский священник; возглавил реформацию в Чехии; сожжен на костре как «еретик» — 168.
Гусаров Иван Сергеевич, крестьянин Московской губ., единомышленник Л. Н. Толстого — 301, 304.
Гусев Николай Николаевич (р. 1882) — 9, 163, 209, 210, 212, 219, 223, 228, 232, 233, 236, 240, 242, 256, 259, 262, 266, 274, 276, 277, 278, 283, 284, 290, 301, 304, 309, 311, 421, 429, 430, 434, 435, 436, 440, 443.
Гусева Александра Ефимовна (1843—1932) — 301.
Гюго Виктор (1802—1885) — 212, 270, 273, 429, 430.
— «Guerre civile» — 212, 430.
— «Un athée» — 210, 212, 429, 430.
— «Les pauvres gens» — 273.

Д

Давыдов Николай Васильевич — 65, 144, 145, 163, 184, 185, 186, 211, 404, 430, 434.
Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885), реакционный публицист и естествоиспытатель — 151, 419.
Дарвин Чарльз Роберт (1809—1882) — 21, 80.
Дейбнер Август, немецкий издатель — 140.
Ден Владимир Эдуардович — 58, 402.
Ден Наталья Николаевна, рожд. Философова (1872—1926), сестра жены И. Л. Толстого — 110, 111.

Денисенко Иван Васильевич (1851—1916), юрист, председатель департамента судебной палаты в Новочеркасске — 136, 281.
Денисенко Онисим Иванович (1894—1918), сын И. В. Денисенко и Е. С. Толстой — 87, 137, 277.
Денисенко Татьяна Ивановна (р. 1897), дочь И. В. Денисенко и Е. С. Толстой — 286.
Джордж Генри — 17, 21, 50, 163, 164, 180, 184, 194, 203, 255, 274, 298, 302, 309, 311, 401, 421, 426, 428, 439, 442.
— «Избранные речи и статьи» — 163, 421.
— «Прогресс и бедность» — 21, 50, 401.
— «The Science of Political Economy» — 50, 401.
Джордж Генри-сын — 163, 274, 439.
— «The life of Henry George» — 163, 422.
Джунковская Елизавета Владимировна — 100, 409.
Дитерихс Иосиф Константинович (1862—1932), брат А. К. Чертковой — 170.
Диккенс Чарльз (1812—1870) — 173.
Дитерихс Мария Константиновна — 63.
Дмитриева Валентина Ивановна (1859—1948), писательница, народоволка — 68.
Добролюбов Александр Михайлович — 161, 265, 421, 438.
— «Из книги невидимой» — 161, 421.
Долгоруков Владимир Андреевич (1810—1891), московский генерал-губернатор — 62.
Долгоруков Коко — 141.
Долгорукова Мария Ивановна — 141.
Долинин-Иванский — 134.
Дондукова-Корсакова Мария Михайловна — 314, 445.
Досев Христо Феодосьевич (1886—1919), литератор, болгарин, единомышленник Л. Н. Толстого — 205, 277.
Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — 11, 68, 88, 93, 116, 122, 128, 160, 175, 207, 221, 412, 413, 424.
— «Бесы» — 122, 176, 424.
— «Записки из мертвого дома» — 116.
Дрейфус Альфред — 54, 401.
Дружинин Александр Васильевич (1824—1864), беллетрист и критик-эстет — 137, 175, 416.
— «Полинька Сакс» — 175.
Дунаев Александр Никифорович (1850—1920), один из директоров Московского Торгового банка, близкий знакомый Л. Н. Толстого — 57, 58, 83, 103, 343, 344, 358, 363, 364.

Е

Екатерина II (1729—1796) — 80, 148, 378, 418, 449, 450.
— «Наказ» — 148, 418.
Енгалычева — 301.
Ергольская Татьяна Александровна (1792—1874) — 371, 372.
Еремей — 131.
Ерофеев Кирилл Павлович — 314, 445.
Ершова — 223, 432.

Ж

Жемчужников Алексей Михайлович — 248, 435.
— «Л. Н. Толстому на 28 августа 1908 года» — 248, 435.
«Жизнь», журнал — 392.
Жиро фабрика — 359.
Жихарев Н., псевдоним Николая Максимовича Кузьмина (р. 1884) — агроном, литератор — 205.
Журавлев — 170.

З

Завалишин Дмитрий Иринархович — 177, 424.
— «Записки» — 177, 424.
Засосов Владимир Иванович — 302, 443.
Звегинцева Анна Евгеньевна, богатая помещица Крапивенского уезда Тульской губ.; соседка Толстых по имению — 188, 197, 199, 207, 226, 274, 429.
Зисерман Давид Захарович, виолончелист — 338.
Зонов Алексей Сергеевич (1870—1919), сотрудник «Посредника» и затем издатель «Календаря для всех» — 366.
Зонтаг Генриетта (1801—1854), знаменитая немецкая певица — 173.
Зубова Александра Васильевна (1838—1913), теща С. Л. Толстого — 214.

И

Ибсен Генрик (1828—1906), норвежский драматург — 98, 270, 406.
— «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» — 81, 406.
— «Призраки» — 98.
Иван Григорьевич — 207.
Иванюков Иван Иванович — 67, 404.
Игумнов Константин Николаевич — 58, 126, 413.
Игумнова Юлия Ивановна (1871—1940), художница, близкий друг семьи Толстых — 82, 108, 124, 210, 218, 242.
Иловайский Дмитрий Иванович (1832—1920), историк, автор распространенных учебников истории, пользовавшийся особым покровительством министерства народного просвещения — 80.

Ильин Иван Александрович — 192, 426.
Ильинский Д. В. — 200, 427.
Ильченко Петр Павлович, скрипач — 338.
Иннокентий, епископ — 18, 287, 288, 441.
Ипполитов-Иванов Михаил Михайлович (1859—1935), композитор — 6.
Иславин Константин Александрович (1827—1903), дядя С. А. Толстой — 256, 369.

К

Казадезюс Анри (р. 1881), скрипач, основатель «Société des instruments anciens» — 383.
Казадезюс Марсель (1882—1914), скрипач — 383.
Калачев Александр Васильевич (ум. 1931), знакомый Л. Н. Толстого — 341.
Каменская Анна Алексеевна — 218, 219, 431.
Кант Иммануил (1724—1804), немецкий философ — 22, 51, 172, 176, 179, 182, 232, 241, 245, 251, 258, 286, 287, 289, 292, 441.
— «Критика практического разума» — 286, 441.
— «Критика чистого разума» — 286, 441.
— «Религия в пределах только разума» — 286, 441.
Капнист Павел Алексеевич — 109, 411.
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826), писатель и историк — 181.
Кареньо — 325.
Карнеджи Андрью — 139, 416.
Карпентер Эдуард (1844—1930), английский писатель — 248.
Картавов Петр Алексеевич — 175, 423.
Картушин Петр Прокофьевич (1879—1916), богатый донской казак, в 1906—1907 гг. финансировавший издательство «Обновление», выпускавшее запрещенные произведения Л. Н. Толстого — 205.
Касаткин Николай Алексеевич — 45, 135, 398, 415.
Катков Мефодий Никифорович, брат Михаила Н. Каткова — 137, 416.
Катков Михаил Никифорович — 49, 137, 400, 416.
Кашкин Николай Сергеевич — 88, 407.
Киреевские — 244.
Киреевский Иван Васильевич (1806—1856), публицист, славянофил — 244, 248.
Кирпикова магазин — 320.
Классен Карл Христианович, управляющий имением Гаспра — 102.
Клечковский Маврикий Мечиславович — 230, 231, 232, 349, 432.

Ключевский Василий Осипович (1841—1911), буржуазный историк, профессор — 80.

Ковалевская Софья Васильевна, рожд. Корвин-Круковская (1850—1891), математик; с 1884 г. профессор Стокгольмского университета; с 1889 г. член-корреспондент С.-Петербургской Академии наук — 270.

Ковалевский Владимир Онуфриевич (1843—1883), палеонтолог, профессор Московского университета — 270.

Ковалевский Максим Максимович (1851—1916), юрист и историк, профессор — 271, 434.

Козьма Прутков — 125.

Колокольцев Григорий Аполлонович — 89.

Колокольцев Николай Аполлонович — 126.

Колокольцева — 126, 127.

Кольридж Сэмюель Тэйлор — 74, 405.

Кондратьев — 52.

Кони Анатолий Федорович (1844—1927), судебный деятель и писатель-мемуарист — 66.

Конисси Масурато (Даниил Павлович), японец, принявший православие; профессор психологии в Токио и Киото — 345.

Константиновский Матвей Александрович — 293, 441.

Конфуций (551—479 до н. э.), китайский философ, основатель религии конфуцианства — 75, 155.

Коншин Александр Николаевич (1867—1919), единомышленник Л. Н. Толстого — 85.

Копервейн Юзенька — 296, 442.

Коперник Николай (1473—1543), польский астроном — 310.

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — 27, 113, 434.

Коркунов Николай Михайлович — 157, 420.

— «Русское государственное право» — 157, 420.

Костомаров Николай Иванович (1817—1885), буржуазный историк, этнограф и беллетрист — 80.

Костровской Михаил Романович — 164, 422.

Коцебу Павел Евстафьевич (1801—1884), генерал-адъютант — 145.

Кочетыгов — 342, 343, 447.

Крамской Иван Николаевич (1837—1887), художник — 178.

Крафт-Эбинг (1840—1902), австрийский психиатр — 80.

Крашенинников Василий Ефимович — 341, 447.

Крильмэн Джемс — 126, 413.

Кристи Владимир Григорьевич, бессарабский помещик — 162.

Кришна — 320.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921), теоретик анархизма — 67, 405.

Ксантиппа, жена Сократа — 76.
Кудрявцев Петр Николаевич (1816—1858), историк, профессор Московского университета, друг Грановского — 80.
Кудрявцев Тихон Агафонович — 257.
Кузминский Александр Михайлович (1843—1917), судебный деятель — 66.
Кузминский Дмитрий Александрович (р. 1888), сын А. М. и Т. А. Кузминских — 300, 308, 310.
Кулешов Дмитрий Алексеевич, помещик Тульской губ. — 214.
Кулябко-Корецкий — 261.
Куприн Александр Иванович (1870—1938) — 238, 273, 303, 305, 439, 443.
— «Allez» — 303, 443.
— «Кадеты» — 303, 443.
— «Поединок» — 303, 443.
— «Яма» — 273, 303, 305, 439.
«Курьер», газета — 98.
Кусевицкий Сергей Александрович (1874—1951), контрабасист и дирижер — 383, 451.
Кутузов Михаил Илларионович (1745—1813), полководец — 173.

Л

Лавровская Елизавета Андреевна — 49, 400.
Лао-Тзе (VI в. до н. э.), китайский философ — 75, 155.
— «Изречения китайского мудреца Лао-цзе, избранные Л. Н. Толстым» — 300, 320, 443.
Ландовска Ванда (р. 1881), польская пианистка и клавесинистка, педагог — 382, 383, 450.
Ларион — 203.
Лемберг — 321.
Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — 14, 15, 409.
— «Сочинения» — 14, 15, 409.
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 11, 23, 67, 68, 93, 221, 404.
— «Герой нашего времени» — 116.
— «Что толку жить...» — 67, 404.
Лесков Николай Семенович (1831—1895) — 12, 133, 415.
— «Час воли божией» — 133, 415.
Линев Александр Лонгинович, инженер, сотрудник народнического журнала «Вперед»; муж Е. Э. Линевой — 325.
Линева Евгения Эдуардовна (1853—1919), певица, собирательница народных песен — 325, 326.

Лист Франц (1811—1886), венгерский композитор — 42, 214.
— «Мефисто-вальс» — 214.
— «Утешение» — 42.
— «Этюд» ре-бемоль мажор — 42.
Лихтенберг Георг — 145, 152, 155, 169, 417.
Лобачевский Николай Иванович (1792—1856), математик, основатель неэвклидовой геометрии — 174, 309.
Ломброзо Чезаре — 46, 398.
Лубенцов Анатолий Григорьевич — 271, 438.
Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — 6.
Лухманова Надежда Александровна (1840—1907), писательница-беллетристка — 68.
Лютер Мартин (1483—1546), видный деятель Реформации в Германии, основоположник протестантизма — 168.
Ляпунов Вячеслав Дмитриевич — 47, 399.
— «Доктор» — 47.
— «Пахарь» — 47, 399.
— «Сапожник» — 47.
Лясота Юлий Иванович — 219, 431.
Ляудвен Стефания — 312, 445.

М

Магомет — 56, 311, 320, 350.
— «Изречения Магомета, не вошедшие в Коран. Избраны Л. Н. Толстым» — 311, 444.
Маклаков Василий Алексеевич (р. 1870), адвокат, член Государственной думы; старый знакомый Толстых; белоэмигрант — 80, 298, 299, 302, 308, 309, 310, 311, 312, 343.
Маклакова Мария Алексеевна (р. 1877), близкая знакомая семьи Толстых — 51, 131, 198, 323.
Маковицкий Душан Петрович — 9, 28, 190, 191, 194, 195, 228, 235, 253, 256, 257, 259, 263, 277, 278, 291, 316, 351, 353, 354, 421, 425, 426, 427, 439, 449, 450.
Малютин Е. Н. — 55.
Мальтус Томас Роберт (1766—1834), английский буржуазный экономист, автор сочинения «Опыт о народонаселении» — 193.
Мамонтов Савва Иванович — 64, 404.
Мария Александровна (1824—1880), императрица, супруга Александра II — 191.
Марков Евгений Львович — 113, 135, 411.
— «Горькие мысли о горьких явлениях литературы» — 113, 411.
Маркс Адольф Федорович (1838—1904), издатель — 52.

Маркс Карл (1818—1883) — 21, 22, 50, 66, 404.
— «Капитал» — 21, 22, 404.
Мартынов — 239.
Марухин Андрей — 313, 445.
Маслов Андрей — 27, 259.
Маслов Федор Иванович (1840—1915), председатель Первого гражданского департамента Московской судебной палаты, знакомый семьи Толстых — 163.
Маццини Джузеппе — 106, 234, 410, 433.
— «Об обязанностях человека» — 106, 410.
Мейер Дмитрий Иванович (1819—1856), в 1845—1854 гг. профессор гражданского права в Казанском университете — 148.
Мельгунов Сергей Петрович (р. 1879), журналист, автор статей и книг по истории церкви в России и по вопросам религиозно-общественным; белоэмигрант — 262.
Мельников-Печерский Павел Иванович (1819—1883) — 113.
Менгер Карл — австрийский буржуазный экономист — 251.
Менделеев Д. И., «К познанию России» — 193, 426.
Мендельсон-Бартолди Феликс (1809—1847), композитор — 257.
Меньшиков Михаил Осипович (1859—1918), реакционный публицист — 247, 435.
Мережковский Дмитрий Сергеевич — 23, 122, 412.
Метерлинк Морис (1862—1949), бельгийский поэт-символист — 23, 42, 98, 114, 248, 249, 397, 408.
— «Аглавена и Селизета» — 42.
— «Монна Ванна» — 114.
— «Синяя птица» — 249.
Мечников Илья Ильич — 115, 156, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 279, 348, 419, 420, 438.
— «Оптимистические этюды» — 271, 438.
— «Этюды о природе человека» — 156, 271, 419, 420, 438.
Мечникова Ольга Николаевна — 267, 269, 272, 438.
Микеланджело Буонаротти (1475—1564), итальянский живописец, скульптор, архитектор и поэт — 191.
Милюков Павел Николаевич (1859—1943), буржуазный историк, лидер кадетской партии; белоэмигрант — 91.
Милютин Владимир Алексеевич — 186, 425.
Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912), генерал-фельдмаршал, военный министр — 89.
Михайлов Константин Анемподистович (1863—1931), учитель рисования — 117, 197.
Михайловский Николай Константинович (1842—1904), литературный критик и публицист-народник — 293.

Могилевский Абрам Ильич — 324.
Могилевский Александр Яковлевич — 324, 325, 338.
Молочников Владимир Айфалович — 211, 430.
Монтескье Ш. «Esprit de lois» («Дух законов») — 148, 418.
Мопассан Ги де (1850—1893) — 68.
Морозов В. С., «За одно слово» — 248, 435.
Морсочников Николай Харлапиевич, тульский помещик — 216.
«Московские ведомости», реакционная газета — 80, 416.
«Московский сборник» — 219.
Моцарт Вольфганг-Амадей (1756—1791) — 38, 58, 116, 166, 183, 339, 368.
— *«Дон-Жуан»,* опера — 116, 368.
— Квартет — 339.
— «Реквием» — 183.
Муравьев Николай Константинович (1870—1936), московский присяжный поверенный, знакомый Л. Н. Толстого — 343, 351.
Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796—1826) — 136, 415.
Муромцева-Климентова Мария Николаевна — 37, 368, 397.
Мусины-Пушкины — 297.
Мусоргский Модест Петрович (1835—1881), композитор — 58, 382.
— «Детская» — 382.
— «Полководец» — 382.
Мэккен Стефан — 167, 422.

Н

Нагорнова Варвара Валерьяновна — 137, 259, 281, 416, 440.
Накашидзе Александр Петрович (р. 1881) — 364, 449.
Накашидзе Илья Петрович (1866—1923), грузинский публицист и критик — 170, 364, 449.
Наполеон I Бонапарт (1769—1821) — 185.
«Научное слово», журнал — 271.
Небогатов Николай Иванович, контр-адмирал — 168, 422.
Некрасов Павел Алексеевич (1853—ум.?), математик, профессор Московского университета — 174.
Некрасов Николай Алексеевич — 11, 137, 142, 175, 416.
«Нива», журнал — 25, 52.
Никитин — 142, 417, 441.
Никитин Дмитрий Васильевич (р. 1874), врач; в 1902—1904 гг. жил у Толстых в качестве домашнего врача — 114, 121, 124, 201, 239.
Никифоров Лев Павлович (1848—1917), народоволец; переводчик, знакомый Л. Н. Толстого с 1884 г. — 364, 417.
Никиш Артур (1855—1921), венгерский дирижер — 283.

Николаев Валентин Сергеевич — 221.

Николаев Сергей Дмитриевич (1861—1920), переводчик сочинений Г. Джорджа; близкий знакомый Л. Н. Толстого — 203, 204, 215, 217, 221, 228, 234, 277, 279, 297, 298, 299, 311, 312, 313, 314, 366, 428.

Николаева Лариса Дмитриевна (р. 1875), жена С. Д. Николаева — 267, 295, 300, 301, 308, 313, 314, 366.

Николаевы — 225, 301, 313, 314.

Николай I (1796—1855) — 88, 131, 136, 141, 267, 377, 442, 449.

Николай II (1868—1918) — 105, 154, 156, 267, 290, 399, 410, 419, 445.

Николай Михайлович (1859—1918), великий князь — 419.

Ницше Фридрих (1844—1900), немецкий реакционный философ — 144, 248.

«Новое время», реакционная петербургская газета, издаваемая А. С. Сувориным — 57, 111, 207, 233, 247, 433, 435.

Новосильцев — 145.

Нордау Макс — 75, 405.

«Ноченька» («Ночь»), песня — 58.

О

Оболенская Елизавета Валерьяновна (1852—1935), племянница Л. Н. Толстого — 144, 146, 223, 224, 410.

Оболенская Мария Львовна, рожд. Толстая — 41, 46, 63, 89, 94, 95, 98, 101 — 104, 106, 107, 115, 118, 120, 121, 123, 152, 181, 195, 197, 240, 241, 360, 362, 397.

Оболенский Николай Леонидович — 91, 92, 94, 95, 98, 101, 102, 110, 111, 123, 181, 195, 228, 240, 241, 397, 434.

Огарев Иван Михайлович, тульский помещик — 216.

Огарев Николай Платонович (1813—1877), поэт, друг Герцена — 149, 287.

Огарева Наталья Александровна, рожд. Тучкова (1829—1913), с 1849 г. жена Н. П. Огарева, с 1856 г. жена А. И. Герцена — 149, 150, 418.

— «Воспоминания» — 150, 418.

Оленина Д'Альгейм Мария Александровна (р. 1872), концертная певица — 382, 450.

Ольсуфьев Адам Васильевич (1833—1901), владелец имения Николаевское-Обольяново в Дмитровском уезде Московской губ., старый знакомый Толстого — 85, 367, 397.

Олсуфьев Дмитрий Адамович (р. 1862), в 1906—1907 гг. член Государственного совета; с 1918 г. белоэмигрант — 82, 239, 241, 367, 429.
Олсуфьев Михаил Адамович (1860—1918) — 367.
Олсуфьева Елизавета Адамовна (1857—1898) — 367, 449.
Олсуфьевы — 42, 154, 169, 367, 397, 398.
Ольденберг Г., «Будда, его жизнь, учение и община» — 202, 428.
Орлов Николай Васильевич — 15, 135, 415.
— «Русские мужики», альбом — 15, 415.
Орлов-Давыдов Владимир Петрович — 90.
Островский Александр Николаевич (1823—1886) — 11, 12, 93, 204, 416.
Остроумов Алексей Алексеевич (1844—1908), профессор-терапевт — 393.

П

Падеревский Игнацы Ян (1860—1941), польский пианист-виртуоз — 322.
Палеолог Ф., «Извещение. Благовестие мира (Раскрытие вечных истин)» — 231, 433.
Панаев Иван Иванович (1812—1862), писатель-беллетрист и журналист, издатель совместно с Некрасовым журнала «Современник» — 137, 416.
Паркер Теодор (1810—1860), американский прогрессивный политический деятель и религиозный писатель — 190.
Паскаль Блез (1623—1662), французский математик и моралист — 75, 241, 291, 292.
Пастер Луи (1822—1895), французский бактериолог — 269.
Пастернак Леонид Осипович (1862—1945), художник — 108, 345, 410.
— «Л. Н. Толстой в семье», картина — 108, 410.
Пате — французская кинематографическая фирма — 316.
Пашковы — 275, 276.
Пелагея Васильевна — 40.
Перна Эльмар Яковлевич (1878—1916), в то время студент Петербургского горного института, учитель сына В. Г. Черткова — 205, 226, 271.
Пестель Павел Иванович — 219, 431.
— «Русская правда» — 219, 431.
Петерсон Николай Павлович (ум. 1919), в 1861—1862 гг. учитель в основанной Толстым школе в деревне Плеханово, близ Ясной Поляны — 127.
Петров Григорий Спиридонович — 128, 414,

Петрункевичи — 164.
Пешков Максим Алексеевич (1897—1934), сын А. М. Горького — 104.
Пешкова Екатерина Алексеевна (1901—1906), дочь А. М. Горького — 104.
Пешкова Екатерина Павловна (р. 1878), жена А. М. Горького — 104.
Пинкертон Нат, герой бульварных детективных романов — 248.
Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868), критик — 293.
Писарева Елена Федоровна — 218, 219, 431.
Писемский Алексей Феофилактович (1821—1881) — 176.
— «Плотничья артель» — 176.
Победоносцев Константин Петрович (1827—1906), обер-прокурор Синода, крайний реакционер — 83, 219, 399, 431.
— «Вера» — 219, 431.
Погодин Михаил Петрович (1800—1875), буржуазный историк, профессор, издатель «Московского вестника» и «Москвитянина» — 11, 244.
Погожева Анна Васильевна — 49, 400.
Поджио Александр Викторович — 141, 417.
Поленов Василий Дмитриевич — 265, 437, 438.
— «Из жизни Христа», альбом — 265, 437.
Поленц Вильгельм фон (1861—1903), немецкий писатель — 69, 405.
— «Der Büttnerbauer» — 69, 405.
Померанцев Юрий Николаевич — 40.
Попов Евгений Иванович (1862—1938), педагог и переводчик, единомышленник Л. Н. Толстого — 228, 364.
Попов Сергей Михайлович (1887—1932), в то время единомышленник Толстого — 343, 347, 349, 350.
Поспехин Александр Александрович — 164, 422.
«Посредник», издательство — 12, 162, 221, 311, 319, 365, 366, 421, 424, 427, 443.
Поступаев Федор Емельянович — 163, 421.
«Потемкин, князь Таврический», броненосец — 14, 168, 422.
Похитонов Иван Павлович — 169, 196, 422, 427.
Прохорова столовая — 320.
Протасевич — 78, 308.
Прудон Пьер-Жозеф — 67, 265, 266, 438.
Пугачев Емельян Иванович — 347.
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 6, 11, 23, 27, 68, 93, 110, 116, 119, 136, 161, 191, 208, 217, 220, 222, 303, 313, 377, 444.
— «Борис Годунов» — 93.
— «Воспоминание» — 161, 227.
— «Евгений Онегин» — 191, 426.
— «Капитанская дочка» — 110 (цит.), 411.

— «К А. П. Керн» — 227.
— «Пиковая дама» — 220, 221, 377.
— «Пир во время чумы» — 6.
— «Повести Белкина» — 221.
— «19 октября» — 303, 304, 444.
Пыпин Александр Николаевич (1833—1904), историк литературы, профессор С.-Петербургского университета — 11.

Р

Рале фабрика — 359.
Рафаэль С., «Сикстинская Мадонна», картина — 178.
Рахманинов Сергей Васильевич (1873—1943) — 5, 58.
— «Судьба», романс — 58.
Рачинский Константин Александрович (1838—1909) — 361.
Редер трио — 38.
Резников — 154.
Репин Илья Ефимович (1844—1930) — 83, 238, 406, 433, 434.
— «Иди за мною, сатана» («Искушение Христа») — 83, 406, 415, 433.
— «На молитве», портрет Л. Н. Толстого — 83, 406.
Рёскин Джон — 119, 412.
Рессель Федор Иванович — 198, 297, 427.
Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844—1908) — 283, 383, 450, 451.
— «Садко» — 81.
Роган де, маркиз — 141.
Розанов Василий Васильевич — 23, 122, 412, 413.
Розов Яков Иванович — 129, 217, 218, 414, 431.
Романовы — 298.
Ру Пьер (1853—1933), французский микробиолог, сотрудник Л. Пастера — 269.
Рубинштейн Антон Григорьевич — 42, 148, 383, 398, 418, 451.
— «Фераморс» — 42, 398.
Рубинштейн Николай Григорьевич — 5, 383, 451.
Рудольф — 246, 434.
Русанов Гавриил Андреевич (1844—1907), бывший член Харьковского окружного суда, единомышленник Л. Н. Толстого — 12, 363.
«Русская мысль» — 47.
«Русская старина», журнал — 177.
«Русские пропилеи», сборник — 154.
«Русские ведомости» — московская газета, выходившая в 1863—1918 гг.; с 1905 г. орган правого крыла кадетской партии — 260, 262, 274, 293, 345.

«Русский вестник», журнал — 137, 416.
«Русское слово», московская газета — 274, 319, 433, 447.
Руссо Жан-Жак (1712—1778) — 148, 160, 246.
«Русь», либеральная петербургская газета — 213, 430.
Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826), поэт-декабрист — 136.

С

Сазонов — 275.
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826—1889) — 12, 142, 285.
— «Господа Головлевы» — 12, 101.
Самарин Петр Федорович (1830—1901), старый знакомый Л. Н. Толстого, тульский губернский предводитель дворянства, либерал — 85.
Санд Жорж (псевдоним Авроры Дюдеван, 1804—1876), французская писательница — 227.
— «Consuello» — 227.
Сафонов Василий Ильич (1852—1918), дирижер, с 1888 г. директор Московской консерватории — 358, 398.
Светоний (75—160), римский писатель, автор биографии 12-ти римских императоров — 53.
Святополк-Мирский Петр Данилович — 157, 420.
Семенов Сергей Терентьевич — 185, 308, 425.
«Семья», журнал — 159.
Сенкевич Генрих, «Меченосцы» — 112.
Серафим (1760—1833), затворник Саровской пустыни — 163.
Сергеевский Николай Дмитриевич, профессор уголовного права С.-Петербургского университета — 310.
Сергеенко Алексей Петрович (р. 1886), в то время секретарь В. Г. Черткова — 320, 322, 326, 341.
Сергеенко Петр Алексеевич (1854—1930), литератор, автор ряда статей и книг о Л. Н. Толстом — 67, 68, 71, 76, 98, 115, 138, 188, 225, 226, 237, 238, 411, 432.
Сехин Дмитрий Михайлович — 253, 436.
Сехин Епифан — 253, 256, 436.
Сибор Борис Осипович (р. 1880), скрипач — 213, 232, 324, 325.
Сидорков Алексей Ильич — 292, 441.
Сидорков Илья Васильевич — слуга у Толстых — 133, 231, 233, 325, 359, 441.
«Сказка о славном и сильном витязе Еруслане Лазаревиче...» — 236, 433.

Скипетров Михаил Павлович — 265, 438.
«Скоморох», общедоступный театр, открытый в Москве в 1887 г. М. В. Лентовским — 106, 410.
Скороходов Владимир Иванович (1867—1925), единомышленник Л. Н. Толстого — 277.
Скороходова — 277.
Скрябин Александр Николаевич (1872—1915), композитор — 270, 313.
— Мазурка Fis-dur — 313.
«Слово», петербургская газета — 238, 433.
Снегирев Владимир Федорович (1847—1916), гинеколог, профессор; основатель первой в России гинекологической клиники — 166, 194, 426.
Соболев Михаил Николаевич — 45, 398.
«Современник», журнал — 10, 175, 416, 423, 434.
Сократ (469—399 до н. э.), древнегреческий философ-идеалист — 75, 115.
Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900), философ-идеалист — 128, 289.
Соловьев Иван Ильич — 224, 432.
Соловьев Сергей Михайлович (1820—1879), историк — 80.
Спиноза Барух (1632—1677), голландский философ-материалист и атеист — 22, 182.
Спиро Сергей Петрович — 274, 319, 320, 439, 447.
Станиславский А. В. — 150, 418.
Станюкович Константин Михайлович (1844—1903) — 91.
Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), художественный и музыкальный критик; знакомый Л. Н. Толстого с 1878 г. — 118, 378, 449, 450.
Стасюлевич Александр Матвеевич — 88, 89, 407.
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — 88, 407.
Стахович Александр Александрович (1830—1913) — 368, 449.
Стахович Александр Александрович (1857—1917), член Второй государственной думы, земец — 287, 440.
Стахович Алексей Александрович — 368.
Стахович Мария Александровна (1866—1923) — 368.
Стахович Михаил Александрович (1861—1923), член Государственного совета; с августа 1917 г. посол в Испании — 105, 240, 242, 252, 368, 434.
Стахович Софья Александровна (1862—1942) — 115, 239, 255, 256, 287, 290, 291, 292, 293, 302, 309, 368, 444.
Стаховичи — 118, 368, 375.
«Стенька Разин», лубочная пьеса — 60, 403.
Степанов Александр Константинович — 263, 437.

Столыпин Александр Аркадьевич (1863 — ум.?), реакционный журналист, с 1904 г. постоянный сотрудник «Нового времени» — 262, 369, 437.

Столыпин Аркадий Дмитриевич (1822—1899) — 368, 369.

Столыпин Петр Аркадьевич — 17, 204, 234, 250, 266, 271, 272, 274, 275, 290, 302, 347, 369, 428, 438, 445.

Страхов Николай Николаевич (1828—1896), философ и литературный критик, близкий по взглядам к славянофилам — 151, 206, 419.

Страхов Федор Алексеевич (1861—1923), единомышленник Толстого; автор нескольких сочинений на философские темы — 351, 352, 366, 367, 449.

Струве Петр Бернгардович — 284, 287, 288, 289, 290, 440, 441.

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1911), журналист, издатель реакционной газеты «Новое время» — 247.

Сулержицкий Леопольд Антонович (1872—1916), художник, режиссер Московского Художественного театра, близкий знакомый Л. Н. Толстого — 47, 249, 250, 436.

Сухотин Александр Михайлович (1827—1905), участник обороны Севастополя; в 1871—1879 гг. Новосильский уездный предводитель дворянства — 62.

Сухотин Михаил Михайлович (1884—1921), сын М. С. Сухотина — 147, 157, 158, 213.

Сухотин Михаил Сергеевич (1850—1914), муж Т. Л. Толстой — 62, 90, 101, 102, 104, 112, 126, 131, 136, 183, 193, 213, 234, 240, 241, 243, 297, 298, 303, 397, 449.

Сухотин Сергей Михайлович (1887—1926), сын М. С. Сухотина — 284.

Сухотин Федор Михайлович (1896—1921), сын М. С. Сухотина — 183.

Сухотина Наталья Михайловна — 124, 413, 434.

Сухотина Татьяна Львовна, рожд. Толстая — 38, 41, 45, 46, 47, 52, 62, 63, 73, 76, 77, 78, 79, 88, 90, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 110, 112, 161, 179, 181, 196, 210, 211, 213, 240, 241, 264, 276, 294, 308, 360, 361, 362, 367, 369, 375, 397, 398, 399, 413, 415, 437, 439, 449.

Сухотина Татьяна Михайловна (р. 1905), с 1930 г. замужем за Леонардо Альбертини; в настоящее время живет в Италии — 181, 196, 264, 437.

Сухотины — 112, 118, 147, 212, 276.

Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934), издатель — 236, 319, 320, 446.

Сютаев Василий Кириллович — 200, 329, 427.

Сютаев Иван Васильевич — 200, 427.

Сяськова Мария Васильевна, сотрудница «Посредника»; одно время работала переписчицей у Л. Н. Толстого — 82.

Т

Танеев Сергей Иванович — 5, 6, 39, 40, 78, 148, 181, 182, 183, 210, 379, 383, 397, 450.

Тапсель Томас, англичанин, фотограф — 269, 322.

Тацит Публий Корнелий (ок. 55 — ок. 120), римский историк — 53.

Тенишев Вячеслав Вячеславович — 298, 299, 442.

Тимирязев Климент Аркадьевич (1843—1920), биолог-дарвинист и физиолог — 357, 419, 448.

Тихомиров Лев Александрович (1850—1923), бывший член исполнительного комитета «Народной воли»; позднее монархист и редактор черносотенных «Московских ведомостей» — 149.

Тихомирова Д. И. книжный магазин — 323.

Тихон Задонский (Тимофей Савельевич Кириллов, 1724—1783), церковный писатель; с 1767 г. жил в Задонском монастыре — 163.

Толстая Александра Андреевна (1817—1904), двоюродная тетка Л. Н. Толстого — 84, 89, 406, 408, 412, 417.

Толстая Александра Владимировна, рожд. Глебова (р. 1880), жена М. Л. Толстого — 198.

Толстая Александра Львовна (р. 1884) — 9, 56, 72, 82, 94, 95, 98, 101, 102, 108, 110, 111, 124, 140, 142, 159, 181, 183, 188, 194, 195, 196, 198, 209, 210, 214, 216, 223, 233, 237, 240, 241, 242, 250, 256, 258, 259, 262, 263, 264, 276, 277, 287, 291, 297, 301, 302, 303, 307, 314, 317, 318, 320, 322, 324, 338, 340—343, 345, 346, 347, 351, 352, 354, 362, 387, 390, 405, 426, 436.

Толстая Вера Сергеевна (1865—1923), племянница Толстого — 241.

Толстая Дора Федоровна, рожд. Вестерлунд — 361, 448.

Толстая Екатерина Васильевна, рожд. Горяинова (р. 1876), вторая жена А. Л. Толстого — 301, 308.

Толстая Мария Львовна — см. Оболенская М. Л.

Толстая Мария Константиновна, рожд. Рачинская (1865—1900), первая жена С. Л. Толстого — 40, 361.

Толстая Мария Николаевна, рожд. Волконская (1790—1830), мать Толстого — 198.

Толстая Мария Николаевна (1830—1912), сестра Толстого — 10, 111, 131, 170, 172, 173, 175, 183, 223, 224, 228, 229, 230, 233, 237, 239, 240, 241, 280, 281, 283, 289, 292, 294, 296, 297, 304, 307, 308, 315, 317, 370, 389, 390, 411, 416, 423, 445.

Толстая Мария Николаевна, рожд. Зубова — 184, 239, 320, 321, 337, 343, 424, 446.

Толстая Ольга Константиновна, рожд. Дитерихс — 63, 102, 104, 108, 264, 267, 274, 275, 276, 277, 324, 338, 340, 346, 350, 352, 354, 403.

Толстая Софья Андреевна (1844—1919), жена Толстого — 9, 45, 46, 49, 63, 67, 71, 72, 76, 78, 82, 83, 85, 90, 91, 92, 94, 95, 98, 100, 102, 103, 104, 106, 108, 111, 112, 114, 119, 120, 123, 124, 126, 129, 137, 140, 142, 152, 166, 178, 181, 188, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 206, 208, 212, 213, 215, 218, 219, 221, 223, 225, 228, 231, 233, 240, 241—244, 251, 258, 261—264, 267, 273, 275—282, 284, 292, 299, 300, 307, 309, 316, 317, 324, 325, 338, 339, 340—343, 345, 346, 350, 352, 354, 359, 360, 362, 384, 390, 391, 392, 399, 400, 418, 426, 432, 436, 437, 439, 444.

— «Дневники С. А. Толстой» — 390, 400, 436.

Толстая Софья Андреевна (1900—1957), внучка Толстого — 102, 143, 197, 339, 340.

Толстая Софья Николаевна, рожд. Философова (1867—1934), жена И. Л. Толстого — 110, 111, 166, 244, 361, 448.

Толстая Татьяна Львовна — см. Сухотина Т. Л.

Толстой Алексей Константинович (1817—1875), поэт — 125, 413.

— «Сон Попова» — 125, 413.

Толстой Андрей Львович — 16, 40, 55, 63, 72, 73, 78, 102, 104, 143, 144, 180, 188, 197, 203, 261, 300, 301, 308, 361, 403, 405, 446, 449.

Толстой Валерьян Петрович (1813—1865), муж сестры Толстого Марии Николаевны — 304.

Толстой Дмитрий Николаевич (1827—1856), брат Льва Николаевича — 211, 212.

Толстой Иван Львович (1888—1895), сын Л. Н. Толстого — 362, 449.

Толстой Илья Андреевич (р. 1903), внук Л. Н. Толстого — 340.

Толстой Илья Львович — 40, 57, 78, 104, 115, 118, 142, 200, 244, 361, 373, 448.

Толстой Лев Львович — 40, 63, 71, 74, 78, 110, 111, 115, 188, 211, 269, 361, 397, 411, 446, 448.

Толстой Лев Львович, внук Толстого — 71, 78.

Толстой Лев Николаевич.

— «Альберт» — 246, 434.

— «Анна Каренина» — 17, 18, 63, 390, 436.

— «Ассирийский царь Ассархадон» — 132, 133, 413, 415.

— «Вальс» — 183.

— «Власть тьмы» — 98, 106, 114, 368, 408, 410, 449.

— «Война и мир» — 63, 209, 298, 371, 410.

— «Воскресение» — 13, 18, 24, 25, 47, 48, 52, 56, 263, 281, 399, 400, 410, 440.

— «Воспоминания» — 172, 422.

— «В чем главная задача учителя?» — 326, 446.

— «В чем моя вера?» — 175, 188, 423.

— «Голод или не голод?» — 47, 399.

— «Два гусара» — 131, 414.
— «Детство» — 10, 116, 175, 198, 296, 423.
— «Единое на потребу» — 158, 420.
— «Единственное возможное решение земельного вопроса»—194, 426.
— «Единственное средство» («Что нужно рабочему народу») — 88, 90, 407.
— «Живой труп» — 26, 81, 403, 406.
— «Закон насилия и закон любви» — 216, 237, 431.
— «Зараженное семейство» — 204, 428.
— «За что?» — 159.
— «И свет во тьме светит» — 122, 412.
— «Казаки» — 74, 253, 436.
— «К духовенству» — 122, 412.
— «Конец века» («Начало конца») — 167, 179, 422.
— «Корней Васильев» — 159, 420.
— «К политическим деятелям» — 125, 413.
— «К рабочему народу» — 125, 413.
— «Крейцерова соната» — 381, 450.
— «Круг чтения» — 26, 27, 158, 159, 166, 182, 187, 196, 197, 205, 209, 221, 234, 241, 245, 273, 292, 405, 412, 417, 420, 421, 423, 429, 436, 441.
— «Мать» («История матери») — 49, 400.
— «Молитва» — 159, 419, 420, 421.
— «Мудрая девица» — 415.
— «Мысли мудрых людей» — 159, 183, 421.
— «На каждый день» («Новый круг чтения») — 226, 227, 235, 245, 248, 256, 258, 262, 319, 354, 412, 427, 433, 436, 442, 446.
— «Неверующий» — 210, 429.
— «Нет в мире виноватых» — 437.
— «Не могу молчать» — 14, 215, 236, 237, 238, 240, 430, 433.
— «Не убий никого» — 204, 428.
— «О веротерпимости» — 105, 409, 410.
— «Одумайтесь!» — 153, 419.
— «О значении русской революции» — 184, 266, 424.
— «О науке» — 277, 278, 284, 285, 288, 290, 440, 441.
— «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии» — 262, 312, 437.
— «Отец Сергий» — 47, 52, 54, 399.
— «Офицерская памятка» — 104, 409.
— «О Шекспире и о драме» — 139, 416.
— «Паскаль» — 292, 420, 441.
— «Патриотизм и правительство» — 65, 404.
— «По поводу приезда сына Генри Джорджа» — 274, 439.
— «Пора понять» («Чингисхан с телеграфом») — 347, 446, 447.

— «После бала» («Отец и дочь») — 133, 275, 415.
— «Послесловие к «Крейцеровой сонате» — 313.
— «Послесловие к рассказу А. П. Чехова «Душечка» — 159.
— «Посмертные записки старца Федора Кузмича» — 378, 450.
— «Предисловие к альбому картин Н. В. Орлова «Русские мужики» — 15.
— «Предисловие к роману В. фон Поленца «Крестьянин» — 69, 405.
— «Рабство нашего времени» («Новое рабство») — 21, 58, 63, 66, 266, 402, 404.
— «Разжалованный» («Встреча в отряде») — 88, 407.
— «Разрушение ада и восстановление его» — 122, 412.
— «Рубка леса» — 61.
— «Свод мыслей Л. Н. Толстого» — 367, 449.
— «Севастопольские рассказы» — 192.
— «Сила детства» — 212, 430.
— «Смертная казнь и христианство» — 262, 437.
— «Солдатская памятка» — 104, 409.
— «Три вопроса» — 132, 133, 415.
— «Три смерти» — 160, 421.
— «Труд, смерть и болезнь» — 132, 133, 415.
— «Учение Христа, изложенное для детей» — 287, 441.
— «Хаджи Мурат» — 26, 55, 88, 118, 120, 121, 122, 125, 136, 297, 378, 407, 442.
— «Христианское учение» — 47, 400.
— «Царю и его помощникам» — 87, 407.
— «Чем люди живы» — 63, 410.
— «Что такое искусство?» — 23, 44, 45, 397, 398, 450.
— «Что такое религия и в чем сущность ее?» — 104, 409, 410.
— «Что я видел во сне» — 387, 451.
— «Это ты» — 130, 414.
— «Ягоды» — 166.
Толстой Михаил Львович (1879—1944) — 40, 45, 48, 55, 72, 219, 234, 362, 400, 405, 446.
Толстой Николай Николаевич (1823—1860), брат Л. Н. Толстого — 10, 115, 132, 170, 175, 189, 196, 423, 425, 427.
Толстой Петр Иванович (1785—1834), двоюродный дядя Л. Н. Толстого — 304.
Толстой Сергей Львович (1863—1947) — 40, 63, 90, 101, 102, 104, 108, 111, 148, 184, 214, 239, 246, 264, 267, 308, 309, 311, 320, 337, 343, 345, 361, 424, 446.
Толстой Сергей Николаевич (1826—1904), брат Л. Н. Толстого — 10, 111, 175, 198, 214, 233, 297, 411, 423, 451.
Толстой Сергей Сергеевич (р. 1897) — 267, 320, 321, 446.

Толстой Федор Иванович — 10, 304, 444.
Торичелли Евангелиста (1608—1647), итальянский математик и физик — 291.
Торо Генри — 75, 190, 405.
Трегубов Иван Михайлович — 42, 200, 398, 427.
Трепов Дмитрий Федорович — 185, 364, 424, 449.
Трубецкой Паоло — 56, 402.
Трубецкой Петр Николаевич — 163.
Трубецкой Сергей Николаевич (1862—1905), философ-идеалист, профессор Московского университета — 85.
Трубецкой Сергей Петрович (1790—1860) — 177.
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 6, 10, 11, 12, 13, 62, 68, 69, 76, 92, 112, 113, 115, 116, 135, 136, 137, 142, 144, 170, 174, 175, 176, 190, 191, 207, 208, 279, 280, 297, 368, 385, 403, 416, 423, 424, 426, 429.
— Вешние воды» — 6.
— «Два приятеля» — 368.
— «Дворянское гнездо» — 11.
— «Записки охотника» — 116.
— «Новь» — 135.
— «Певцы» — 6.
— «Рудин» — 175, 423.
— «Старые портреты» — 62, 69.
— «Фауст» — 175, 423.
«Тысяча и одна ночь» — 127, 133, 378, 413, 450.
Тэккер Бенжамен Н. (р. 1864), американский писатель-анархист — 67.
Тэн Ипполит (1828—1893), французский буржуазный историк, историк литературы и искусства — 68.
Тютчев Федор Иванович — 56, 57, 93, 191, 290, 314, 319, 402, 426, 445.
— «Есть в осени первоначальной...» — 314, 445.
— «Не остывшая от зною...» — 191.
— «Сумерки» («Тени сизые смесились...») — 57.

У

Уайльд Оскар — 238, 433.
— «De profundis» — 238, 434.
Унковская Александра Васильевна — 218, 219, 220, 431.
Урусов Леонид Дмитриевич — 96, 208, 429.
Урусов Сергей Семенович — 174, 200, 208, 423.
Усачевско-Черняевское училище — 359.

Усов Павел Сергеевич (1867—1917), известный врач-терапевт, лечивший Л. Н. Толстого. Усов находился при Толстом в последние дни его жизни — 78, 79, 85.
Усов Сергей Алексеевич (1826—1886), зоолог, профессор Московского университета — 175.
Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — 113.
«Учение 12-ти апостолов» — 174, 423.
Ушаков Федор Андреевич (1871—1927), единомышленник Толстого; во время работы над «Воскресением» помогал Толстому в переписке рукописей — 62.

Ф

Фаддей — 386.
Федоров Николай Федорович — 127, 128, 130, 413.
Федоров Федор Пантелеймонович — 101, 409.
Феокритова Варвара Михайловна (1875—1950), подруга А. Л. Толстой; работала у С. А. Толстой переписчицей — 233, 239, 242, 291, 307, 317.
Фет Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — 63, 76, 207, 280, 318, 446.
— «В моей руке — какое чудо!» — 76.
— «Осенняя роза» — 318, 446.
Филарет (Василий Михайлович Дроздов, 1782—1867), московский митрополит и церковный писатель — 287, 441.
Филипп, почтарь — 218.
Филон Александрийский (20 до н. э. — 54 н. э.), видный представитель иудейско-александрийской религиозной философии — 53.
Фильд Джон (1782—1837) — ирландский композитор и пианист — 214, 230.
— Midi — 230.
Фишер — 322.
Флавий Иосиф (I в. н. э.), греческий историк — 53.
Флексер Аким Львович (псевдоним — Волынский) — 67, 404.
— «Леонардо да Винчи» — 67, 404.
Фоканов Тарас Карпович — 120, 233, 412.
Франс Анатоль (1844—1924), французский писатель — 228, 238, 273, 432, 434, 439.
— «Иокаста» — 228, 432.
— «Кренкебиль» — 238, 273.
— «Les sept Femmes de la Barbe Bleue et autres contes merveilleux» — 273, 439.
Франциск Ассизский (1182—1226), основатель католического монашеского ордена францисканцев — 291.

Х

Хельчицкий Петр — 168, 422.
— «Сеть веры» — 422.
Холлистер Алонзо — 168, 422.
Холмс Шерлок, герой книги А. Конан-Дойля «Похождения Шерлока Холмса» и многих подражательных детективных романов — 248.
Хомяков Алексей Степанович — 123, 244, 413, 424.
Хорошко Вас., «К вопросу о самоубийстве детей в нашей действительности» — 293, 441.
Хохлов Петр Галактионович — 116, 411.
Художественный театр — 249, 368, 447.

Ц

Цебрикова Мария Константиновна — 99, 409.
Циммермана Ю. Г. музыкальный магазин (Москва) — 320, 321, 322, 324.
Цингер Александр Васильевич (1870—1934), профессор физики; близкий знакомый Толстых — 75, 308, 309.
Цуриков Николай Александрович, в то время студент Московского университета, сын знакомого Толстых А. А. Цурикова — 267.
Цыганов Осип — 189.

Ч

Чайковский Петр Ильич (1840—1893) — 42.
— «Вариации» — 42.
Чаннинг Уильям Эллери (1780—1842), американский писатель и богослов, прогрессивный общественный деятель — 190.
Челышев Михаил Дмитриевич — 311, 444.
Чертков Владимир Владимирович (р. 1889), сын В. Г. Черткова — 216, 240, 276, 322, 365.
Чертков Владимир Григорьевич — 40, 41, 42, 52, 78, 186, 188, 201, 204, 205, 207, 215, 216, 217, 223, 226, 236, 240, 243, 248, 250, 253, 262, 264, 269, 271, 274, 275, 276, 278, 284, 285, 302, 314, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 332, 333, 335, 336, 339, 340, 342, 345, 346, 351, 363, 365, 390, 397, 398, 405, 415, 427, 437, 438, 440, 443, 446, 449.
— «Наша революция» — 276.
— «Страница из воспоминаний. Дежурство в военных госпиталях» — 284, 285, 440.
Чертков Григорий Иванович (1828—1884), генерал-адъютант — 226.

Черткова Анна Константиновна, рожд. Дитерихс (1859—1927), жена В. Г. Черткова — 41, 268, 269, 274, 275, 276, 339, 365, 397, 438.
Чертковы — 40, 197, 198, 210, 237, 259, 260, 267, 275, 276, 277, 305, 313, 324, 325, 427.
Чехов Антон Павлович (1860—1904) — 12, 62, 68, 97, 98, 105, 114, 156, 158, 159, 178, 221, 377, 392, 393, 394, 408, 420, 421, 424.
— «В овраге» — 377, 392, 393.
— «В суде» — 68.
— «Детвора» — 68.
— «Душечка» — 158, 159, 377, 420, 421.
— «Мужики» — 377.
— «Пари» — 98.
— «Скучная история» — 98.
— «Спать хочется» — 68.
— «Степь» — 98.
— «Три сестры» — 114.
Чичерин Борис Николаевич («Русский патриот») — 50, 99, 119, 400, 408.
— «Россия накануне двадцатого столетия» — 99, 408.
«Чуркин», лубочная пьеса — 59, 60, 403.

Ш

Шаляпин Федор Иванович — 5, 58, 382, 402.
Шведов В., «Письма с Запада» — 98, 408.
Шевалье гостиница — 201.
Шевырев Степан Петрович (1806—1864), профессор русской словесности в Московском университете; литературный критик, славянофил — 11, 244.
Шекспир Вильям (1564—1616) — 61, 114, 139, 416.
Шибунин Василий — 89, 408.
Шиллер Иоганн-Фридрих (1759—1805) — 61.
— «Валленштейн» — 61.
— «Дон-Карлос» — 61.
— «Мария Стюарт» — 61.
— «Разбойники» — 61.
Шильдер Н. К., «Император Николай I, его жизнь и царствование» — 179, 424.
Шмидт Мария Александровна (1843—1911), друг Л. Н. Толстого и его единомышленница — 116, 146, 178, 181, 228, 236, 277, 291, 300, 301, 308, 316, 391.
Шмит Эуген Генрих — 87, 407.

Шопен Фредерик (1810—1849) — 38, 42, 58, 82, 158, 169, 200, 222, 227, 230, 232, 243, 245, 252, 256, 283, 310, 313, 322, 362, 379, 380, 383.
— Баллада As-dur — 322.
— Баллада g-moll — 293, 325.
— Вальс As-dur — 243.
— Ноктюрн Des-dur — 230.
— Полонез ля мажор — 42.
— Полонез As-dur — 322.
— Полонез es-moll — 310.
— Прелюдия до мажор — 42.
— Прелюдия ля мажор — 42.
— Прелюдия d-moll — 245.
— Прелюдия фа-диез-мажор — 82.
— Скерцо cis-moll — 310, 313.
— Этюд E-dur — 243.
— Этюд c-moll — 243.
Шопенгауэр Артур (1788—1860), немецкий философ-идеалист — 22, 38, 154, 155, 182, 280, 286, 287, 319, 382, 450.
— «Мир, как воля и представление» — 155.
— «Парерга и Паралипомена» — 155.
Шопов Георгий Стоилович — 89, 408.
Штирнер Макс (псевдоним Каспара Шмидта, 1806—1856), немецкий философ, один из предшественников ницшеанства — 67.
Штраус Иоганн (1825—1899), австрийский композитор — 322, 325.
— Diner-Walzer — 322, 325.
— Waldstimmen — 322, 325.
Шубе — 145.
Шуберт Франц (1797—1828), немецкий композитор — 58, 166.
— Wanderer — 166.
Шуман Роберт (1810—1856), немецкий композитор — 38, 58, 183, 293, 383.
— Концерт — 183.
— Davidsbündler — 293, 383.

Щ

Щеглов Ив., «Подвижник слова» — 293, 441.
Щеголенок Василий Петрович, крестьянин Олонецкой губ., сказитель былин — 412, 414, 419.
Щуровский Владимир Андреевич (1852—1939), московский врач-терапевт, профессор — 106, 107, 213.

Э

Эльцбахер П., «Der Anarchismus» («Анархизм») — 66, 67, 192, 239, 404.
Эмерсон Ральф Уолдо (1803—1882), американский писатель и религиозный мыслитель — 190.
Эпиктет (ок. 50 — ок. 138), греческий философ-стоик — 292.
Эрденко Евгения Иосифовна, пианистка — 350.
Эрденко Михаил Гаврилович (1887—1940), скрипач, профессор Киевской и затем Московской консерватории — 350.

Ю

Ю. Н., Заметка о книге Н. М. Гутьяра «Иван Сергеевич Тургенев» — 207, 429.
Юноша — 89.

Я

Языков Семен Иванович — 201, 428.
Яковлева — 132.
Якушкин Иван Дмитриевич (1796—1857) — 177.
Яшвиль Лев Владимирович (1859—1917), в 1899—1903 гг. тульский вице-губернатор — 118.
Foà Edouard, «La traversée de l'Afrique, du Zambèse au Congo Française» — 268, 438.
«The Free Hindustan» — 312, 445.
«Goethe Kalender auf das Jahr 1909» — 264, 437.
«Die Greuel der «christlichen» Civilisation. Briefe buddhistischen Lama aus Tibet. Herausgegeben von Bruno Freydank» — 353, 354, 448.
Huncker I., «Chopin, the man and hismusic» — 227, 432.
«The New York Times» — американская газета — 422, 432.
«Ohne Staat» — немецкий журнал — 87.
«Simplicissimus» — 82, 85, 406.
Swift Harrisson, «Imperialism and Liberty» («Империализм и свобода») — 56, 402.
«Times», английская газета — 264.
Thomas — 297.
Wagner-Brassin, «Feuerzauber» — 322.

СОДЕРЖАНИЕ

К. Ломунов. Предисловие 5

ВБЛИЗИ ТОЛСТОГО

Из предисловия к первому изданию . . . 33
Предисловие ко второму изданию . 36
1896 37
1897 42
1898 46
1899 49
1900 58
1901 81
1902 105
1903 123
1904 140
1905 157
1906 181
1907 196
1908 209
1909 262
Беседа с учителями 326

ИЗ ПОЗДНИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Первые встречи с Толстым 357
Дом Толстых в Хамовниках 359
Толстой в жизни 370
Сестра Толстого 389
М. А. Шмидт 391
О Чехове 392

Примечания 397
Указатель собственных имен и названий 453

Александр Борисович Гольденвейзер

ВБЛИЗИ ТОЛСТОГО

Редактор *С. Розанова*.

Художественный редактор *И. Жихарев*

Технический редактор *А. Трошин*

Корректор *В. Брагина*

*

Сдано в набор 27/II 1959 г. Подписано в печать 8/VIII 1959 г. Бумага 84×108$^1/_{32}$ — 15,25 печ. л. = = 25,01 усл. печ. л. 26,62 уч.-изд. л. + 15 вклеек = = 27,37 л. Тираж 75 000 (1-й завод: 1—30 000). Заказ 869. Цена 18 руб.

Гослитиздат

Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19.

*

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.